Цена 90 коп.

Индекс 70331

Читайте:

ЗНАМЯ 9 1988

Фазиль ИСКАНДЕР. «Сандро из Чегема». Роман

Владимир ТЕНДРЯКОВ. «Охота». Рассказ

Стихи
Михаила ДУДИНА, Арсения НЕСМЕЛОВА, Инны ЛИСНЯНСКОЙ

Статьи
П. Л. КАПИЦЫ, В. П. ЭФРОИМСОНА и Е. ИЗЮМОВОЙ, Л. ЛАЗАРЕВА

Знамя, 1988, № 8, 1—240.

ЗНАМЯ 8 1988

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1988

Август

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с 1931 года

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Книга восьмая
АВГУСТ
1988

Содержание

Владимир Корнилов. Стихи 3

Олег Ждан. Чертова кукла. Рассказ 10

Анатолий Стреляный. Год личной жизни. Рассказ старой знакомой 26

Татьяна Бек. Восемь стихотворений 44

Анатолий Жигулин. Черные камни. Автобиографическая повесть. Окончание 48

Алексей Эйснер. Разлука. Стихи. Вступительная статья Д. Самойлова 120

Мемуеры. Архивы. Свидетельства

Из переписки **Ариадны Эфрон и Бориса Пастернака** (1948—1957 гг.). Окончание 127

К тысячелетию введения христианства на Руси

Валентин Никитин. Крещение Руси и отечественная культура ◆ **Дм. Балашов.** Тысячелетие. *Размышления по поводу* . . 162

Москва
Издательство
«Правда»

Публицистика

Людмила Медведева. Приидe кротость на ны 175

Марк Горчаков. Тепло Земли 191

Критика

В. Лакшин. Не впасть в беспамятство 210

В мире журналов и книг

М. Зараев. Хозяева и работники (Иван Филоненко. Кто я на земле? М., 1987) ◆ **Юрий Щеглов.** Притча о сыне (Юрий Нагибин. Встань и иди. Юность. № 10, 1987) ◆ **Валентин Курбатов.** «Сердцебиенью в такт» (Павло Мовчан. Календарь. М., 1987) ◆ **Карен Степанян.** «Групповой портрет в интерьере с решетками...» («Схватка», Лениздат, 1987) ◆ **Юрий Покальчук.** Время, память и факт (Виталий Коротич. Метроном. М., 1988) ◆ **Андрей Чернов.** Самый долгий декабрист (М. С. Лунин. Письма из Сибири. М., 1987) 218

Из почты «Знамени» 230

Советуем прочитать 236

Журнал «Знамя» в 1989 году 239

Владимир Корнилов

СТИХИ

Два жанра

О. Е.

Отчего отстает поэзия?
От чего отстает она?
Да и что ее бесполезнее
В переломные времена?

Получается, будто истина
От стиха, как жена ушла,
А талантлива публицистика
И воинственно-весела!

Это радостно! Это правильно!
Вот кто нашу спасет страну!
А поэзия неприкаянно
Прозевала свою страду.

Публицистика рушит надолбы,
Настилает по топям гать,
А поэзии думать надобно,
Как от вечности не отстать.

1988

Давнее стихотворение

Пламенные либералы,
Сильных мира сыновья,
Как бы вас ни разбирало,
Все равно не с вами я.

На террасах дач казенных,
В огороженных лесах,
Гнете именем казненных
Правду-матку об отцах.

Но все молнии и громы
Про разгромы и про кровь
Слышат родичи да кроны
Нумерованных дерёв.

Не на вас я ставлю ставку,
Бог Россию сохрани!
И хотите, выдам справку
Для спокойствия родни:

Будут жены, хлынут дети,
И усильем жен и чад
Наберут воды идеи,
А привычки закричат...

Потому-то я не с вами,
Кулаком не тычу в грудь,
За блестящими словами
Все равно провижу суть.

Ну а если все же греюсь
Возле вашего огня,
Значит, совесть или смелость
Не в порядке у меня.

1961

Пиво

Помнишь, блаженствовали в шалмане
Около церковки без креста?
Всякий, выпрашивая вниманья,
Нам о себе привирал спроста.

Только все чаще, склонясь над кружкой,
Стал ты оглядываться, блажной:
Кто тут с припрятанною подслушкой,
А не с распахнутою душой?..

Что ж, осторожничать был ты вправе,
Но, как пивко от сырой воды,
Неотделимы испуг от яви,
Воображение от беды.

Я никому не слагаю стансы
И никого не виню ни в чем.
Ты взял уехал, а я остался,
Стало быть, разное пиво пьем.

Стало быть, баста. Навеки порознь...
Честно скажу, ты меня потряс:
Вроде бы жизнь оборвал, как повесть,
И про чужое повел рассказ.

В чистых пивных, где не льют у стенки,
Все монологи тебе ясны?
И на каком новомодном сленге
Слышишь угрозы и видишь сны?

Ну а шалман уподоблен язве,
Рыбною костью заплеван сплошь,
Полон алкашной брехни... и разве
Я объясню тебе, чем хорош?..

1981

Памяти В. Некрасова

I

Вика, как тебе в Париже?
Вечный «с тросточкой пижон»,
Все равно родней и ближе
Ты мне всех за рубежом.

Вика, Виктор мой Платоныч,
Изведясь, изматерясь,
Я ловлю тебя за полночь,
Да и то не всякий раз.

Голос твой, в заглушку встроясь,
Лезет из тартарары...
Вика, Вика, честь и совесть
Послелагерной поры.

Не сажали, но грозили,
Но хватали за бока...
Эх, история России,
Сумасбродная река,

И тебя, сама не рада,
Протащила ни за грош
От окопов Сталинграда
Аж куда не разберешь...

II

Ты любил свой город Киев
До тверезых слез,
А потом его покинул,
Не хотел — пришлось.

Не одно промчалось лето
В спешке, в маете,
И все время был ты где-то,
А теперь — нигде...

Стройный, ладный и поджарый,
Еле седоват,
Не болезненный, не старый
И за шестьдесят,

Забулдыга и усатик,
На закате дня
Ты не выйдешь на Крещатик
Повстречать меня.

1987

Художник

Б. Сарнову

Умер Володя Вейсберг,
Умер без суеты,
Умер, наверное, весь бы,
Если бы не холсты —

Призмы, цилиндры, кубы —
В каждом ожог и шок...
Ради такой Гекубы
Он-то себя и сжег.

Белым писал на белом,
Белым, как небытье,
Чтоб за любым пределом
Вновь обрести свое.

Словно философ с кистью,
Истиной одержим,
Истиной, как корыстью,
Только одной и жил.

Сколько кругом ничтожных
Выжиг, лгунов, пролаз,
А вон какой художник
Все-таки жил при нас.

1985

Читатель стиха

Ей-богу, твои ухищрения смешны,
Стыдливая, бедная лира...
Красивым девчонкам стихи не нужны,
И это вполне справедливо.

Для женщин счастливых, для бравых мужчин
Поэзия — мелкая ставка.
Их поприще — жизнь и, как всякий почин,
Она их берет без остатка.

Как мало веселых и звонких людей!
Поэтому грусть в дешевизне.
Читатель стиха, поскорее редей
Во имя вершителя жизни!

Когда ж в мирозданье совсем никого
Жалеть уже станет не надо,
Засяду писать для себя самого,
Не зная ни капли пощады.

1965

Слово

Евангелья от Матфея,
От Марка и от Луки
Читаю благоговея,
Неверию вопреки.

И все-таки снова, снова
Четвертым из всех задет,

Поскольку мне тоже Слово —
Начало всего и свет.

1988

Трясина

Беспардонно, как будто конка
Переплюнуть взялась такси,
Допотопная самогонка
Расползлась по всея Руси.

И ни штрафом ее, ни страхом
И ни сроком не истребят,
И растаял в булочных сахар —
Весь песок и весь рафинад.

Сколько их, что из жижи гонят,
Непромытых гнилых чертей?
Спешка, бедность, а то и гонор
Гонит всех из очередей.

...Я бы в самую зрел середку,
Я причине глядел бы вглубь,
Я бы грешную эту водку
Продавал бы: бутылка — рупь!

Чтоб остались без ореола
Тупость наша и наш *авось*...
Чтоб раскаянье пропороло
Шкуры нам и сердца насквозь...

1988

Железная дорога

Люблю железную дорогу
Всей памятью и всей душой
И ту, что далеко-далеко,
И ту, что тут, при окружной.

Мне запах мил угля и дыма
И гари ветровой глоток,
Они никак непобедимы,
Хоть перешли давно на ток.

...Подросток, видимо, несносный,
Блажил и убежать грозил,
Но товарняк четырехосный
Его от немцев увозил.

И он остался благодарным
Всем рельсам, всем вокзалам сплошь...
И ежели теперь с товарным
По чистоте купейный схож

И все, кто ездит, воем плачут,
И разрывает поезда...
Железную дорогу, значит,
За прошлое люблю тогда.

1988

Старость

Старость — странность, как зазеркалье,
Как четвертое измеренье,
Как материи иссяканье
И параметров измененье.

Так и тянет обратно в детство
Всякой сладостью начиняться,
Детективами наглядеться,
Телевизором начитаться...

Что ж, погодки и однолетки,
Пухнут вены и стынут жилы,
И успехи на редкость редки,
Но покуда живем и живы,

Не насытится око зреньем,
Не насытится ухо слухом,
Не насытится угрызеньем
Память сердца, а дело — духом.

1988

Обещание

Зря ты в тревоге и в горести,
Словно бы вся не со мной...
Помни, достанет мне совести
Не отправляться зимой...

Почва на той территории
Даже кайлу тяжела,
А не могу в крематории:
Там, как на юге, жара.

Помни, в тебе столько смелости,
Сколько во всех вместе нет,
И без какой-нибудь мелочи
Веришь ты мне тридцать лет.

Я обещал тебе некогда,
Что не оставлю одну.
Деться от этого некуда,
Сделаю, не обману.

1988

Вина и загадка

Я люблю тебя, тощую,
Как вначале, взахлеб,
Что ж ты брови наморщила,
Напечалила лоб?

А глаза огорченные
Все равно зелены,
Да и волосы черные
Без клочка седины.

...Не звенела гитарою
Наша гулкая жизнь,
А вовсю помытарила
Так, что только держись!

И громами и тучами
Одарила с лихвой,
И звездою падучею,
И моею виной.

Виноватый, навытяжку
Пред тобою стою.
Я люблю твою выдержку
И загадку твою.

Счастье мне, многогрешному,
Что, гордясь и любя,
Как вначале, по-прежнему,
Не постигну тебя.

Сколько строк ни раскатывал
За годов двадцать пять —
И тебя в них разгадывал,
И не мог разгадать.

Были строки несдержанны
И надежды полны...
Но без тайны нет женщины
И любви без вины.

1986

Долголетие

В этом веке я не помру.
Так ли этак, упрямо, тупо
Дотащусь, но зато ему
Своего не подсуну трупа.

Двадцать первый — насквозь чужой,
С крематорием чем-то схожий...
Не приемля его душой,
Подарю ему кости с кожей.

От недоли хоть волком вой,
Только все-таки жить охота.
Потому доползти позволь
До две тыщи первого года.

Мне бессмертье не по плечу,
Потому и шепчу с надсадом:
«Пожалей меня, не хочу,
Не могу помирать в двадцатом.

Выдай крови и выдай сил,
Долголетия выдай, донор!»
Все равно я все упустил,
Все равно молодым не помер.

1973

Олег Ждан

ЧЕРТОВА КУКЛА

РАССКАЗ

Когда она пришла в обрубку с направлением отдела кадров, все мастера, да и рабочие, что были поближе к конторке, сбежались поглядеть на чудо природы. Сидела на железной табуретке, обнажив до последней возможности ляжки, хоть мини-мода давно закончилась, и на голове у нее был вулкан, пузырящийся золотой магмой, а в лице... Мастера — мужики не старые, кому тридцать, кому сорок лет, впрочем, тоже и те, кому пятьдесят, — входили, прослышав о явлении, с дурацкими улыбочками, коротко взглядывали на нее и озабоченно — в бумажку, что лежала на столе, будто там могло быть объяснение чуду. Наконец пришел Воробей, на участок которого оказалось выписанным направление, и — как приморозило его к порогу. «К... ко мне?..» — «К тебе!» — дружно ответили мастера, сидевшие вкруг на скамейках, а сама девушка не ответила ничего. Воробей сел за стол, обитый листовой жестью, набычился, начал, шевеля губами, читать направление.

— Как зовут? — спросил строго.

— Фена, — ответила девушка.

— Как?

— Фена! — еще дружнее произнесли мастера, даже укоризна прозвучала в хоре: что уж ты, Воробей, такой глухой и тупой?

— Фамилия?

Снова переглянулись: совсем отупел Антон, читает — не понимает. Он на них зыркнул, как учитель на второгодников: им глазеть, ему с ней работать.

— Куда ж ставить тебя?..

Рабочих на участке не хватало, горько были нужны и наждачницы, и подвесчицы, но то — обычные люди, р а б о ч и е, а куда девать такую припекалку с нежными пальчиками и розовыми ноготками?

Вместо ответа Фена переложила голову с плеча на плечо, так что снова вспенилась застывшая было магма, а заросшие двухдневной щетиной лица мастеров стали молодыми и беззащитными. Да... — словно загрустили все разом. Да...

— Тебе бы в контору... — наконец почувствовал что-то и Воробей, сбавил милицейский голос. — На телефон.

Пустые, впрочем, слова: красоток на заводе больше, чем контор.

— Ладно, — сказал. — Станешь на пробку. А там видно будет.

На «пробку», то есть на заготовку 00-1, обыкновенно посылали беременных женщин, легче работы не было, и, к счастью, место оказалось свободным.

Девица поднялась и оказалась выше Воробья ростом, а нижний край юбочки — выше стола. Мастера снова заулыбались.

— Чего лыбитесь? — сердито спросил Воробей. — Не про вас картина.

Потупились, дескать, знаем, что не про нас, и интерес наш лишь только умственный.

Походочка у нее была еще та — и мужчины, и женщины прекращали работу там, где она проходила. Воробей даже сердиться начал. «Поглядим, как ты в пудовых ботинках пойдешь».

Но когда переоделась в черные штаны с курткой, убрав волосы под косынку, все стало ясно — дите горькое. Что ж делать с ней?

Впрочем, работа была легкая — выковырять пригар и разогнуть «усы» специальной трубочкой, легче и не придумаешь. Воробей посадил ее в уголке, поставил две корзины, одну полненькую, другую пустую. «Ковыряйся», — и пошел по своим делам. Вообще-то он был доволен: не очень-то любят рабочие, те, что получают от выработки, ковырять пробку. Не много наковыряешь.

Отправился на оперативку, потом на обед, а когда вернулся на участок, увидел: летит Зимогор сломя голову, плюется налево, направо и на три метра вперед. «Где пробка?» — «Как — где?»

Оглянулся — сидит Фенька, или, как написано в направлении, Феона, где и сидела, одна корзина, как прежде, полна, другая пуста. Глазам своим не поверил.

— Ах ты, чертова кукла, — сказал.

До сих пор она жила в рабочем поселке, в пятидесяти километрах от этого большого города. Там лет двадцать назад обнаружили огромные запасы некой удивительной глины, смертно необходимой неутолимому соседу, и маленький поселок начал быстро расти, построив сперва небольшой кирпичный заводик, через пять лет побольше, а еще через некоторое время решительно сломав оба и выстроив один — с поднебесной трубой из своих же замечательных кирпичиков, как вечный памятник тому, что было здесь двадцать лет назад. С другой стороны холма, на котором стоял поселок, скоро приткнулся заводик по переработке льна, еще через год-два — по производству минеральных удобрений. Оба эти заводика взялись успешно травить ничтожную, петляющую на каждом километре речку, но что — речка, если в пятидесяти километрах плещет иной, великий водоем — Город, ради которого и существуют и холм, и поселок, и лес за рекой?

Места прежних выработок уже не насыщали кирпичный гигант, головокружительные карьеры вползали в поселок, ломая по пути бараки и двухэтажные домики первой застройки — для жителей теперь в отдалении строились благоустроенные четырех- и пятиэтажные дома. Но чем шире расстраивался и обустраивался поселок, тем сильнее крепло у них убеждение, что все это — временно, еще год-два, от силы три и они перекочуют с этого изуродованного пятачка туда, в центр мироздания, там начнется долгая ли, короткая, но настоящая жизнь. Примеров тому было множество, едва ли не все молодые люди уезжали, окончив школу или недоучившись, и Город всем находил место в своих необъятных просторах, всех ответно кормил, одевал, творил и удовлетворял любые желания.

Она тоже всегда знала, что будет жить в этом Городе, там произойдет главное, ради чего она появилась на свет и чего ради природа подарила ей физическое совершенство — его она с некоторого времени постоянно видела отраженным в чужих глазах. И никто никогда не узнает, что она родилась и жила здесь, в узком деревянном бараке, который уже на ее памяти сожрал экскаватор, а потом в желтом домике на втором этаже, поскольку очень скоро, казалось ей, весь поселок исчезнет с лица земли, завод точно так же сожрет и его, и, может быть, самого себя.

По выходным дням поселок опустевал, все, кто еще не потерял надежды на будущее, устремлялись в Город за покупками, впечатлениями, наслаждениями и возвращались поздно, усталые и успокоенные, будто убедившиеся в достижимости и своей жизненной силе. И первые три дня недели говорили меж собой о прошлой поездке, а вторые — о предстоящей. Лишь только она, Фена, до семнадцати лет ни разу не была в Городе, отказываясь от экскурсий, прогулок, массовых выездов, словно давно решила, что ее встреча с Ним произойдет иначе — один на один.

И, наконец, в семнадцать, в день своего рождения, который никто не помнил, кроме нее самой, даже отец-мать вспоминали неделей или месяцем позже, она подарила себе такую поездку и встречу.

День был сентябрьский, будний. В переднике и с портфелем она свернула с обычной школьной тропинки к железнодорожной станции и через пять минут, забившись в угол, с грохотом летела на электричке, устремленной и яростной, словно назначенной сокрушить н е ч т о, но показался

он, Город, и — поняла свою малость и незначительность, утихомирилась, а там н покорно вползла на платформу.

В первую эту поездку Фена не пошла дальше привокзальной площади, постояла здесь час или, может быть, два и вернулась в поселок.

Теперь она еженедельно приезжала сюда, постепенно проникая все дальше за привокзальную площадь. И однажды почувствовала себя равноправной, своей.

Никто не знал о ее праздниках и надеждах. Пропускать занятия доводилось и прежде, а успеваемость... Все едино, учиться хуже было нельзя. Оставалось дождаться весны, лета, освободиться от ненавистной, улнчающей школьной формы и приехать сюда уже навсегда.

Воробей по-настоящему распалился, когда понял, что Фена не слышит его. Обыкновенно человек, если крикнут, либо вообще прекратит работать, либо начнет шевелиться как следует, а эта кукла... Так н продолжала ковыряться, как ковырялась. Как чугунная труба, загрохотал Воробей.

Что касается Фены... Произнеси мастер те же слова тихо, нормальным человечьим голосом, она бы, конечно, услышала. Но крнк тотчас вызывал в ее душе торможение. Сколько помнила, всегда на нее кричали — отец, мать, соседи, глупые учнтеля. Почему? Без ответа вопрос.

Однако к десятому классу кричать перестали. Отцу-матери оказалось не до нее — теперь они ежевечерне расправлялнсь друг с другом, учнтеля поумнели, соседи... Впрочем, какое ей дело до них?

А этот незнакомый человек — что надо ему? Ах да. Увидела черный цех, трубочку в руках. Вспомннла: пробка. Усы. Заготовка 00-1.

К концу школы учителя даже полюбили ее. Конечно, странная, говорили между собой. Но разве и не должна быть странной?.. Куда проще жить обыкновенному, в меру привлекательному человеку. Какой с обыкновенного спрос? А если — не в меру?.. Ого. На виду каждое движение, взгляд, слово. Обычный человек произнесет обычное — послушали и забыли. А необычный?.. Что, что он сказал?.. Ни слова не простим, ни взгляда. Сколько же надо нметь ума, чтобы соответствовать красоте?.. Поболе, чем нам, смертным. Со временем жить ей станет еще труднее — предстоит нести общее вннмание, зависть, ненависть, восхищение. Какую надо нметь психику, чтобы выдержать?.. Может быть, ее заторможенность — приуготовление организма. Может, равнодушие — единственное спасение. Как откликнуться на все зовы, удовлетворить всех жаждущих красоты?..

Может, наши учительские притязания не что иное, как самолюбие?.. Такое вот совершенство, а на твою химию или географию — ноль внимания, будто все, что пытаемся вложить в уши, — пустяковые пустякн. Втайне от себя мы больше доверяем природе, чем разуму, н получается — еслн она, отмеченная природой, не желает знать ни кривизны пространства, нн склонения, то н не надо ей это знание, обойдется она вполне без него...

Впрочем, чтобы прийти к такому заключению, учителям пришлось долго наблюдать Фену, а Воробей видел ее в первый раз. Однако и он вдруг умолк, булькнув горлом, словно захлебнулся в негодованни, и осторожно спросил: «Ты, Фенька, чего?..» Тяжко вздохнул, сел на корточки рядом, достал вторую трубочку из кармана, начал помогать.

Пробку формовали раз-два в неделю, потому в остальные днн беременные женщины либо просто сидели в конторке у телефона, либо подметали проходы между рольгангами, поливали нз шланга пыльные участки водой. Но ведь ее, молодую и небеременную, не посадишь? Метлу в руки не дашь? Во-первых, люди засмеют, во-вторых, первый же начальник поинтересуется — кто это у тебя? Почему?

На следующий день Воробей поставил Фену к подвесному конвейеру. Надо бы — горько надо — на наждак, но что как сунет руку под абразивный круг? Всякие были случаи на его веку, однажды из-за такой припекалки чуть с завода не загремел.

Вешать лнтье на крючки дело не хитрое, но и не легкое: согнись — разогнись, хватай одну заготовку за другой и, разумеется, не зевай. Однако — молодая, кому справиться, как не ей?

На подвеске работала Катя Артамкина, славная женщина, — может, сойдутся характерами, может, интересно им будет вдвоем? Нельзя нового человека оставлять одного.

— Помощницу тебе привел. Принимаешь?

Голос у Кати тихий, она не в силах перекричать грохот зубил и очистных барабанов, потому лишь улыбнется — с чем бы к ней ни пришел. Вот и теперь улыбнулась, приветливо кивнула новенькой, сразу взялась показывать, как брать заготовки, чтобы не хватали судороги к концу смены, как вешать, чтобы себе же не перебить ноги. Воробей постоял две минуты и повеселел — дело пошло. Не сразу поймешь, где кому лучше работать. Одному — на подвеске, другому — на покраске, третьему — на наждаке. Хочешь, чтоб человек задержался в цеху, хочешь план выполнять и премии получать, — попробуй его там и тут.

Между прочим, она, Фена, кого-то из знакомых женщин напоминала ему.

Кого?

Фена, хотя давным-давно решила, что будет жить в городе, к отъезду оказалась не готова.

Первый месяц после выпускных экзаменов она ходила на берег речки, где собирались вчерашние одноклассники, но скоро компания начала таять — кто устроился на работу, кто поступил учиться. По вечерам ходила на танцплощадку и тоже скоро разочаровалась: надоело глядеть на мелкие потасовки, что устраивали из-за нее льнозаводцы и минеральщики с кирпичниками. Кирпичники, поскольку отец-мать работали на этом заводе, жили в заводском доме, считали, что и Фена принадлежит им, а ей самой все были неинтересны и не нужны.

Кроме того, не было денег. Мать прятала кошелек, у отца его отродясь не было. Однажды позволила одному из поклонников купить для нее билет — весь вечер простоял рядом, будто не билет купил, а право на нее, Фену.

«Мама, — попросила однажды, — дай рубль». Не вовремя попросила, не остыла она еще после драки с отцом. «На!» — выбросила в лицо фигу.

Все же Фена отыскала тощий материн кошелек — в ванной, под вываркой, и время от времени стала брать по рублю-два. И, конечно, пришел день, когда мать с отцом жестоко разодрались из-за этих рублей, тогда и решила Фена — пора.

Поначалу она собиралась съездить, чтобы еще раз оглядеться, принять решение — надо все же куда-то устраиваться, где-то жить и работать, — а вечером, когда мать ляжет, вернуться. Но, приехав, весь день бесцельно проходила по городу, заглядывая то в бар, чтобы выпить молочный коктейль, то в кафе-мороженое. Впрочем, ей всегда казалось, что все образуется само собой, какой-то посторонний человек или удивительный случай вмешается и тотчас изменит жизнь.

Центр города она знала неплохо, имелись даже любимые уголки, например, фонтан у ресторана «Цветок папоротника», — там она и присела отдохнуть, когда загорелись огни на улицах. Устроилась так, чтобы на нее не обращали внимания, отвернулась в темень скверика, наслаждаясь непривычным гулом города и плеском фонтана. Однако побыть одной долго не довелось. «Девушка, составьте компанию». Она не шелохнулась, по-прежнему глядя в пространство, но двое молодых мужчин, ненароком остановившиеся рядом, не уходили. «Да ладно, — произнес другой. — Не видишь, она задумалась». — «Правда, пойдемте с нами. У нас большой праздник. Исполнились заветные желания».

Нет, она не собиралась с кем-лнбо знакомиться, но тут почувствовала, что мужчины достойные и слегка повернула голову. «О боже, — тихо произнес и рассмеялся первый. — Дитя!..»

Фена взглянула на них, улыбнулась. Что ж, если ненадолго... Если без тайных мыслей... Если...

В ресторанах она еще не бывала, кроме как в своем, поселковом, но то скорее была рабочая столовая, где по вечерам крутили пластинки и продавали спиртные напитки. А здесь играл оркестр, пела женщина в тафтовом платье, алели плафоны — цветы папоротника, и Фена, как только

ступила на ковровую дорожку просторного зала, так и поняла, что здесь ей будет хорошо.

Мужчины оказались в возрасте, с обручальными кольцами, но это не имело значения, поскольку ни ей от них, ни им от нее ничего не было нужно, лишь только скоротать вечер. Такие мужчины ей нравились больше сверстников, они умели ннтересно говорить, красиво ухаживать, а сверстники тотчас начиналн сверлить глазами, а то и хватать за руки.

Они заказали хороший ужин и шампанское, и Фена с аппетитом поела, а шампанское лишь только пригубнла. И то, что мужчины не принуждали ее пить до дна, тоже понравилось. Жаль только, что оказались они приезжими, из какого-то очень далекого города.

Всем было хорошо, краснво, и лишь к концу вечера они загрустили. «Девушка, вы кто?—спрашивали мужчины печально.—Из какой сказки?» Она улыбалась и покачивала головой.

Около одиннадцати, когда оркестр объявил последний танец, она поднялась из-за стола: «Я на минуту...»

Пошла по ковровой дорожке, чувствуя на себе их умные и печальные взгляды, спустилась по лестнице и—вышла на улицу.

Город уже затихал, погас и умолк фонтан в скверике, торопливо проносились машины.

Укоров совести Фена не чувствовала, так лучше—решила она. В конце концов она принесла этим хорошим людям радость.

Через час Воробей вспомнил о новенькой, подошел поглядеть.

— Ну как?—спросил бодро.

Вместо ответа Фена и Катя переглянулись, улыбнулись себе и ему. Дескать, что за вопрос, конечно же, хорошо.

Кате, понятно, доставалось больше—не сразу человек осваивается даже на простой работе. Воробей постоял минуту, поудивлялся: улыбались, будто показывали друг другу свою красоту. Мужчины так не умеют. Мужчина улыбается от хорошего настроения, удовольствия, женщина... Какое удовольствие—болванки по пять килограммов? Опять же, у мужчины одна улыбка для своего брата, совсем иная для женщин. Что он, Воробей, скажет Мите Брусову, если Митя улыбнется ему так, как своей Натахе? Скажет: «Ты, Митя, наверно, ослеп». А женщины? И тут их не понять. Мужчина улыбается—вот я какой молодец, женщина—вот какой могу быть.

Катя, конечно, довольна: какая нн работница новенькая, а подмога. Ага, вот почему улыбаются: делать здесь вдвоем нечего. Ладно, решил, завтра же оставит Фену, хотя бы на полсмены, одну.

...Когда она пришла на вокзал, оказалось, что последняя электричка уже ушла. Что было делать?

Походив по залам, она проникла в комнату матери и ребенка. Там было нетесно и уютно. Села в мягкое кресло и тотчас уснула.

Очень даже неплохо провела ночь.

Утром выпила в буфете стакан кофе с булочкой и снова вышла на улицы.

Было хорошо.

Второй вечер она провела в другом конце города, в ресторане «Каменный цветок». На этот раз ее партнером оказался слишком молодой парень, почти ровесник, сам, по-видимому, без денег. Шампанского не взял, заказал двестн граммов водки, а выпив, тотчас потащил танцевать, начал прижиматься и кусать ухо. Нисколько не было жаль, когда—так же, как вчера—уходила от него.

На третий—слишком пожилой, тоже не жаль.

А на четвертый она попалась. Парень или мужчина, который пригласил ее, хорошо угощал, здорово танцевал, был высокий и сильный, но Фена раскаялась, как только оказалась с ннм за столом. Поскольку деньги у нее кончились и мучил голод, выбирать не приходилось, она и не присмотрелась к нему как следует, а теперь со страхом поглядывала на коротко стриженную голову, на сильную шею и развернутые плечи, с робостью встречала прямой, усмехающийся взгляд. «Куда?—удивился он, когда она поднялась, будто бы в туалет, и опять усмехнулся:—Только вдвоем...» И, рассчитавшись, уверенно повел ее по улицам города, что-то приборматывая или напевая, а иногда ласково привлекая к себе. Он держал ее под руку, почти под мышку, отчего она чувствовала себя совсем беспомощной, страх нарастал, но шла Фена покорно. Наверно, внешне они были подходящей друг другу парой, люди с ннтересом поглядывали на них. И вдруг неожиданно рванулась из его рук, вскочнла в подъезд ближайшего дома и понеслась по этажам все выше, выше—пока хватило дыхания. А потом, остановившись на одной из площадок, заревела так неудержимо и безутешно, что молодая, нарядная н душистая женщина, появившаяся из лифта, замерла: «У вас что-то случилось, девушка?... Вам помочь?»

Фена никак не могла взять себя в рукн, захлебывалась, отворачивалась и пыталась уйти, но женщина удерживала ее, утешала, гладила по плечам н спине. Такое с ней бывало и прежде—вдруг, от какой-либо неявной обиды накатывали рыдания и она не могла справнться с собой.

Так она оказалась в чужой квартире.

А когда рассказала наконец, утаив лишь самую малость, о том, что приехала устраиваться на работу и вот прицепился незнакомый мужчина, женщина рассмеялась. «Вам надо быть осторожней,—сказала она.—Вы слишком красивая для случайных знакомств». Напоила чаем с вареньем и предложила переночевать. Приглашение было кстати: минувшей ночью дежурная по вокзалу потребовала документы и выставила ее из комнаты матери и ребенка.

Женщину звалн Ннна, она была учительница и тоже немножко рассказала о себе: сегодня человек, с которым она мысленно уже простилась, сделал ей предложение.

— Какой счастливый день!—сказала она, погасив свет.

Фена в душе пожелала ей еще большего счастья.

Она проснулась поздно, Нины уже не было. С интересом походила по однокомнатной квартире, рассмотрела на столе книжки, заглянула в холодильник и даже в платяной шкаф. Нарядов у Нины оказалось немного. Внимание привлекла только кружевная блузка, висевшая на плечиках, видимо, любимый наряд. У двери стояло несколько пар обуви—немодной, изрядно выношенной.

Приняла ванну, позавтракала, посмотрела кусочек какого-то фильма по телевизору и собралась уходить. И тут ее взгляд упал на журнальный столик, а на нем—деньги, тридцать—сорок рублей. Постояла в нерешительности и взяла три рубля.

Уходя, оглянулась, чтобы запомнить номер квартиры и—позже—возвратить долг.

Однако в тот же вечер ей пришлось снова постучаться сюда. Нина, видно, была из тех, кто не пересчитывает деньги, и обрадовалась, будто весь вечер только ее и ждала.

Утром Фена забрала оставшиеся деньги, а еще—кружевную блузку. Сперва намеревалась лишь только примерить, но уж очень она пришлась ей.

Когда-нибудь возвратит все сполна.

Что-то все же настораживало Воробья, и оставить Фену на подвеске одну он решился только через три дня. И то лишь потому, что образовался дефицит по коллектору и крольчатке—срочно понадобилась рабочая на наждаках. Катя золотой человек, пошла без звука, хотя нисколько ей не интересно глотать наждачную пыль. Была бы у него, мастера, возможность, выписывал бы ей премии каждый месяц. Но нет такой возможности. Надо дать десятку и Огородовой, и Катушкиной, и Мите... Всем надо для настроения, даже Климихе, хотя Климиха эту десятку с Климом в тот же день пропьют. Потому и чувствовал вину перед Катей. Впрочем, имелась еще причина: когда-то женихался с ней, а женился на Вере. Со временем Катя тоже устронла свою жизнь—роднла ребенка, получила квартиру, но мужа себе так и не нашла.

Сочувственно поглядел ей вслед.

Понаблюдал, как начала справляться Фена.

Осложнение было в том, что утром простоял конвейер из-за ремонта сушильной камеры минут тридцать — надо нагонять тоннаж, вешать литье так, чтобы ни один крючок не уходил пустым.

На завод Фена попала через две недели после того, как приехала в город. Она забрела в этот район случайно, увидела пустынную предзаводскую площадь, украшенную портретами передовиков, флагами и транспарантами, она напомнила ей площадь перед кирпичным заводом в поселке, и ей стало скучно. Она уже и повернула, чтобы уйти подальше от этого безнадежно унылого места, как вдруг грянула из репродукторов музыка, а из проходной повалили люди, как болельщики со стадиона, и лица у них были такими, будто любимая команда выиграла, и главное теперь — следующая встреча, завтрашний день. Или будто там, за проходной, им показали диковинное представление, и теперь они смеялись, вспоминая клоунов, фокусников, собираясь рассказать о нем друзьям и знакомым.

«Может быть, здесь хорошо?» — подумала она. Но что она могла делать на заводе?

Долго стояла перед дверью отдела кадров и наконец решилась. Очень трудно оказалось жить без денег и крова. В зале ожидания городского аэропорта, где она ночевала последнее время, ее тоже приметили и выставили. Надо было что-то предпринимать.

Воробей, сидя на оперативке, чувствовал неопределенное беспокойство. Отчего?.. Люди расставлены, техника работает. Еще раз продумал — все ли, как полагается? Все.

И вдруг понял, что волнует его новенькая, Фена. Все-таки на важном участке стоит, от нее сегодня зависит тоннаж. Сколько она повесит, столько на другом конце конвейера снимут. А тут еще вспомнил вчерашний разговор в конторке среди рабочих. «Нет, — сказал Митя Брусов, — она работать не будет. Скучно ей. Если человеку скучно — все, пропал». — «Почему не будет? — возразила контролер Настенька. — Привыкнет. Человек к любой работе привыкает. Я, когда была молодая, тоже думала — буду в кино выступать». «Нет, — стоял на своем Митя. — Не привыкнет. У меня сосед был в деревне — женка его каждый день ела, а человек тихий. Скучал год, скучал два, а потом надоело. Повесился на осине». «Тьфу ты, Митя!.. — рассмеялись и рассердились. — Вечно расскажешь». «А что? Мне, например, никогда не скучно. Хоть дома, хоть на работе».

Митя и есть Митя. А вспомнил — и заскребло в душе.

Обыкновенно после оперативки мастера не расходились по участкам, а вместе шли на обед и Воробей впереди всех, любил вкусно поесть, а тут — только кончилась оперативка, вскочил и бегом в цех.

Ну?! Кто сказал, что нет у человека предчувствия?

Конвейер шел полупустой. Фена и не собиралась догонять крючки. Зато шевелилась красиво — как отдыхающая пловчиха в реке.

— Чертова кукла! — сказал он ей.

Получив направление в цех и общежитие, Фена впервые за эти дни спокойно и хорошо выспалась. На работу, однако, пошла не сразу, а съездила наконец в свой поселок — днем, так, чтобы не застать дома отца или мать. Упаковала в материну хозяйственную сумку кое-какие вещицы, а еще поискала денег и нашла — пятнадцать рублей — в кухонном шкафу, в баночке для манной крупы. В конце концов на какую-то помощь она имела право. Где-то были и еще деньги, мать всегда прятала понемногу в разных местах, но — хватит.

И к вечеру была в общежитии.

Во всех комнатах жили по четыре девушки, а ей повезло: подселили к Соне Чариковой, которая — поскольку имела образование и работала начальником техбюро — одна занимала маленькую комнатку на втором этаже. Но, видно, скучно ей стало, старой и некрасивой, попросила комендантшу присмотреть хорошую девушку для нее.

Соня жила в этой комнатке много лет, имела и посуду, и кухонную утварь — предложила пользоваться, накормила. Воспитательница, Вера Степановна, пришла в первый же вечер, спросила, не желает ли Фена заниматься самодеятельностью или выпускать стенгазету; комендантша, тетя Лена, сама принесла вторую подушку и обещала к зиме новое одеяло. Очень понравилось в общежитии, уютно было и хорошо.

А еще понравилось в баре «Птицы» на Долгобродской улице.

Впервые она заглянула туда неделю назад. Парни и девушки, сидевшие за столиками, показались ей вчерашними одноклассниками, не желавшими расставаться друг с другом. Здоровались и прощались, пили кофе, покуривали — очень захотелось ей, Фене, быть принятой в их семью.

Одно плохо: выписать аванс не догадалась, а просить в долг с первых дней стыдно. Впрочем, скоро Соня поняла, что у нее нет денег, и приглашала порой в столовую, порой в блинную, а после работы готовила ужин на двоих. Ну и иногда Фена брала у нее рубль-два, чтобы сходить в бар, кошелек Соня всегда оставляла в тумбочке.

В общем, жизнь налаживалась. Правда, цех, в который она попала, показался отвратительным, гадким, а люди, окружавшие ее, как маски, на одно лицо. Но и с этим можно было мириться. Все это временно и все, разумеется, впереди. У них свои надежды, у нее свои.

Воробей, справившись с литьем и снова запустив конвейер, с любопытством поглядел на Фену. «Что за чудо?» — подумал. Злость уже прошла, тем более что, покидав болванки десять минут, почувствовал, как заломило поясницу и задрожали руки — у него, крепкого мужика. Сам, как говорится, дурак, рано оставлять девку под конвейером одну. «Степа, — обратился к подсобнику Буртенкову, что вешал тельфером крупное литье. — Ты бы подмогнул ей, если будет минута». «Кха», — ответил тот. Понятно, и своей работы у Буртенкова достаточно, кроме того, еще неизвестно, что проще — вешать кран-балкой болванки по сорок — пятьдесят килограммов или руками по четыре-пять. Но старый приятель, неловко ему отказать. «Я, сам понимаешь... — продолжал Воробей. — Премия тебе к концу месяца не повредит?» Буртенков рассмеялся: «Что твоя премия, Антон? Десять рублей!» И Воробей развел руки: «Я мастер, Степа, а не Госбанк».

Опять поглядел на Фену: и не пыталась шевелиться быстрее. Или конституция такая у человека?.. Вон Зимогор, Томтя, Катушкина не могут медленно, даже если хотят; может, Фенька не способна быстрее, даже если и хочет?

Куда ж поставить ее?.. По-хорошему — отослать бы в контролеры, там работа не бей лежачего, но ведь и самому люди нужны. В кого ты интересно, уродилась, красавица? Кто твои отец-мать?

Скоро Фена разобралась и в своеобразной иерархии бара, то есть в том, кто первый здесь человек, а кто последний. Последний — это, несомненно, она, а первый... Когда Фена появилась здесь, все столы были заняты, кроме одного, в уголке, у зашторенного бордовой портьерой окна, на два места. Там она и присела с чашечкой кофе, ну а то, что все разом поглядели на нее, не удивило — всегда на нее глядели все разом. Однако не успела выпить свой кофе, как увидела, что опять повернули головы, на этот раз к стеклянной двери, к входу в зальчик. Там стояла девушка и вопросительно, с любопытством поглядывала на нее, Фену. Наконец подошла, опустила сумочку на свободный стул, бросила Фене два слова:

— Пересядь. Занято. — И направилась к стойке бара.

Фена почувствовала, что девушка эта имеет право на такое требование, вскочила, начала оглядываться — куда? Но негде было приткнуться, плотно сидели вокруг, даже по двое на стуле, и посматривали на нее усмешливо. Впрочем, усмешливо глядели девчата — дескать, как, хорошо посидела? — а ребята нет, они — с интересом.

Фена уже загрустила, собралась уходить, когда та девушка, получив свой кофе, вдруг позвала:

— Эй! Сядь. — И показала на стул рядом с собой. — Кто ты?

И Фена тотчас рассказала о себе чистую правду. Вдруг поняла, что девушка эта — первая здесь, и правда — единственный шанс понравиться и остаться.

Она была, несомненно, красивая. И лишь на год-два старше Фены.

— Ладно, — сказала. — Останься. Зита меня зовут.

И Фена почувствовала себя счастливой.

Позже они почти подружились. Правда, Зита иногда опять давала понять, кто здесь первый — могла, например, попросить из-за стола, если хотелось поговорить с другой девочкой, или уйти, не попрощавшись с ней, Феной, или бросить на стол три рубля: «Принеси кофе». Но в конце концов, кто она, Фена, здесь? Пока одна из последних. Одно знала твердо — не навсегда...

Однажды она привела сюда Соню. Однако Соня весь вечер просидела, как на угольях, а по дороге домой сказала: «Ничего не понимаю. Не ходила бы ты к ним, Фена. Какой-то уголовный сбор».

Фена рассмеялась. Ничего уголовного, разумеется, не было. Случалось, девочки приносили кое-что с собой и обменивались или продавали в туалетной комнате. Но ведь это личное дело каждого — что носить, а что продать. Она тоже и очень выгодно продала здесь свою кружевную блузку.

Ребята — те да, они делали какие-то дела, даже ездили на своих машинах в другие города, но все, как поняла Фена, где-то работали, никому не вредили.

Между прочим, некоторые из них предлагали ей прокатиться, но пока Фена отказывалась. Не было среди них такого, к которому потянулась душа.

Скорее всего Соне не понравилось потому, что была она в баре старше всех и никто не обратил на нее внимание.

...И вдруг Воробей рассмеялся идее, что пришла в голову: к Климихе ее в ученицы!

Климиха — ого, быстро выучит жить. Климиха такова, что идет пить к цеховому автомату с газированной водой — у людей жажда пропадает, идет есть — пропадает аппетит. Начальник цеха ее боится, а директор завода, который решил однажды пообщаться с литейщиками и заглянул в обрубку... Все, больше не заглянет, сколько будет жить. Только он, Воробей, умеет говорить с ней — не уговаривает, не увещевает, а посмеивается да подкидывает дрова: жарь, тетка, шпарь налево и направо, спереди и сзади, вдоль их и поперек.

Климиха всех держит под прицелом, знает, кто сколько обточил, сколько наколотил. И если бы поставить их на одну выработку...

Хорошо бы, да невозможно. Сбежит Фенька в тундру от такой наставницы через два дня.

Может, на вывозку литья, к грузчицам?.. Дождался обеда, пошел к ним. «Бабоньки, — спросил, — что если новенькую к вам отправить?..» Но тут даже Зина Неглядова, незлая женщина, сразу ответила: «Не надо нам такая работница, Антон». Видно, разговор о Феньке уже был.

Тоже верно. Это ведь только говорится, что грузчик — бери побольше, кидай подальше. Кроме рук-ног, еще и совесть требуется. Одно дело везти ступицу, совсем другое — стакан или крышку. Одно — коллектор, иное — ту же пробку. Что как начнет хитрить? Про совесть новенькой не все еще было ясно.

Что ж делать?

И понял — на красилку ее. В покрасочную камеру, поскольку Шура Янушкевич, красильщица, идет в отпуск. Работа нетяжелая, и сам конвейер понуждает шевелиться так, как требуется, ни медленнее нельзя, ни быстрей.

Обрадовался, попросил Шуру оставить свой «противогаз»-респиратор и «скафандр» — задубевший от синей, желтой, вишневой краски комбинезон.

А разговор о новенькой в конторке грузчиков действительно состоялся.

Обыкновенно новый человек ищет, с кем бы поговорить, к кому прибиться, а Фена — будто никто не нужен, сама по себе с первого дня. «Я так думаю, — предположил Митя Брусов, — она нас всех презирает». — «С чего бы это ей презирать? — возмутилась Катушкина. — Сама не великое панство!» «Это так, — согласился Митя. — Только ведь молодая. Молодому всегда кажется, что он пан, а старые все — псякрев». «Так оно и есть, — усмехнулся Степанович. — Какой старый пан?» «Смотря кто, — тотчас возразил Митя. — Мой дед в восемьдесят годов оглоблей всю деревню гонял. У-у! Крепкий был человек. Помирал, сказал бабке: «Чего, дура, воешь? Скоро встретимся». А меня позвал да ногой в бок: «Я тебе покурю!..» «При чем тут, Митя, твой дед?» «Как при чем?.. Крепкий был человек. А Степанович говорит — псякрев».

Опять сбил с толку народ и сам сбился. Про что это они? Ах да, про нее, Феньку.

— Ей бы по телевизору выступать, диктором.

— Или моды показывать.

— Вожжами бы ее отходить. Так, чтобы стоя суп ела дня три.

Самой желанной сменой у рабочих цеха считалась утренняя, первая; куда ни шло — вторая, а третья — нет, нелюбимая. Даже те, кто проработал на заводе по двадцать лет, настояще не привыкли к ней. Первая хороша тем, что рано заканчивается, переделаешь все дела, вечер проведешь с семьей, утром выправляешься на завод с хорошим настроением; вторая — тем, что можно пробежать по магазинам; а третья — нет, ничем она не хороша. Разве что съездить перед ее началом в деревню — вроде как получался лишний день.

Для Фены все смены были одинаковы, ну а вторая — хуже всех.

Где-то там сидят ребята и девушки, пьют кофе с каплями коньяка, едят мороженое, слушают музыку, что тихо рушится из двух динамиков у бармена Коли, иногда пересаживаются от столика к столику, а она, Фена, стоит в продуваемой осенними сквозняками обрубке, и перед ней бесконечный конвейер, а сбоку бездонный ящик, из которого надо доставать болванки и вешать, вешать, вешать, хотя все давно ясно — она непригодна для такой жизни, и эта жизнь не подходит ей. Просто надо немного денег, а главное, крыша над головой.

Однако к середине недели досада и уныние сменялись надеждой, а в четверг и пятницу она уже не думала ни о чем, кроме субботы. Показалось даже, что незаметнее полетит время, если быстрее вешать болванки, и к обеду мастер подошел к ней, сказал: «А что, девка?.. В люди выходишь». Впрочем, через час снова помрачнел. «С понедельника пойдешь на красилку. Там тебе будет в самый раз».

И, наконец, она, суббота, пришла.

В баре что-то происходило. Столы были сдвинуты, сидели все плотно, плечом к плечу, а в центре, рядом с Зитой, Фена увидела незнакомого человека и вдруг поняла, что он и есть тот, которого не хватало здесь, о котором давно вспоминали и ждали. Все были обрадованы, говорили больше и громче обычного, а он сидел, обнимая Зиту, улыбался и каждого терпеливо слушал.

Он ей не понравился — толстый, с проплешью на темени, резким голосом, а кроме того — рассеянно скользнул взглядом, будто она, Фена, ничем не отличалась от прочих. И только когда взяла чашечку кофе и повернулась в поисках места, взгляд его прояснился.

— Кто это? — спросил громко и, не слушая ответ, произнес: — Иди сюда, клюшка.

— Я не клюшка, — ответила Фена. — Я девушка.

— Кто? — удивился он, даже снял руку с плеча Зиты. — Девушка?

Весь зальчик вздрогнул от хохота, а она стояла со своей чашечкой и недоуменно оглядывалась.

— Люди, вы слышали?.. Будьте свидетелями!.. Поверим или проверим? — Слезки сыпались из его маленьких, радостных, утонувших в неожиданных морщинках глаз, и стало ясно, что совсем не молод, лет тридцати, а может, и больше. Будто в восхищении он ткнулся в плечо Зиты, и Зита тоже посмеивалась. — Посиди с нами, клюшка-девушка!..

Кто-то тотчас поднялся, чтобы освободить ей место, кто-то нес стул. Она бы не пошла, не села, если бы не чашечка кофе в руке и этот сумасшедший хохот.

— Да, девушка,— сказала, пытаясь улыбнуться, а он обнял ее, нежно притянул к себе и поцеловал в щеку.

— Похоже,— сказал и вызвал новый взрыв смеха, но сам уже не рассмеялся, заметив, как подобралась на своем стульчике Зита — ей все это, видно, не слишком нравилось.

Кто-то плеснул в чашечку Фены коньяка, кто-то пододвинул «Летящую птицу», коктейль, которым славился этот бар и бармен Коля. Он, Коля, обычно не позволял сдвигать столы, а сейчас тоже улыбался и одобрительно поглядывал в зал.

Скоро о ней, казалось, забыли. Давно не виделись с ним, Алешей, было о чем говорить. Но когда Фена, допив свой бокальчнк, хотела идти за добавкой, Алеша кивнул, и перед ней тотчас поставили еще одну «птицу». Фена улыбнулась и едва заметно коснулась его плечом. Он уже не казался толстым и старым, а высокий голос, если вслушаться, был даже приятным.

Входилн иные знакомые и приятели, заметив Алешу, восклицали, вскрикивали, и он тоже поднимался навстречу, отодвигая животом стол. «Как отдохнул? Вода была теплая? А погода? Тачка не подвела?..» — «Кругом шестнадцать»,— отвечал он.

С некоторыми из приятелей Алеша выходил в коридорчик, и сквозь стекло было видно, как они говорили о чем-то важном и, может быть, тайном — Зита беспокойно поглядывала на дверь. Но входил — и снова беззаботным оказывалось его замечательно красногубое, круглое лицо.

Всем было хорошо, а лучше всех — Зите. Была она непривычно тихая, успокоенная, словно теперь, после прнезда Алеши, имела право на обычность и слабость. На груди у нее появилась новая брошь — листочек янтарной смородины с ягодами. «Откуда это?» — спросила Фена. «Подарил,— ответила с удовольствием.— Нравится?» «Да». Ей пришло в голову, что к ее простенькой кофточке этот янтарный листочек пошел бы не меньше.

И вообще чувствовала, что, повернись случай, она тоже могла бы стать п е р в о й.

И что такое время, возможно, придет.

Утром случилась маленькая неприятность.

Соня, всегда такая спокойная, уравновешенная, сегодня растерянно ходила по комнате, вздыхала и то садилась к столу, чтобы, как и обычно по воскресеньям, писать длинное, на несколько страниц, письмо матери, то поднималась опять. Фену такое занятие удивляло: о чем писать половину дня, если ничего не случилось? Писала, даже не получив ответа, надолго задумывалась над листом, будто жизнь ее так сложна, что требовала осмысления.

Вообще-то проблемы у нее были. Фена очень подружилась с ней, и Соня, обыкновенно скрытная, рассказала, что появилась и у нее надежда на личное счастье. Заинтересовался ею один инженер, правда, немолодой, женатый, но собирается разводиться. Что мучает ее совесть перед его женой и сыном, а как поступить, не знает.

Сочувственно глядела на нее Фена — такую некрасивую и немолодую.

И вдруг Соня сказала:

— Фена, ты меня извини. Я должна сказать... У меня деньги пропали, двадцать рублей. Это не первый раз, но я.., как-то не решалась, думала, теряю или... А теперь...

Замолчала, краснея и бледнея.

— Мне очень стыдно, но я...

Удивленно глядела на нее Фена. И это она, Соня? Человек, который утверждает, что только книги имеют в жизни значение? Что вино, сигареты, наряды бесповоротно разрушают личность?..

Она, собственно, собиралась с получки положить деньги обратно, с лихвой, с «походом». Сказать, как о деле второстепенном: «Я брала у тебя. Спасибо». Только такими должны быть отношения между людьми. Но получка оказалась мизерной, как жить, если возвратить?

Очень хотелось сознаться. Даже знала, что после этого будет: Соня вздохнет с облегченнем, рассмеется. «Слава богу,— скажет.— Не стоят двадцать рублей человеческих отношений». Сядет рядом, обнимет ее за плечи. «Я не против, Феночка. Бери. Только предупреждай меня». А она, Фена, объяснит — почему: стыдно ходить в бар без денег. И предупреждать тоже стыдно.

— Скажи мне правду, Фена! — требовательно сказала Соня, и Фена поняла, почему ее так боятся и не любят в цеху, на работе. Глаза сузились, тонкий нос стал еще длиннее.

— Я не брала,— ответила она.

Соня стояла у окна, закрыв лицо руками, и вдруг усмехнулась.

— Ладно...— произнесла она.— Что это я?..

Села к столу дописывать свое нескончаемое письмо.

— Можешь обыскать меня.

— Ну что ты...— ответила.— Какой обыск.

Когда писала, Соня надевала очки и тогда выглядела совсем старой.

В воскресенье столы и стулья стояли уже на обычных местах. Зита сидела в своем уголке и, как всегда, подымливала сигареткой. «Занято»,— сказала она. «Занято?..— удивилась Фена. Очень ей не понравилось такое заявление.— В тесноте, да не в обиде».

Курить Фена тоже умела, хотя это занятие ей не нравилось, подташнивало от курения, однако тут пошла к Коле, купила пачку самых дорогих сигарет и села, решительно забросив ногу на ногу. Раз так, решила, пусть знает, во-первых, что ей наплевать, во-вторых, пускай еще раз увидит, какие у нее ноги. «Закройся»,— сказала Зита. А Фена усмехнулась и даже не повернула головы.

Уже вчера она поглядывала сердито. Что ж, сердиться или радоваться — личное дело каждого.

И к тому времени, когда появился Алеша, они сидели, отворотившись в разные стороны, но и не выпуская друг друга из поля зрения.

— Девочки, вы что?

Обе усмехнулись и не ответили. Алеша, наоборот, был в хорошем расположении, принес коктейли, коробку конфет, предложил:

— Давайте дружить?

— Пусть пересядет,— сказала Зита.— Я ее видеть не могу.

— Она сердится, потому что я красивее,— произнесла Фена.

— С ума сошла? — поинтересовалась Зита.

Алеша обрадованно захохотал, а смех у него был гулкий, веселый, еще мгновение — и они бы тоже заулыбались, однако он умолк, озадачился.

— Девочки...— сказал.— Кончайте цирк. Вы обе красавицы.

Какие-то дела беспокоили сегодня Алешу. Выходил за дверь, подолгу вел там азартные переговоры с приятелями. Но иногда заглядывал в зал — дескать, как вы там? Потерпите друг друга еще полчаса, я скоро.

И, наконец, освободился, принес три бокальчика.

— Все, девочки, будем мириться.

Но Фене уже пришла в голову м ы с л ь.

— Я ухожу,— сказала она.— Отвези меня, Алеша, в общежитие.

Такого Зита, конечно, не ожидала.

— Я с вами,— испуганно сказала она.

Шли к машине, и Фена с удовольствием чувствовала, как Зита ненавидит ее и что сама она ненавнсти не чувствует.

— Кого отвезти первой? — спросил Алеша, выруливая со стоянки.

— Ее,— злобно сказала Зита.

Алеша рассмеялся весело и добросердечно, а Фена поддержала его.

— Ты где работаешь, Фена?

— На заводе,— ответила.— Вешаю болванки на конвейер.

— Ай-яй-яй...— отозвался он.— Плохо. Надо девушке помочь.

Вставил кассету в магнитолу, и где-то сзади тихо забили барабаны.

До общежития было недалеко. Через десять минут она поцеловала Алешу в проплешинку на макушке и вышла. Поглядела, как затерялись огоньки машины на бойкой улице, и села на скамейку.

Алеша вернулся через полчаса.

— Молодец,— сказал, когда она села рядом.— Поедем ко мне?

«Ну что ж,— подумала она.— По крайней мере он не такой, как все». А еще хотелось отомстить Зите. Сказать ей: «Пересядь».

Она считала, что ее жизнь должен изменить мужчина. Природа неспроста наделяет женщин красотой, а мужчин силой. Самая красивая имеет право выбрать самого сильного.

Может быть, он в самом деле поможет ей.

Ей было двенадцать, когда узнала об отношениях мужчины и женщины. Тогда отец и мать были еще совсем молодые и дружные. Если отец приносил бутылку вина домой, вместе распивали ее и ложились спать, закрыв дверь в комнатку Фены. Но если отец являлся пьяным и без вина, мать шла на постель к Фене.

«Мария!..»— скоро раздавался во тьме и тишине гудящий голос. И через минуту опять: «Мария!..»

«Спи!»— взрывалась мать, и громоздкое тело ее вздрагивало от ненависти.

Покорно умолкал на две-три минуты.

«Мария!..»

Зная, что спать не даст, мать, наконец, тяжело поднималась и, шлепая босыми ногами, шла к нему. «Жизнь мою загубил, собака».

Поначалу Фена оцепенело слушала все, что там происходило. Позже с отвращением накрывалась с головой и засыпала.

Такой ничтожной и печальной образовалась их жизнь.

Опять забили тихие барабаны. Наверно, то была его любимая запись.

— Машина у тебя старая,— сказала Фена.

Алеша рассмеялся.

— Хочешь новую? Ладно, подумаем.

Дело в том, что она ненавидела старые вещи. В родительском доме совсем не было новых вещей. Кроме еды и вина отец и мать не покупали ничего никогда.

Красить литье из пистолета-пульверизатора — дело нехитрое, однако Воробей два раза по половине смены освобождал Фену от работы, чтобы постояла около Шуры, поучилась. Нормальный человек такую премудрость освоит за час-полтора, но то — нормальный. А если такая красавица?.. Конечно, придет время, все будут и красивые, и умные, но — потом, позже, при коммунизме, а сегодня не получается. Не в состоянии пока природа объединить и мозги, и красоту. «Как она,— спросил Шуру,— справится?» — «Справится!» — ответила беззаботно. Отпускница, ей теперь месяц хоть трава не расти.

В понедельник поглядел, как идет Фена по цеху в негнущихся брезентовых штанах, и ухмыльнулся: вот, значит, отчего зависит походка у женщины — от одежды, а не от натуры. Может, и его Вера, если поставить на каблуки, пойдет по улице, как неверная чужая жена?

— Я-таки из тебя человека сделаю,— сообщил непонятно и весело.

Проверил, как работает пистолет, вентилятор, как сливается со щита вода.

— Работай,— сказал.— Перевыполняй.

Включил конвейер, пошагал по своим бесконечным делам.

Сорок минут идет конвейер от подвески до съемки, и когда через сорок Воробей снова заглянул сюда, увидел такое, чего никогда не видел. Никто не работал, кроме Фены, все — контролеры, подвесчики, съемщики — собрались у покрасочной камеры, заглядывают в окошко, смеются, показывают на Воробья пальцем. Ну, а литье — тонн двадцать в общей сложности — идет по конвейеру второй круг.

— Что случилось?

Оказывается, Фена покрасила литье — корпус руля, редуктор, большую ступицу — с одной стороны. Руки опустились у Воробья. «Ах ты, чертова кукла...» — пробормотал и ступил в камеру, чтоб схватить за

шиворот и вытолкать, выкинуть из цеха, избавиться от лентяйки и вредительницы раз и навсегда. Шагнул и вовсе одеревенел.

— Она поет,— сообщил злорадно свидетелям.— Поет!..

В понедельник бар не работал, и Алеша приехал к ней в общежитие. Машина была хоть и старенькая, битая, но сильная, и вел ее Алеша хорошо. Всех обгоняли, включили магнитолу на полную мощность, и Фена, опустив стекло, высовывалась в окошко — все глядели им вслед. Ей пришло в голову, что хорошо бы заскочить в свой поселок, постоять на площади у кинотеатра десять минут. «Купи новую машину, Алеша»,— попросила она. «Ты не понимаешь, детка,— ответил.— Это «седан». Такой машине цены нет».

Весь вечер носились по кольцевой и остановились только два раза — один раз у речки и второй в лесу.

Когда возвращались в город, Фена спросила: «Ты знаешь, где живет Зита?» — «Конечно».— «Давай зайдем к ней». Однако Алеша нахмурился. «Нет, детка,— опять возразил.— Это нам ни к чему. И вообще... Ты ей ничего лишнего не говори».

Не говорить? Конечно, ничего лишнего она ей не скажет. Все Зита должна понять сама.

Еще она хотела попросить у Алеши немного денег, но не решилась. В другой раз.

В том, что скандала не миновать, Воробей не сомневался, однако не предполагал, что случится он так скоро. А еще не предполагал, что пострадавшей окажется Климиха.

Когда стало ясно, что красильщицы из Фены не получится, он решился-таки отправить ее на подрубку с пневмозубильцем — в напарницы к Климихе. Тут она или начнет работать как следует, или Климиха ее с потрохами съест. Может, в том и заключалась ошибка, что искал место полегче, чтоб втянулась, обвыкла, а таких надо сразу кипятком ошпаривать и тут же холодной водой. Чего няньчаться? Зубило ей в руки — грызи.

Стоило немалого труда уговорить Климиху взять Фену к себе. Пришлось пообещать некую неопределенную премию, выразившись, однако, так, что ее, премии, скорее всего не будет, но если будет, то — невиданная или, наоборот, небольшенькая, червонец-полтора, зато гарантированная. В общем, что-то такое будет.

И вот она принеслась в конторку, шваркнула защитными очками о стол так, что брызнули стекла, и, выпучив рыбьи глаза, объявила:

— Все!.. Я тебя, Воробей... и ее... всех вас... с твоей премией...

Поскольку понять Климиху нельзя ни вечером, ни утром, Воробей отправился на участок и там выяснил, что Фена, когда Климиха взялась учить ее уму-разуму, тоже сказала ей на ухо два-три слова, отчего «наставница» и подпрыгнула, будто плеснули на ноги кипятка.

Выяснять, что она такое сказала, Воробей не стал — не интересно. Интересно другое: что теперь делать с красавицей?.. Как выдать замуж невесту, с которой хорошо познакомились все женихи?

И тогда решил: хватит. Завтра же — к начальнику цеха. Сколько можно? Он ей не дядька, она ему не племянница. Все.

Когда она пришла в бар, увидела, что опять сдвинуты столы, стулья, снова в зальчике тесно и шумно, а в центре сидят Алеша и Зита — все, как тогда, несколько дней назад.

Поразило платье Зиты — с высокими фонариками на плечах и строгим стоячим воротничком. Зита всегда одевалась хорошо, ни разу не повторилась за дни знакомства, однако отдельные детали — юбка, блузка, кофточка — все ж повторялись, а вот такого Фена не видела. Алеша выглядел тоже необычно. Обыкновенно приходил в бар в затертой кожаной куртке, а сегодня был в темном костюме, при галстуке, и костюм, оказывается, вполне шел ему.

Ну, а главное, непривычно значительными, даже торжественными были их лица.

Алеша больше других обрадовался ей.

— Фена! — позвал. — Сядь с нами!

На сдвинутых столах громоздились бокальчики, чашечки и все закуски, которые бывали у Коли.

Тотчас потеснились, освободили ей место.

— У нас праздник, Феночка, — объяснил Алеша, когда она села рядом, и, как тогда, в день знакомства, дружески привлек к себе, поцеловал в щеку. — Что-то вроде помолвки. Зита!.. — Обнял обеих сразу.

Фена пригубила из бокальчика, все еще не понимая, что происходит: то ли на самом деле помолвка, то ли шутят над ней. Здесь часто шутили. Однажды, например, спрятали в сумку какого-то новичка десяток кофейных чашечек и подозвали Колю: смотри, вор. Заглянула в красивые глаза Зиты и поняла — нет, не шутят. Обычно глаза у нее были холодноватые, слишком зеленые, а сегодня — умиротворенные, женственные.

— Ну, кто скажет? Чья очередь?

Все уже забыли о ней, произносили тосты, что-то хорошее и вечное желали Алеше и Зите, только Алеша не забывал и время от времени привлекал к себе, пожимал руку повыше локтя.

— Я сам скажу, — объявил он, и сразу в зальчике стало тихо. — Некоторые знают, какой вчера у меня был день. Как много зависело от Зиты и что решалось... В общем, я понял, что Зита — друг, другого такого не будет. Ну, а раз так... — Обнял ее, расцеловал в щеки и губы.

Улыбались, кивали, сдвинули бокальчики над столом.

— Все решает мгновение, — продолжал Алеша. — Мгновение и есть то, что остается с нами на всю жизнь. Разве не так?

— Так, так! — подтвердили с радостью и пониманием.

Нет, чего-то Фена все же не понимала.

«А как же я, Алеша?» — спросила тихо, чтобы никто не услышал. «Ничего, Феночка, — ответил он и опять пожал руку. — Все будет хорошо. Я тебе помогу». Поможет? Чем?

Растерянно глядела вокруг себя.

«Но я не могу без тебя, Алеша», — сказала она. «Ничего, ничего... — еще сильнее сжал руку. — Все будет нормально». — «Что — нормально?» — Она уже не заботилась о том, чтобы говорить тихо. — Что?..» — «Да подожди, Фена... Потом поговорим...» Почему потом? Когда?

И вдруг услышала ясный голос Зиты:

— Пускай она пересядет.

— Брось, Зита, — поморщился Алеша. — Пусть сидит.

— Нет, — произнесла громче. — Она пересядет.

В зальчике было тихо, и даже Алеша замер, потупившись.

— Алеша... — позвала Фена.

— Да ладно... — вдруг сказал он. — Какая тебе разница? Пересядь...

— Нет! — крикнула она.

С неловкостью и досадой поглядывали собравшиеся на нее.

— Она не понимает, — сказала Зита. — Я ей объясню. Идем.

Зита поднялась, пошла из зальчика, но не на крылечко, где обыкновенно велись важные разговоры, а в туалет — чистенький, сверкающий белым кафелем, с журчащей в унитазах, как в лесных родниках, водой.

— Не понимаешь?

Даже и теперь глаза Зиты были женственными, нежными. И так кстати приколот был листочек янтарной смородины на груди.

— Объяснить?

Зита схватила ее за пенно-золотые волосы, пригнула и начала бить коленом в лицо.

В понедельник, когда Фена не вышла на работу, Воробей даже обрадовался — слава богу, избавился. Вместе с тем было жаль. Что ни говори, а такого чуда в цеху не было и, видно, не будет. Промахнулся он, мастер. Надо было сразу отправить ее на вывозку литья, тем более что Катушкина собралась в декрет, — там бы она справилась. Он и пробовал уже пристроить ее на вывозку — загалдели, будто в карман к ним залез. Бабы!.. Готовы из-за рубля со свету сжить.

И вдруг ему стало тошно: вспомнил последний разговор с ней.

Воробей редко выходил из себя, давно понял: чем громче кричишь, тем хуже слышат. Да и чего кричать?

Хорошим стал себе казаться, добрым. Особо на собраниях, когда начальник благодарность вынесет, а рабочие в ладоши похлопают.

Оказалось — нет, копилась на донышке дурная ярость и злоба, вдруг вспучилась, поползла горлом — чего только не наговорил. И фигу она сосала вместо сиськи, и зародили ее после получки, и в голове у нее требуха, и... Не упомнишь всего, что сказал.

Фена глядела на него огромными глазами, и — брызнули слезы, понеслась к выходу, как молодая лосиха, через развалы литья.

Чего взъелся на девку? А ясно чего: безответная.

Оттого-то и было тошно.

И тут Воробей понял, кого она постоянно напоминала ему, — Веру, рóдную женку. Даже рассмеялся от такого сопоставления. А что? Лет двадцать назад... Даже десять. Такие же длинные ноги, такие же, с косиной, глаза. Ну и кое-что иное, о чем думать приятно, а говорить нельзя.

Вот когда стало жаль.

И потому, увидев через неделю Фену в цеху, заулыбался, обрадовался, как любимой племяннице, насмешливо захихикал, захмыкал. Явилась, не запылилась.

— Ну? — спросил. — Соскучилась без нас или как?

Стояла, однако, Фена, опустив голову, теребила холщовые рукавички.

Воробей завел ее в конторку, прикрыл железную дверь.

— Рассказывай.

Фена затрясла головой.

— Как прикажешь неделю прогулов оформить? По сорок седьмой?

И вдруг под толстым слоем пудры увидел желтые и синие разводы.

— Ого, — сказал. — Кто это тебя так?

А Фена вдруг грохнулась на скамейку и начала биться лицом о стол, покрытый листовой жестью.

— Не хочу, не хочу, не хочу!

— Чего не хочешь? — заорал Воробей.

— Жить не хочу!

Билась лицом, стучала маленькими кулачками.

— Сядь! — гаркнул, схватил за шиворот, привалил к стене.

Она покорно запрокинулась и теперь рыдала беззвучно, однако ничего, кроме отчаяния, не было в косящих глазах.

— Сиди...

Принес стакан газированной воды, приставил к постукивающим зубам.

— Пей! — Закурил, сел рядом. — Куришь? — спросил. — Ну, покури...

А через пятнадцать минут, когда уже только по прерывистому дыханию можно было догадаться о недавних слезах, сказал: «Пошли». А поскольку Фена не поднялась, он схватил ее за руку и поволок по гремящему и грязному цеху туда, на вывозку литья, к грузчикам, где оставался последний шанс начать нормальную жизнь.

В субботу вечером Фена стояла у ресторана «Свитязь». Хороший был ресторан, она уже знакомства ради забегала сюда выпить кофе: мягкие, глубокие кресла, высокие спинки — казалось, у каждой пары своя комнатка, свой номерок.

У входа толпились мужчины. Она стояла бочком к ним, поглядывая на часы и вдоль улицы. Нет, оттуда она никого не ждала.

Стояла так, чтобы видеть, кто приближается к ней. Вовсе не простая и не пустая задача — выбрать себе партнера. Неважно, если немолодой. Неважно, если и некрасивый. Важно, чтоб можно было положиться на него.

Совсем не хотелось потерять вечер.

Родной городок, завод — все было позади.

Через несколько минут она уже входила в ресторан.

Анатолий Стреляный

ГОД ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ

РАССКАЗ СТАРОЙ ЗНАКОМОЙ

Ты не думай, что я рвалась на этот свой пост, наоборот,— я не хотела, чтобы меня выдвигали, тем более что и Валька мой был против, категорически против. Улетала, помню, в Алма-Ату на собеседование — он говорит: можешь в дом не возвращаться. А куда мне возвращаться? Вернулась я, конечно, в дом, но Валька был навсегда задет, что жена у него стала шишкой, секретарем райкома, а он остался обыкновенным начальником участка. Другие мужья хоть бы что, спокойно в первых рядах сидят, пока жены в президиумах, а мой ни за что не сядет, мой дома в это время: не меня, говорит, принимают, а тебя.

Вот этого не мог переносить.

И, личность безвольная, начал выпивать, а как выпьет, ему хочется меня принизить, а себя выдвинуть,— ну и стал предъявлять мне претензии, что я вроде не та женщина, о которой он мечтал. Смысл такой, что раз я начальница, значит, прошла огонь и воду. И до того разойдется, что и весь следующий день, уже в трезвом виде, продолжает себе верить. Но я-то лучше знаю, что́ я прошла, а что не прошла. Ничего не прошла. Ни до замужества, ни после, хотя на курортах, куда ездила обычно одна, не все же чинуши были, там встречались и разбитные, симпатичные товарищи, уж можно было бы, кажется, выбрать кого-нибудь. Нет, не могла ни с кем переступить. Не могу, не хочу, ничего не чувствую, кроме злости, ехидничаю, гадости говорю, такая натура — черт знает что!

Вот это, значит, первое, что ты должен иметь в виду,— обида на мужа. Как только он первый раз облил меня своими подозрениями, я почувствовала себя свободной, совершенно свободной, будто я не семейный человек, не мужняя, как говорится, жена, а веселая вдова или мать-одиночка, ничем не связанная.

Второе, что я хотела тебе сказать,— это то, что жизнь моя в целом была уж очень однообразная. Иногда казалось, что я с ума схожу от всех этих речей, совещаний, мероприятий. Сидишь иногда в президиуме, смотришь в зал и думаешь: какая тоска! добром это не кончится, нас ведь тысячи тоскующих, в конце концов мы или совсем погаснем или взорвемся. А рядом бабы — какая-то и не была замужем, какая-то разведена, вот такой состав. Бабы, говорю, какая скучища! Влюбиться, что ли, в когонибудь? Ну, влюбись, говорят. Да в кого? Не в кого! Магавья Халитова, наш зампред, мне однажды и говорит: а вот в Сергеева, директора компрессорного завода! Но он же не в моем вкусе, отвечаю. Я его много лет знала, действительно,— не в моем, слишком положительным мне казался. Одно время был секретарем парткома на компрессорном, придет в райком всегда неразговорчивый, смирный. Я думала: что это за мужик, господи!

Вот она-то, Магавья Халитова, как старинная русская сваха, мне насчет Сергеева этого идею и подкинула. А сама-то она старая дева, вот что интересно, но красивая такая казашка, умница, все понимает. Отец ее был секретарем райкома партии в наших краях, погиб на фронте, мать рано умерла, и Магавья осталась одна. Были, правда, у нее тетки, но они, такие зажиточные алма-атинские казашки, ее не принимали: бедная, мол, «ай би шара» — не нужна. Ну, она все-таки поступила в институт, училась

на одну стипендию, тянула себя потихоньку, подрабатывала, ночами мы с нею мыли полы в бане, там и переспим. Придешь в эту баню, а там вонь, господи, парко, все вымоем, особенно шайки, они тогда деревянные были, тяжелые, склизкие, и лежим довольные на скамейках с книгами: еще и читаем ночью, еще и подучиться ж надо. Как мыли голяком, так и учимся, читаем голяком.

Ну, что я еще знала про этого «выдвиженца» Магавьи, про Сергеева моего будущего? У него, знала я, барыня-жена, и меня она, между прочим, заметила раньше, чем я его. Она работала в управлении материально-технического снабжения. Там у них принцип отношений таков: ты мне — я тебе. Они отпускают фондовые материалы такому-то тресту или городу, а тот трест или город обязан оказывать за это услуги лично им, этим чиновницам. Мне потом многие говорили: Наталья Алексеевна, он ее никогда не бросит, он же от нее материально зависит. Покрышки, бензин, запчасти — это же все через нее ему поступает. Однажды увидела меня в его машине — мы с ним ехали куда-то по делу, закатила ему концерт, исцарапала физиономию, забрала ключи, документы: чтобы в «Волгу» не садился! И он на другой день приходит на бюро пешком. Я ему говорю: вы что, пешком, что ли? Ну да, отвечает, дома был скандал, забрала ключи, все документы. А из-за чего забрала, сначала не сказал, но я проявила настойчивость: так из-за чего все-таки? Ну, из-за того, что нас с вами увидела. Я, мол, и «Волгу» купил белую под цвет ваших волос, так она считает. Я тогда не придала значения, зачем он мне это говорит, потом уж, задним числом, сообразила, что он уже тогда давал мне понять о своем особом отношении. Я ему, конечно, говорю: да ты что за мужик! Жена его никогда в обед домой не ходила, как мы, все женщины, каждый день мчимся: дети же, кормить надо. Это все были его обязанности. Ну, представляешь, директор завода бежит в обед, чтобы суп детям разогреть, а она, барыня, в это время чаи распивает, сплетни разводит.

Директором он был вроде неплохим, старательным, но часто безвольным, мы это знали и ему говорили. Когда мы с ним стали более откровенны, я ему советую: гони, допустим, этого, ну гони! Не может, не гонит, он на этот завод мальчишкой после института пришел, ему всех жалко, такой сердобольный. На бюро он выступал часто и, в общем, по делу, но как-то взрывно, по-мальчишески, будто с обидой. И хоть и рост у него не маленький, и плечи широкие, и лицо вроде строгое — директор завода как-никак и член бюро, а иногда жалеешь не тех, за кого он тут бьется, а его самого. И в конце обязательно бросит обвинение поверх голов: бюрократизм! Выкрикнет это слово и считает, что все сказал и его должны понять.

В конце лета 198... года я внезапно и сильно заболела: увезли прямо с работы, а когда разрезали — там одна опухоль, другая, провозились со мной изрядно. Так я впервые в жизни очутилась на больничной койке. Проснулась от наркоза и первое, что думаю: ну все, доработалась, дозаседалась. Лежу и решаю: ну, если только когда-нибудь отсюда выйду, совсем по-другому буду себя вести. Буду жить для себя. Буду уделять время для какой-то личной жизни. У меня ее не было. Только эти торжественные собрания, демонстрации, политучебы, а в промежутках — работа: латать прорехи, допущенные неизвестно как, а часто и неизвестно кем. Госплан, например, жалеет денег непосредственно минпросу, а мы должны не мытьем, так катаньем забирать эти средства у заводов и отдавать их туда, куда надо, куда бюрократы пожалели, потому что у них цифры не сходились.

Тебе, например, известно, что такое лагеря труда и отдыха для школьников? Знаешь, кто их у нас строил? Я и Магавья Халитова. Вдвоем. Я не на собрании, говорю что есть: строили мы, вдвоем. Секретарем обкома тогда только что стала некая Ташмагамбетова — главная наша мучительница, и первое наше официальное столкновение с нею было именно на этом. Она собрала совещание: так и так, надо по примеру Ставрополья создавать такие-то лагеря. Маленькая, ноги колесом, на голове копна до потолка. Час — надо, два часа — надо, уже охрипла, голос злой, а конкретно ничего сказать не может, дает голую задачу. У нее и понятия нет, какое организационное подкрепление тут требуется. Мы между собой в зале говорим: долго ли она еще будет толочь воду в ступе? Я взяла и выступила. Но не так, как она, а по делу. Разобрала задачу, показала, из чего она

состоит, какие вопросы надо решать: отвод земли, проектирование, стройматериалы и рабочая сила, источники энергоснабжения, организация питания. И за каждым пунктом свои порядки, законы, своя бюрократия, которую надо пробивать или обходить. Это только обыватель думает, что раз мы партийное начальство, то все нам без звука подчиняются и все делают, что скажем. Нет, за все надо бороться. Ты бы знал, сколько мы мотались по совхозам вокруг города: ну дайте нам кусок земли под лагерь, ну дайте место, где мы для начала хотя бы вагончики поставим! Не дают. Земли никому не жалко, места хватает, да лень бумагами заниматься, оформлением. Тогда мы пошли по другому пути — по пути личных отношений. Личные отношения в нашей работе — это девяносто процентов успеха. Не знаю, как было раньше, после революции или в войну, некоторые ветераны говорят, что этого было меньше, а в моей практике часто все сто процентов зависели от личных отношений. Я даже удивляюсь, как некоторые преувеличивают возможности партийных органов. Повторяю тебе: за власть надо постоянно бороться, наверное, почти так же, как в период двоевластия. Наша беда не в том, что у партийных органов много власти. Наша беда в том, что ни у кого, ни у какого аппарата нет достаточной власти. Власть распылена.

Когда я стала выкарабкиваться, Александра Ивановна, гинеколог мой, начала заводить со мной разговоры о моем образе жизни. Поперваx ходила вокруг да около: режим труда и отдыха, то да се, потом говорит прямо: Наталья Алексеевна, я вас столько лет знаю, вы такая симпатичная женщина — что же вы такой образ жизни ведете? Неужели у вас, кроме мужа, так-таки никого и нет? Я говорю: нет. На самом деле не было; чего я буду врать? А сама по себе думаю: но, может быть, и будет, если выживу...

Это «выживу» затянулось на четыре месяца. Когда я вышла из больницы, меня сразу стали слушать на бюро горкома по политучебе. Ташмагамбетова, понимаешь, хотела таким образом со мной покончить. До этого она и выдвигать меня пробовала, лишь бы с глаз долой. Как где место освободится, тут же мое имя всплывает и, конечно, не случайно. Даже директором драмтеатра она меня выдвинуть хотела! Я говорю: я от искусства далека, так что не надо. А тут решили воспользоваться моей болезнью. Меня четыре месяца не было — ну какое же могло быть комплектование сети в мое отсутствие? Начали обвинять меня в том, что не полностью заполнен университет марксизма-ленинизма. А вы, говорю, сначала объясните, с какого потолка брали для нас план комплектации. Где мы наберем сто человек? Надо же хоть иногда интересоваться нашими реальными возможностями, прежде чем спускать такие планы. Так что ж, ты думаешь, устраивает она после этого? Время от времени у нас раздают что-то вроде премиальных — мелкие такие дополнительные выплаты, которым, по-моему, даже и официального названия нет. Значит, всем выдают, а мне — шиш. Объясняют: Ташмагамбетова запросила количество дней, что я не работала в этом году, и вычеркнула меня из списка, как будто я ногу подвернула где-то на гулянке.

Ну, каково мне было? Да неужели, думаю, это я недавно на больничной койке анализировала свою жизнь и собиралась, если выживу, уделять себе внимание? Вот выжила — и что? Что изменилось? Опять надо мной издеваются, опять эти заседания, на которых сидишь и уже совсем ничего не видишь и не слышишь, как слепая и глухая. В такой момент подошел ко мне Сергеев. Наталья Алексеевна, что с вами? А я после операции очень похудела, лицо желтое; да, говорю, у меня, наверное, рак, а Ташмагамбетова еще ускорит. Он стал меня успокаивать, поддерживать. Я смотрю на него и вдруг думаю: взял бы он сейчас да позвал меня — и черт с ним, сегодня я, наверное, смогла бы, и будь что будет.

Перед Первым мая я дала ему очень серьезное, на мой взгляд, поручение. Решили мы ввести кой-какие новые элементы в убранство города: сделать светящиеся лозунги, освещение цветочное, звезды на зданиях. Он начал было артачиться, ссылаться на загруженность основной программой, как они все обычно: мы не можем, у нас силенок нет, вы же знаете наш завод. В какой-то степени он, конечно, был прав, это все так, а украшать город вы, говорю, все-таки будете, тем более вы, Леонид Иванович, вы же член бюро.

Проходит несколько дней, звонит: вы не могли бы на завод приехать — все готово. Я говорю: хорошо, заеду. Заехала, посмотрела, похвалила их. Там свита его за нами ходила, рабочие кругом, все нормально, официально. Потом он позвонил мне домой по этому же вопросу, что-то опять доложить хотел, а в конце поздравляет с наступающим праздником. Ну, что ж, спасибо, отвечаю, но до праздника еще несколько дней, и вы сможете, наверное, по-другому меня поздравить. Что значит «по-другому», я и сама не знала, просто так ляпнула да и все тут, ничего не имея в виду. Я уже и про тот момент забыла, когда первый раз что-то сдвинулось во мне в сторону греха. Это такое мимолетное было желание, что от него ничего не осталось, я бы и не вспомнила никогда, если бы не было того, что было потом, — всего этого продолжения.

В эти же дни был у нас пленум. После пленума наши мужики вдруг организованно куда-то идут. И все зовут меня: идемте, идемте с нами. Оказывается, Сергеев поменял машину и ведет весь президиум в бар (у нас есть бар «Жигули»), где уже накрыт стол в маленьком банкетном зале. Все, как видишь, с банкетами связано, не зря их запретили. Пришли мы туда, расселись, я одна среди мужиков. Это было привычное для меня дело, еще с комсомола, но на сей раз чувствую какую-то неловкость. И он, замечаю, тоже как-то скованно ведет себя со мной. Тут я еще вином плеснула на подол и платком вот так вытираю, а он говорит: давайте я — и начинает тереть. Я говорю: хо! кто же так вытирает! А он говорит: а как? Ну, по крайней мере уж надо было бы и снизу что-то подложить, ляпнула я и только потом поняла, что все это нескромно. Так со мной всегда. Он стал еще больше скованный, я даже отошла от него подальше, чтобы и самой себя свободнее чувствовать.

После бара все пошли провожать меня домой. У нас неосвещенный подъезд, так что все поднялись со мной на площадку. Начинают прощаться, кто-то в щеку чмокнул, и Сергеев потянулся тоже, но настолько робко... Чуть-чуть прикоснулся и отстранился. И уж больно приятно мне стало. Думаю: еще такими вещами не хватало меня колыхать! Ты понимаешь, так и подумала: еще не хватало — несмотря на всю приятность. Подумала как о несчастье, о беде, как о чем-то, что будет в дополнение не к чему-то хорошему, что у меня в жизни на тот период было, хотя ничего-то хорошего и не было, а к плохому.

Тридцатого апреля Сергеев приходит ко мне на работу с букетом цветов, поздравляет с наступающим праздником. Спасибо, говорю, это первый раз мужчина дарит мне цветы в такой обстановке, в кабинете. Поблагодарила, а сама себе думаю: эти цветы да тот поцелуй — да это все к чему ведет-то? Третьего вышла на работу, и мы сразу же встретились на совещании. В этот день вернулась из отпуска одна моя работница, была она на море и появилась на работе загоревшая, видно было, что там очень хорошо отдохнула, и все подтрунивали над ней: Людмила Андреевна, свой загар вы должны продемонстрировать нам полностью. Ну, я говорю: совещание кончится — пусть демонстрирует. Сергеев тоже говорит: поедем ее загар смотреть. Я: если она согласна, поедем, почему бы и нет! И мы поехали: я, эта моя работница Людка и он. Поехали просто в степь. Сергеев говорит: я знаю хорошие места. А я никуда дальше пионерских лагерей и не выезжала со времен комсомола. Приехали в Красный Яр. Там подснежников море, аромат. Солнце уже на закате, но тепло-тепло. Насчет загара — то все было, конечно, шуткой, никто и не думал, что Людмила в самом деле будет его демонстрировать. Выпили бутылку шампанского, нарвали подснежников и вернулись в город. Завозим домой Людку, остались вдвоем. Леонид говорит: а мне сегодня встречать друзей. Мне, конечно, неловко, что он вынужден был наши прихоти исполнять, возить нас, думал, наверное, что это быстро, а мы что-то засиделись, хохотали, потом это шампанское. На всех одна конфетка была... Он говорит: да ничего, еще есть время, давайте просто покатаемся. Поехали туда-сюда, потом вокруг города. Он говорит: знаете, мне совсем не хочется никаких друзей встречать и, в общем, никуда не хочется, не хочется с вами расставаться. Я говорю: и мне тоже! И мы уехали. Уехали опять просто в степь. А вид там такой, запах, я, конечно, одурела от всего этого...

Елки-палки! Что случилось, что я натворила! Я, конечно, пьяная домой приехала, не от вина пьяная, не от любви пьяная, а оттого, что та-

кое вот произошло. И с кем? Со мной! Все сразу стало другим, все переменилось. Я есть, и в то же время меня нет. Прежняя ушла, а та, что пришла,— мне еще совсем незнакомая особа. Я была сама себе новость, сама себе сплетня — представляешь? Но при том — ни грамма у меня чувства, что ли, раскаяния, совесть у меня не заговорила ни на минуту. Ах, как бы я раньше переживала: и перед женой его неудобно, и перед своим мужем, а тут — ни грамма. Знаешь, как должное! Я будто заслужила право на этот поступок — вот такое было чувство. Заслужила и довольна: никому не отдам! Мое право, а не ваше. Мое личное дело. Вот когда я по-настоящему говорила внутри себя всем подряд: не подходите, это не ваше дело, это — мое. А все еще, понимаешь, смехом. Думаю: а, было это одни раз — и черт с ним, и на этом все, и опять же кому какое дело.

В середине мая мне дали путевку в санаторий матери и ребенка. Улетая, я была совершенно спокойная. Страхов по тому поводу, будем мы с ним вместе или не будем, как все будет — никаких. Целый месяц купалась в море, гуляла с сыном, ничто меня особенно не колыхало. А Сергеев каждый день писал: плохо без тебя, сердце ноет постоянно, вспоминаю все наши встречи до мельчайших подробностей, целую твою фотографию, в райкоме смотрю в сторону твоей двери, проезжая мимо твоего дома, смотрю на твой балкон, все кажется, что увижу тебя... Мне было радостно и интересно получать эти письма, я читала их со спокойной совестью, как будто мне двадцать лет и ничто меня в моей жизни еще не связывает. В санатории было две-три женщины, с которыми я общалась, одна и спрашивает: это вы от мужа получаете письма каждый день? Она своего оставила дома, чтобы он приглядывал за дочкой, которую какой-то парень засыпал письмами. Да нет, говорю, не совсем от мужа, у меня случай наподобие того, что с вашей дочкой. Она улыбается: а сколько же у него деток? Двое, отвечаю, один в десятом, другой в третьем. Она качает головой, а я, вот веришь, не сразу и понимаю, что́ такое, почему она так. Под конец он писал по два, даже по три письма в день и все о том же: хочу к тебе, скажи, чем ты меня приворожила, не может же в сорок лет быть так, как у моего Сереги, который тут, кстати, химзавивку себе сделал, дурачиться начал.

Когда я вернулась, Сергеев встретил меня в аэропорту с цветами. Несмотря на то, что со мною был сын и приходилось на него оглядываться, оба мы буквально пылали, я не могла притронуться к своим щекам. Он привез нас домой, занес чемоданы и ушел. Валька мой ничего не заподозрил, но я поняла, что по крайней мере одно решение должна буду принять не откладывая. В ту же ночь я по-большевистски рубанула ему, что больше не хочу с ним жить, развожусь. И Леониду про этот разговор сказала. А ты, говорю, со своей стороны как хочешь. Он уезжал с женою к другу на юбилей в Караганду, я расстроилась: не хочу, чтобы ты с нею ехал! Он: не волнуйся, ничего такого не думай, она мне теперь чужая. Вернулся и рассказывает: ночевал в машине. Друзья отвели им комнату, постелили, а он им вдруг объявил, что будет спать в машине.

Через несколько дней звонит мне она, его жена. Этот первый ее звонок был нормальный. Позвонила и говорит: я вас очень прошу, сделайте все, чтобы он забыл вас, он никого в жизни не любил, и, видимо, тут произошло то, что, говорят, самое страшное,— когда человек полюбит после сорока. Я говорю: да что я могу, ничего у нас такого нет, что за причина вам волноваться? Но я же вижу, как он изменился, кричит она мне, я же знаю в конце концов его! Вы напрасно волнуетесь, отвечаю, я никакого повода ему не давала. Потом мне ее как-то жалко стало. Можете, говорю, не сомневаться, я не позволю себе ничего такого, что могло бы вызвать у вас тревогу. Вот я ей так сказала, а вечером случилось ЧП. Он позвонил мне, я беру трубку и слышу: родная, ну как ты там? Оказывается, эти слова у него вырвались прямо при ней! Она как подлетит к нему: кому это ты «родная» говоришь?! На следующий день он заходит ко мне, рассказывает про это ЧП, я ему сочувствую, даже смеюсь, вдруг он меня прерывает: давай поедем на водохранилище! Я перестала смеяться: поехали!

И так я еще раз нарушила зарок.

Но после этого сразу взяла себя в руки, думаю: к чему это все может привести?

А в душе знала другое. К чему бы это ни привело, так легко я от любви не откажусь.

Кому Сергеев не понравился с первого взгляда, так это Екатерине Васильевне, моей учительнице с пятого по десятый... Она специально пришла на какое-то городское мероприятие, где мы с ним были в президиуме, чтобы посмотреть на это мое увлечение. Посмотрела и звонит: Наталья, ужас какой! Как ты можешь! Я, конечно, тут же бегу к ней вся расстроенная: Екатерина Васильевна, вы просто его не знаете. Тогда она смахивает все со стола, раскладывает карты и начинает гадать мне на него. Она же по национальности алтайка, у них там это дело на широкую ногу было когда-то поставлено. Выстраивает карты в линии вдоль и поперек и докладывает, и докладывает, что́ они показывают, а я, открыв рот, слушаю. И тогда, на первом этапе, она мне сказала: Наталья, ты с ним долго не будешь, он человек, не способный к решению глобальных вопросов. Мне чем ее гаданья нравились — как сказку слушаешь. Натальюшка, не могу от тебя скрывать, что он к тебе со всей любовью и с желанием, но мне он, Наточка, несимпатичен. Так она заканчивает каждое гадание. Все равно, говорит, карты падают так, что ты будешь с Валькой, он от тебя никуда не уходит, он неотступно с тобой, это самый верный и преданный тебе человек, а этот твой Сергеев — нет, он хоть тебя и любит, и желает, а все равно он, Наточка, подлец. Ты посмотри: ведь он и эту никуда не девает, жинку-то. Вот валет червонный падает к нему, это сын его, это — ладно, я понимаю, но как же ты можешь, мразь такая, вот эту свою даму бубновую держать рядом с собой?! Красная вся сделается, сердится, кулачком по нему, по карте то есть, лупит, ярится, как настоящая старуха алтайка, смех берет и страшно. Тем не менее она меня понимала. Однажды говорит: Наталья, если тебе негде с ним встречаться, вот тебе ключ, ты же знаешь, у меня всегда свободно, есть телефон и все удобства. Доброжелателей с ключами у меня тьма была, да, только воспользуйся, некоторым это было бы на руку. Екатерину я, конечно, не имею в виду, это кристалл. Несмотря на свой зарок, я взяла у нее ключ...

В связи с этим зароком Сергеев стал как сам не свой, потерял себя, начал буквально преследовать меня. Я иду с работы — и он за мной, да не идет, а плетется, ничего не видит, смотрит, как ненормальный, мог часами бродить вокруг моего дома. И звонки, цветы, звонки, цветы... Соответственно и жена его, почувствовав критический момент, взялась за меня по-настоящему. Как ты сам понимаешь, мой телефон начал звонить не переставая. Они будто соревновались между собой. Будучи менее занятой, чаще прорывалась, естественно, она. Сначала я поднимала трубку через раз, потом — через два-три раза, потом — через десять, и все равно натыкалась на ее голос. Оскорбляла, выставляла она меня как хотела, сквернословила хуже последнего бродяги. Ну, а я тогда думаю: раз ты так, тогда и я снимаю с себя запрет, к чертовой матери все, буду жить, как люди живут, буду любить, пока любится.

И все закрутилось и завертелось.

Он был очень внимательный и нежный. Сам здоровый, на вид ничего в нем женственного, а вот — нежный. Я слышала, некоторые не любят, чтобы мужик был такой. Не знаю, что́ они имеют в виду. Наверное, что-то другое, не то, что я. А главное, он в отличие от других людей ничем меня не раздражал, я не видела в нем недостатков, хотя, конечно же, как и у всякого из нас, они были. Вот это самое интересное и удивительное — что, наконец, встретился человек, который совершенно меня не раздражал. И хотя я вначале искала предлоги для злости, для отвращения, чтобы не увлечься им, не потонуть в этой бездне, все-таки не могла найти раздражающих меня факторов.

Все, что раньше казалось главным для меня: высокая нравственность, пунктуальность в решении любого служебного или бытового вопроса и т. д. и т. п.,— потеряло всякий смысл. Я могла сказать дома, что уехала в совхоз, а уехать на субботу-воскресенье в лес, на речку с ним и там отключиться, начисто забыть, что где-то что-то и кто-то есть. Чаще всего мы встречались на водохранилище, оно в сорока километрах от города. Там камыши, много уток, раз мы видели даже залетевшего фламинго, а может быть, это нам показалось. То ли я себя открыла, то ли он меня открыл, только наши встречи меня все больше убеждали, что я нормальная жен-

щина, такая, как и все, с обычными слабостями, с желаниями, даже с какими-то врожденными умениями. В общем, все тут для меня стало ясно. Конечно, мы не говорили о том, что нас ждет, как все это будет расценено. Было хорошо, и все.

С первых дней этой нашей любви я стала читать много стихов, а те, которые задевали мою душу, выписывала в блокноты, их накопилась у меня целая стопа. Полистать их за тот период времени — можно точно выстроить схему, в каком когда состоянии я была. Стихи Тютчева, Блока, Казаковой, Тушновой, Друниной — все, казалось мне тогда, совпадали с моим настроением, поэтому я и рыдала над ними. Это, может быть, детство, но по крайней мере благодаря такому своему детству я открыла для себя Некрасова — открыла как поэта, у которого есть стихи на любовную тему, трогающие женщин, меня в частности. Читали стихи, говорили о том, как хорошо жить. Рассказывали каждый о себе. Мы же не знали про жизнь друг друга, только про работу. Что-то вспоминала я, а что-то он, биографические справки друг другу давали.

А вообще я тебе скажу: ничего в моей жизни не было лучшего, ничего не осталось, все я забыла и вычеркнула, кроме обобщенной радости этих грешных встреч. Да-да, обобщенная радость встреч! Если бы мне захотелось кому-то передать эту радость, сильно захотелось — дочке, например, да и всю эту мою глупую историю, если бы я могла, я бы сначала мысленно выкинула из головы все разговоры с ним, все, чем мы там занимались, а оставила бы те картинки природы, виды тех мест, ничего больше, только это. И через это дала бы понять, как было хорошо. И ведь это не каждому так хорошо бывает! Даже просто отключаться от всего — и это не всегда, не с каждым может случаться. Как мы наслаждались и рассветами, и закатами, и кострами в ночи! Было хорошо. Не знаю, как он, а я себя впервые человеком чувствовала, полным человеком. Потом, когда в анонимках пытались пришить мне пьяные оргии, я вспоминала эти наши встречи, озеро и думала: господи, что вы понимаете? И знаешь еще что? Я по-другому оценила то, что во всех, почти во всех таких персональных делах, в которых мне за мою жизнь приходилось разбираться, фигурировали оргии. Если не в письменных жалобах, так в разговорах тебе обрисуют все в подробностях и на первом месте будет голый танец на столе. И те, кто это обрисовывает, и те, кто верит, одним миром мазаны. Для них верх свободы — это оргия. Никто из них никогда не поверит, чтобы тот, кто повел себя так, как я, кто пошел против общественного мнения, не сделал бы последнего, самого главного, самого интересного шага. За что же, мол, тогда терпеть все неприятности?

При разборе персональных дел я стала не то что добрее — доброта тут ни при чем, а еще более внимательной и активной. Люди, наверное, чувствовали во мне что-то такое, что вызывало у них желание рассказать мне личное, всякие сокровенные истории, а их ведь столько вокруг! В горкоме партии работала завучетом простая пожилая женщина Галина Ивановна. Мы с нею были в давних хороших отношениях, но ни о чем личном, естественно, не разговаривали. А тут вдруг встречаемся, и она меня просит: Наталья Алексеевна, я вас умоляю, как-нибудь выделите мне время, каким образом, я не знаю, но чтобы мы поехали куда-нибудь за город, где я смогла бы увидеть лунную дорожку на воде. Оказывается, когда-то в юности она жила в деревне и любила деревенского парня. Встречались они, целовались, ходили на озеро, с тех пор ей и бредится лунная дорожка. А замуж вышла за другого. Да как вышла! Училась уже в институте и вот приехала домой на свадьбу родной сестры, старшей. Та выходила за моряка, прибывшего в отпуск к родителям. В общем, на побывку едет молодой моряк! И вот она, моя Галина Ивановна, с этим моряком сбегает прямо со свадьбы своей сестры! Они знали друг друга с детства, но до того вечера ни она его, как говорится, не видела, ни он ее. А тут — любовь с первого взгляда и такой побег. И была она после этого побега несчастна — несчастна всю жизнь. Он гулял, он пил, жил в свое удовольствие, в конце концов тяжело заболел и болеет уже двенадцать лет, последний год совсем прикован к постели, она ухаживает за ним, как за малым ребенком. За все надо платить, говорит Галина Ивановна. Любовь у нее прошла почти сразу, но того своего парня, первого, не могла забыть всю жизнь — лунная дорожка не давала.

К осени, когда и в степи, и на водохранилище уже не стало так тепло и красиво, в наши отношения незаметно вошла проблема будущего. Я всю жизнь главным считала работу. Быт, семья — все было на втором плане. А тут захотелось семьи, быта, какой-то надежности и простоты. Я еще ничего не требовала от Сергеева вслух, но он угадывал мои вопросы и претензии и отвечал на них своими высказываниями и действиями. Прежде всего старался всячески успокаивать мою ревность, при каждом случае показывал, что его супружеская жизнь тоже кончилась, что он теперь только и того, что находится с ненавистной мне Л. Д. под одной крышей. Несколько раз даже приглашал меня, в ее отсутствие, к себе домой, чтобы я, значит, составила себе правильное понятие, во что теперь превратилось их гнездо, и меньше мучилась неизвестностью. И однажды я-таки была с ним в их квартире, хотя до тех пор не представляла себе, что смогу войти в этот дом, где дух другой женщины; мысль об этом была для меня ужасной, я говорила ему об этом. А тут как-то иду, он в окно машет, зазывает к себе. Развернулась и зашла. Оказывается, он хотел проиграть Высоцкого. Ну, проиграл кое-что, я всплакнула, меня эти песни очень трогают, особенно та, где про рай в шалаше: соглашайся хоть на рай в шалаше, если терем занят. А тут терем свободный, и я как хозяйка в нем. Надо тебе сказать, женского духа в квартире не чувствовалось. Что-то не так складно, не так уютно, как в обычных домах, такое ощущение, что женщины тут не бывает, и я успокоилась. Смотрю на его кровать, вспоминаю, как он мне рассказывал: ты всегда рядом со мной, не засыпаю, пока не устрою твою голову к себе на плечо, а устроил — и тогда засыпаю с чувством, что все в порядке, ты рядом, вот тут дышишь. Такие были его фантазии. Ну, меня и потянуло на то, чтобы это хоть раз произошло наяву, я-таки прикорнула там возле него.

Что же дальше? Я считала, что у нас идет психологическая подготовка к решающему шагу, требующая, естественно, определенного времени. Мы не скрывались от людей, при встречах кидались друг к другу, невзирая на обстановку и присутствующих, ходили, ездили вместе, на совещаниях сидели рука в руку. Правда, иной раз мне подозревалось, что не скрываюсь больше я, чем он, — тут инициатива исходит от меня, а он откликается вынужденно, чтобы не ронять себя в моих глазах. В такие моменты и сам этот наш подготовительный период особенно тяжело действовал на нервы. Я начинала мечтать, как девочка: вот сейчас он подъедет к моему дому на машине, я в чем есть, без раздумий, выйду, и мы уедем куда глаза глядят, а потом все как-то станет на свои места. Помню, он был где-то в селе по своим шефским делам, вернулся ночью, звонит: что ты делаешь? Я, говорит, не могу, вот ехал, а в голове не дела, а одна ты, все время думал, чем ты занимаешься. Ну, я хоть на секунду заеду? — просится. Ну, заезжай, мужа нет дома. Заехал, поцеловал, посидел немного и уехал. Через какое-то время опять слышу — машина под окнами затормозила. Думаю: это он! Думаю: сорвусь сейчас в чем есть и уедем мы, и конец всему. Мне именно так хотелось поступить: мужа, детей, родных, друзей, работу — всех и вся бросить вот так сразу, а потом уже все расставлять по своим местам.

Так подошла годовщина нашей первой грешной встречи — той самой, в степи, среди подснежников. Это третье мая, день выходной, я дежурила по городу, а Сергеев — по своему заводу. Ну, все равно, не встретиться в этот день мы не можем. Я вообще проявляла большую заботу о том, чтобы у нас с ним были свои праздники и знаменательные даты, памятные места. Договорились хоть на минуту, а вырваться и где-нибудь уединиться. Я со своей стороны решаю: вот тут мы с тобой, дорогой, и поговорим. Подготовительный период надо как-то закруглять! Если мой Сергеев не созрел для кардинальных решений, так надо хотя бы прекратить обоюдное молчание, заговорить вслух о том, что до сих пор между нами только подразумевалось. Я уже не могла дальше жить без разговоров о нашем будущем. Все вещи надо в конце концов назвать своими именами, а то я подразумеваю одно, а он, может быть, подразумевает совсем другое или ничего не подразумевает, а только тянет время. Я человек действия, мне нужно, чтобы всякое дело не стояло на месте — продолжалось и разворачивалось.

Годовщина — повод самый удобный, им-то я и воспользуюсь, чтобы

подтолкнуть действие. Куда оно покатится от этого толчка — вперед, как мне хочется, в сторону или назад, сказать заранее не могу, но стоять на месте оно больше не будет, это я тебе, любимый, гарантирую. После обеда собираюсь и ухожу с дежурства, покидаю, так сказать, пост, оставляя за себя инструктора. Правда, перед тем объехала основные объекты: хлебозавод, электростанцию, водопровод, гормолзавод. И вот мы в квартире Екатерины Васильевны. Только мы зашли, только успел он преподнести мне подарок — игрушечную белую «Волгу» и открытку с высокими словами, раздается звонок в дверь. Я в недоумении. Он говорит: это, наверное, нас ищут. Кто? Или твоя, или моя сторона, говорит. Сидим, как в западне. Сидим час, сидим другой, выйти не можем: периодически звонок в дверь и молчание за дверью. Кто стоит на площадке, неизвестно. Наконец, я звоню одной своей подруге и говорю: я тебя попрошу, приезжай сюда, посмотри, кто под дверью, и со двора дай мне как-нибудь знать. Она приехала, посмотрела, звонит из автомата: это твой Черняк вас сторожит. Сидит на скамейке у подъезда, время от времени поднимается к вам на площадку и звонит, а Сергеева по всему городу разыскивают, у него на заводе какая-то авария, что-то там заливает. Я сразу соображаю: раз я дежурная по городу, значит, эта авария и меня касается. Говорю ему: все, давай выходить! Он мнется: ну, как, да что будет, ходит по квартире и зубами скрипит: бюрократизм проклятый, бюрократизм проклятый! Наконец, я говорю: при чем тут, слушай, бюрократизм! Мой Валька, что ли, бюрократ? Давай решать, что нам делать. В этом подъезде, на втором этаже, живет твой начальник цеха. Ты выходишь, спускаешься к нему, говоришь про аварию, берешь его с собой, и вы свободно идете на завод. Я остаюсь здесь. Через какое-то время в дверь в очередной раз позвонит Валька, я ему спокойно открою, он зайдет — я одна.

Так мы решили, и вот я открываю дверь его выпустить, он шагает за порог, оглядывается на меня, и я вижу ужас на его лице, это невозможно тебе передать, конец света — перед нами стоит мой Валька. Ну-ка, вернись, говорит он Сергееву, и входит. Так вот вы чем, подлые, тут занимаетесь! А я ему: ничем таким мы не занимались. И Леонид: прекрати оскорблять ее при мне. И пошло у них — то на «вы», то на «ты» друг друга называют, препираются. Тогда я говорю: хватит, кончайте базар, нас дела ждут. Валька говорит мне: никаких дел, пойдем сейчас к нему домой, и ты в присутствии его жены скажешь, как ты будешь вести себя дальше! Смех и горе, но я не очень-то и обижаюсь на него за эту глупость — человек расстроен. Ну, драться они не стали, оба руководители как-никак, хотя в какой-то момент и пришлось на них цыкнуть.

Мне бы тут трусить больше всех по моему-то положению в городе, дело ведь происходит уже на улице, кругом люди, все нас знают, слышат, а меня смех разбирает. Ну, представляешь: между двумя мужиками иду, как пленница. Дошли до нашего дома, я вошла со своим Черняком в подъезд, а Сергеев пошел на свой завод устранять аварию. Валька бледный весь, его трясет, хотел было продолжать выяснять отношения, а я: прекрати, не хватало еще при детях объясняться. Он замолчал, ушел, курит на кухне, обдумывает новость. До этого дня он ведь, хоть и давно я ему сказала, что жить с ним не буду, точно ничего не знал.

В общем, толчок действию был дан, да не такой, как я планировала.

Сразу после праздников ко мне заявляется Иван Петрович Бруздалов проводить со мной воспитательную работу. Это старый коммунист, из рабочих Сибири, начитанная личность, был начальником железной дороги в послевоенное время, железнодорожный генерал, три ордена Ленина. Такой дед. Аскет, конечно. Как в молодости, в двадцатые годы, лег на суконное одеяло и укрылся кожанкой, так до сих пор на этом одеяле и спит, а этой кожанкой укрывается. Тридцать лет ходил в кителях, один серый, другой синий, обтрепанные, засаленные прямо до черноты. Белый воротничок подошьет и пошел. Как-то Анна Федоровна, сестра его, переехавшая к нему после смерти его жены, говорит: Наталья Алексеевна, миленькая, помогите мне одеть его по-современному, ведь только вас он слушается. Он знает меня много лет, моя мать у него в управлении уборщицей работала. Я говорю: Иван Петрович, вы же везде ходите, в президиумах сидите, все на вас смотрят, скажут: что это еще за пугало? В общем, кое-как одели его, потом еще и телевизор заставили купить. Стыд и позор,

говорю: такой активный человек, все газеты читает, а телевидения для него не существует. Теперь, как после девяти ему позвонишь, сердится: занят, сижу программу «Время» смотрю, ты ж сама старика привязала. Смотрит и переживает: громких слов, говорит, много допускают, народу это не нравится.

Вы дразните общество, заявил он мне прямо. Если у вас пока ничего не решено, не надо афишировать ваших отношений. Я вспыхнула, как порох. Тогда он спрашивает: умом-то ты понимаешь, насколько это все пагубно? Понимаю, говорю, но у меня к вам есть свой вопрос: вы-то понимаете, что я не преступница? Понимаю, отвечает. Тогда, говорю, и общество должно понять, и не о чем тут больше разговаривать. Да нет, говорит он, разговаривать есть о чем, потому что общество вас не поймет. Тем хуже, говорю, для общества. Но это, считает он, то же самое, что сказать о грозе, которая на нас надвигается: тем хуже для грозы. Совсем без лицемерия, говорит, нельзя, лицемерие — это цемент, которым скрепляется любое общество. Значит, спрашиваю его, есть капиталистическое лицемерие и есть социалистическое? Да, говорит, было рабовладельческое, было феодальное, есть капиталистическое, народилось и социалистическое. Так-так, говорю, стало быть, будет и коммунистическое лицемерие? Надо ожидать, улыбается, и коммунистического, а как же? Пока есть общество, есть и лицемерие. Нет общества, нет и лицемерия.

Иван, говорю, Петрович, от кого я это слышу! Вы же все наши газеты читаете — и не только читаете, но и работаете с ними, вырезки подбираете нам, молодым и сравнительно молодым женщинам-руководителям! У него действительно их тысяча и одна знакомая — таких, как я, и он нас снабжает: тебе, Наталья, это, а тебе, Магавья, — это, прямо целые пачки вручает. Мне регулярно делал подборки по здравоохранению, народному образованию, политучебе. Ты же, говорит, все газеты не успеваешь читать, а я все читаю и для тебя зернышки рациональные подбираю. Потом, когда за меня чинуши взялись, я бросила клевать эти зернышки — в горле застревать стали, а он все надеется, каждый раз спрашивает: ну, переболела? Зимой тут как-то с лыжами зашла к ним, они чай сразу ставят. Он говорит своей сестре: слава богу, Наталья потихоньку излечивается, на лыжах уже ходит. И поглядывает, подмигивает мне на шкаф, где у него папки с вырезками. Я говорю: и не надейтесь, ничего не возьму. Он удивляется: как, и по коммунальному хозяйству не возьмешь? Это же вне политики. Ничего, говорю, не надо, Иван Петрович, я теперь ничего не читаю, кроме классики.

Вразумить меня ему все-таки не удалось, я стояла на своем: знаю, что совесть моя чиста, и этого мне пока достаточно.

Достаточно-то достаточно, но с разводом решила больше не тянуть. Валька мой тоже перестал сопротивляться, притих, приуныл, молча собрался и уехал к брату на Украину, так что суд был без него. Теперь собираюсь его вернуть, распишемся по новой. Вот он почти три года там жил и каждую неделю звонил, просился домой, говорил, что это для него ссылка. Я возвращаю его по двум причинам. Первая причина, что ему там негде жить. Вторая причина, что мне его просто жалко, как обездоленного человека. У нас с ним и началось с моего чувства жалости к нему, я за него поэтому и вышла, и до сих пор у меня сохранилось это чувство. Жалко мне его всегда. По-женски не скучаю, а по-человечески скучаю. Знаю, что́ он любит, сготовлю иной раз его блюдо, дети уплетают, а я себе думаю: а он где-то голодный, наверное, не поел ничего. Он любит такое все домашнее, особенно пельмени, потому что у него какая жизнь была — детдомовская, да притом в военное время.

Только когда осталась я одна с детьми (Татьяна уже кончала школу, Сашка был в третьем классе), состоялся долгожданный разговор с Сергеевым о нашем будущем. Вопреки моим опасениям будущее он сразу же нарисовал мне самое ясное и счастливое. Мы будем вместе, заявил он, едва я открыла рот. Оставалось только удивляться, почему он не говорил этого раньше, по своей инициативе... Чтобы быть вместе, нам придется уехать из города, а перед тем он должен подыскать себе работу. Место должно быть приличным, так как его дети, на которых он будет платить алименты, привыкли к достатку.

Теперь он свободно ходил ко мне в дом, мы для него стали вроде второй семьи. Дети мои к нему очень хорошо относились. С Сашкой он занимался фотографированием, брал его с собой на завод. Потом, когда мы расстались, я от своих детей ни звука упрека ни в свой адрес, ни в его не слышала. Они, надо отдать им должное, вели себя, как взрослые тактичные люди.

Мой развод послужил сигналом для вышестоящих партийных органов. Начали моих подчиненных приглашать по одному в горком и спрашивать, как обстоит со мной дело, кто что видел и слышал, брали письменные объяснения. Я думаю: что же это делается? Почему меня-то не спрашивают? Звоню первому секретарю горкома Осипову: Анатолий Петрович, у вас есть ко мне какие-то вопросы? Нет, отвечает. А почему тогда ваши люди моих подчиненных приглашают, какие-то объяснения с них берут? Ну, тебя-то, отвечает, это не касается. А кого касается? Ну, это в отношении Сергеева. Но, послушайте, рядом с Сергеевым звучит моя фамилия! Он повторяет: в общем, ты не нарывайся, тебя это не касается. Когда-то мы вместе работали в комсомоле, он — вторым секретарем горкома, а я — по школам. Мы называли его боцманом, потому что он служил на флоте, и на руке у него был выколот большой якорь — страшный вообще-то якорь, сплошное синее пятно. Ташмагамбетова не зря то и дело к нему пристает, чтобы вытравил, но он тактично посылает ее подальше: некогда, мол. Он молодец, он умный парень, хотел меня спасти и старался мне внушить, чтобы я своего имени к имени Сергеева не присоединяла, раз они этого не делают. Но у меня ведь как? Удила закушу и несу... или несусь — как правильно сказать?

Взяла да и собрала у себя всех заведующих отделами. Ребята, говорю, вас что интересует в моих отношениях с Сергеевым? Мне передают, что вы жалуетесь в горкоме, что Сергеев ко мне с букетами приезжает. Это, говорю, что, — на моей работе отражается и вы недовольны или вас это просто так в нервозность приводит? Они мне отвечают, что, может быть, где-то в коридоре кто-то из них даже и сказал — с восторгом сказал! — об этих букетах, но официально, в «объяснениях» ни один меня не выдал, все дудели в одну дуду: мы ничего не знаем, ничего не видели. Вот, говорю, и хорошо, давайте и на будущее договоримся: что вас будет интересовать, вы приходите ко мне и спрашивайте, но не выясняйте ничего за моей спиной и не распространяйте.

А после этого иду к Гусеву, секретарю обкома по промышленности. Это, оказывается, по его негласной команде была затеяна вся возня. Дело в том, что Гусев и Сергеев давно дружили семьями, причем больше через жен. Ему-то первому жена Сергеева, наверное, на правах дружбы и пожаловалась. Человек он еще молодой, не больше сорока, видный такой блондин, самый вежливый в областном руководстве и лучше всех одевается: костюмы на нем сидят, как на артисте, только из нагрудного кармана всегда выглядывает не платок, а краешек белой, из слоновой, говорят, кости логарифмической линеечки. На совещаниях прежде чем назвать ту или иную цифру, вынимает эту линеечку и вроде подсчитывает. Такой, значит, высший математик у нас в области. Сначала он угощает меня чаем. Это у него заведено, для гостей обыкновенные чашки и блюдца, а сам пользуется собственным серебряным прибором: темный такой подстаканник, подносик и ложечка. Они достались ему, говорят, от бабушки, которая была то ли дворянка, то ли сибирская купчиха, точно не знаю. Ну, отхлебнула я чаю — у вас, спрашиваю, есть официальная жалоба жены Сергеева, в которой фигурирует мое имя? Нет, отвечает. А почему вы дали команду горкому начинать следствие по моему делу? Считаю это распространением сплетни и злоупотреблением служебным положением. Ну, говорит, это дело поправимое. Если остановка только за официальным заявлением жены Сергеева, то оно, судя по вашему, Наталья Алексеевна, настроению, скоро последует. Вы собираетесь, догадываюсь, организовать на меня жалобу? Думаю, отвечает, что не придется этого делать: вы, кажется, не хотите оставлять эту семью в покое и таким образом сами доведете Людмилу Дмитриевну до решительных мер.

Разговор с Гусевым меня не то что отрезвил, но помог задуматься: а действительно, какое же у меня настроение? В каком состоянии наши дела, мой любимый? До какой точки дошло действие?

А ни до какой! Действие не двигалось. Сергеев продолжал строить планы, которые все больше напоминали мне воздушные замки. Письма, которые он якобы разослал своим друзьям, или оставались без ответа, или приносили неблагоприятные результаты. Более того, на каком-то их отраслевом совещании в Свердловске над ним посмеялись в кулуарах. Директора заводов и объединений выдерживают на своих постах в среднем четыре-пять лет, не больше, — не знаю, известно ли тебе это. Их выводят из строя инфаркты и инсульты. А ты, говорят, что же, на бабе погореть собрался? Это, мол, то же самое, как с передовой уйти не по ранению, а из-за чего-то вроде геморроя. В наше время солидный человек должен гореть, если уж гореть, на срыве плана, финансовых нарушениях, на превышении власти, в крайнем случае — на строительстве дачи. И знаешь, что-то мне не понравилось, как он об этом рассказывал по возвращении. Чувствовался то ли скрытый упрек в мой адрес, то ли, наоборот, хвастовство, смотри, мол, на что ради тебя иду.

Я стала настораживаться.

У него было одно словечко — ты будешь над ним смеяться и смейся, — а он так с этим словечком ко мне обращался, что я не знаю, что со мной делалось, на все была готова и все могла простить: «лапуля». Это я-то, представляешь? И с ним я-таки и была лапуля, можешь смеяться сколько тебе угодно. А тут вдруг слышу от него однажды, что я его лапуля, а он — мой дезертир. Это мне еще больше не понравилось. А если еще учесть, как меня терзало то, что он и после моего развода продолжал жить в семье, оставался официальным, а может быть, и действительным — поди проверь! — мужем своей избранницы Л. Д. Дошло до того, что однажды я сказала ему, чтобы он перестал к нам ходить. Это было кардинальное событие. Если бы мне сказали год назад, что будет такое положение, при котором он сможет свободно приходить ко мне в дом, а я не буду пускать его, — не поверила бы. Но к чему подошло, к тому подошло. Я стала запрещать ему звонить, искать встреч со мной...

А все равно! Как только увижу, что он стоит где-нибудь на углу, ждет меня — и я другая, прежняя, какие там упреки! Все забыто, снова все как и было. Я ждала этих встреч, как жизни, они и были моя жизнь, между ними не было ничего, мертвое пространство. И вот то, что эти встречи — быть им или не быть — зависели не от меня, а все решал он: захочет — не захочет, сможет — не сможет, вырвется — не вырвется, вот это было для меня ужасно, эта зависимость была невыносимой. И это тем более, что я же сама своими запретами создавала ему это удобство. У него всегда теперь был благовидный предлог встречаться со мной не так часто, как раньше. Меня охватывал такой гнев, такое унижение, что я, как только он уходил, хваталась за перо и писала ему письмо за письмом. Не вздумай считать, что осчастливливаешь меня этими встречами, этими свиданиями, не мечтай, что, кидая мне эти подачки, совершаешь благородное дело, не смей смотреть на меня, как на бездомную собачонку, которую приходится время от времени обогревать.

Я собирала все силы, чтобы хоть на бумаге говорить ему, любимому, что презираю его за предательство, трусость и двуликость, что я решила оставить его в том обывательском болоте, где он погряз, где тепло и покойно, где сытно и все просто, где чувства — обуза. Я называла его предметом общего пользования. Когда-то, в самом начале, он признался мне, что Л. Д. ему не противна. Меня это как обожгло и продолжало жечь непрерывно. Я то и дело припоминала ему эти его бесчеловечные слова и подчеркивала в своих письмах принципиальную разницу между «не противна» и «желанна», «неповторима», «единственна», какой являлась для него я. Твоя подруга не должна думать, что она чище и выше меня, все равно моей высоты ей никогда не достичь! Я повторяла и повторяла, что искренность и преданность — вот чем я дорожу и вот чего хочу от него, потому что все остальное при желании могла бы иметь и раньше, и теперь в любой момент.

Своих писем я ему, конечно, не отправляла.

Он тоже мне писал, но, кажется, все свои письма отправлял. Неотправленные были бы для него, по домашним условиям, опасны. Судя по этим письмам, его больше всего волновало, что в моих глазах он выглядел непорядочным человеком. Изо всех сил старался объясниться, оправ-

даться, напирал на общество. Общество, мол, жестоко. Чтобы бросить людям вызов, нужно огромное мужество, которого он сейчас не имеет, потому и пустил все на самотек. Совесть есть, а мужества не хватает — вот какого приговора себе просил он от меня. Но и то: просил не ругать его за бесхребетный характер и в то же время занимался самобичеванием: я противен сам себе, эгоист до мозга костей, но как хочется быть искренним, честным не для показа. Надеялся: может быть, все это еще придет, надо только очень хотеть быть мужественным и честным, надеяться и ждать — и так далее, и тому подобное. Боже, как меня это бесило! Ничего не делать — только хотеть и ждать. И чего ждать! Мужества, честности...

Дед Бруздалов тем временем внимательно следил по моим рассказам, да и по разговорам в городе за нашими делами. Он с беспокойством говорил, что добром это для нас не кончится — скоро за нас возьмутся как следует. Из своих походов по городу, по знакомым в аппарате он вынес мнение о такой подоплеке, которая мне не могла прийти в голову. Оказывается, секретарь обкома Гусев давно хочет убрать Сергеева с поста директора завода, да не знает, как. Убирать прямо, от своего имени, ему неудобно из-за личных дружеских отношений. Рвать эти отношения ему не хочется, нет оснований, а работой завода, деятельностью Сергеева по руководству заводом он недоволен, прикинул на своей линеечке, что показатели не те, и пребывает, можно сказать, в растерянности. Вернее, пребывал, пока до него не дошли сведения о нашем романе. А как дошли, он и поспешил дать им ход. Гусев не ханжа, ему плевать, у кого с кем шурымуры, главное — вырвать завод из прорыва.

Когда Бруздалов мне все это излагал, я дрожала и готова была без раздумий бежать к Гусеву, чтоб все ему высказать. Дед меня останавливал. Во-первых, говорит, ты ничего не докажешь, да мы с тобой точно и не знаем, что́ правда, что́ — домыслы, а во-вторых, дела на заводе ведь действительно идут неважно и надо их поправлять. Дела на заводе — вот главное звено, за которое можно вытянуть всю цепь. У Бруздалова был целый план на этот счет, он выработал для Сергеева такую схему поведения, которая могла бы позволить решить две задачи: поднять завод и сбить пену, поднявшуюся вокруг нас. Леонид должен был по этой схеме подать заявление, чтобы его вывели из бюро райкома. Предлог очень солидный — предприятие не выполняет план, директору надо больше заниматься производством, а не тратить время на заседания. Его заявление наверняка удовлетворят, считал дед, — и будет по уму. И вы не будете так часто видеться, как до сих пор, говорил он мне, это хорошо, перестанете дразнить людей, и они, глядишь, быстрее вас забудут.

Я передала Леониду этот план. Он не сказал ни да, ни нет, надеялся, наверное, что все еще обойдется, все образуется. Сейчас думаю: почему я не стала давить на него? Видимо, потому, что ждала от него более кардинального решения, тоже надеялась, только на другое, на то, что мы с ним все-таки уедем. Меня, понимаешь, наши карьерные дела волновали так мало, как и быт. Для меня было важно, чтобы мы быстрее соединились. Если мы соединимся, то какое значение будет иметь то, куда мы уедем и как там устроимся?

В январе моего Сергеева стали слушать на бюро обкома по соцсоревнованию. Гусев ковал железо, пока горячо. Соцсоревнование — такой вопрос, на котором можно завалить любого, ты сам понимаешь. Выдавали ему там сильно, и такой подтекст шел, что это не только за плохую организацию соревнования, но и за ошибки в личной жизни. В конце сказали прямо: висите на волоске, через месяц-другой вернемся к вашему вопросу и если не сделаете выводов — снимем. Снимем за дела завода. Он пришел ко мне сам не свой. Бегает по кабинету и повторяет: через месяц, сказали, за дела завода снимем, за дела завода снимем. И, как всегда, — проклятый бюрократизм, проклятый бюрократизм! А про то, что и меня, между прочим, могут снять, — ни слова...

Ах, какое письмо я ему написала, когда все это осознала, какое письмо! «Я оказалась в роли цыпленка, которого раздавило колесо жизненной телеги, колесо телеги, в которой восседали ты и твоя Л. Д. Живите, радуйтесь свету, солнцу, закатам и рассветам, лесу, морю, цветам — всему, что нас окружает, но знай, родной, что и в шелесте листвы, и в порывах ветра

ты всегда будешь слышать стон и боль моего сердца, моей поруганной чести!»

Он ответил сразу. «В душе у меня борются два чувства — долг и любовь. И ни одному из них я не даю вырваться наружу. Я мучаюсь сам, мучаю семью, мучаю женщину, которая слишком много для меня значит. Я недостаточно плохой и недостаточно хороший. Это — худшее, что может быть».

На следующий день меня вызвал Осипов. Вызвал он меня к началу рабочего дня, пришли мы одновременно, минут без десяти девять, встретились у подъезда. Он невысокий, уже толстоват, в молодости ходил сильно вразвалку, теперь — чуть-чуть, пообтесался. На Дальнем Востоке, где служил, у него была какая-то история, там от него остался у какой-то портовой девочки ребенок, сын. Кому надо, это всегда знали, он от ребенка не отказывался, помогал ему, так что на продвижении Осипова это не отражалось. Входим в его кабинет, он снимает галстук, бросает его в сейф, а из сейфа берет какую-то бумажку с резолюциями: это, говорит, официальное письмо жены Сергеева с обвинениями в твой адрес. Письмо переслано из обкома. Какой будет дан ему ход, зависит от тебя, Наталья Алексеевна. Хорошо, говорю. Это всегда хорошо, если знаешь, что от тебя хоть что-то зависит. Наталья Алексеевна, начинает он, надо тебе перейти на другую работу. Я говорю: с удовольствием, куда? В обком профсоюза работников коммунального хозяйства. У меня так все и опустилось. Я говорю: только не профсоюзы. Еще мне этого не хватало. Я же работать привыкла, я еще работать могу. А от Ташмагамбетовой давно готова уйти — столько она мне здоровья угробила. Так что в любое место, но — куда я захочу. Устроюсь сама. Пойду учительницей, у меня есть образование, и не надо меня трудоустраивать. Но он настаивает: нет, ты пойдешь туда, куда тебе сказано.

Осипов сильно жалел меня. В конце концов, мол, дело это житейское, люди, бывает, питают друг к другу симпатию или даже любовь, так что́ — нельзя разве третью точку найти, где можно встречаться так, что знать никто не будет? Зачем, мол, было демонстрировать свои чувства и отношения? А я говорю: а если это любовь? Когда Черняк одну только работу знала, тогда никто не интересовался: а как у нее дома, как она жизнь свою личную строит? Никого это не интересовало. А тут увидели, что засветились у нее глаза — ах, так? Надо рубануть так, чтобы она поникла навеки, в коммунальное хозяйство ее кинуть. Да у них, говорю, дома все время скандалы, поэтому он — от добра добра не ищут — и потянулся ко мне, наверное. Осипов отвечает: это не наш вопрос, как у них там дома, Сергеев нам не жалуется, не докладывает. Если действительно плохо, так он должен был сначала решить этот вопрос, а потом уже ко второму приступать. Я говорю: ну разве это все в рамки вгонишь? Вот так случилось. Никто этого не ожидал, ни я, ни он, никто не имел опыта — я, во всяком случае, точно не имела.

В таком случае надо было тихо все делать, пока не определились бы со своими семьями — стоит Осипов на своем. Правильно, говорю, я сейчас могу десятки человек назвать из наших, из руководящих работников, которые имеют любовниц, и никто их не преследует, потому что все шито-крыто. Единственное, говорю, что меня все время беспокоит, чего я боюсь, — это, хоть он и клянется: люблю тебя, а пройдет время, и он останется с нею и будут они идти рука об руку по городу, а люди будут смеяться надо мною, — вот этого я больше всего боюсь. А Осипов говорит: а ты как хотела — чтобы он, значит, даже из семьи ушел? Я говорю: ну, если он останется, я не хотела бы пережить такой позор. В общем, поверь, говорит, Наталья Алексеевна, это не моя инициатива, не моя воля, но ты должна туда пойти, в этот профсоюз. Я на сто процентов уверен, что ты ни в чем не виновата, не за что тебя наказывать, но если мне сегодня скажут забрать у тебя партбилет, я это сделаю. Понимаешь? Он свой парень, разговор мы вели свободный, я его не стеснялась — даже всплакнула раз, но когда он сказал, что и партбилет, если прикажут, заберет, я говорю: мне с тобой не о чем больше разговаривать. Дверью хлопнула и ушла.

На следующий день меня опять вызывают в горком, теперь уже в парткомиссию. Мои заведующие отделами провожают меня, как на казнь. Один советует: Наталья Алексеевна, помните, как у Сергея Есенина

написано: только знаешь, пошли ты их туда-то! Ну, говорю, Дима — этого парня Димой звали, веселый и, главное, работящий парень, — я так не могу. Кого пошлешь? Это же не отдельное лицо и даже не группа лиц, а система. Он говорит: а еще, Наталья Алексеевна, я вас о чем прошу — не сознавайтесь; меня бы в постели с бабой застали, я бы и тогда не признался, а на вас же у них ничего нет, никаких материалов, никаких доказательств.

В парткомиссии мне вручают вопросник — что хотят от меня знать. Чтобы я, значит, ответила на каждый вопрос. Раз сказала вчера Осипову, что не пойду в профсоюзы, мое дело выносится на бюро горкома. Будет персональное дело. Сидят передо мной председатель парткомиссии Рытов, мы с ним когда-то инструкторами в горкоме работали, и Галина Ивановна. Дали мне почитать и заявление жены Сергеева. Она пишет: прошу оградить меня от посягательств на мою семью со стороны такой-то, которая постоянно звонит, требует встреч с моим мужем, разъезжает с ним по городу. Вопросы на бумажке заготовлены с опорой на это письмо: часто ли я звоню ему по его домашнему телефону, была ли я там-то на новоселье с ним вместе, действительно ли пользуюсь его машиной? Наконец: носит ли он мне какие-то подарки, цветы или еще что? Мне не надо было бы на эти пустяковые вопросы отвечать, и они ничего не смогли бы сделать. Но я все же дала объяснение на каждый вопрос, письменное. Да, пользовалась его машиной, потому что моя служебная была не на ходу. Да, приносил он иногда цветы, приносил, я воспринимала это как должное, мне было приятно, и вообще, кажется, никого из мужчин это еще не сделало хуже. Из этого моего объяснения много можно почерпнуть? Если бы они прямо спросили меня о главном, письменно спросили бы — устно не считается, я бы, наверное, ответила честно. Но прямо они не спрашивали, щадили меня. Под конец, уже неофициально, я им говорю то, что и Осипову: что ж, пусть будет персональное дело, пусть будет. Если за любовь судят, исключают из партии, давайте судите, исключайте. Кроме этой любви, других прегрешений у меня нет. Галина Ивановна после этих слов моих даже заплакала. В ее глазах я всегда была величина, а тут видит, что судьба у меня обычная, судьба многих женщин, честных женщин, которые полюбят, а потом страдают от общества.

После меня в парткомиссию должны были вызвать Сергеева. Он это понимал и готовился, только совсем не так, как я от него, несмотря ни на что, продолжала ожидать. Вечером бросил мне в почтовый ящик письмо. В данный момент он, видишь ли, недостоин быть ни с семьей, ни с любимой, то есть со мной. Выход один — оставить в покое и семью, и любимую. Ему надо самому разобраться в своей душе, пожить одному, а может быть, и дальше жить одному. Одиночество — единственный для него выход. Оно подскажет правильное решение. Представляешь, какой хитрец? Решил уехать от всех своих баб! Но он и на это оказался неспособным, в чем я и не сомневалась.

Утром пришел советоваться, как себя вести, когда его вызовут.

Боже, как мне надо было, чтобы он понимал, что не со мной об этом советоваться! Как мне надо было, чтобы он громко, официально, на бюро или в парткомиссии, сказал: я люблю ее, мы любим друг друга — и делайте с нами что хотите! Я-то сказала бы, я чувствовала себя способной сказать, но не могла, потому что знала: меня не так поймут, я ведь женщина, а для них это имеет значение. Меня это буквально разрывало, такое унижение! Почему ему можно, а мне, в глазах общества, нельзя? Я не такой же человек? Второй сорт? Почему он, зная, что его, как мужчину, не только правильно поймут, но и дадут ему высокую, хотя и неофициальную оценку, не пользуется своим преимуществом? Неужели только потому, что боится начальства и жены? Неужели только потому, что хочет уйти от наказания по обеим линиям — и по служебно-партийной, и по домашней?

У меня за наше время скопилось много подарков от него. Из каждой командировки он что-нибудь привозил. Был на Урале — привез одну вещь, что-то вроде игрушечного надгробия: плитка красноватого мрамора на черной мраморной подставке. Один угол плитки отбит, специально так сделано. Я ему говорила: ты мне готовый памятник привез. Вот так и моя жизнь надломлена, сохраню эту вещь и детям накажу, чтоб, как умру, поставили мне такой камень на могилу, только, конечно, большего размера. А в центре этой плитки вклеила свою маленькую фотографию. Ну и другие были подарки, все такие же, сувенирного направления, дорогих я от него не брала, за исключением одного раза, когда он купил красную детскую коляску для Татьяниной девочки, то есть моей внучки. Вот я и строила такой план моей мести Сергееву, если он окончательно убедит меня в своей неспособности решать что-либо кардинальное. Взять эту коляску, сложить в нее все его подарки и письма — все-все, кроме цветов, потому что цветов не хранила, и собственноручно отвезти ему на дом, его жене. Представляла, как позвоню в дверь, а она откроет — и я вкатываю эту коляску со всеми его письмами, со всем добром. Меня Магавья Халитова отговорила. Это, говорит, будет подло. Как бы он себя ни повел, не делай этого никогда. А вдруг у него все искренне было, единственный раз в жизни, неповторимое чувство — и ты оскорбишь не его, а это чувство, а оно же святое.

В общем, что́ бы ни было у меня на сердце и на уме, совет я своему Сергееву дала честный. Как в юридической консультации! Я сказала: ни за что не признаваться в главном. Я слишком хорошо знаю эту систему, сама в парткомиссии десять лет была. Если человек признает обвинения, то снисхождения ему не будет, наоборот, стопчут. Сергеев так и сделал. На вопрос, как ко мне относится, написал: с уважением, то есть фактически все отрицал. Галина Ивановна его очень осуждала: он, подлец, от своей любви отказался, предал вас. Я говорю: Галина Ивановна, я ведь тоже отказалась! Она отвечает: ну, вы только письменно отказались, а устно-то перед нами-то вы его не предали.

В тот же день, после доклада председателя парткомиссии о встрече со мной, Осипов звонит Магавье Халитовой и говорит ей про меня: ты ее подруга, только ты можешь ее спасти, дана команда не останавливаться перед исключением из партии, раз она не хочет уйти подобру-поздорову в профсоюз. Вовлекут массу людей, начнут изучать все детали, кончится все очень плохо. Магавья приезжает ко мне на работу, и отправляемся мы с нею к деду Бруздалову. Приходим, рассказываем. Дед сидит, слушает и, как всегда, карандашом по столу постукивает. А мы с ней перетираем мои дела. Я ж тебе говорил, Наталья, что не поймут эту вашу любовь, — это дед наконец подает голос. А я говорю: вот я, Иван Петрович, все время думаю, ну, неужели, если пойти на самый верх и все рассказать, — неужели не поймут, не прекратят все эти преследования? Бруздалов такой опытный общественник — уж он-то мог бы, думала я, посодействовать мне в моем деле. Говорю ему прямо: в конце концов, Иван Петрович, вы помогли бы нам! А он говорит: ты думаешь, я не пробовал, не ходил? Я ходил ко всем — и к Осипову, и к Гусеву, и повыше Осипова с Гусевым товарищей беспокоил, да что толку? Сейчас на руководящих местах много людей, которые не только не привыкли отстаивать свои мнения, но даже не хотят их иметь. Они действуют так, как им прикажут, или, если нет приказа, поступают по обычаю. А обычай — это тоже своего рода приказ, подчас даже больше, чем приказ.

Так он говорил, говорил, а потом вдруг завелся: ты тоже хороша — и такие, как ты. То, что ты не желаешь считаться с обществом, с людьми, есть с твоей стороны самое настоящее высокомерие. Не выбирают они нас — вот мы их и не учитываем, как те древние римские женщины, которые не стеснялись раздеваться в присутствии рабов. В капиталистическом обществе, говорит, если бы я была политическим деятелем аналогичного масштаба, меня прогнали бы еще быстрее, чем у нас. Причем с шумом-треском в печати. Так что я должна быть еще довольна, что здесь мою историю не пустят в газеты. Тут я не выдержала: знаете что, Иван Петрович? Мало ли что сделали бы со мной там! Это меня не интересует, я ведь не там, а здесь, в нашей системе. Бруздалов не соглашается: система, говорит, системой, а есть еще жизнь с ее общими законами. Всякий руководитель, хоть на заре человечества, хоть сейчас, обязан знать, до чего люди доросли, а до чего не доросли. Иногда учитывать предрассудки надо особенно скрупулезно. Нет, отвечаю, я, Иван Петрович, не приспособленка. А он мне на это: в том-то и беда! Тебе, Наташа, никогда не казалось, что порой ты требуешь от людей того, чего они даже понять

пока не могут? Гнешь их и кромсаешь по живому, хочешь, чтобы они прыгали выше головы...

Слушала я его, слушала и начала в конце концов злиться и обижаться. Ладно, говорю, я не демократка, меня по-настоящему не выбирают, поэтому мне и не нужен авторитет в низах. Ладно! Только и в ваших рекомендациях что-то не очень много демократии. В личной жизни не высовываться точно так же, как и в общественной. Бруздалов подумал и переспрашивает: не высовываться? Да, отвечаю, в личной жизни не высовываться, как и в общественной, — вот суть ваших слов. Что́ это у вас за идейность, что за вера, если вы даете те же рекомендации, что и какая-нибудь Ташмагамбетова — этот бай в юбке.

Он думал-думал, молчал-молчал, потом предлагает: девчата, может быть, вы чего-нибудь выпьете? У меня, правда, ничего нет, кроме спирта, который выписан для уколов как диабетчику. Мы говорим: спирт так спирт. Он развел нам по капле. Анна Федоровна, сестра его (он диабетчик, а она гипертоник), тоже с нами пригубила. Сидит, плачет бедная, ей меня жалко. Она плачет, а Иван Петрович все обдумывает мой вопрос. Потом говорит: вера-то моя, Наташа, самостоятельная, я самостоятельно проливал за нее кровь, а мысль, может быть, и не совсем самостоятельная, но разбираться в этом поздно, не хватает знаний, нет сил.

Вышли мы от деда, дождь хлещет, идем под этим дождем, я плачу, а Магавья меня уговаривает: не надо тебе персонального дела, начнут ковыряться, начнут трясти его, тебя, исключат обоих из партии. Если действительно у вас чувство, ты огради хоть Сергеева от того, чтобы сейчас это все разбирали, себя принеси в жертву, а он директор завода, так пусть так и работает — ну что он, в самом деле, будет из-за тебя дезертиром. Дезертиром? Когда она сказала это слово, я как на камень налетела. Он, оказывается, не только со мной обсуждает свое положение! Он вдобавок ко всему еще и болтун, у него есть какой-то свой круг, из которого по всему городу волны расходятся...

Ах, какое письмо я ему написала той же ночью! «Вот так, самый дорогой и любимый, я все решила. Мои силы на исходе, хочу с тобой расстаться. Мне будет трудно до конца дней, раньше я ведь не знала, как можно было бы жить с любимым и любящим, как можно было бы радоваться жизни, а теперь буду знать. Но что сделаешь, если зло побеждает добро, если коварство сильнее любви». Кончила письмо и позвонила Магавье: передай, что я даю согласие. Семью его разрушить не остановилась бы — там никакой семьи давно нет, а карьеру портить не хочу, пусть двигается. Магавья рада: молодец, я теперь уже и не засну сегодня, тебя поймут в активе, ты свое имя подтвердила!. Конечно, говорю, поймут, вы же там все карьеристы, для вас ничего дороже нет, для вас это обычное дело — ради карьеры от своего счастья отказываться.

Утром вышла на работу, мне звонок: Наталья Алексеевна, в десять пленум в обкоме профсоюза работников коммунального хозяйства. Спешили, боялись, что передумаю. Приезжаю — меня избрали. Секретарем... Я настолько не готова была к этому переходу, такой унизительной показалась мне новая работа, что я сразу же заболела. Как увидела кипы конвертов, которые надо запечатывать и надписывать, да журналы входящих-исходящих бумаг, думаю: да что же это такое? Стоило получать два высших образования, кончать пединститут и ВПШ, чтобы сидеть в ворохе этих конвертов, этих бумаг! Ну, ладно, зато мне обещали, что с моим Сергеевым теперь будет все в порядке, его оставят в покое. И хоть и увезли меня в тот же день с сердечным приступом, душевное состояние было терпимым. Не девочка, видишь, а поверила...

Буквально через несколько дней опять начали его приглашать в горком, брать объяснения, снимать показания. Обвинения те же: бабник, завалил дела на заводе. Создали комиссию, стали углубленно копаться в делах завода, развернули подготовку персонального дела. Подробностей до меня доходило мало, потому что я лежала в больнице. Ну, финал такой: разобрав персональное дело Сергеева, ему объявляют строгий выговор за неправильное поведение в быту, вызвавшее жалобу жены. Мою фамилию почти не упоминали, только один раз его спросили, какие у него отношения со мной. И, что сильно мужикам не понравилось, особенно Бруздалову, он ответил, как я его один раз уже учила: ну, самые хорошие, дружеские отношения. Нигде ни разу не смог по-мужски, твердо сказать то, что обязан был, по их мнению, сказать... В августе он дал повод для последнего оргвывода: не отправил на уборку урожая двух человек комбайнерами из сказанных десяти. На собрании городского партийного актива Осипов говорит: есть у нас отдельные руководители, у которых на первом плане личная жизнь, личные вопросы, а то, что им положено, не делают, — и его фамилию называет. Потом добавляет: с ним, правда, все уже ясно, за одно, то есть за поведение в быту, он уже получил взыскание, а теперь за неотправку комбайнеров будет освобожден от работы. А Сергеев еще ничего не знает, на собрании его не было. Вечером ему звонят приятели: вот так и так про тебя говорилось. Все. И на следующий день его освобождают от занимаемой должности.

Итак, со своих постов мы с ним сняты, но членами бюро райкома еще остаемся, поскольку вывести нас может только пленум. И в конце сентября пленум собирается. Меня там нет, не пригласили, хотя обязаны были, но это, может, и хорошо, что не пригласили, щадили все-таки меня, да я и сама не пошла бы, а если бы и пошла, то не пережила бы позора. И Леониду говорю: не вздумай идти, будешь ужасно себя чувствовать. Он меня послушался и не пошел. Его везде разыскивают, посылают гонцов, те возвращаются: не можем найти. Пленум уже в разгаре, а Ташмагамбетова, представлявшая там обком, все ждет, оттягивает наш вопрос, надеется, что Сергеев еще появится, чтобы принять свой и мой позор. Но я сорвала ей этот план.

Я до последнего момента думала: все-таки поймут. Поймут чувства человека. А меня не поняли. Я по себе мерила. Я ведь других понимала, в моей практике не раз бывали случаи, когда судьбы, подобные моей судьбе, зависели от меня процентов на девяносто, если не на сто, и я, сколько могла, защищала людей, помогала им, старалась справедливо рассудить. А меня не поняли.

Из письма Н. А. Черняк автору

Может быть, потому, что изложенные факты были со мной, описание не воспринимается мною так, как было на самом деле. У меня такое ощущение, что все время читаешь не сам текст, не сами события и переживания, а подтекст, то, что под событиями и переживаниями. Подтекст же показывает этакое грубое мурло рассказчицы, что ей не только не быть партийным секретарем, идеологом, любящей женщиной, а я даже не знаю, кем. Циничная, грубая, необузданная в страстях, ленивая в работе баба, такая, как была у нас во дворе тетя Таня-косая, малярша, которой по пьянке сожитель отрубил голову.

Дело не в том, что мне хочется выглядеть лучше, но ты все пропустил через свое отношение к партийной работе и к любви. Ведь для тебя и то, и другое не существует. Ты никогда не считал мою работу серьезным делом, а через это и всю мою жизнь. Естественно, ты не понял мой рассказ, не передал, не смог передать той большой, напряженной, очень ответственной, интересной (во многом!) работы, которая у меня была. Так я к ней относилась, так я ее строила, несмотря на избитость отдельных форм и методов. Но я искала интересное и находила. Жила этим. У меня же другого ничего не было.

За одно тебе благодарна. Своим грубым, насмешливым расспросом ты помогал мне смотреть на себя со стороны, а это же самое трудное. Иначе я тебе ничего бы не рассказала — плакала бы все время и только. А мой плач был бы тебе неприятен. Ты ведь на это намекнул, когда сказал в самом начале, что в женских слезах бывает иной раз больше самолюбия, чем горя? Вот я ни разу при тебе и не заплакала. Чем горжусь.

Татьяна Бек

ВОСЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

★

Протяжная, как сказанье,
Короткая, как баллада,
Желанная, как касанье,
Соленая, как баланда, —

О жизнь, — не хочу, не надо,
Не буду с тобой судиться, —
И не упаду с каната,
Пока испытанье длится...

Мне силу даруют знаки:
Во-первых, в дали пустынной
По склонам алеют маки
С чернильною сердцевиной;

И свет, во-вторых, не гаснет
В огромных проемах детства,
Где мир меня мучит, дразнит
И вводит в свое наследство;

И — в ландышах, в ливнях, в нетях! —
Зовет к себе непреклонно
Родное кладбище, в-третьих,
У Водного стадиона;

И — сильный, как кровь в аортах,
Но легкий, как скарб скитальцев, —
Я ветер люблю, в-четвертых
(Уже не хватает пальцев!), —

И не одинока, в-пятых,
Покуда на белом свете —
В царапинах и заплатах
Живут старики и дети.

★

...И эта старуха, беззубо жующая хлеб,
И этот мальчонка, над паром снимающий марки,
И этот историк, который в архиве ослеп,
И этот громила в объятиях пьяной товарки,

И вся эта злая, родная, горячая тьма
Пронизана светом, которого нету сильнее.
...Я в детстве над контурной картой сходила с ума:
«На Северный полюс бы! В Африку! За Пиренеи...»

А самая дальняя, самая тайная соль
Была под рукой, растворяясь в мужающей речи.
(...И эта вдова — без могилы, где выплакать боль,
И этот убийца в еще сохранившемся френче...)

Порою покажется: это не век, а тупик.
Порою помнится: мы все — тупиковая ветка.
Но как это пóшло: трудиться над сбором улик,
Живую беду отмечая лениво и редко!

Нет. Даже громила, что знать не желает старух,
И та же старуха, дубленная криком «С вещами!»,
И снег этот страшный, и ливень, и зелень, и пух —
Я вас не оставлю. Поскольку мне вас завещали.

★

Не заметили — пройдена грань...
Снег лежал, а весна не дремала:
Постирала небесную ткань
И насыпала синьки в лохань
И немного крахмала.

Оглянулась — подумала: мало.

И веселой ветошкою грязь
Где увидела, там и оттерла.
— Люди добрые, хватит, вылазь! —
...И прохожий несется, светясь,
Спотыкаясь и кутая горло...

Восстановлена связь.

— Распевая, крича, гомоня,
Вы зачем разбудили меня? —
— Поглядеть, для примера,
Как растет на реке полынья. —

...Солнце. Ветрено. С этого дня
Восстановлена вера.

Он жил уединенно,
Не помещаясь в ряд...
«Ни пава, ни ворона», —
Как люди говорят.

Рабочий-реставратор,
Сезонный богомаз,
Он двигался, и падал,
И поднимался враз,

И отторгал негрубо
Приманки бытия, —
С руками лесоруба
Огромное дитя.

Праправнуку помора,
Ему мешала пасть
Неровного помола
Беспримесная страсть:

Непышное, лесное,
Горящее огнем, —

Он так любил родное,
Что не болтал о нем,

А просто, ладя рейки,
Иль муча «Беломор»,
На северные реки
Глядел, как на сестер,

И неразвязным матом
Ругал на все лады
Раскрепощенный атом —
Исчадие беды,

И плакал без ужимок,
Чтобы — помилуй бог! —
Не пепел, а зазимок
На эту землю лег.

Ярко-зеленые листья в клею
Боготворю, а на холод плюю
И не по-женски чеканно шагаю.
Милая жизнь не вошла в колею
И не войдет уже, я полагаю.

...Как я любила грибные дожди,
Лыжи и веру, что все впереди,
Личную тайну и общую ношу...
— Милая, милая, не уходи!
Я еще сильно тебя огорошу.

Пряжки тяжелые — на сапогах...
Дай заплутаться в лесах и лугах,
Намиловаться с простором гудящим!
...Солнце играет в оленьих рогах...
Все времена — как одно — в настоящем.

Сковородка на кипе газет...
И уже получился портрет!

И вполне обозначен чудак:
Картотека, и драный пиджак,

И «цветок» — фестивальный значок...
Прошлой оттепели пустячок.

Пустячок ли?.. Противник вериг,
И писатель неизданных кннг,

И ревнитель мартыновских строк,
Не считающий, что — одинок,

И каленый читатель газет...
— Он откуда, непопранный свет

И свободы нетающий луч? —
Он — из юности, коей могуч

Неудачник, мыслитель, байбак...
Сковородка на кипе бумаг.

★

Долетает ли песня из сада,
Наклоняюсь ли низко над гробом, —
Я во всем, я во всем виновата,
И меня сотрясает ознобом

Не подхваченная малярия,
А потомственной памяти бездна
(Эту бабушку звалн Мария,
А про ту ничего не известно)...

И, вобрав изведенные души,
Как бы ясно моя ни лучилась,
Я и нынче проснусь — не заснувши:
— Сколько боли вокруг приключилось! —

(...Это в муках ушедшая мама,
Это темного времени вектор,
Это над стадионом «Динамо»
Одиноко горящий прожектор...)

О, как быстро сменяются годы:
И метели, и талые воды,
И — позднее — крапива и мята...
— Ты во всем, ты во всем внновата.

Со временем стал горячее
Промытый утратами взгляд...
Трава зеленеет в траншее,
На кладбище пчелы гудят.

В краю кирпича и металла,
Где вольности скуден запас, —
Когда я совсем заплутала,
Открылся неслыханный лаз:

Родство!.. Не писать в поминальник
Ушедших своих имена.
Мы вместе, как речка и тальник.
Мы вместе на все времена.

Вы слышите? К вам поспешая,
Я ворох известий несу.
...Дорога — сырая, большая,
Одетая в пыль и в росу.

Шагаю легко и бессонно,
Как путник — на лай и на дым.
Родство не излишком озона,
А воздухом станет моим.

Так дети мечтают о снеге,
Который вкусней молока...
И жизнь, как прощанье навеки,
Отчетлива и высока.

Анатолий Жигулин

ЧЕРНЫЕ КАМНИ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ В ТАЙШЕТЕ

Мы ехали долго и скоро.
Вдруг поезд, как вкопанный, стал.
Вокруг — только лес да болота.
Вот здесь будем строить канал.

(Из песни).

Эпиграф, может быть, и не самый удачный, но все-таки подходящий, ибо ехали мы действительно долго и с довольно большой скоростью.

И вдруг столыпинский наш вагон отцепили и повезли куда-то на запасные пути, на миг мелькнуло серое здание вокзала с черными буквами по белому полю: «Тайшет». Название было настолько неведомое и странное, что в первое мгновение прочиталось оно, как «Ташкент». Но это был — увы! — не Ташкент.

Вагон почти вплотную подогнали к довольно просторному дощатому загону. Возле него вагон наш, «как вкопанный, стал». Было ясно, что приехали мы уже на место. Загон был необычен своими высокими стенами. Они были высотою метра в четыре. И это была не случайность. Такая высота понадобилась для того, чтобы пассажирам транссибирских экспрессов не попадались на глаза заключенные. И знаменитая тайшетская озерлаговская пересылка была примерно так же огорожена. Снаружи, особенно со стороны железной дороги, — высокий, гладкий сосновый забор. И вышек нет над забором. Вышки — невысокие — были расположены внутри — в углах дощатой ограды. И колючка, и пулеметы, и прожекторы — все было внутри. Что подумает проезжающий мимо в скором поезде человек? Неинтересный забор какого-то склада. Про лагерь не подумает. Насыпи там, на этом участке магистрали, возле пересылки, нет. Там скорее даже небольшая выемка. Так что даже крыши бараков проезжающий не увидит.

Когда выходили из вагонов (их оказалось два), видно было во все стороны: тайга, тайга, тайга... Да. «Вокруг — только лес да болота». Все, как в невеселой песне строителей Беломорско-Балтийского канала.

В загоне уже были женщины из первого вагона. Их было около тридцати, и у каждой на руках — грудной ребенок. Младенцы плакали на общем для всех народов младенческом языке, а женщины (совсем молодые, лет по двадцать) говорили между собою на языке певучем и красивом, и неожиданно — почти совершенно понятном. Боже мой! Да ведь они, наверное, с Западной Украины! — догадался я. Их-то за что забрали, женщин с грудными младенцами? Я подошел к ним, поздоровался и заговорил на том украинском языке, на котором говорил в детстве в Подгорном. Святый Боже! — как же они были обрадованы! И как мне сейчас хочется писать о них по-украински! Но ведь не принято в одном произведении смешивать два разных языка. Женщины прекрасно понимали меня, и дорого, и радостно было им, что встретился мужчина-украинец, хай не з Західної, а з Великої України.

Из разговора выяснилось, что юные женщины с младенцами на руках — жены еще не сложивших оружие бандеровцев. И что приговорены они всего лишь к бессрочной ссылке в глухие районы Сибири. Но суд постано-

Окончание. Начало см. «Знамя» № 7 за 1988 год.

вил доставить их на место ссылки под конвоем, строгим этапным порядком.

Все они были почему-то в белых косынках.

Построили нас по пятеркам. Впереди — женщины. Шесть или семь пятерок. А в следующей за ними пятерке шел я — вторым слева. Я впервые за все свое путешествие шел без наручников. Обычно мне их надевали при любых переходах — из тюрьмы в вагон, из вагона в тюрьму или в воронок. В воронке наручников с меня не снимали... Забыли сейчас, наверное, надеть...

Пока я об этом размышлял, догремел голос, произносивший обычное, давно надоевшее:

— ...из колонны не выходить! Шаг влево, шаг вправо считается побегом! Конвой применяет оружие без предупреждения! Шагом марш!

Конвойных было шестеро. Двое шли впереди, двое по бокам, двое позади. Пятеро с автоматами. Шестой — начальник конвоя — с пистолетом и собакой.

Вели нас пустыми, немощеными, грязными после дождя улицами. Но было тепло, и светило солнце. Городок был серый, весь деревянный. Серые от ветхости и дождей домишки и заборы. Слева виднелось что-то похожее на небольшой заводик. Пахло сухим и мокрым деревом, смолою, креозотом. Справа, не видимые нам за домами, грохотали поезда. И со всех сторон, по всему окоему, были густые зеленые, голубые и дымчатые синие дали — тайга. Тайга как бы хотела показать, как ничтожен в сравнении с нею этот (как его?) городишко Тайшет. Я чуть позднее там, на пересылке, написал стихотворение, которое начиналось строфою:

Среди сопок Восточной Сибири,
Где жилья человечьего нет,
Затерялся в неведомой шири
Небольшой городишко Тайшет...

Улица стала узкой. Одна из женщин впереди нас, обходя лужу, споткнулась и упала, выронила ребенка. Строй смешался. Я и низкорослый чернявый сосед мой слева помогли женщине подняться. Я подал ей запеленутого ребенка. Он моргал синими глазками и не плакал. И с интересом смотрел на меня.

Шедший слева и чуть позади нас конвоир, белесый дылда с тупым веснушчатым лицом, заорал:

— Не спотыкаться! Не падать! Какого... падаешь, сука!

Конвоир догнал нас (строй уже тронулся) и неожиданно ударил женщину прикладом автомата в спину чуть ниже шеи. Женщина снова упала. Я подхватил ребенка и вдруг услышал гневный картавый возглас своего чернявого соседа:

— Мерзавец! Как ты смеешь женщину бить! Подонок! Ты лучше меня ударь, сволочь! На, бей меня, стреляй в меня!

Картавый рванул на груди лагерный свой серый, тонкий, застиранный китель и нательную рубаху и пошел на конвоира:

— Я тебе сейчас, сучий потрох, на память глаза выколю! Женщину беззащитную бьешь, падла!..

Я держал в правой руке младенца, а левой вцепился в Картавого:

— Не выходи из строя — он тебя убьет!

— Ни хрена не убьет — не успеет, у него затвор не взведен! Я его раньше убью!

С хвоста колонны к нам бежал, хлюпая по лужам, начальник конвоя и, стреляя в воздух из пистолета, неистово орал:

— Стреляй! Стреляй, ...вологодский лапоть! Взведи затвор и нажми на спуск! Он же вышел из строя! Он напал на тебя! Приказываю: стреляй — или я сам тебя сейчас пристрелю! Рядовой Сидоров! Выполняйте приказ!..

Картавый все шел на солдата, а тот прижался спиною к серому забору. В глазах его был ужас. И руки его дрожали мелкой, гадкой дрожью вместе с автоматом. Он просто не понимал, что такое делается, он никогда не видел и не слышал подобного: безоружный человек шел грудью на направленный в него автомат. Солдат оцепенел от страха. Если бы он на-

чал стрелять (а он выпустил бы со страху все 72 пули одной очередью), я, как и Картавый, как и многие другие, был бы убит, — я стоял почти рядом, чуть позади Картавого.

Картавый, видя, что начальник конвоя уже близко, смачно плюнул конвоиру в лицо и спокойно вошел в строй. Теперь его уже нельзя было застрелить.

Подбежавший запыхавшийся начальник конвоя приказал:

— Ложись! Всем заключенным — ложись!..

Заключенные упали, легли в жидкую грязь на дороге. Младенцы и женщины плакали. Лежали мы в грязи часа два — пока не прибежало на выстрелы лагерное и охранное начальство. Пока составлялся начальный протокол обо всем происшедшем. Из разговоров я узнал, что Картавый — **тяжеловозник** (т. е. имеет предельно высокий срок заключения — 25 лет, ссылки — 5 лет и поражение в правах на 5 лет). Лежа в жидкой тайшетской грязи, мы и познакомились кратко. Он сказал мне, что зовут его Фернандо-Рафаэль, но можно звать Федор или Федя, что родился он в 1925 году и мальчиком был привезен в Москву после поражения республиканцев во время гражданской войны в Испании.

Когда нас, наконец, привели к воротам пересылки, впустили внутрь по счету и стали выкликать по фамилиям, я был удивлен обилием тяжелейших статей, по которым был осужден мой новый знакомый. Старший надзиратель открыл его личное дело и с трудом прочитал его первую трудную фамилию по складам:

— Пе-ла-и-о?

Фернандо вышел из строя и бодро продолжил:

— Пелаио, Фернандо-Рафаэль! 1925 года рождения. Он же Смирнов, он же Емельянов, он же Степанюк, он же...

— Ладно! Хватит! Говори статьи!

Фернандо без запинок стал называть статьи Уголовного Кодекса РСФСР, по которым он был осужден. Смысл статей он в своей «молитве», естественно, не объяснял — они всем были известны, — но я для читателя разъясню в скобках: 58 — 1-а (измена Родине гражданским лицом), 58 — 8 (террор), 58 — 14 (саботаж), 59 — 3-г (вооруженный бандитизм), Указ «два-два» (хищение государственной собственности). Далее он стал называть более легкие статьи: за подделку документов, побег из ссылки, переход границы и т. п. Здесь старший надзиратель прервал его:

— Хватит! Срок?

— Двадцать пять.

— В наручники его и в БУР! В пятый угол!

Статьи были чудовищные.

Когда очередь дошла до меня, я выпалил свою «молитву»:

— ...он же Раевский. 1930 года рождения. 19 — 58 — 8, 58 — 10 1-я часть, 58 — 11. Особое совещание. 10 лет.

— Почему тебя в наручниках положено водить?

— Ей-богу, не знаю!

— Почему он без наручников? — взревел старшина уже не на меня. — В БУР его тоже, в пятый угол...

В БУРе (а на Тайшетской пересылке Озерного лагеря БУР был теплый, рубленый, деревянный) Фернандо рассказал мне историю своей жизни и своих приключений.

Первый свой срок Фернандо получил, по его словам, за какое-то мелкое несогласие с Программой испанского комсомола. Собрание (конференция или съезд) проходило в Москве. Фернандо взяли наутро после выступления. Судило его Особое совещание. 5 лет по ст. 58-10 УК РСФСР. И загудел он в Сибирь.

В Фернандо жила неукротимая жажда свободы. Отбыв пятерку в лагере (1943 — 1948), он бежал из ссылки, пытался перейти государственную границу. Все эти вольные порывы, включавшие угон автомашины, перестрелку с пограничниками и т. п., и отразились в его формуляре тяжелыми статьями. А человек он был незаурядный.

В БУРе, в большой камере, мы с Фернандо жили три дня. Обошлось почему-то без пятого угла. Спали на теплом сосновом полу. Постель — брюки. Подушка — мешок с вещами. Одеяло — пиджак. Кормили нас хорошо — полным обедом. Заключенные, приносившие нам три раза в день пищу под небдительным надзором тюремщика, относились к нам почтительно. Я ко всему происшедшему имел лишь косвенное отношение, это Фернандо пошел на автомат, но я был рядом с ним, и в БУР нас бросили вместе. И лагерная молва связала нас с Фернандо. Через три дня Фернандо куда-то выдернули с вещами (а у него вещей-то никаких не было) — наверное, на суд. А через несколько часов и меня выпустили — в жилую зону. Сам помощник нарядчика отвел меня в новый барак № 3, секция 2-я, прогнал кого-то с хорошего места у окна и сказал:

— Вот здесь пока будешь жить.

В бараке были не сплошные нары, а так называемые **вагонки**. Это деревянная, но сделанная без единого гвоздя четырехместная кровать. На одном каркасе четыре спальных места — два внизу, два наверху. Соломенный матрац, соломенная подушка с наволочкой и простыней, с одеялом. Райская жизнь! Ко мне приходили многие — познакомиться. Большинство заключенных были еще в своей вольной одежде. Пришел венгр Иштван. Фамилию его я, к сожалению, забыл. Он работал **на сельхозе**, в сельхозной бригаде, и каждый вечер приносил мне несколько вареных, рассыпчатых вкусных картошин. Очень хороший, добрый был человек. Он давно уже был в лагерях — еще с плена, с войны.

На пересылках лагерного типа принято было искать друзей, подельников, земляков да и просто людей своей национальности. Однажды пришел пожилой уже человек лет пятидесяти пяти. Спросил:

— Воронежских нету? Кто есть из Воронежа?

Я отозвался. Он подошел ко мне.

— Вы из самого города?

— Да, из города.

Человек опечалился и хотел было уже уходить, когда я сказал:

— Я сам родился в городе, но отец мой — из села Монастырщина Богучарского района.

Человек заволновался.

— Фамилия-то какая у тебя?

— Жигулин. По отцу.

— А звать? Отчество какое?

— Анатолий Владимирович.

— Да ведь ты, наверное, Володьки Жигулина сын?! Да ведь ты и похож на него! Как отца по батюшке?

— Владимир Федорович.

— Точно! Федора Семеновича сын. Других Жигулиных не было в селе.

Глаза его наполнились слезами. Он сел со мною рядом на вагонку, обнял меня и радостно зарыдал, удивленно повторяя:

— Володьки Жигулина сын! Володьки Жигулина сын!.. Мы были соседями. Володька-то младше меня лет на семь. А с его старшим братом Алешкой, твоим дядей, мы по девкам вместе бегали. Дядя-то Алексей жив?

— Жив дядя Алеша. Он в Митрофановке сейчас живет. Мы были у него с младшим братом в сорок седьмом году. У него и у тети Зины.

— И Зинка жива?! Господи, радость-то какая! Ведь я за Зиной-то ухаживал. Она всего на полгода меня младше... Мы ведь с Алексеем в Добровольческой армии служили, у Деникина Антона Ивановича... Но Алешка-то, видно, остался, а я уплыл из Крыма... У меня в Париже жена, француженка она. И двое детей — сын и дочь. Я маляром работал, а маляр во Франции — это художник, жили хорошо, квартира хорошая... Во время войны я во французском Сопротивлении участвовал... Я ведь получил разрешение вернуться на родину и паспорт советский в посольстве получил. Решил пока один поехать, без семьи — поглядеть, как и что. Да, фамилия-то моя — Вричов. Виктор Андреевич... Ну вот. Как переехали границу СССР, меня сразу в вагоне и взяли.

— За что?

— За службу в белой армии. 58-13. А еще 58-3.

— А это что за пункт? Я такого еще не слышал.

— Проживание за границей, связь с международной буржуазией. 25 лет!..

Вричов приходил ко мне ежедневно, и я ежедневно рассказывал ему о Жигулиных, об отце, о нашей жизни. Даже о своем деле... Рассказывал и он.

Много было встреч на Тайшетской пересылке. Этапы ежедневно приходили и уходили. Люди менялись. Однажды пригнали этап немцев. Все в новенькой немецкой военной форме. Я присмотрелся к ним и вдруг заметил, что они почти все очень молодые — лет по 17—18. И форма многим из них была велика, сидела мешковато. С ними было несколько молодых немок. Одна — невысокая, синеглазая, с густой копной золотистых волос, в ярком красном платье. Она мне сразу понравилась. Звали ее Марта.

Много разных встреч было в Тайшете. Один забавный случай я здесь запишу. Во время самой первой моей прогулки по жилой зоне ко мне подошел человек лет тридцати в чистом новом и даже отглаженном рабочем комбинезоне. Этакий рабочий франт. Он подошел ко мне и протянул руку.

— Здравствуйте! Я много слышал о вас. Здесь были ваши подельники.

— Кто именно?

— Вот этого я, к сожалению, не запомнил. Запомнил только, что все они были из Воронежа. Как называлась ваша организация?

— КПМ.

— Да, они были именно из КПМ. А наша организация называется «Черные соколы». Многие наши люди еще на воле и активно работают. Мы ставим своей целью восстановление в нашей стране монархии. А вы?

Уже на «подельниках» я насторожился, на том, что он не запомнил ни одной фамилии, ни одного имени. А уж после «Черных соколов» понял, что передо мною наглый стукач. И я ответил правдиво:

— Нашей конечной целью было построение коммунизма во всем мире.

Ответ мой был настолько неожидан, что стукач смутился. Больше он ко мне не подходил.

Примерно неделю мое положение на пересылке было неопределенным. Я гулял по зоне, наслаждался видами дальней тайги, вдыхал хвойный воздух. Потом меня вызвал к себе нарядчик. За мной пришел все тот же его помощник. Я уже знал со слов многих, что нарядчик на пересылке—человек хороший и даже замечательный. Он бывший кадровый офицер, прошел всю войну, но в 1947 году в чине подполковника был арестован. Причина банальная. В 1941-м он раненым попал в плен. Через два месяца бежал, был кратко проверен и отправлен на фронт. Получил многие награды, штурмовал рейхстаг. А после Победы за плен, за то, что в плену работал (таскал камни, копал землю), то есть помогал врагу, подполковник Сергей Иванович Волков получил 25 лет как изменник Родины. К слову сказать, даже свирепое лагерное начальство относилось к бывшим офицерам-фронтовикам, осужденным за плен, с уважением, подсознательно понимая, что здесь что-то не совсем ладное.

— Значит, ты студент Воронежского лесохозяйственного института. И с какого же курса тебя взяли?

— С четвертого! — вдохновенно соврал я (в формулярах это не указывалось).

— Чертежи читать можешь?

— Конечно! И читать, и чертить!

— В строительстве понимаешь?

— Понимаю. У нас был годовой курс — строительное дело. Но по деревянному, лесному строительству.

— Так... Это отлично. Б у г р о м будешь, то есть бригадиром. Будете строить новую столовую и бараки. Бригада вся будет из немцев, человек пятьдесят — шестьдесят. Может, и больше. Помощником у тебя будет Николай Глущик, бандеровец. Он тяжеловозник — 20 лет КТР. Но хорошо знает и русский, и немецкий. Будь с ним настороже. Его не повесили только потому, что смертная казнь отменена была. А за что у тебя 8-й пункт через 19? Кого ты пытался замочить?

— Да я и не собирался его мочить. Он студент из моей группы. Из-за бабы поссорились. Я его пистолетом припугнул. А он — комсорг. Вот и получился террор! (На самом деле этот пункт я получил за портрет Вождя).

— Ты, наверно, ч е р н у х у м е ч е ш ь, как в лагерях говорят, но это не имеет значения, ибо нас, с о в е т с к и х русских, в данный момент на всей пересылке только двое: ты да я. Харбинцев и других эмигрантов я не считаю. В общем, принимай бригаду!..

Бригаду я принял. На мое счастье, среди немцев оказался русский немец с Поволжья, Фридрих Иоганович Меггель. Мало того — он оказался еще и инженером-строителем! И я уже был с ним знаком. На Свердловской пересылке он научил меня петь по-немецки «Санта Лючия». И столовая, и бараки были уже заложены, один барак был почти готов, только еще без крыши, одни стропила золотились на солнце. В бригаде моей оказались и четыре немки. Среди них была и Марта, а также высокая, лет тридцати пяти австрийка в розовой кофточке, с которой Марта дружила. Я Марте тоже нравился. После окончания работы до поверки мы гуляли с нею по дорожкам между бараками — как дети, — взявшись за руки. И молчали. После поверки женщин уводили в женскую зону, отделенную колючей проволокой.

Я не пустил строительство на самотек. Мало того, я с жадностью вникал во все детали работы. До сих пор помню многие десятки немецких «строительных» слов.

И каждый день я поднимался на крышу, вернее сказать, на чердак недостроенного барака и смотрел на чащу тайги, окружающей Тайшет, на бесконечные таежные дали. И всегда со мною была Марта. Мы научились понимать друг друга. Мы полюбили друг друга какой-то словно бы предсмертной, последней-последней любовью. Я и сейчас ясно вижу эти сине-зеленые дали, уступами уходящие от Тайшета к расплывчатому горизонту. И мы вдвоем с Мартой, и нас никто не видит, кроме этих далей. И никто не беспокоит. Только внизу стучат молотки, и слышна немецкая речь. Но люк вниз надежно закрыт. И веселая, добрая, синеглазая, золотоволосая Марта. Она стала первой и на долгие годы вперед единственной моей женщиной. Я очень хорошо ее помню... Мне двадцать лет, она старше меня ровно на год. И груди ее — золотистые под ярко-красным платьем — молодые, крепкие и упругие, как детские мячики. И небо над нами голубое и чистое. Лишь кое-где облачка. И вовсе — словно навсегда — забыты всякие невзгоды. И солнце светит нам. И сосновые доски, пахнущие янтарем, и палаточный брезент, пахнущий морем, и волосы Марты, пахнущие свежим сеном, цветами, липовым медом и еще чем-то, совсем уже запредельным, небесным. Облаками? Светом? Нет, это сама благодать божия обнимала нас и сияла над нами. И так было целых двадцать восемь дней. Медовый месяц перед бездной! Спасибо тебе, Небо! Спасибо тебе, Судьба! Спасибо тебе, Марта!

Это было на каторге, но я, кажется, никогда больше не ощущал жизнь так, во всей ее полноте, ибо находился на самом краю этой страшной, но вечно прекрасной жизни.

Я словно парил в синем, темно-синем осеннем небе вместе с Мартой — над беспредельной, уже золотеющей березами и лиственницей тайгой, над широкой серой рекой Чуною, над блестящей рельсами железной дорогой Тайшет — Братск.

А потом, к середине сентября (было уже холодно), всех женщин взяли на этап, в том числе и мою Марту, и высокую австрийку. Было еще несколько немок и десятка два западных украинок.

Я заранее знал о готовящихся этапах, но ничего не мог поделать. Сергею Ивановичу Волкову я предлагал все свое имущество и деньги (50 рублей), и авторучку. Он поругал меня почти по-отечески:

— Если бы это было в моих силах, то я бы оставил тебя и твою Марту на пересылке хоть на весь срок без всякой твоей л а п ы. И шмотки, и деньги береги — они тебе т а м пригодятся. Единственное, что возьму от тебя на память, — это вечную ручку. И то только потому, что твердо знаю, что там у тебя ее отберут. В Озерном лагере иметь письменные принадлежности заключенным строго запрещается. А мне она при здешней моей письменной работе очень пригодится. Могу сказать, что идут они на лесоповал, на 010-ю женскую колонию вблизи станции Чуна. Вско-

ре и сам ты туда, в этот район, попадешь. Вернее всего — на ДОК. Деревообделочный комбинат. Постарайся там удержаться. Лесоповал зимой — гибель.

Марта уходила на гибель. Было уже темно у высоких ворот, где толпился маленький женский этап. Марта плакала, говорила мне по-немецки много чего-то хорошего, но непонятного. А потом сказала по-русски:

— У нас будет ребенок!.. — И опять зарыдала.

Но тут заорал конвой:

— Провожающие, разойдись! Разойдись!..

Мы прощально поцеловались. Я уговорил ее взять у меня деньги и шерстяной шарф. Вот и все, что мог я тогда сделать для своей любимой.

Сгустилась мгла. Вспыхнули прожекторы. Отворились ворота. Во мгле растаяло красное платье Марты. Она шла последней. Охранники силой оторвали нас друг от друга.

А почти через год, в августе 1951-го, перед самым моим уходом на Колыму, я встретил случайно в большом лесоповальном оцеплении подругу Марты, высокую австрийку (теперь она была не в розовой кофточке, а в черной телогрейке). Ни фамилии, ни имени ее не помню.

Почему встретил? Вот почему. Иногда, весьма редко, зоны, кварталы лесоповальных работ нашей, мужской 031-й колонии и соседних женских подкомандировок (010-й и 06-й) соприкасались, становились сопредельными, и тогда, чтобы охранять было удобнее, устраивалось общее оцепление. Работали в общей рабочей зоне, но после съема отправлялись в свои, разные жилые зоны.

Высокая австрийка сказала мне уже почти чисто по-русски:

— Здравствуйте, Толик Раевски! Я вас ищу! Ваша Марта, наша Марта родила вам дочку Анну двадцатого мая. Я как раз только что из больнички. Я видела Анну. Ей всего три месяца, но она уже совсем похожа на вас. Марта дала ей вашу фамилию. Две ваши фамилии, первую я забыла.

— Жигулин?

— Да, Зшигулин. Она только не могла сказать вашего второго имени, имени вашего Fater.

— Это мое отчество.

— Да, да, отчество.

— Она его и не знала.

— Ей выдали на дочь какой-то документ.

— Свидетельство о рождении?

— Да, да! Вот оно, я списала для вас русскими буквами.

И она протянула мне листок бумаги величиной с почтовую открытку. На ней карандашом было написано:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ

Гр. Жигулина-Раевская Анна Анатольевна
родилась 20 мая 1951 года в г. Тайшете Иркутской обл.
Родители:
отец Жигулин-Раевский Анатолий, русский
мать Миттельберг Марта Иогановна, немка
Место регистрации ЗАГС Тайшетского р-на Иркутской области.

Я долго берег этот листок бумаги. Потом он истрепался, потом на каком-то шмоне его у меня забрали. Но я помню содержание этого «Свидетельства о рождении» наизусть.

Я был тогда еще очень молод и глуп. Никакого отцовского чувства известие о рождении дочери у меня не вызвало. Помню, что спросил:

— А долго Марта там еще будет, на больничке?

— О! Долго! Наверное, еще целый яре, год. Она должна кормить ребенок. Говорят, может быть, это параша, но так говорят, что иностранцев скоро отпустят на родину, в свои страны.

Что ж, осень 1951-го и 5 марта 1953-го. Всего полтора года оставалось до смерти Сталина. А после смерти Сталина иностранцев (кроме настоящих преступников) освободили. Так что Марта с ребенком, если не случилось какого-либо несчастья, уехала домой.

ДОК

Холодным серым рассветом десятка полтора заключенных, в том числе и меня, отправили с Тайшетской пересылки этапом по железной дороге на станцию Чуну. Нарядчик Волков снова сказал мне на прощанье:

— Идешь на Чуну, на ДОК. Всеми силами постарайся перезимовать там, на ДОКе. Все с себя отдай, но задержись. Прощай!

— До свидания, Сергей Иванович! Спасибо вам!

Поезд всего из четырех вагонов шел медленно, неуклюже. Часто и подолгу стоял — дорога была однопутной, ждали встречные составы. И плохая была дорога. Вагоны сильно качало.

У меня еще с Краснопресненской пересылки временами стало возникать состояние какой-то апатии, безразличия и тоски. Я легко, без борьбы отдавал порою блатнякам свои шмотки, курево. Хотя и борьба-то в подобных ситуациях далеко не всегда была возможна.

Немец Добровольский из Циндао (Китай) сумел убедить меня в Тайшете после ухода Марты, что австрийские его ботинки гораздо лучше моих кирзовых сапог, и я легко согласился обменяться с ним (он доплатил мне какие-то небольшие деньги — кажется, 25 рублей). Все валилось из рук, ничего не было нужно. Впереди был жуткий, беспросветный мрак.

Поезд остановился на станции Чуна тоже ранним утром, — почти сутки ехали сотню километров. Выгрузили нас прямо у деревянного вокзальчика. Вид, представший перед нашими глазами, был ужасен. По обе стороны дороги гнили в сырой глине остатки тайги. Зияли заполненные водой выемки (брали грунт для насыпи). Кое-где еще стояли наклоненные сосны, лиственницы или кедры. Наклоненные деревья трудно и опасно валить. Вот они и остались до первого урагана.

За станцией виднелся окруженный многими огневыми зонами огромный лагерь. Визжала пилами самых разных видов, грохотала молотами, выла дизелями и гудками паровозов рабочая зона, ДОК — деревообделочный комбинат. Высились деревянные громады цехов самых разных очертаний, дымилась электростанция, сновали туда и сюда поезда с платформами, и конца-края этой огромной зоны не было видно.

По глинистому месиву нас провели к жилой зоне. ДОК остался левее, но зона его была частично смежна с жилой.

У ворот пересчитали, повыкликали всех и впустили в зону. В рабочее время в жилых зонах заключенных всегда мало на виду, но у первых же встреченных мы увидели ярко черневшие на спинах номера. На черные стеганые бушлаты были нашиты белые прямоугольники и на них написаны черной краской номера. Буква и номер. К вечеру уже и я получил лагерную одежду. Белье: рубаху и кальсоны, две пары брюк (хэбэ и ватные), тонкий летний китель, телогрейку и бушлат, ботинки с зимними портянками. На кителе, телогрейке и бушлате уже был пришит фабрично мой номер: Я-815.

Попал я в цех ширпотреба. Фамилию бригадира помню — Шевцов. Строения жилой зоны были разных эпох и стилей. От ветхих, обмазанных глиной до сияющих золотой сосновой доской «вагонкой» новых типовых бараков на высоком фундаменте. Были даже и двухэтажные. Шевцову я дал какую-то лапу, и он несколько дней держал меня в помещении — делали дранку или вовсе без работы. Цех ширпотреба производил все: от дранки до роскошной мебели и шахмат, портсигаров и т. п.

Очень хотелось Шевцову получить мое зимнее вольное пальто (он освобождался весной), и я уже готов был ему это пальто отдать, и спокойно пережил бы зиму 1950—51 годов в теплом цехе ширпотреба, но меня отговорил мой друг испанец Фернандо:

— Пальто нам очень пригодится при побеге!

Мы уже договорились с Фернандо бежать ранней весной.

На ДОКе я опять встретился с Виктором Андреевичем Вричовым. Он заходил ко мне, когда я заболел тяжелой ангиной. А однажды в жилой зоне после работы подошел ко мне невысокий чернявый паренек, протянул руку и сказал приветливо:

— Здравствуйте, товарищ Раевский! Я Иван Землянухин.

Землянухиных в КПМ в группах Н. Стародубцева было трое: Алексей, Иван и Федор. Ни одного из них я, конечно, в глаза не видел. Мало того, я их даже и заочно не знал. Так, собственно говоря, и полагается в настоящем подполье. Разговор наш был невеселый — кому сколько дали и т. п. Удалось ли рассчитаться с Чижовым, Иван тоже не знал. Ему, как и мне, не повезло на встречи с подельниками во время этапов.

Наступали холода, наступала апатия. Кормили очень плохо, особенно в рабочей зоне. Один жучок из маньчжурских «русаков» предложил мне обменяться шапками. У меня шапка была хорошая, не помню, правда, какого меха, а у него — из овчины. Но он поклялся, что за такой обмен раздатчик обеда в рабочей зоне будет мне наливать супа больше и с картошкой. Он даже познакомил нас. Поменялись. Действительно, два или три раза раздатчик наложил мне в глиняную миску больше обычной нормы. Но потом забыл и смотрел на меня, как сквозь стекло.

Это было очень трудное для меня время. На ДОКе царили уголовники и примкнувшие к ним фашистские пособники.

Уголовники попадали в «номерные» лагеря для «спецконтингента» вот почему. Меры наказания за многие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РСФСР, действовавшим в 30—50-х годах, оказались несоизмеримы со специальными Указами, принятыми еще до войны, во время войны и после нее, предусматривавшими меры наказания изменникам Родины и иным военным преступникам (15 или 20 лет исправительных работ или смертную казнь через повешение — для бандеровцев, 25 лет исправительных работ или расстрел — для власовцев) и в то же время столь же жесткие наказания для людей, совершивших самые незначительные кражи государственного имущества (25 лет за несколько картофелин или горстей зерна, унесенных с поля,— так называемый Указ «два-два»). И в то же время всего 10 лет за убийство, всего 1—3 года за побег из мест заключения, за хранение огнестрельного оружия и т. п. Правосудие закачалось, дало большой крен сталинское «правосудие». Но выход был найден — практически ко всем убийцам стали применять не 136-ю статью УК РСФСР (максимальное наказание во время отмены смертной казни — 10 лет ИТЛ, а статью 58—8 УК РСФСР — политический террор — 25 лет ИТЛ. Эту статью можно было применить практически почти к любому убийству, если убитый был членом ВКП(б), комсомольцем или всего лишь членом профсоюза, советским служащим. К беглецам стали применять статью 58—14 УК РСФСР — уклонение от работы с целью саботажа — 25 лет. Так появился в спецлагерях уголовный, воровской элемент с «политической» 58-й статьей.

В уголовном мире в то время существовали две основные касты: воры и суки. В о р — это, говоря протокольным языком, член общества, живущий за счет преступного промысла — воровства, грабежа, мошенничества и т. п. Вор ни на воле, ни в местах заключения не работал. Вор, начавший, согласившийся работать, становился с у к о й, то есть вором, нарушившим, п о т е р я в ш и м в о р о в с к о й з а к о н.

Не стоит романтизировать воров и их закон, как они это сами делали в жизни и в своем фольклоре, как это иногда делали даже известные писатели. Но суки в тюрьмах, в лагерях были для простого зека особенно страшны. Они верно служили лагерному начальству, работали нарядчиками, комендантами, б у г р а м и (бригадирами), с п и н о г р ы з а м и (помощниками бригадиров). Зверски издевались над простыми работягами, обирали их до крошки, раздевали до нитки. Суки не только были стукачами. По приказам лагерного начальства они убивали кого угодно. Тяжела была жизнь заключенных на лагпунктах, где власть принадлежала сукам.

Воры и суки смертельно враждовали. Попавшие на с у ч и й лагпункт воры, если им не удавалось сразу же после прихода этапа укрыться в БУРе, спрятаться там, часто оказывались перед дилеммой: умереть или стать суками, с с у ч и т ь с я. И наоборот, в случае прихода в лагерь большого воровского этапа суки скрывались в БУРах, власть менялась, лагпункт становился в о р о в с к и м. Облегченно вздыхали простые работяги. При таких сменах власти, как и при любых иных встречах воров и сук, часто бывали кровавые стычки.

Пишу об этом, потому что, как и все «спецзаключенные», я существовал рядом с уголовниками. От них порою зависела моя жизнь.

Расскажу о суках, царивших на ДОКе. Главным среди них был Гейша. Его я не видел. Видел я, и видел в «деле», старшего его помощника — Дezемию. Ходил он и в жилой, и в рабочей зоне со свитой и с оружием — длинной обоюдоострой пикой (у всех у них были такие пики — обоюдоострые кинжалы из хорошей стали длиной около 30 см). Начальство смотрело на это сквозь пальцы.

Однажды я задержался в столовой. Она была пуста, блестела вымытыми до желтизны полами. Только два мужика-работяги спорили из-за ложек — чья ложка? И вошел со свитою Деземия. Заметив спорящих, он направился прямо к ним.

— Что за шум такой? Что за спор? Нельзя нарушать тишину в столовой.

— Да вот он у меня ложку взял, подменил. У меня целая была. А он дал мне сломанную, перевязанную проволочкой!

— Я вас сейчас обоих и накажу, и примирю,— захохотал Деземия. А потом вдруг молниеносно сделал два выпада пикой — словно молнией выколол спорящим по одному глазу.

И сам Деземия был чрезвычайно доволен своей «шуткой», и вся свита искренне хохотала, созерцая два вытекающих глаза.

— Нехорошо ругаться! — заключил мерзавец...

О поступках Гейши и писать страшно. Но нашлась на него управа. Тайно сколотилась, сформировалась на ДОКе группа, как их называли, в о я к, или в о е н н ы х. Это были осужденные, в основном за плен, бывшие солдаты и офицеры Красной Армии. В рабочей зоне им удалось топорами и ломами перебить свиту Гейши и обезоружить его.

Есть такая лесопильная машина — пилорама. Еще ее называли б а л и н д р о й. Но пока я не нашел этого слова ни в одном словаре. Несколько движущихся зубчатых лезвий пилорамы распиливают толстые бревна на доски необходимой толщины. Бревно закрепляется на подвижном столе. Скорость подачи бревна по каткам в пилораму регулируется, регулируется и толщина досок или бруса.

Гейшу вояки крепко привязали к широкому толстому брусу и поставили, как полагается, этот брус на каток пилорамы. Ногами вперед, малой скоростью Гейша подвигался к сверкающим пилам. Он отчаянно орал и рыдал. Смотреть на казнь Гейши сошлись все, кто находился в рабочей зоне. Пришли даже надзиратели и сам начальник лагеря Эпштейн.

Я не видел этого — был уже на Колыме, когда свершилась эта казнь, но очевидцы рассказывали, что Гейша орал, пока пилы не дошли до паховой области, тут он, видимо, от болевого шока издох.

Деземия со своей бандой скрылся в БУРе. Но туда было передано письмо к его «кодле» с обещанием сохранить им жизнь, если они покажут в окно отрезанную голову Деземии. Собственная жизнь оказалась, конечно, дороже головы предводителя. Отрезанная голова была показана и опознана. Пики были выброшены через окно. Вояки слово свое сдержали — всей свите Деземии была сохранена жизнь, им всего лишь перебили ломами руки и ноги.

«Не слишком ли жестоким было наказание?» — может подумать кто-то из читателей. Да, жестоким. Но ведь эти нелюди за семь-восемь лет своего владычества на ДОКе убили многие сотни людей!

Почему всемогущий Эпштейн пришел совершенно спокойно смотреть на казнь Гейши? Хотя как начальник ДОКа он должен был запретить это явное преступление или, во всяком случае, нарушение режима. Подчиненные Гейше преступники-садисты властвовали не только на ДОКе, а на всех подчиненных ДОКу командировках, подкомандировках — сравнительно небольших, разбросанных в тайге вокруг ДОКа лесоповальных лагерях. Достоверно известно, что Гейша был фашистским пособником и получил 20 лет каторги еще году в 43-м и сразу же воцарился в лагере, который существовал на месте созданного в 1948 или 1949 году специального Озерного лагеря.

До этого расположенный здесь лагерь назывался Тайшетлагом, а организация, производившая работы и спаянная с лагерем,— Тайшетстроем. О тех, еще тайшетстроевских, временах очевидцы рассказывали мне чудо-

вищные вещи: подручные Гейши и Деземии свободно совершали карательные экспедиции на лесоповальные, принадлежавшие ДОКу колонии.

Были у них и особенные виды пыток и казней, связанные с местными биогеографическими особенностями. Летом, в определенные месяцы, в сибирской тайге свирепствует так называемый гнус, или мошка́. Это небольшие 3— 4мм длиной летающие насекомые. Семейство Simuliidae, род Simulium Latr. Видов — свыше 60. Многие из этих видов кровососущие, питающиеся кровью человека и теплокровных животных. Часты случаи гибели от мошки крупных домашних животных. Работа в тайге во время лёта мошки ужасна. Плотность, количество мошки таково, что, если снять накомарник, нападение мошки можно сравнить, пожалуй, с ощущением, которое возникает, если в лицо человеку кто-то с силой бросает совковой лопатой мелкий сухой песок. Мошка носится черными тучами. Накомарники защищают плохо, ибо насекомые эти мелкие и проникают к коже через самые малые щели в одежде. От мошки хорошо помогает лишь деготь, при условии нанесения его густым слоем на лицо, шею, руки и т. д. Однако дегтя не хватало, да он и причинял значительные неудобства. Это я рассказываю к тому, что во время лета мошки в Тайшетлаге и позже, в Озерном лагере, у сук существовал такой вид казни: раздетого человека привязывали к дереву, мошка сразу покрывала его черным слоем. В большинстве случаев несчастный к вечеру умирал от потери крови, а также от токсических веществ, выделяемых насекомыми при кровососании. Во время работы на лесоповальной 031-й колонии такие казни я видел сам. Они прекратились только после разгрома банды Гейши и Деземии. А когда я был на ДОКе, суки там бесчинствовали совершенно безнаказанно.

ОБЫКНОВЕННАЯ ЖИЗНЬ НА 031-й КОЛОНИИ

В конце сентября 1950 года мой бугор, потеряв надежду на мое пальто, спихнул меня на этап на 031-ю колонию — вместе с Фернандо и десятком других.

031-я колония была самой ближней к ДОКу, всего километрах в четырех-пяти. Но она была самой страшной из всех колоний вокруг ДОКа.

Повели нас в обход жилой зоны, пешком. Вниз по просеке. Снега еще почти не было. Под ногами шуршала сухая листва. Спустились вниз. Потом чуть поднялись. И перед нами как на ладони открылся расположенный на противоположном склоне лагерь, где я прожил почти год.

Это была небольшая (не более чем на тысячу человек), самая обыкновенная лесоповальная колония. Она, как и зона ДОКа, состояла из разностильных деревянных бараков и иных построек. Мы подошли к нижней стороне квадратной зоны. Параллельно деревянной стене и колючей проволоке проходила линия узкоколейной лесной железной дороги. По шпалам ее мы прошли влево, вдоль хозяйственной зоны, состоявшей в основном из конюшен (трелевка леса производилась лошадьми), повернули направо и оказались, пройдя несколько вольно-административных домишек, перед вахтою и воротами.

Обычная перекличка. Ворот для нас не открывали — пропустили через вахту. Сняли с меня и с Фернандо наручники. Был день. Основное население колонии было на работе в лесу. Кто-то из придурни приказал нам подойти к каптерке — сдать личные вещи, подождать распределения по бригадам. Каптерка помещалась в третьем или четвертом, считая снизу, бараке. Они так и располагались — ступенчато — вверх по склону. Уже с этой, средней части лагеря хорошо была видна тайга — синеватые, зеленые, дымчатые — самых разных оттенков зелени — таежные дали. Были видны уже и желтоватые, охристые пятна — береза, лиственница. Выше всех стоял, как и на ДОКе, новый типовой, но одноэтажный барак с двумя секциями. За ним, да и почти со всех сторон лагеря, — только колючая проволока, не мешающая обзору. Совсем на пригорке стояли — уже за зоной — солдатские казармы и дома вольнонаемных. В верхнем правом углу, под самой вышкой, — небольшой БУР.

В каптерке (двери были открыты, было тепло) нас встретил еще на крылечке высокий, лет 55—60 человек стройной военной выправки. Лицо доброе и мудрое, глаза большие, выпуклые, над ними густые седые брови.

— Толя! — закричал вдруг Фернандо, — ты знаешь, кто это?

— Нет!

— Это генерал Клебе́р, герой обороны Мадрида! Я хорошо его знаю.

Клебер услышал слова Фернандо, и они быстро и восторженно заговорили по-испански. Потом вдруг перешли на французский. Я уже знал почему: Фернандо провел детство и учился во Франции, а Клебер, видимо, знал французский лучше, чем испанский. Фернандо познакомил нас:

— Анатолий Жигулин-Раевский, студент из Воронежа...

— А меня, — сказал Клебер, подавая руку, — зовут Манфред Штерн — по формуляру, а здесь, для простоты, — Александр Федорович.

На подоконнике в помещении каптерки лежала большая селедка. Я был страшно голоден. Александр Федорович сразу это заметил:

— Хотите селедку? Она не очень соленая. Жаль вот только, что хлеба нет. Здесь не ДОК, здесь очень трудно с хлебом.

Селедку я с большим удовольствием съел и без хлеба. И мне вспомнилось, что во время гражданской войны в Испании радио и газеты говорили о каком-то генерале Клебере.

Почти всю мою жизнь на 031-й колонии Александр Федорович Штерн помогал мне — по мере возможности, конечно. Он, например, руководил моим чтением (в колонии со времен Тайшетлага осталась случайно не уничтоженная небольшая библиотека). В совсем хорошие времена (когда я порубил себе левую ногу и кантовался в зоне — об этом особый сказ) он помогал мне в изучении английского языка. Я очень страдал оттого, что прервалась моя учеба в институте, что нет возможности много читать, и восполнял эти лишения беседами с людьми. От людей порою узнаешь больше, чем из книг.

После реабилитации я жадно искал литературу о генерале Клебере. Я нашел некоторые сведения о нем в автобиографической повести А. В. Эйснера «Двенадцатая интернациональная», опубликованной в «Новом мире» в шестидесятых годах. Правда, о том, что генерал Клебер был репрессирован, в повести сказано не было. И наконец в энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР» (М., «СЭ», 1983) появилась биографическая справка: «Штерн (Stern) Манфред (1896 г. — г. смерти неизв.)...» Без портрета. Всего 18 кратких строк. Цитировать их я не буду, а лишь добавлю к ним, что после возвращения из Испании Штерн был посажен (в 1937 или 1938 г.) за то, что не отстоял Мадрид и плохо боролся в осажденном городе с подчиненными ему военными отрядами троцкистов, анархистов и т. п. А Сталин требовал этой борьбы — борьбы с товарищами по окопам. После отбытия десяти лет (они прошли для него сравнительно легко — выходец из австрийско-еврейской семьи, он имел среднее медицинское образование) Штерн поступил на работу в больницу, но вскоре (в 1948 году) был снова взят, как все тогдашние повторники. Светлый был человек, добрый, хороший. И лицо его вовсе не было властно-жестоким, как описывает его А. В. Эйснер по военным мадридским плакатам...

На следующий день — уже выход в лес, уже работа. До лесосеки было довольно далеко, километров шесть. В течение осени и зимы по мере вырубки леса лесосека отодвигалась все дальше и дальше от лагеря — до двенадцати — четырнадцати километров. Зима наступила очень скоро и надолго. Выпал и постепенно стал глубоким снег. Всем выдали валенки.

В разное время (теперь уже не помню, в какой последовательности) я жил во всех бараках 031-й. От самого нижнего до самого верхнего. Работяга из меня был плохой, и меня часто перефутболивали из бригады в бригаду. Сначала я работал на подкатке баланов (балан — нижняя часть дерева длиною 6,5 метра). Баланы притаскивались к лесной бирже лошадьми. Толстый нижний конец бревна — комель — погружался трелевщиком на передок одноколки. Передок для этого наклонялся, а после укреп-

ления комля цепями трелевщик, помогая коню дрыном, ставил передок на два колеса. Лошади — животные чрезвычайно умные — хорошо понимали весь процесс работы.

Я опишу лесную биржу в зимнее время, ибо именно зимой она особенно живописна. Это большая вырубка, ограниченная лесом. Посередине проходит узкоколейная железная дорога. И к ней — как раз на высоте платформ — устроены эстакады, каждая для определенной толщины баланов. Толщину специальной мерной линейкой измерял учетчик по верхнему срезу бревна. И истошно орал диаметр:

— Двадцать четыре!.. Двадцать!..

Меня как новичка поставили на тонкомер (10—12 см). Первую смену я работал с чернявым западным украинцем Баланюком. И от него узнал первое из усвоенных в лагерях украинских слов. Когда плохо закрепленное клином бревно вдруг покатилось на нас, он закричал:

— Трімай![1]

И мы успели остановить, удержать бревно своими дрынками.

Биржа дымила уходящими вертикально вверх самыми разнообразными по цвету дымами костров — белыми, розоватыми или даже почти розовыми на солнце, серыми и черными от сырой хвои. Биржа непрерывно гудела руганью — самым черным матом трелевщиков, хлеставших лошадей, подкатчиков, погрузчиков, свистками и пыхтением паровозов, ржанием лошадей.

Баланюк был совсем плох. Украинцев и русских было почему-то очень мало на 031-й, в основном, кроме тюрков, были литовцы. И он очень обрадовался, что я хорошо понимаю его деревенскую гуцульскую речь. Он хотел сделать себе так называемый саморуб, чтобы попасть в больницу. Пальцы на левой руке хотел себе отрубить. Все равно, мол, к весне богу душу отдадим. Я отнял у него топор и отговорил его от этой затеи.

— Молись, — говорю, — богу, и он спасет тебя. Как по-вашему «Отче наш»?

И он прочел по-церковнославянски эту молитву. Совершенно, как и у нас.

А голод давал себя знать. Не выполняющие норму получали вечером всего 200 граммов хлеба и половник баланды. Питание и затраты энергии были несопоставимы. Кроме того, мы недосыпали. Будили нас в шесть, а то и в пять часов утра — надо ведь к началу светового дня дойти до лесосеки — двенадцать километров. Конвоиры шли по протоптанной вчера дороге, а нас гнали по глубокому снегу, били прикладами, травили собаками, пристреливали отстающих. Особенно зверствовал начальник конвоя, некто Воробьев.

Это было ужасно. Проглотить вечернюю пайку и думать о доме, о Воронеже, о родных, о друзьях. Господи! И ведь не узнает никто, где похоронят. И ни одного близкого человека нет рядом, и поговорить-то не с кем. Становилось жаль себя. Стою, бывало, после ужина в пустой сушилке возле тонкого, в одно стекло, окна, и такая тоска за душу берет, что и передать нельзя.

Утром, когда звонят и кричат «Подъем!», тело еще не успевает отдохнуть от вчерашней ходьбы, от вчерашней работы. А ведь только начало ноября. Что дальше-то будет? Ах, отдать бы надо было Шевцову мое пальто!

На 031-й колонии было много людей из тюркской группы народов, жителей нашей Средней Азии, Крыма, Поволжья, Кавказа. Надо отдать им должное — держались они дружной семьей. Мало того, они принимали к себе всех кавказцев вообще. Бригадир Саркисян (армянин, христианин) был с ними вместе. Они приняли к себе и мудрого причерноморского грека Константина Стефаниди, который, правда, прекрасно знал азербайджанский язык. Он, впрочем, знал и французский. Он как-то говорил мне:

— Здешние наши тюрки, на 031-й, — народ девственный и наивный. Если бы вы знали сотню татарских слов, они бы и вас к себе приняли, решили бы, что вы, скажем, чуваш.

Вообще же именно в лагерях окрепло во мне убеждение, с которым я начал и прожил жизнь и которое я исповедую и сейчас: нет плохих народов, есть плохие люди. И процент плохих людей примерно одинаков в каждом народе, в каждой нации.

[1] Держи (укр.).

Главным среди тюрков 031-й колонии был повар Байрам. Он раздавал кашу из китайского синего проса в рабочей зоне на лесосеке. И своим накладывал вдвое больше. И масло постное, которое полагалось размешивать, он держал в ямочке у края котла и для своих зачерпывал немного оттуда. Спорить было бесполезно. На восставшего в скором времени падала сосна — несчастный случай.

С Фернандо мы были в разных бригадах. Он был, кажется, на валке леса, и ему было худо. Однажды он пришел ко мне в барак и весьма невразумительно рассказал, что побег наш в общем уже подготовлен. Уходить будем втроем: он, я и один смелый парень — литовец. Ради конспирации он меня сейчас с ним знакомить не будет, но для пользы дела надо будет передать ему мое пальто. Я Фернандо не поверил, но пальто отдал. Когда брал пальто в каптерке, Штерн посмотрел на меня и сказал:

— Вам надо заболеть, Анатолий. Это единственный выход. Вы говорили, что у вас хронический тонзиллит. Выпейте, распаренный, после перехода, на лесосеке ледяной воды. И вдохните глубоко воздух несколько раз. Здесь есть риск — пневмония. Но вы молодой и с пневмонией справитесь.

Я отдал пальто «дону» Фернандо Рафаэлю Пелаио. С этого времени Фернандо стал работать в привилегированной бригаде — на погрузке, стал получать повышенную пайку. Процент перевыполнения нормы на погрузке был обеспечен. На паровозе вольные машинисты, они заинтересованы в перевыполнении плана. Делают лишний рейс с лесосеки на ДОК, и премия им обеспечена. А у бригады погрузчиков при перевыполнении плана вечерняя пайка — кило двести. Мало того, я заметил, что Байрам стал накладывать Фернандо миску с верхом и наливал масла из заветной ямочки у кромки котла.

В один из предвесенних дней повар Байрам вышел на свободу, отработал свой «червонец». Одет он был в вольную одежду. На нем очень хорошо сидело мое новое зимнее пальто.

Вот пока и все о Фернандо. Это чрезвычайно яркий, живой пример неодномерности человека, его души. Читатель помнит, как он пошел на автомат, защищая женщину. И читатель прочел предыдущие строки.

Где вы, Фернандо Рафаэль Пелаио? Вы еще, может быть, живы, сможете прочесть эту повесть, если она будет переведена на испанский... Впрочем, вы отлично знаете и русский.

Загадка доктора Батюшкова

Шел декабрь. Неожиданно моим напарником на подкатке оказался молодой человек лет тридцати. Имя его я забыл, но фамилию и легенду его помню. Как и его загадку. Он появился у моей эстакады в европейском пальто и в лайковых перчатках. Представился:

— Доктор Батюшков.

— Студент Анатолий Жигулин-Раевский.

— Раевский? Вы дворянин?

— Нет. Мама была дворянкой.

— Позвольте, но ведь Раевских-мужчин, кажется, всех перебили во время гражданской войны, оставшихся — в тридцать седьмом. Вы старший сын в семье?

— Да.

— Так вы, Толя, по законам Российской империи, потомственный дворянин. Ибо, если пресекается мужская линия знаменитых наших фамилий, то титул и звание наследует старший сын женщины, принадлежащей к этому роду. А у вас еще и фамилия двойная.

Симпатичный был доктор Батюшков. А главное и чудесное состояло в том, что всего два месяца назад он, радуясь жизни, гулял по улицам

Вены. Он родился в Вене в 1920 году в семье русского дипломата, не решившегося вернуться в Россию.

— Я был подданным Австрии, затем — рейха. В 45-м году я получил паспорт Австрийской республики. Меня арестовали ночью люди в штатском, хорошо говорившие по-немецки. Вставили кляп в рот, связали и положили в багажник машины «мерседес-бенц». И зачем была нужна эта ресторанная конспирация? Ведь в Австрии и сейчас стоят русские войска. Могли бы на своей армейской машине вывезти.

— И сколько вам дали и по какой?

— 25 лет. Статья 58—3. За проживание за границей и связь с международной буржуазией.

— Как же вы были связаны с «международной буржуазией»?

— О, это как раз очень просто! Подошел, скажем, к киоску и купил пачку сигарет. А киоск принадлежит крупной капиталистической фирме. Вот и связь. Совершенно явная, прямая, непосредственная связь.

Очень славным, веселым и остроумным был доктор Батюшков. Внешне мне его сейчас напоминает на телеэкране знаменитый актер Юрий Яковлев в своих лучших ролях. Доктор Батюшков загадал мне как молодому поэту интереснейшую загадку:

— В русском языке (в именительном падеже, и, разумеется, исключая имена собственные) есть три существительных, оканчивающихся на «зо». Пузо, железо. А третье вы должны вспомнить. И имеется четыре слова, оканчивающихся на «со». Просо, мясо, колесо. Четвертое я не называю. Вы должны его вспомнить. Вот и вся загадка! Очень простая.

И я начал вспоминать...

Мы проработали на подкатке еще несколько дней. Норма была чудовищная — 22 кубометра (на тонкомере!) на одного человека. Вдвоем мы должны подкатить на эстакаду 44 кубометра. А его даже не поступало столько на биржу, тонкомера. Его избегали вальщики, ибо и они на тонкомере норму выполнить не могли.

Однажды доктор Батюшков сказал:

— Не удивляйтесь, сударь, моей просьбе. Я прошу вас сломать... мне руку. Левую, в середине между локтем и кистью. Я уже все рассчитал и взвесил. Надо только, чтобы никто этого не заметил. Это очень просто и легко. Законы рычага. Вы отлично знаете. Вот подходящее место в нашем штабеле. Расстояние между бревнами всего около десяти сантиметров, и поэтому мы не повредим ни кисть, ни локоть. Сломаем ювелирно обе кости — локтевую и лучевую. Да, вот так. Вы закладываете надежно конец своего дрына под нижний покат[1]. Моя рука лежит на бревнах, и вы кладете на нее свой дрын. Чтобы не было открытого перелома, ход вашего рычага мы ограничим вот этой прокладкой. Вам остается как можно сильнее и быстрее нажать на рычаг. Лучше всего быстро повиснуть на его конце, поджав ноги.

Я сначала был несколько озадачен. Но потом понял: доктор все правильно рассчитал. Обвинение в чевé (ч/в — членовредительство) исключено. Переломы рук разного характера при подкатке бревен довольно часты. Перелом локтевой и лучевой кости наиболее типичен. Повиснув на дрыне, я ощутил через деревянный свой рычаг и руки легкий хруст костей доктора Батюшкова. Сам Батюшков ничем не обнаружил боли. Лицо его было ровно, спокойно. Он только тихо сказал:

— Мерси.

А минут через десять при свидетелях — подъехал трелевщик, невдалеке был учетчик — мы шумно, с матом и криками имитировали перелом, незаметно столкнув со штабеля бревно.

Доктора Батюшкова отправили в больницу. У него с собою был диплом об окончании медицинского факультета Венского университета, и он рассчитывал остаться работать в больнице. В хороших врачах уже ощущался недостаток. Врачи, «отравившие» Горького, почти все перемерли (хотя и я встречал их десятка три), врачи, отравившие или собиравшиеся кого-то отравить, еще не были разоблачены. Прощаясь, доктор Батюшков сказал мне:

---

[1] Длинные тонкие хлысты или жерди, на которые накатываются баланы, прокладки между слоями бревен.

— Спасибо! Постарайтесь выжить. И разгадывайте мою загадку. Пока не разгадаете, будете меня помнить. Прощайте!

Почти четверть века разгадывал я загадку доктора Батюшкова, пока не купил году в семьдесят пятом «Обратный словарь русского языка» и легко обнаружил, что в русском языке — увы и ах! — нет третьего слова с окончанием на «зо» и четвертого с окончанием на «со».

Ну и шутник же вы, доктор Батюшков!

Кострожоги

Почему Сергей Иванович говорил мне на пересылке в Тайшете: «Отдай с себя все до нитки, но перезимуй на ДОКе»?

Большие лагеря, а на ДОКе работало тысяч 20 заключенных, естественно, получали для питания больше продуктов. Мало того, там во всех цехах выполнялись и перевыполнялись нормы. Люди там и спали в тепле, и работали в основном в тепле, в цехах. И не тратили силы на дорогу — там всего 50 метров надо пройти от жилой до рабочей зоны, от барака до цеха. И на ДОКе, конечно, руководящая верхушка заключенных забирала для себя значительную часть продуктов, однако и простым работягам хватало, ибо на общем количестве продуктов — на 20 тысяч человек! — мало сказывалось присвоение лишнего (сверх нормы) придурней. Там процент придурков вообще меньше.

А 031-я колония получала продуктов всего на тысячу человек, и две трети из них присваивала правящая каста. При тяжелейшей дороге и работе, при хроническом недоедании и недосыпании люди слабели, худели; полагерному — доходили, становились доходягами. Начиналась дистрофия и, если не пить сосновый отвар, — цинга. Но хвойный отвар я пил регулярно. Однако слабость нарастала.

И в это время меня перевели в бригаду вальщиков леса. Это самая тяжелая работа, смертельная, особенно для доходяги. Я не вышел на работу, решив сохранить свою жизнь в БУРе. Но в БУР меня не посадили — людей не хватало, многие уже не поднимались с нар. Вечером бригадир вальщиков Саркисян, низкорослый, но очень крепкий армянин в плотном белом шерстяном свитере, подошел ко мне:

— Ты почему не вышел на работу?

— У меня сил нет.

— У всех сил нет. Нужен хотя бы выход. Не работай, но выйди на работу, чтобы отказчиков не было. Понял?..

Я промолчал.

И Саркисян дал мне пощечину. Легкую, почти символическую. Я тогда страшно вскипел на него. Я хотел отрубить ему голову. Но я был фитиль-доходяга, что я мог сделать?.. Мое место на нарах (это было в нижнем бараке) было напротив бригадирского уголка. Саркисяну шестерки принесли ужин — котелок, полный супа с картошкой, хлеб, еще что-то. Но Саркисян был не голоден — многие в его бригаде получали посылки. Он не смотрел на меня. Но, похлебав немного, встал и протянул мне котелок:

— На. Выходи завтра. Будешь кострожогом.

Я долго ненавидел Саркисяна. Так унизительна была и его пощечина да в какой-то степени и котелок — так швыряют кость собаке... Но сейчас, спустя много лет, я пришел к мысли, что Саркисян, в сущности, был добрым и хорошим человеком. И я простил его.

Да, я съел тогда этот суп. Наверное, две трети котелка мелкой вареной картошки. Ничего вкуснее я в своей жизни не ел.

Как я был кострожогом, я описал в стихотворении. Оно так и называется — «Кострожоги». Нет смысла пересказывать. Хотя в стихах я даю в основном психологическую ситуацию, и стоит, пожалуй, рассказать о сути этой работы и о моем напарнике.

Я хорошо научился валить деревья. Кумияма научил. Он, после того как в 1945 году попал в плен, в основном только этим и занимался. Ку-

мияма был не только слаб, но и стар. Он офицером участвовал еще в русско-японской войне 1904—1905 гг. В войне 1945 года не принимал участия. Повестку о мобилизации он получил уже после атомных взрывов в Хиросиме и Нагасаки. Повестка эта была направлением в Квантунскую армию. Кумияме тогда было минимум 65 лет, он был майором запаса. Но японцы (во всяком случае, японцы-военные) чрезвычайно дисциплинированны. Когда Кумияма высадился с десантного судна на маньчжурский берег, уже была подписана безоговорочная капитуляция Японии. Кумияма с большим трудом нашел в квантунской неразберихе свою, уже капитулировавшую часть и явился с предписанием к ее командиру.

До призыва в армию Кумияма жил на Южном Сахалине. У него была моторная лодка и сарай на берегу, где он примитивным способом консервировал свой улов. Естественно, помогали родные. При беседе с нашими особистами он это свое хилое производство гордо назвал рыбоконсервным заводом. Что ж, явный капиталист, да еще и майор по воинскому званию. В течение двух минут его и осудили, согласно решению Союзной военно-контрольной комиссии, как военного преступника и отправили в Тайшетлаг. Там, на месте, где потом появилась тайшетская пересылка, был лагерь японских военных преступников.

Кто виноват? Наши следователи? Они действовали согласно инструкции. Кумияма с его «заводом» и дисциплинированностью? Тоже вроде бы нет. Виновато роковое стечение обстоятельств, но прежде всего война — ненормальное состояние человеческого общества.

По-русски Кумияма не знал ни единого слова, кроме мата. Но выяснилось, что он весьма недурно знает английский язык. В то молодое, послешкольное время я тоже хорошо знал английский. Уроки Елены Михайловны Охотиной еще не выветрились из-за многолетнего отсутствия практики и снотворных препаратов. К слову сказать, по-английски русскому человеку гораздо легче говорить не с англичанами, а с представителями любых других наций, изучавшими английский.

Мы говорили с Кумиямой по-английски. И он очень уважал меня и даже иногда после работы приходил в мой угол барака — поговорить. Я был единственным человеком на всей 031-й колонии, который мог объясниться с Кумиямой. Был еще молодой кореец, работавший в бане, но он знал по-японски очень мало.

На литературных вечерах перед чтением стихотворения «Кострожоги» я обычно кратко объясняю аудитории смысл этой работы. Здесь скажу подробнее. Сибирь. Иркутская тайга. Мороз 40 градусов. Огромная лесосека, ограниченная просеками. В оцеплении работают заключенные. Свою охранную вахту несут солдаты конвоя. Их посты располагаются по углам широких просек и еще посередине просек, если они слишком длинны или рельеф местности (балка, лощина, овраг, отроги сопок и т. п.) не позволяет просматривать всю просеку. Заключенные греются у костров. Греться нужно и солдатам, но сами они, конечно, не могут заготавливать дрова для своих костров. Это делают кострожоги. Бригадир вальщиков выделяет пару или две пары работяг (если оцепление очень большое) для заготовки дров солдатам. Для этой работы выделяются обычно самые слабые, не годные для настоящей работы люди — больные, доходяги. Дрова заготавливаются с таким расчетом, чтобы в самом начале работы солдат, пришедший на свой пост с пулеметом или автоматом, уже имел сложенные еще вчера сухие смолистые дрова, лучинку и бересту.

Обычно выбирали сухостойную сосну. Валили ее по всем правилам, распиливали приблизительно на 70-сантиметровые отрезки. Затем рубили их топором или колуном (иногда с помощью стальных клиньев). Часто мы валили сосны или ели, погибшие от большого или малого соснового или елового усача. Не буду загромождать свое повествование латынью. Скажу только, что личинки этих жуков живут в древесине хвойных деревьев, поедая ее и делая в ней довольно большие ходы. Однажды Кумияма удивил меня и солдата, когда стал выбирать из расколотых поленьев большие белые личинки. Некоторые были длиною и толщиною почти с палец. Набрав целую горсть этих личинок, Кумияма стал их есть — живыми, шевелящимися. Я сказал:

— Как ты можешь такую гадость есть? Противно веды!

— О, это не так! У нас в Японии эти черви-личинки считаются большим лакомством. Только очень богатые люди могут позволить себе такое удовольствие. И едят их именно живыми.

Ангина

Несмотря на сравнительно легкую работу, я все-таки почувствовал, что скоро свалюсь. Однажды после двенадцатикилометровой жаркой пробежки на лесосеку я подошел к бочке с водой. Разбил деревянным ковшом толстый слой льда и вдоволь напился леденящей зубы и горло воды. Потом несколько раз вдохнул морозный сорокаградусный воздух. К вечеру у меня уже сильно болело горло — больно было глотать, и я почувствовал жар. Выстояв длинную и долгую очередь к врачу, я попал в нашу маленькую, коек на пять, лагерную больницу. Врач обнаружил у меня чудовищную фолликулярную ангину и температуру за сорок. В длинной очереди к врачу стояли в основном дистрофики, которых, конечно же, тоже следовало бы лечить в стационаре. Но по приказу начальства дистрофия не считалась болезнью, ибо иначе надо было бы госпитализировать человек 500—600. У меня же, кроме дистрофии, была явная и серьезная болезнь. О, прекрасные десять — двенадцать дней в маленькой больнице! Пища для больных готовилась отдельно и была похожа на настоящую. В супе была не только картошка, но даже капуста и какая-то зелень. Я лежал, я отдыхал, сколько хотел. Было чисто, тепло и уютно. И ежедневно, по нескольку раз в день, уходя в сравнительно теплый туалет, я скалывал с его окошек лед, большие куски, и сосал их, чтобы продлить ангину. Антибиотиков, конечно, не было, был только стрептоцид. Держать заключенных в нашей маленькой больнице больше двенадцати дней не разрешалось, и на тринадцатый день доктор выписал меня в барак, дав освобождение от работы еще на три дня.

На 031-й было еще два студента: Петр Ходов из Новосибирска и Владимир Филин из Астрахани. Они были осуждены тоже Особым Совещанием и тоже на десять лет по чрезвычайно сходным делам — нелегальные студенческие марксистские антисталинские кружки. Но их организации были невелики — у П. Ходова, кажется, четыре, а у В. Филина — три человека. Ходов устроился в бригаде трелевщиков, а Володя Филин страдал, как и я. Я рассказал ему, как заболел ангиной. Он сделал все так же и заболел. Но его почему-то увезли в большую больницу — больничку [1]. И через некоторое время вместе с приветом от доктора Батюшкова (он уже работал там врачом) я получил известие, что Володя Филин умер от двустороннего воспаления легких.

Строительство железной дороги зимой

Я попал в эту бригаду после ангины. Выемки, насыпи. Сначала, впрочем, изыскательские работы. Разбивка кривых и все такое прочее. Я работал там на всех работах. Самое страшное было — это выемки, ибо здесь совершенно невозможна была туфта. Возможны были лишь приписки каких-либо дополнительных работ или условий, снижающих норму, — предварительной расчистки снега, вырубки деревьев, прогрева кострами слоя мерзлоты, применения кайла; можно было завысить расстояние при отвозе грунта тачками и т. п. Нормы выемки грунта на человека были заведомо невыполнимые, рассчитанные на истощение и гибель. Что же было делать? Люди слабеют, люди умирают. Надо спасать людей. А вольные дорожные мастера и лагерное начальство требуют прежде всего объема вынутого и уложенного в насыпь грунта. Приписывайте, что хотите, но дайте

[1] Именно так — больничка — называли на жаргоне крупные лагерные больницы.

прежде всего объем грунта. А это очень легко было измерить, проверить.

Бригадир наш Сергей Захарченко был очень опытным человеком. Сапер. Попал в плен тяжело контуженным — взрывал мост перед наступающим противником и не успел далеко отбежать от своих же фугасов. Спасение людей начиналось с изыскательской работы — Сергей Захарченко умел находить варианты с минимальным количеством выемок.

На́сыпи — пожалуйста, сколько угодно! При отсыпке насыпей зимой ставили с обоих концов участка работ сторожей — они предупреждали специальными сигналами (условное число ударов в рельс) о подходе начальства. Насыпь. Прекрасно! Отсыпем насыпь. С боков расчищаются от снега участки для выемки грунта, снимается верхний слой. Внешне все нормально. И тачки наготове с насыпанной глиной стоят. Но в насыпь насыпают снег. Трамбуют его. В насыпь валят деревья. Кладут хвою из крон деревьев. Потом — опять снег, снег. Насыпь растет. Засыпается сверху землей. На полметра. Трамбуется. Крепко? Крепко! Мороз силен. Снег, хвоя, деревья и земля смерзаются в прочный монолит. Кладутся шпалы, рельсы. Когда туфта с насыпью обнаружится? Месяцев через восемь-девять. А нас тут уже не будет. Мы будем вести другую ветку в другом месте. А пока люди спасены, люди сыты. Огрехи (туфту нашу) исправят досыпкой грунта другие заключенные, и, разумеется, ни снег, ни хвою, ни деревья они извлекать из насыпи не будут. Подсыпят глины, где будет осадка. Она, кстати, вполне естественна при отсыпке насыпи зимой. Она даже планируется, эта осадка. А мы? А мы, может, уже на Колыме будем. Так, кстати, и случилось со многими из нас.

И все-таки ближе к весне началась повальная дистрофия. И тогда я решился на самое последнее, крайнее средство.

Саморуб

Этим словом называлось, как я уже упоминал, нанесение заключенным самому себе раны с помощью топора с целью уклонения от работы. Саморубы карались жестоко — как саботаж. Мне случилось тогда работать на ремонте лежневки, и обут я был в ботинки с зимними портянками. Лежневка лежала на болоте, которое почему-то подтаивало и чавкало, несмотря на мороз. Я подтесывал шпалу для замены сгнившей. Дело, в общем, обычное. Новая шпала лежала на старых шпалах параллельно рельсу. Напротив меня — как раз со стороны шпалы — сидел у костерка солдат с автоматом. Как его звали, я забыл, но он был мой земляк. Родился где-то возле Сагунов, а это рядом с Подгорным. Раньше мы несколько раз беседовали о родных местах, он иногда угощал меня махоркой. Светило солнце. Блестел костерок бездымным огнем. А я тихонько подтесывал шпалу. Топор мой гулял между шпалой и левой моей ногой. Чуть влево — и по ноге. Я хотел, чтобы топор попал между большим пальцем и соседним с ним. Очень это трудно было сделать. Надо было рассчитать силу удара, чтобы ранение было не слишком глубоким. Я подтесывал шпалу, постепенно подвигая к ней ногу (на солдата я не смотрел, не оглядывался). Несколько нерешительных ударов в шпалу и наконец — будь что будет! — довольно сильный удар кончиком топора в ботинок чуть выше ранта. От боли я самым натуральным образом вскрикнул, отбросил топор, заругался. Солдатик, землячок мой, оказывается, все это видел. И, по его мнению, это был самый натуральный нечаянный удар. Довольно густо потекла через дыру в ботинке кровь. Идти я не мог, и четыре работяги донесли меня до зоны, она была совсем близко. Сопровождал нас все тот же мой земляк с автоматом. Он и подтвердил, когда дело дошло до о п е р а, что видел все хорошо, никакого саморуба не было. Несчастный случай. Разруб оказался большим, но не очень глубоким. Врач наложил четыре шва, вставил в рану дренажную резинку и выдал костыли:

— На, гуляй! Месяца полтора отдохнешь, счастливый ты человек.

Рана не заживала долго, так как я снимал повязку и сыпал в рану всякую грязь. Разумеется, делал это так, чтобы врач не заметил. Проконтовался я в зоне со своими костылями в самое тяжкое время более двух месяцев.

Новый начальник

Вот кто спас от смерти сотни людей на 031-й колонии. У нас был до него какой-то задрипанный капитанишка. И вдруг явился новый — высокий, добрый, умный. С погонами подполковника. И со следом третьей, полковничьей звезды. Корю себя все время за то, что забыл его простую русскую фамилию. Что-то вроде Полякова. Ан нет, нашлась фамилия! Я записал ее году в 56-м. Именно Поляков!

Подполковник Поляков начал свою деятельность на 031-й колонии с того, что собрал в один из редчайших выходных дней общее собрание заключенных и сказал:

— Здравствуйте, т о в а р и щ и заключенные! Почему вы так истощены и больны? Как вас кормят?

Послышались голоса:

— Плохо, гражданин полковник!

— Плохо!

— А почему?

Тут заюлили перед новым начальником придурки во главе с нарядчиком Ломакиным и поваром.

— Т о в а р и щ Ломакин! Т о в а р и щ повар! Если через три дня все рабочие не будут сыты, я вас расстреляю! Имею на это право.

Полковник Поляков служил в пограничном военном округе. Какой-то шпион или контрабандист перешел участок, за который отвечал Поляков, перешел с к о н ц а м и — не поймали его. И Полякова наказали: понизили в звании и отправили в черную таежную дыру — начальником 031-й колонии Озерного лагеря. Он еще не мог привыкнуть к новому обращению с подчиненными. Заключенных, в частности, нельзя было называть товарищами.

Через два дня все заключенные 031-й колонии были сыты. Поляков выписал дополнительное питание для лошадей. Несколько тонн овса. Его перемололи в крупу, и три раза в день каждый заключенный стал получать полную миску овсяной каши. Люди на глазах стали оживать, веселеть. Поляков, судя по орденским планкам, прошел всю войну, Великую Отечественную и войну с Японией. У Эпштейна на ДОКе фронтовых наград не было.

Чего еще важного или хорошего не написал я о 031-й колонии Озерного лагеря?

Самое прекрасное было — это тайга, и зимняя, и летняя, и предвесенняя. Сидишь, бывало, на ступеньках верхнего нового барака, отставив в сторону костыли, и смотришь. Боже мой, какое очарование красок! Ярко-зеленые, как озимь, первые новые хвоинки лиственниц, нежно-голубые пихты. Я их сразу научился отличать не только по цвету, но и по хвоинкам. Хвоинки у них плоские в сравнении с другими хвойными. Широкие и снизу по обе стороны стержневой жилки — две светлые полосочки. По ним можно отличить любую пихту. Пихта — это ведь род, а видов ее только в СССР около пятидесяти.

Прекрасна тайга и вблизи, даже разоренная, измученная. Как-то в большом оцеплении я искал березу, чтобы приладить к ней ковшик для березового сока. Самый сладкий сок у берез, растущих на возвышениях, на бугорках. Иду с топором и ковшиком из бересты и вижу вдруг — зверек, но не белка, перебегает мне путь. Я уже слышал о бурундуках и понял: бурундук. Я остановился, чтобы он не убежал, и он остановился. Я начал потихоньку подходить к нему, и он стал приближаться ко мне навстречу, а потом встал во весь рост, как суслики стоят в степи, чтобы хорошенько разглядеть меня. Он, вероятно, впервые видел человека. Был бурундучок большой (наверное, самка), весь рыжий, но по рыжему от самого носа и до конца довольно пушистого хвоста — пять черных полосок. А брюхо — белое, чуть желтоватое. Бурундук убежал, испугавшись не меня, а упавшей где-то рядом сосны — шел лесоповал.

Охота на людей

С Володей Бобровым, студентом или аспирантом Казанского университета, я познакомился еще на ДОКе, там он был придурком — работал в одной из контор. Большие роговые очки делали его чем-то похожим на большого жука. Меня удивляло то, что он разговаривал с венгром, бывшим военнопленным.

— Володя! Вы что, знаете венгерский язык?

— Нет, Толя! Я не знаю венгерского, но я знаю несколько других угро-финских языков.

И он рассказал мне о наших уральских и приволжских угро-финнах, их много: удмурты (Володя был удмуртом из Ижевска), мордва, коми-зыряне, вогулы, остяки, черемисы, на севере — карелы, финны... Ни одна энциклопедия не перечисляет их полностью.

Володя Бобров был аспирантом, работал над кандидатской диссертацией. Его и взяли за угро-финский национализм, за то, что будто бы он замышлял создание Великой угро-финской империи. 25 лет.

Наши, советские угро-финны, кроме эстонцев, — православные христиане. Забавно, что у них сейчас в ходу многие православные имена, забытые у нас в России или сохранившиеся лишь в фамилиях. Там и сейчас детей называют такими, например, именами, как Елисей, Калистрат, Фекла, Матрена, Еремей и т. п. Я переводил хорошего удмуртского поэта Флора Васильева, он был близок мне по реалиям — деревенским и природным, отчасти и по мироощущению. Он и рассказал мне, что Володя Бобров вернулся, реабилитирован и занимается своей темой, но — увы! — пьет.

22 февраля 1972 года (я жил тогда еще в Беляево-Богородском и был беден, как церковная крыса) Володя Бобров явился ко мне — я узнал его сразу еще через дверной зрачок, а не виделись мы двадцать один год.

Я позволю себе переписать сюда свою запись из рабочей тетради, связанную с приездом Володи, — еще об одном страшном явлении сталинских лагерей, с которым я впервые познакомился на 031-й колонии.

«Вчерашний неожиданный приезд Володи Боброва очень сильно подействовал на меня. Пройдя сквозь призму долгих лет, лагерные мои воспоминания стали словно мягче, потеряли свою начальную острую боль. Преобразившись в стихи «Береза», «Бурундук», «Кострожоги», они окутались несколько даже романтической, лирической дымкой. На первом плане засветились доброта и человечность, с трудом, чудом сохраненные людьми (далеко не всеми, конечно). Притупилось, забылось самое злое и страшное. Не в полном, конечно, смысле забылось. Забыть этого нельзя. Но не вспоминалось долго. По Фрейду, человеческий организм, мозг прежде всего, защищая себя, как бы вычеркивает травмирующие воспоминания.

Но вчерашняя встреча повергла меня в страшную пучину. Боже мой! Какой ужас был пережит! Вспомнилось многое, что казалось уже давно нереальным. Нарядчик Ломакин... Оказывается, его на куски изрубили топором на 04-й колонии. Латыш Плингис. Его застрелил в 1954 году начальник конвоя Воробьев... И саму 031-ю колонию, как и другие подобные, ликвидировали тоже в 1954 году. Там, наверное, все истлело, и новый лес вырос...

Кроме унизительного голода, кроме всяких зверств и жестокостей, вспомнилось (не привычно-абстрактно, а с живой болью, новой, еще более острой, чем тогда) самое страшное, что вообще было в жизни. Это охота на людей.

Людоедский этот спорт был особенно распространен среди конвоиров и охранников именно на 031-й колонии Озерного лагеря. Он процветал, впрочем, везде, где были подобные условия, — на работах в лесу, в поле, при конвоировании небольших групп заключенных, при этой ужасной близости автомата и человека, которого можно было застрелить.

Играла роль система поощрения охраны за предупреждение и пресечение побегов. Застрелил беглеца — получай новую лычку, получай отпуск домой, получай премию, награду. Несомненно, имела значение и врожденная биологическая агрессивность, свойственная молодым людям.

Кроме того, солдатам ежедневно внушалась ненависть к заключенным. Это, мол, все власовцы, эсэсовцы, предатели и шпионы. Развращающе действовали на конвоиров и неограниченная власть над людьми, и само оружие в руках, из которого хотелось пострелять. Стреляли заключенных чаще всего либо молодые солдаты, либо закоренелые садисты-убийцы, вроде упомянутого Воробьева. Один из конвоиров выбирал себе жертву и начинал охотиться за нею. Он всеми силами, уловками и хитростями старался выманить жертву из оцепления. Часто обманом, если умный и опытный бригадир не успевал предупредить новичка. Скажет солдат такому:

— Эй! Мужик! Принеси-ка мне вон то бревнышко для сидения!

— Оно за запреткой, гражданин начальник!

— Ничего, я разрешаю. Иди!

Вышел — очередь из автомата — и нет человека. Случай типичный, банальный. С одной стороны, по инструкции конвоир может приказать заключенному выйти из оцепления. По этой же инструкции он может вышедшего застрелить.

Обычно человек чувствует, когда его хотят застрелить. Передаются какие-то биотоки. Со мной было несколько таких случаев на 031-й. Однажды — в ремонтной бригаде Сергея Захарченко. Ремонтная бригада приходит на участок работы. Конвоиры ставят колышки с белыми дощечками — впереди и позади на железной дороге и с боков — тоже. Это и есть в данном случае, за колышками, запретная зона. Один солдат вдруг приказал мне:

— Пойди-ка сруби вон то деревце. Оно мешает мне видеть дорогу, обзору мешает.

Захарченко услышал и громогласно приказал:

— Жигулин! Никуда не выходи! Он тебя убьет! Вся бригада — ложись! Ложись на шпалы между рельсами. Приказы конвоя не выполнять! Лежать! До прихода начальства из лагеря!

Конвойных было пятеро. Начальник конвоя, старший сержант, все понял и спорить с бригадиром не стал. Он несколько раз выстрелил в воздух из нагана. Вызвал начальство. Пришло несколько офицеров. У солдата отобрали автомат и под конвоем отправили в казарму. Но такой счастливый исход был редок.

Вчера Володя Бобров рассказал мне, как был застрелен латыш Плингис. Это было уже без меня, в 54-м году. Бригада по рубке просеки отдыхала в обеденный перерыв. Начальник конвоя Воробьев приказал Боброву взять топор и идти в лес рубить визирку [1]. Бобров сразу почувствовал: убить хочет. И отказался наотрез. Схватился руками за корни сосны, лег на землю:

— Никуда не пойду! Ничего не вижу — у меня очки запотели.

Воробьев зверски избил его ногами, но от сосны не смог оторвать. И обратился к Плингису:

— Иди тогда ты!..

Латыш Плингис взял топор, пошел в чащу впереди Воробьева. Через несколько минут раздались две короткие автоматные очереди. Воробьев убил несчастного латыша. А у Плингиса в колонии был двоюродный брат Мельберис. Можно представить его горе.

Убийство Плингиса, как и многие другие подобные дела, было оформлено как побег. Полуграмотный о п е р составил протокол, и дело с концом.

К слову сказать, весной 1951 года на моих глазах был подстрелен заключенный Бегаев (кажется, его звали Виктор). Пуля из карабина пробила ему правую сторону груди, но он, однако, успел рвануться и упасть с визирки (он тоже рубил визирку) в оцепление. Солдат не смог сделать второго выстрела. Бегаева увезли в больницу. Возможно, он остался жив.

Скажу здесь и о печальном конце Володи Боброва, раз он так вдруг ворвался в мою послелагерную жизнь. По словам Ф. Васильева, вскоре после того, как Володя приезжал ко мне, он погиб от алкоголизма. Первопричина этого ясна.

---

[1] Прямой, вырубленный в чаще леса просвет с вешками на нем, визуальный луч для будущей просеки, дороги.

Редкие радости

С приходом нового начальника жить на 031-й стало легче. Я стал получать из дому посылки. Сергей Захарченко снова взял меня в свою бригаду. В бригаде было человек двенадцать—пятнадцать, и называлась она бригадой по содержанию железной дороги. Короче: «Содержание». Была скорая весна, а потом наступило лето.

Иногда меня спрашивают:

— А бывало ли в лагерях когда-нибудь хорошее настроение, хорошее время?

Бывало, конечно. Душа ведь всегда ищет и жаждет радости. И далеко не всегда светлые дни, а то и месяцы были связаны с получением письма, посылки и т. п. Бывали очень хорошие, я бы сказал даже, по-настоящему радостные минуты, вовсе не связанные прямо с материальным, так сказать, благополучием. Хотя косвенная связь здесь, конечно, естественна. Для меня такая хорошая пора в лагерях наступила впервые в конце второго года заключения в бригаде Сергея Захарченко.

Рано-рано утром выходили мы из ворот. Впрочем, не первыми. Первыми уходили бригады на лесоповал, на трелевку. Им дальше идти, и работа у них такая, на которой надо вкалывать. Не то, что у нас. И мы не спешили.

Наконец, редело у вахты, и нарядчик, здоровенный Ломакин, орал зычным голосом:

— Содержание! Захарченко! На выход!..

И добавлял, разумеется, несколько нецензурных фраз, но без зла, а просто так, для порядка. Мы выходили за ворота, где уже ждал нас свой знакомый конвой. Солдата того, что хотел меня застрелить, уже не было. Он посидел немного на губе, потом его отправили в военную психбольницу. Помбригадира и румяный паренек-шестерка, оба из западных украинцев, забирали в рабочей зоне инструмент — молотки, ключи, топоры, пилу,—и мы трогались. Впереди, сзади и по бокам, мирно попыхивая цигарками, шли четыре конвоира, редко—пять. Захарченко умел с ними ладить, и они относились к нему, а следовательно, и к нам — с уважением.

Прекрасна была тайга в эти ранние часы. Ближе к полотну лежала она исковерканная, вырубленная. Торчали пни, и разбросаны были кругом черные недогоревшие порубочные остатки. Желтели большие ямы, из которых брали песок для насыпи. А за вырубкой стояла тайга нетронутая, сосны — как на подбор — высились бронзовой стеной. Солнце только что встало. На холодных голубых рельсах и серебристых сухих шпалах большими каплями блестела еще роса, а сосны, особенно верхушки, были уже золотыми от солнца. Очень прохладно, ясно и чисто было все вокруг. Суля удачу, то и дело перебегали дорогу бурундуки. И легко было идти по шпалам, чувствуя на плече тяжесть дорожного молотка, ощущая его полированную ручку, гладкую от шершавых наших ладоней. Хорошее, бодрое было настроение, и я в такие минуты мечтал...

И уже не молоток у меня на плече, а винтовка. И вовсе мы не бригада, а отряд. И ведет нас опытный фронтовой офицер Сергей Захарченко. А идем мы, чтобы освободить наших товарищей. Вот сейчас покажется за поворотом соседняя, 06-я колония, и грянут выстрелы...

— Вот здесь, гражданин начальник...— возвращает меня к реальной жизни голос бригадира,— здесь надо остановиться!..

Мы останавливаемся на полчаса. Меняем сгнившую шпалу, подбиваем костыли. И снова в путь. Идем по лежневкам, по выемкам и насыпям, по деревянным мостам на рубленных из лиственницы опорах. И за каждым поворотом или подъемом открываются нам все новые и новые бесконечно далекие синеватые, фиолетовые, дымчато-зеленые таежные дали.

ВТОРОЙ ЧЕРПАК КАШИ

Ирине Неустроевой

В 1947 году в разрушенном войной Воронеже, когда я еще учился в школе и писал свои первые стихи, мне необыкновенно повезло: мне дали на несколько дней почитать четырехтомное «Собрание стихотворений» Сергея Есенина, вышедшее в конце 20-х годов. Оно было в мягких белых зачитанных обложках. Я был потрясен до глубины души — я не знал раньше Есенина, не знал, что можно писать так просто и пронзительно:

Отговорила роща золотая
Березовым веселым языком...

Я переписал в свою тетрадь около двадцати стихотворений, а еще тридцать—сорок запомнились сами собою (вместе с поэмой «Анна Снегина») от долгого, непрерывного чтения днем и ночью. О, юношеская, свежая и восприимчивая память!

Когда началась моя сибирско-колымская одиссея (а книг в этом путешествии не было), я часто читал про себя стихи Есенина, особенно когда ходили зимою в тайгу на лесосеку — дорога была двенадцать километров.

Когда же случайно узналось, что я помню так много стихов Есенина, я стал в бригаде и в бараке человеком важным, нужным и уважаемым. Я стал как бы живым, говорящим сборником Есенина.

Бывало, зимними вечерами я рассказывал своим товарищам о Есенине и читал его стихи. Аудитория была особенная и разная — не верившая ни в бога, ни в черта, но Есенин примирял людей, заставлял таять лед, накопившийся в их душах. В стихи Есенина они верили. Самые разные люди — бывшие бандиты и воры, и бывшие офицеры, инженеры, и бывшие колхозники, рабочие — слушали стихи Есенина с огромным удивлением и радостью. Некоторые порою смахивали с глаз слезы.

Тишина стояла полнейшая, и я однажды услышал шепот кого-то, только что вошедшего:

— Что, Толик-студент ро́ман толкает?

— Никакой не ро́ман, а стихи Есенина. Это лучше любого романа. Роман послушаешь и забудешь, а стихи в душе остаются.

Как кроткие ангелы, сидели вокруг меня и смотрели в мои глаза и закоренелые преступники, и люди, так или сяк попавшие в Академию, так сказать, обнаженной жизни. Стихи Есенина не надоедали, люди готовы были слушать их по многу раз — как слушают любимые песни.

И не только русские или украинцы собирались на эти чтения, но и молодые литовцы, хорошо освоившие русский язык, и узбеки, таджики. Таджики часто просили прочитать «Персидские мотивы».

А повар Байрам из Азербайджана (он готовил и раздавал обед на лесосеке) однажды вместо одного черпака каши положил в мою миску два. Заметив в моих глазах недоумение, он сказал:

— Ешь на здоровье! Это тебе за Есенина. Очень он хороший был человек, все понимал... И откуда ты так много знаешь и помнишь стихов Есенина? У нас в деревне мулла меньше молитв знает, чем ты стихов.

Дымила разноцветными дымами зимняя заснеженная лесосека. Стояла очередь к большому черному котлу. Я сидел на бревнышке возле костра и ел кашу из синего китайского проса. И думал о Сергее Есенине.

Много лет пролетело с той поры, но я и сейчас все повторяю строки:

Мне страшно — ведь душа проходит,
Как молодость и как любовь.

И это чудесное философское озарение пришло к человеку, прожившему на земле всего тридцать лет! Как счастлив и велик поэт, на чьи стихи откликается любая живая человеческая душа! Как счастлива нация, имеющая такого поэта.

«СТОЛИЦА КОЛЫМСКОГО КРАЯ» И ПУТЬ К БУТУГЫЧАГУ

В августе 1950 года меня отправили с 031-й колонии в соседнюю, 035-ю, а оттуда через пять дней в телячьем вагоне покатил я на восток.

О дороге моей от 035-й колонии Озерного лагеря до Магадана я расскажу позднее, там, где этот рассказ придется более кстати. Читатель уже мог заметить, я многое рассказываю не по порядку, не пишу, как строгий мемуарист, согласно ходу времени и стуку колес. Я свободно забегаю в будущее, если мне это необходимо, свободно, но, разумеется, с оговоркой, вставляю в повествование пропущенные эпизоды из более раннего времени.

Здесь скажу, что с печальным интересом — при выгрузке в Магадане с корабля «Минск» — рассматривал я свинцово-серую, маслянистую, сверкающую от солнца бухту Нагаева, окрестные, еще зеленые сопки (был конец августа), желто-розовый неровный каменный обрыв, ограничивающий бетонированную, не очень широкую полосу Магаданского порта. Интересны мне были и большие морские корабли — я их прежде видел только в кино.

Город Магадан был скучен, малоэтажен. Бросалось в глаза почти полное отсутствие на улицах какой бы то ни было растительной зелени. Правда, когда шли через город, встретился справа городской парк. Он представлял собой порядочную, за зеленым штакетником площадь с аккуратными песчаными аллеями, с зелеными скамейками и белыми цементными стандартными скульптурами. Маленькие, посаженные в парке деревца лиственниц были почти не заметны. До пересылки Берегового лагеря шли долго, тянулись длинно — целый корабль людей привезли, полные трюмы! Пересылка была, естественно, на окраине, далее начиналась болотистая кочковатая низина и сопки. У окраины журчала неглубокая, но быстрая и прозрачная речка с камешками на дне. В зоне пересылки было несколько строящихся домов — двухэтажных кирпичных и одноэтажных деревянных. Возвышалось большое, уже готовое здание столовой с колоннами — сталинский ампир послевоенных лет. Но это не были постройки для заключенных — в оцеплении пересыльного лагеря строились городские дома, говоря теперешним языком, — городской микрорайон. Когда строительство заканчивалось, готовый участок отрезался от пересылки колючей проволокой или сплошным деревянным забором с колючей проволокой над ним, а к площади лагеря прибавлялся новый неосвоенный кусок предсопочной равнины или пологого склона сопки. Начиналось новое строительство. И так далее, до самого послесталинского уничтожения лагерей.

В пересыльном лагере было неголодно. Там было много тысяч людей, процент придурков был невелик. Кормили нас в монументальной столовой. Кто-то из магаданцев написал мне, что сейчас в этом здании ресторан «Север». Хотя, когда мы только прибыли в Магадан, ресторан с таким названием уже существовал в городе, я даже помню его вывеску. Вероятно, перевели ресторан в более новое и вместительное здание.

Жили мы на пересылке в больших, иногда даже двухэтажных палатках (второй этаж, правда, не был рассчитан на зиму) — деревянный каркас, деревянные нары, деревянный пол-настил второго этажа — он же потолок первого. Наверху было что-то вроде чердака, помещение меньше, чем внизу, и без нар — спали на полу. Все сооружение обтянуто двумя слоями — с воздушной прослойкой — черного брезента. Двери деревянные. В нижнем этаже был тоже деревянный пол. Палатки были рассчитаны на большие морозы, но на колымскую зиму они — увы! — не годились. Даже с печью, сделанной из большой железной бочки. Просчитались конструкторы. Люди замерзали насмерть в таких палатках и при раскаленно-красной печке. Двойные брезентовые стены пропускали холод. Чтобы хоть немного утеплить, каркасы таких палаток обшивали двойным слоем досок с засыпкой между ними (торф, земля, стружка, опилки).

Когда мы прибыли на пересылку, казалось, что до холодов еще далеко. Светило солнце. Справа, если стать лицом в сторону бухты, было видно взбегающую на склоны сопок часть города — нагромождение маленьких домиков и бараков. Нас, кажется, дважды водили в город по улице, параллельной главной (сначала по колымскому шоссе, переходящему в главную улицу, потом — правее на один квартал), — в баню, санпропускник. Проходили мы мимо сплошного забора пересылки СВИТЛа [1]. Дальше, на повороте, помню, стоял дом, чрезвычайно отличавшийся от всех магаданских построек. Это был двухэтажный, из старинного темно-красного кирпича особнячок середины XIX века, словно чудом перенесенный сюда из глубинной, уже старинной России.

Водили нас и на одну из сопок за дровами. Мы должны были руками (без помощи топора) ломать лозы колымского кедрового стланика и небольшие колымские лиственницы. Мы довершали преступление, начатое еще в начале 30-х годов, — уничтожали остатки леса на окружавших Магадан сопках.

В Магадане изменились некоторые правила конвоирования заключенных. При этапах мне уже, кроме редких случаев, не надевали наручников — куда бежать? Бежать было некуда.

С высокого склона сопки как на ладони был виден весь город Магадан — «столица колымского края». И оказывалось, что в центре его порядочно больших, трех- и четырехэтажных кирпичных домов. Это были учреждения и жилые дома Дальстроя. И они продолжали возводиться.

На пересылке была постоянная бригада, которая строила в центре Магадана пятидесятивосьмиквартирный жилой дом, предназначавшийся для высших чинов руководства специального Берегового лагеря. Лагерь спецконтингента — так еще назывались подобные лагеря. Мне иногда во сне слышится:

— 58-квартирный! На выход!..

И я просыпаюсь в холодном поту.

Если эти заметки прочитает человек, бывший на центральной пересылке Берлага в конце августа — начале сентября 1951 года, он скажет: да, точно, этот писатель был там в это время.

Пока я еще на пересылке и пока еще есть настроение для песен, приведу, пожалуй, канонический текст песни «Ванинский порт», одной из самых сильных и выразительных тюремно-каторжных песен. Сейчас мало кто помнит ее целиком.

ВАНИНСКИЙ ПОРТ

Я помню тот Ванинский порт
И вид парохода угрюмый.
Как шли мы по трапу на борт
В холодные мрачные трюмы.

На море спускался туман.
Ревела стихия морская.
Лежал впереди Магадан,
Столица Колымского края.

Не песня, а жалобный крик
Из каждой груди вырывался.
«Прощай навсегда, материк!» —
Хрипел пароход, надрывался.

От качки стонали зека,
Обнявшись, как родные братья.
И только порой с языка
Срывались глухие проклятья:

---

[1] СВИТЛ — Северо-восточные исправительно-трудовые лагеря, система «бытовых» лагерей на Колыме. В этих лагерях был немалый процент заключенных со статьей 58—10. Каждый мечтал попасть туда. В сравнении с Берлагом СВИТЛ казался раем.

— Будь проклята ты, Колыма,
Что названа чудной планетой.
Сойдешь поневоле с ума —
Оттуда возврата уж нету.

Пятьсот километров — тайга.
В тайге этой дикие звери.
Машины не ходят туда.
Бредут, спотыкаясь, олени.

Там смерть подружилась с цингой.
Набиты битком лазареты.
Напрасно и этой весной
Я жду от любимой ответа.

Не пишет она и не ждет,
И в светлые двери вокзала,—
Я знаю,— встречать не придет,
Как это она обещала.

Прощай, моя мать и жена!
Прощайте вы, милые детн.
Знать, горькую чашу до дна
Придется мне выпить на свете!

Песня по мелодии прекрасна, трагична, безысходна. И очень впечатляет. Особенно, если поют хором и если поют колымчане или люди, пережившие тюрьмы и лагеря в иных краях нашей страны. 3-я и 4-я строки каждого куплета повторяются...

По Колымскому шоссе мимо пересылки весело и быстро проносились в глубь Колымы большие грузовики. Это были наши трехтонные ЗИСы, часто с прицепами, и еще более крупные, мощные машины, явно не наши, но и не американские. Позже выяснилось: это чехословацкие «Татры».

Однажды утром собрали большую колонну с вещами и повезли в санпропускник. Там после бани все получили новую одежду: зимнее белье, ботинки, брюки и кителя из х/б, ватные брюки, телогрейки и ватные шапки.

Потом нас привели обратно на пересылку, но в бараки и палатки уже не пустили. Посадили на площади у ворот, у вахты. Послышалось: этап, этап... Уже дожидались большие грузовики, у которых были в кузовах наращены борта — сантиметров на тридцать или более, не помню, были ли в кузовах скамьи. Ежели они и были, то все равно поднятые бортовые щиты были выше уровня наших глаз. В передней части кузова за деревянным щитом стояли или сидели два автоматчика...

Перекличка. И машины тронулись. Было нас в кузове человек тридцать. Куда везут — неизвестно. В дощатых бортах были щели, и сидевшие по краям порою сообщали названия станций, поселков. Привстать и посмотреть через борт было нельзя, но дорога на частых поворотах наклонялась, наклонялась вместе с нею и машина, и тогда удавалось увидеть оставшийся позади путь. Горы же все время были видны, ибо были они несоизмеримо выше нас. Горы были округлые, но порою попадались и обрывистые разломы с открытыми взору слоями черного, желтого и серого камня. Тайга была совсем иная, чем в Сибири. Она была редкая — дерево от дерева порою метров на пятьдесят. В основном уже желтеющая лиственница. Попадались куртины кедрового стланика. Часто сопки были голые, серо-каменистые, лишь местами поросшие какой-то травянистой зеленью (это были, как позже выяснилось, брусника и разные виды мхов).

Везли нас несколько часов без остановки. На высоких перевалах из кузова уже ничего не было видно, кроме сверкающего солнцем неба. Да еще ветер свистел, как ошалелый. Кто-то прочел в щель: «Палатка». Горы стали выше, темнее. И мы поднимались вместе с дорогой. Машина на краткое время остановилась. Кто-то сказал: Усть-Омчуг. Я слегка привстал и увидел ничем не примечательный деревянный поселок. Вскоре мы въехали в узкую долину между серыми сопками. Слева они стояли сплошной темно-серой каменной стеной. На гребне стены был снег. Сопки справа были тоже высокими, но высоту они набирали постепенно, и на них были заметны штольни с отвалами камня, а в распадках какие-то деревянные вышки, эстакады.

Машина въехала в поселок и вскоре остановилась. Остановилась, как я потом понял, у автобусной станции, и так близко к ней, что все с трудом от непривычного сочетания слогов прочитали густо-черную крупную надпись на белом продольном щите: БУТУГЫЧАГ. Белый щит с черной надписью был окаймлен черными полосами.

БУТУГЫЧАГ

Стало вдруг холодно. И солнце куда-то пропало. Еще возле Усть-Омчуга ярко светило, а тут вдруг заметили: солнца-то нет, хоть небо и чистое. Слышался неразборчивый и непонятный разговор начальника конвоя (он сидел в кабине) с каким-то местным чином. Закончился разговор словами ясными:

— ...на Центральный.

И машина тронулась дальше и проехала совсем немного, километра полтора-два. Остановились.

— Сидеть на местах! Слушать команду!..

Автоматчики вылезли из кузова, открыли задний борт, и мы увидели поселок и много всего нового.

— Выходи по одному! Строиться в колонну по пять человек!

Автоматчики и начальник конвоя были метрах в тридцати от машины. Мы построились, и нас посчитали. Машина задним ходом уехала.

Мы оказались в широком загоне у ворот большого лагеря. Правее ворот была вахта с проходной. Над высокими воротами на прочной проволочной сетке были укреплены алюминиевые литые крупные буквы:

ОЛП № 1

Чуть ниже:

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Очень красиво и четко была сделана надпись. Раньше я видел подобные только на демонстрациях (также на проволочных сетках: завод такой-то и т. п.).

Возле ворот, точнее, чуть не доходя, запомнилась навсегда не очень крупная, но, очевидно, уже очень старая и хоть не толстая, но высокая (метров пяти) лиственница. Одна из ветвей дерева была узловатая, скрученная и далеко откинутая, словно это была не ветвь, а толстая веревка, брошенная и мгновенно застывшая петлей в морозном воздухе.

На Центральном

«ОЛП № 1» означало: «Отдельный лагерный пункт № 1». ОЛП № 1 Центральный был не просто большим лагерем. Это был лагерь огромный, с населением из заключенных в 25—30 тысяч человек, самый крупный на Бутугычаге.

Когда нас впускали в зону (а было уже время вечернее, хоть и по-северному светло, еще не кончился полярный день), возле вахты постепенно собирались бригады ночной смены. И я вдруг увидел... Володю Филина, своего друга по 031-й колонии Озерного лагеря! Живого, невредимого. Господи! Да как же это?! Ведь сказали, он умер! Мы бросились друг к другу. Оказалось, что в больнице он действительно умирал, но все-таки выдюжил, преодолел тяжелейшую пневмонию. А сюда попал из Озерного лагеря (там число людей сокращалось, поскольку дорога Тайшет — Братск была уже построена) теми же путями, что и я, но недели на три раньше, и уже три недели работал откатчиком на руднике № 1. Их бригаду вскоре вывели за зону. А нас, часть прибывших из Магадана, временно (так и

сказали: временно) поселили в такую, как я уже описывал, только маленькую палатку из двойного брезента. Нам выдали постельные принадлежности и стеганые ватные бушлаты. Набитые соломой или стружками тюфяки уже имелись на нарах. Я захватил место наверху. Новую свою телогрейку положил под голову, под тонкую подушку, сверх одеяла укрылся бушлатом. Спал хорошо. Утром проснулся от холода. Почему-то сильно дуло от зыбкой стены. Оказалось, что она разрезана и — о, ужас! — под подушкой не было моей новенькой телогрейки! Я сказал об этом соседям, людям еще мне не знакомым.

— Они их вольнягам толкают по тридцатке, новые телогрейки,— сказал кто-то,— как по тридцать сребреников за чужую жизнь.

— Кто толкает?

— Кто ворует. Суки, потерявшие совесть.

— А ты знаешь кого-нибудь из них?

— Откуда же я могу знать? Ищи ветра в поле.

Люди посочувствовали мне и забыли, занятые своими делами.

Я уже давно знал, что обращаться к начальству лагеря, даже к заключенному начальству,— дело совершенно бесполезное. Новую телогрейку не выдадут, только промот запишут в личное дело. Плохо, очень плохо начиналась для меня лютая зима 1951—52 годов. Укравший из-за тридцати рублей обрекал меня на смерть от замерзания или простуды.

Убил бы и сейчас этого гада — так много мук испытать пришлось мне из-за отсутствия телогрейки. Ежедневно приходилось просить телогрейку у больных или у работавших в другие смены. А телогрейка даже больным или свободным от работы все равно зимой была нужна — сходить в столовую, в уборную и т. п.: зимой в одном бушлате, без телогрейки, холодно. Морозы за 50, 60 и даже за 70 градусов стояли долгими месяцами. За 50 градусов — до четырех месяцев подряд.

Стараюсь припомнить тех, кто делился со мною телогрейкой. Чаще всего это были западные украинцы: бурильщик Иван Матюшенко, откатчик Федор Рыбас, из русских — Василий Еремеев и другие, забытые. Из немцев — Ганс. Он был мобилизован в неполных пятнадцать лет, в 45-м году, уже в апреле, попал в лагерь для военнопленных, а оттуда по статье 58—10 угодил на Колыму. Всех — и кого назвал, и кого не назвал — и украинцев, и русских, и литовцев, и других — всех, кого помню и кого забыл из тех, кто делился со мною телогрейкой зимою 1951—52 годов, от всей души благодарю! Спасибо вам, дорогие товарищи мои!..

Чтобы не забыть, запишу, как Ганс (чаще мы его звали Иваном) смешно рассказывал анекдоты (он плохо знал русский язык):

— Идет по лесу волк. А навстречу ему идет — не знаю, как назвать,— красный такой собака — в лесу бегает, фукс называется!..

— Лисица! Давай дальше!

— Да, лисица — давай дальше...

Я потом дружил с ним, с Гансом-Иваном, и на Центральном, и на руднике имени Белова. Однажды, в глухую колымскую зиму, он принес откуда-то необыкновенное чудо — два больших свежих, словно их только что с куста сорвали, красных помидора. А я с раннего детства не любил помидоров и никогда их не ел. И вот в восторге от того, что может и хочет это сделать, Ганс подает мне один из этих двух помидоров. Разве можно было отказаться? С тех пор я стал есть помидоры. Тот был первый. Между первым и вторым моим помидором прошло три с половиной года, второй я съел уже в родном Воронеже...

Среди описания жестоких мучений приходит вдруг как бы само собой воспоминание о веселом, радостном — пусть чрезвычайно редком в бутугычагском аду. Душа, погруженная в мучительные воспоминания, словно отталкивает их и даже среди них находит добро и тепло — два помидора Ганса. Ах, как они были хороши! Но вовсе не вкус и не редкость такой изысканной пищи тут на первом месте. На первом месте — Добро, чудом сбереженное в душе человека. Если есть хоть капля Добра, значит, есть и Надежда.

Не всегда, однако, удавалось мне добыть телогрейку. Раза два или три той грозной зимою выходил я на работу в одном только бушлате. А работа моя была уже не в шахте на 6-м горизонте, где я начинал свою горняцкую эпопею в 23-м квершлаге — катали вагонетку вместе с Володей Филиным,— а на 47-й штольне, метров на 500 выше дна распадка, в котором был расположен огромный рудник № 1. Поднимаясь на высокую эту штольню и порой таща с напарником вверх по обледенелым камням рельсы, я и простудился, и стали болеть у меня почки, и стал я харкать кровью.

И я опять попросился в шахту на 6-й горизонт. Рудник № 1 был километрах в полутора-двух от жилой зоны Центрального. Морозы были лютые, и это расстояние мы вместе с конвоем пробегали почти бегом. Шахта, главная шахта рудника № 1, была зарезана в сером граните. Гранит — порода общая для всех бутугычагских гор, а следовательно, и шахт. В главную шахту рудника № 1, на 240-метровую глубину, нас спускали на клети, она принимала человек десять — двенадцать или одну вагонетку типа «Анаконда» с породой или рудой. 23-й квершлаг был освещен стационарными лампочками, но, разумеется, не до забоя. И мы, откатчики, пользовались для освещения карбидными лампами. Светильники эти несовершенные, их задувало ветром, а спичек у нас не было, но работать с ними можно, когда рядом другие откатчики с огоньками карбидок. Аккумуляторными электролампочками с небольшой фарой на каске или шапке были снабжены бурильщики, а также бригадиры и их помощники-спиногрызы. Очень точное слово. Спиногрызы должны были как бы сидеть на работягах и грызть спины.

Володя Филин уже работал в другой бригаде, совсем в другой отрасли огромного производства — в пыжеделке. Я попал в бригаду белоруса Николая Протасевича. Был он довольно щуплым, но жилистым и, пожалуй, повыше меня. Ему нравилось, что я «природный русак» (он и себя называл русаком и фамилию свою произносил с русским окончанием: «Протасов» — и от других того требовал), и предложил он мне стать его помощником, спиногрызом:

— Будем честными суками, будем жить красиво! Будем спирт пить и сало жрать! Если кто против — вот, погляди.

И он показал мне какой-то странный, скорее бутафорский, чем настоящий, нож. Нож был раза в полтора длиннее, чем полагается быть финке, и был вырезан из лезвия обыкновенной ножовки. Я взял нож и сказал:

— Не годится эта штука, Николай.

— Почему?

— А вот смотри! — и я легко согнул лезвие в дугу.— И вообще я тебе лезть в суки не советую. Ты ведь не блатной, а всего-навсего бывший полицай. А у нас в БУРе настоящие воришки сидят. Неровен час... Сам понимаешь... Не буду я у тебя спиногрызом. Я честный битый фраер[1].

— Там в БУРе только один Леха Косой. А с нами сам Купа, и все бугры, и все начальство...

— Нет, не буду я у тебя спиногрызом.

— Будешь!

— Не буду!

Протасевич, не надеясь на свою бутафорскую финку, не стал меня резать. Он взял тонкое бревнышко из привезенных на козе для рудстойки и стал меня им бить по бокам — по легким, по почкам. Бил он вполсилы и как бы нехотя, словно чего-то не понимал, чего-то боялся. Однако и несильные его удары очень больно отдавались внутри, в почках, наверное. И с каждым ударом у меня изо рта вылетал кровавый сгусток. Я был очень слаб и не мог оказать Протасевичу сопротивления. Даже забурник для меня был тяжел. Спас меня бурильщик Иван Матюшенко:

— Пан бригадир Протасов! Вы его так убьете, а сейчас опять ввели смертную казнь за лагерный бандитизм!

Протасевич оставил меня.

— И в самом деле, не стоит за такого вышку получать. А еще природный русак! Да и не русак он! — обрадовался вдруг своей неожиданной мысли Протасевич.— Не русак он, а жид натуральный! Верно, Матюшенко?

---

[1] Фраер — обычно объект воровского промысла — грабежа, обмана и т. п. Битый фраер — человек, не принадлежащий к блатному миру, однако умеющий за себя постоять, его легко не проведешь, он может и сдачи дать.

— Ні, пан Протасов, на жида він не похож. Руський він, русак.

— Жид, жид. Я их знаю хорошо. Я их в газмашину десятками запихивал.

Протасевич легко нашел себе двух спиногрызов. С одним из них, Николаем Чернухой (кажется, 1923 года рождения), мы были до этого в нормальных, даже приличных отношениях. Сам он родился в Харбине, в семье белоэмигранта, но отец его был из Борисоглебска Воронежской области. Таким образом, получалось, что мы с ним почти земляки. Другого, Ивана Дзюбу, лютого бандеровца, я раньше не знал. Оба они с радостью подхватили слова Протасевича, что я еврей. Как они издевались надо мною, не буду описывать — больно. Скажу только, что за то, что я якобы еврей, меня почти ежедневно били. И так случилось, что некому было мне помочь. У меня началась депрессия. Все ревело, орало и стучало вокруг меня:

— Жид! Жид! Жид! Жид!..

Орали разинутые глотки Протасевича, Чернухи и Дзюбы. Стучали перфораторы. Даже в моем кровавом кашле, казалось, звучало:

— Жид! Жид! Жид!.. Признавайся! Почему не признаешься, что ты жид?!

Так продолжалось месяца два.

После очередного издевательства я украдкой рассматривал свое лицо в тусклом обломке зеркала, висевшего в умывальнике. Похож ли? — этот вопрос я задавал себе и не находил ответа. Нос вроде не еврейский. Вот черноват я волосами, худ, глаза от худобы стали большими. Может, и вправду во мне есть еврейская кровь? И возникла болезненная коллизия. Я вспомнил своего дядю, Самуила Матвеевича Заблуду, польского еврея, мужа тети Веры, Веры Митрофановны Раевской (она же и моя крестная мать), и перестал исключать возможность того, что я сын Самуила Матвеевича. Вспомнил, как в раннем моем подгоренском и воронежском детстве сестры Раевские с восторгом восклицали: «Ах, какой хорошенький! Вылитый Самуил Матвеевич!..» — и всем было радостно.

После возвращения в Воронеж я узнал, что Самуил Матвеевич приехал из Польши в СССР спустя два-три года после моего рождения. И мое болезненное предположение полностью отпало. Но я счел невозможным не написать и об этих моих мыслях.

Тетя Вера моя уже умерла. Она завещала мне альбом с фотографиями. Фотография Самуила Матвеевича сейчас передо мною. И вправду — есть общие черты.

Мое стихотворение «Крещение. Солнце играет...» печаталось, по просьбе тети Веры, без окончания. Она боялась, что упоминание в стихах ее погибшего в 37-м году мужа причинит ей неприятности на работе. Вот окончание стихотворения:

...А крестная? Крестная где-то
В тиши одиноко живет.
Тридцатое горькое лето
Все мужа погибшего ждет.

Я буду звонить, тетя Вера.
Пусть сердце у вас не болит.
Конечно, уменьшилась вера,
Но солнце, как прежде,— горит!

Интересно и то, что некоторые мои друзья и читатели, прочитав стихотворение, просили написать еще одну-две строфы о тете Вере — что с нею. Чувствовали незаконченность стихов.

К началу весны, к концу марта, к апрелю на Центральном всегда набиралось 3—4 тысячи измученных работою (четырнадцать часов под землей) заключенных. Набирались они и в соседних зонах, в соседних рудниках. Таких ослабевших, но еще способных в перспективе к работе отправляли в лагерь на Дизельную — немного прийти в норму. Весною 1952 года попал на Дизельную и я.

Отсюда, с Дизельной, я могу спокойней, не торопясь, описать поселок, а точнее, пожалуй, город Бутугычаг, ибо населения в нем было в это время никак не менее 50 тысяч. Бутугычаг был обозначен на всесоюзной карте.

Весною 1952 года Бутугычаг состоял из четырех (а, если считать «Вакханку», то из пяти) крупных лагпунктов. О Центральном я уже немного говорил. Расскажу о других.

Над Центральным высоко вверх вздымалась конусовидная, но округлая, не острая и не скалистая сопка. На крутом (45—50 градусов) ее склоне был устроен бремсберг, рельсовая дорога, по которой вверх и вниз двигались две колесные платформы. Их тянули тросы, вращаемые сильной лебедкой, установленной и укрепленной на специально вырубленной в граните площадке. Площадка эта находилась примерно в трех четвертях расстояния от подножия до вершины. Бремсберг был построен в середине 30-х годов. Он, несомненно, и сейчас может служить ориентиром для путешественника, даже если рельсы сняты, ибо подошва, на которой укреплялись шпалы бремсберга, представляла собой неглубокую, но все же заметную выемку на склоне сопки. Назовем эту сопку для простоты сопкой Бремсберга, хотя на геологических планах она имеет, вероятно, иное название или номер.

Чтобы с Центрального увидеть весь бремсберг и вершину сопки, надо было высоко задирать голову. С Дизельной наблюдать было удобнее («большое видится на расстоянье»). От верхней площадки бремсберга горизонтальной ниточкой по склону сопки, длинной, примыкающей к сопке Бремсберга, шла вправо узкоколейная дорога к лагерю «Сопка» и его предприятию «Горняк». Якутское название места, где был расположен лагерь и рудник «Горняк»,— Шайтан. Это было наиболее «древнее» и самое высокое над уровнем моря горное предприятие Бутугычага. Там добывали касситерит, оловянный камень (до 79% олова).

Лагерь «Сопка» был, несомненно, самым страшным по метеорологическим условиям. Кроме того, там не было воды. И вода туда доставлялась, как многие грузы, по бремсбергу и узкоколейке, а зимой добывалась из снега. Но там и снега-то почти не было, его сдувало ветром. Этапы на «Сопку» следовали пешеходной дорогой по распадку и — выше — по людской тропе. Это был очень тяжелый подъем. Касситерит с рудника «Горняк» везли в вагонетках по узкоколейке, затем перегружали на платформы бремсберга. Этапы с «Сопки» были чрезвычайно редки.

Дизельная

Этот ОЛП имел, конечно, как и Центральный, и «Сопка», и Коцуган, свой номер, но номера никто не помнил. Называли — Дизельная. Свое название этот лагерь получил от дизельной электростанции, построенной здесь в 30-х годах. Позднее Бутугычаг стал снабжаться электроэнергией от мощной ТЭЦ. Линии электропередачи в пустынных горах велись местами без стальных опор. Опоры складывали из дикого камня на хребтах сопок. На одной из фотографий, присланных мне в 85-м году секретарем Тенькинского райкома КПСС Тамарой Филимоновной Гулько, видна такая невысокая опора, видны развалины поселка, бараков, колючая проволока.

Когда пришел ток от большой ТЭЦ, дизели и электрические машины увезли, а огромное деревянное здание дизельной приспособили под двухэтажное жилье для заключенных. Построили из камня столовую, БУР, из дерева — баню.

К слову сказать, воды на Дизельной тоже не хватало. Во время банных дней каждому заключенному давали маленький ломтик мыла и большую кружку теплой воды. Как быть? Сливали человек пять-шесть свои кружки в одну шайку и этой водой обходились — и намыливались и обмывались. Все пять-шесть человек. Вот так-то.

На «Сопке» с водой дело обстояло еще хуже. Работяги приходили из шахты все в пыли, а воды в умывальниках не было. Растопленного снега хватало только для баланды и питья. Рассказывали смешной случай. Работяги требовали с дневального воду, и люто:

— Где хочешь бери, но чтоб вода была.

— Да где ж я вам возьму воды?! Нарисую, что ли?!

— А ты хоть нарисуй и скажи — нашел. Но чтоб была вода!

— Ну, ладно, — отвечал дневальный, — будет вам воды от пуза.

На следующий день ввалились запыленные работяги в барак и ахнули: на грязно-белой барачной стене нарисовано море с волнами (как обычно дети рисуют) по волнам плывут корабли, и на берегу растут пальмы. А для большего эффекта внизу было написано углем: «Вода!».

Если смотреть с Дизельной (или с Центрального) на сопку Бремсберга, то левее ее была глубокая седловина, затем сравнительно небольшая сопка, левее которой находилось кладбище. Через эту седловину плохая дорога вела к единственному на Бутугычаге женскому ОЛПу. Он назывался... «Вакханка». Но это название тому месту дали еще геологи-изыскатели.

Работа у несчастных женщин в этом лагере была такая же, как и у нас: горная, тяжелая. И название, хоть и не специально было придумано (кто знал, что там будет женский каторжный лагерь?!), отдавало садизмом. Женщин с «Вакханки» мы видели очень редко — когда проводили их этапом по дороге.

Опишу Дизельную. За зданием бывшей дизельной тянулась широкая, но быстро сужающаяся к сопкам долина. В глубине ее было главное устье рудника № 1 БИС. Над устьем рудника, над подъездными путями, конторами, инструменталками, ламповыми, бурцехом возвышалась огромная гора. В ней-то, внутри ее, и располагался рудник № 1 БИС, на котором работали заключенные с Дизельной. Называли его просто «БИС».

Рудную жилу там разведывали и разрабатывали в основном ту же самую, что и на руднике № 1, — девятую. Я еще в самом начале своего горняцкого пути с большим интересом вникал в горное дело и знаю довольно много из этой отрасли человеческой деятельности. Но, право, не знаю, сколь подробно нужно рассказывать об этом читателю. Подъемные машины были не мощные. Пределом, предельной глубиной спуска-подъема бутугычагских подъемных машин было 240 метров — и по мощности мотора, и по барабану, и по длине тросов. Горизонты на Бутугычаге были глубиною в 40 метров. Жила (горняки говорят жилá) — это, просто говоря, трещина земной коры (вертикальная или под большим углом), заполненная минеральным телом. Квершлаг — поперечная горная выработка, широкий коридор, ориентированный перпендикулярно к жиле. Когда после очередного отпала жила обнажалась, вправо и влево от квершлага зарезались штреки — по жиле. И если квершлаги в гранитной толще, особенно давние, вполне могли обходиться без крепления (действовал так называемый свод естественного равновесия), то штреки надо было прочно крепить. Над головою была жила, т. е. прежде всего рыхлая окисленная зона добывавшегося минерала. Когда штрек пробивали (крепился он сразу же после каждого отпала), устраивали над ним блок: делали люки в потолке и снизу вверх, наращивая колодцы люков, выбирали содержимое блока. Мощность жил бывала порою невелика, поэтому приходилось, как и в квершлагах, проходить выработку взрывным способом: бурить шпуры, заряжать их шашками аммонита со шнурами, соединять шнуры, запыжовывать шпуры, палить и т. д. Это один из общеизвестных способов подземных работ.

Месяц-полтора доходяги, прибывавшие с Центрального на Дизельную, не работали, но кормили их сносно. Это делалось для сохранения, точнее — для временного сохранения, рабочей силы. Ибо комплекс Бутугычага был рассчитан в конце концов на постепенную гибель всех заключенных — от дистрофии и цинги, от самых разных болезней.

Передышка от работы частично восстанавливала силы. На Дизельной, как и на Центральном, была небольшая библиотека, были газеты. Более всего экземпляров газет (далеко не свежих, разумеется) было, согласно национальному составу спецконтингента заключенных, на украинском и на литовском языках. Были и центральные газеты, и, конечно, «Советская Колыма», выходившая в Магадане. Там часто печатались стихи некоего не известного мне до тех пор поэта Петра Нехфедова. Он обладал удивительной плодовитостью. Главная его тема была всегда одна:

53

«Спасибо дорогому товарищу Сталину за счастливую жизнь горняков-колымчан». Выйдешь, бывало, из пыльной шахты, из ночной смены, а на витрине уже приклеен свежий номер «Советской Колымы». Я обычно первым делом отыскивал в газете стихи Петра Нехфедова и прицельно точно харкал на них густым, сочным черным плевком. Это стало неизменным ритуалом при каждой новой встрече с его стихами.

На Дизельной я познакомился с Игорем Матросом. Он был уже знаменит тем, что палил на руднике № 1 забутовавшийся после взрыва восстающий забой. Забой был зарезан в девятой жиле и давал много руды, остро необходимой для плана. Чтобы понятно было, что такое восстающий забой, объясню, как объясняли украинцы (только русскими словами). Это колодец, вывернутый наизнанку. И вот в такой каменной, тянущейся вверх трубе завис целый отпал породы, руды с обломками бревен крепления, так называемых расстрелов. (Они упираются в противоположные стороны колодца. По ним взбираются вверх бурильщики, взрывники. После каждого взрыва и уборки руды выбитые и сломанные расстрелы восстанавливаются крепильщиками.) Отпал весом в десятки тонн завис высоко, метрах в 25—30 от лючка, от потолка штрека. Единственное средство в таких случаях — это попытка обвалить забутовку с помощью аммонитного фугаса, поднимаемого вверх на пяти-, шестиметровом шесте. Взорвали один, другой фугас — никакого результата. Лишь мелкие камешки посыпались. Сам начальник рудника присутствовал при этом. И когда стало ясно, что фугас надо прикрепить непосредственно к нависшему отпалу, начальник сказал:

— По технике безопасности я не имею права посылать людей в этот восстающий забой. Но если найдется доброволец, пусть просит у меня все что угодно, кроме свободы.

Игорь за свою жизнь попросил немного: две бутылки спирта, пять банок мясной тушенки, десять пачек махорки. И неделю отдыха.

Начальник согласился с радостью. А Игорь сказал:

— Если погибну при взрыве или обвале, то прошу передать цену моей жизни бригадиру и работягам моей бригады. Честное слово, начальник?

— Честное слово.

Игоря снарядили самой яркой лампой, десятью шашками аммонита, увязанными в прочную ткань, мотком бикфордова шнура. Фугас был снабжен тремя взрывателями (на случай отказа одного или двух) и стальными крючками для подвески. И Игорь полез вверх. Чуть поодаль от лючка стояли вольные взрывники, начальник рудника с горными мастерами. Начальник, еще когда Игоря снаряжали, сказал кому-то из них:

— Позвоните в главную диспетчерскую, передайте мой приказ прекратить на час все взрывные работы.

Игорю, по его рассказу, очень мешала стальная лесенка из троса, оставленная взрывником. Она уходила в глубь нависшей громады камней и бревен. Любое неосторожное прикосновение к ней могло вызвать обвал. Осторожно, минут за двадцать, Игорь, вскарабкавшись по расстрелам и уступам камня, поднялся под самую нависшую над ним смерть. Хорошо привязал к бревну проволокой фугас, прихватил к верхнему расстрелу шнур, чтоб он не висел на фугасе, и осторожно стравил шнур вниз.

— Глядите — шнур! — сказал кто-то.

— Сейчас он начнет спускаться.

— Тише!..

Стоявшие под блоком откатчики (западные украинцы) перекрестились. Они были из бригады Игоря и все время, пока он не вылез из лючка, шептали молитвы. Когда Игорь мягко спрыгнул в штрек и расправил шнур, к нему подошел начальник рудника.

— Как вас зовут?

— Игорь, гражданин начальник.

— Спасибо, Игорь! А кем вы были на воле, сколько вам лет?

— Матрос 1-й статьи. 22 года.

— Вот, товарищи, на что способны советские моряки! Всем в квершлаг! Палите, Игорь. Вот спички!

Взрыв был не холостой. Многотонно хряснуло камнями и рудою так, что сорвало лючок и посыпалось на дорогу в штрек, обрушило часть крепления возле забоя.

Как был рад начальник рудника! Слов нету передать. Он спросил у Игоря:

— По какой вы и на сколько?

— 58—10. 25 лет.

— Да, понятно, ведь вы служили в военно-морском флоте. Буду просить начальника Дальстроя ходатайствовать о вашем помиловании.

— Спасибо, гражданин начальник. Вряд ли чего получится из этого, но спасибо.

— Получится. Очень может быть, что получится. Какие-нибудь нужды у вас есть? О чем говорили — спирт и тому подобное, — это все вам в секцию принесут, об этом не беспокойтесь. Что-нибудь еще нужно вам?

— Письма мои к матери не доходят.

— Напишите письмо и передайте мне через любого гормастера, я лично из Магадана отправлю.

Это письмо мать Игоря получила.

Я подружился с Игорем и еще с сибиряком Иваном Шадриным. Он прошел всю войну, потом получил четвертак за месяц плена. Был он старше нас, лет тридцати пяти — сорока, и мы его признали за главного. Высокий, сильный, жилистый. И веселый. Так втроем мы и дружили — жрали вместе[1], спали рядом, работали в одной бригаде. А когда три человека дружат так, что головы друг за друга готовы отдать, — это уже большая сила. И в лагере троица наша была заметна, и плохие люди нас побаивались.

Рассказал я товарищам-друзьям своим о своих бедах. Телогрейку мне сразу нашли — какую-то драную-предраную, но обменяли у каптера на складе на новую — износилась, мол, что поделать.

Рассказал я и о своих мучителях на Центральном. На Протасевича зуб имели и Игорь, и Шадрин. Решили попроситься у нарядчика, чтоб перекинул нас троих опять на Центральный. А я уже физически хорошо окреп. Программа минимум — технически уработать в шахте Протасевича, программа максимум — замочить всех троих: Протасевича, Чернуху и Дзюбу.

Апогеем нашей дружбы стал в эти дни почти невозможный на Колыме борщ. Сварил его прямо на плите в жилой секции Иван Шадрин. Случилось нам достать сразу банку мясной тушенки, полкочана капусты и головку чеснока. Замечательный получился борщ. До сих пор его помню.

Через несколько дней пошел я к нарядчику. Вот, дескать, посылку получил, хочу угостить (это было вполне законно и прилично). Как бы мимоходом сказал, что у нас друзья остались на Центральном. Что если будет запрос на любых специалистов, то мы хорошо отблагодарим, если он перекинет нас троих туда. Нарядчик отнесся с пониманием.

Дня через два нас троих — меня, Игоря и Ивана Шадрина — завернули с развода в барак.

— Сидеть в секции, приготовиться с вещами.

Мы воспрянули духом. Я взял полученные Игорем от матери кожаные с мехом перчатки (так было решено наградить нарядчика) и пошел в контору. Однако нарядчика не было, помощник сказал, что он за зоной. Это могло быть вполне вероятным, и я вернулся в барак. А там уже ждет надзиратель — давай на вахту. Нас не шмонали, быстро пропустили через проходную, сверив с фотографиями на наших формулярах. У ворот за вахтой стоял грузовик с двумя автоматчиками.

— Залезай!

Залезли. Невелик путь до Центрального — полтора километра, могли бы и пешком довести. Но раз уж подали машину — кто нам, как говорится, запретит роскошно жить?

Шофер завел мотор. И машина покатила... налево и вниз, к Коцугану. Надул, нарядчик, сучий потрох! Решил избавиться от нас. Мы медленно ехали мимо рудообогатительной фабрики. Ворота. Крытые крышей весы — платформа для взвешивания автомашин с рудой. Высокое серое от ветров и пыли деревянное сооружение дробильного цеха. Огромные деревянные чаны химического цеха. И примыкающее к ним нарядное кирпичное трехэтажное здание, только что выбеленное. Котельная. Затем — по ту сторону проволоки — жилая зона, белые-белые ветхие, столетние бараки. Машина повернула к вахте и остановилась. Начальник конвоя раскрыл один из формуляров и вызвал:

— Жигулин!..

— Он же Раевский, 1930 года рождения! 58—10, первая часть, 58—11, 19—58—8! Особое Совещание! 10 лет!

— Вылезай! Проходи!

Я выпрыгнул из кузова, подошел к уже открытой проходной и оглянулся. В эту секунду солдат гаркнул на привставших в машине моих друзей:

— Сидеть! Дальше поедем!..

И оборвалось сердце. Ах, гад нарядчик! Продал, заложил. Доложил начальству о нашем стремлении на Центральный.

— А куда остальных, начальник?

— Не твое дело!..

— Прощай, Игорь! Прощай, Иван!

— Прощай, Толик!..

— Молчать!!!

Я был уже в зоне и старался увидеть, куда пойдет машина. Машина пошла вниз, к Усть-Омчугу. Там, вроде, не было уже бутугычагских лагпунктов. Может, я чего-то не знаю?..

Рудообогатительная фабрика — страшное, гробовое место. Я понемногу расскажу о ней. Вспомнилось опять время на Центральном, когда я был очень слаб и болен, а меня избивали Протасевич, Чернуха, Дзюба. Мне очень хотелось поправиться, чтобы убить хотя бы Протасевича. Но чтобы поправиться, надо было хорошо есть. И я таскал на кухню мешки с мукой. Мешки были по семьдесят килограммов, а во мне самом было не более пятидесяти пяти — так я был худ и измучен. Особенно тяжело было подниматься на крыльцо по каменным обледенелым ступенькам — прямо бросало из стороны в сторону. Если бы я упал — разбился бы насмерть. Но я ни разу не упал. Откуда только силы брались. Силы брались от мысли, что после работы мне дадут высокую жестяную миску, полную гороховой каши, и большой кусок хлеба. И я буду есть, и во мне возникнет сила, и я убью своего мучителя...

На Коцугане я познакомился со студентом из Киева Славкой Янковским (тоже антисталинская подпольная студенческая организация — 4 человека), а также с двумя еврейскими писателями: Натаном Михайловичем Лурье из Одессы и Яковом Иосифовичем Якиром из Молдавии.

Начальником КВЧ (культурно-воспитательной части) был на Коцугане совсем молодой лейтенант, литовец. Видно, только что окончил училище и попал в эту черную дыру, где томились, страдали и погибали его земляки. На Коцугане было много литовцев, но когда они обращались к лейтенанту по-литовски, он отвечал им по-русски. Боялся, что донесут, выдумают что-нибудь нехорошее.

Однажды из управления Дальстроя прислали очередной трудовой лозунг: «Горняки! Честный труд — путь к досрочному освобождению!» Но у нас была не шахта, а рудообогатительная фабрика. И лейтенант, еще не в совершенстве владевший русским языком, приказал писать лозунги с изменением: «Фабриканты! Честный труд — путь к досрочному освобождению!» Кто-то пытался объяснить молодому начальнику КВЧ, что слово «фабрикант» не совсем подходящее, но недели две эти смешные лозунги красовались на стенах бараков и на фасаде рудообогатительной фабрики.

Я забыл рассказать, как своеобразно я познакомился на Коцугане с Я. И. Якиром. После вечерней поверки, а было еще светло, я остался на линейке и стал рассматривать весь видный отсюда бедный чисто побеленный лагерь. Ко мне подошел пожилой человек и подал руку:

— Яков Иосифович Якир, писатель из Молдавии.

— Анатолий Жигулин-Раевский, студент из Воронежа.

— Я очень рад, что вы к нам прибыли! Нас теперь здесь будет четверо: я, писатель Ноте Лурье, сапожник Арон Баксмахер и вы!

— Я вас не совсем понимаю, кого нас?

[1] Т. е. делили любую добытую пищу поровну. Высшая степень дружбы в лагере.

— Но ведь вы же семит.
— Нет, я не еврей.
— Но позвольте, такие глаза, такое лицо? Извините, если я ошибся.
— Ничего, пожалуйста. Будем друзьями независимо от национальности.

И мы вправду потом подружились и с ним, и с Ноте Лурье (он был осужден по делу Переца Маркиша). А сапожника помню смутно. Видно, была на мне прочная обувь.

Еще один примечательный человек встречался мне и на Коцугане, и на Дизельной. Олег Троянчук из Харькова. Нас сближало то, что мы оба писали стихи. Олег, кажется, уже окончил университет. Был он чуть старше меня, с 27-го года. Говорил, что попал в лагерь за то, что был переводчиком у немцев. Сейчас я полагаю (да, собственно говоря, и тогда так думал), что это была его легенда для самозащиты от бандеровцев-антисемитов. Олег был похож на еврея и картавил. Очень дружен он был, как и я, с Натаном Лурье.

Мы читали с Олегом друг другу стихи. Он был поклонником декадентов. Вот некоторые его строки:

...Глаз твоих бледно-синие дали,
Белый бархат изнеженных рук
Почему-то мне близкими стали,
Дорогими, любимыми вдруг.

Ты молчала, печально глядела
В даль кровавых закатных огней,
Будто в них ты увидеть хотела
Грани этих стремительных дней.

Сейчас мне кажется, что я даже помню лагерный номер Олега Троянчука: М-20. Так и стоит перед глазами написанный на зеленой спецовке светло-синей краской. Но это, может быть, и шутки памяти. А впрочем, как знать. Работал Олег Троянчук в электроцехе и меня обещал туда устроить.

На Коцугане я окреп физически и «сильно озверел» (это означает: стал отчаянно смел).

Зимою с 52-го на 53-й год я еще раз попадал на Центральный, и при моем появлении у вахты Протасевич, Чернуха и Дзюба бежали прятаться в БУР. Я был смел и силен, как молодой зверь. За пазухой у меня всегда была завернутая в тряпку острая и крепко закаленная стальная пика. Лезвие пряталось в ножны, сделанные из куска старого валенка.

А над моей головой дремала высокая сопка Бремсберга. Казалось: дайте свободу, и я взбегу на нее, не переводя дыхания.

Раз на зимнем разводе два босяка (вора), случайно выпущенные из БУРа, запороли на моих глазах нарядчика Купу. Он ходил со своею луженою трубою-рупором — вызывал на развод бригады. Мы выходили в конце. Из барака я услышал странные звуки — радостную ругань и смертные крики. Я выбежал и увидел вдали: стоит, качаясь равномерно, высокий Купа, а два человека пониже ростом, в легкой одежде, вбивают в Купу пики, один — в грудь и в живот, другой — в спину, передавая уже полуживое тело друг другу, с пики на пику. Скоро Купа уже лежал в большой луже мгновенно замерзавшей крови, тут же куски ваты из щегольского бушлата Купы. Шел легкий снег. И ложился на лицо Купы. И валялась на снегу луженая Купина труба.

И равнодушно смотрела на все происходящее сопка Бремсберга.

КЛАДБИЩЕ В БУТУГЫЧАГЕ

Я — последний поэт сталинской Колымы. Если я не расскажу — никто уже не расскажет. Если я не напишу — никто уже не напишет.

Я с самого детства, лишь закрою глаза и прижму пальцами веки,— вижу два небольших золотых озерца или самородка. Слева совсем маленькое, справа — раза в полтора-два больше. Что это? Не знаю. Предсказание и знак Колымы? Знак Бутугычага? Но на Бутугычаге добывали не золото, а серебро.

Кто опишет после моей смерти кладбище в Бутугычаге?

Кладбище это — вечный мавзолей, созданный природой и людьми. И никак его не разрушить.

Сжечь нельзя — гореть нечему. Как сказано в «Энциклопедии географических названий» о верхних отрогах хребта Черского, это горная страна, переходящая в горную тундру и заполярную каменистую пустыню. Вот там оно и расположено, это кладбище. А бедный лес — он гораздо ниже, в долинах и распадках,— был почти начисто сведен еще в 30-х годах. А там лиственница полутораметровой высоты и толщины у пня такой, что пальцами можно обхватить, растет около ста лет.

И вывезти это кладбище нельзя — египетская работа, и дорог нет, и высота над уровнем моря около 3000 метров.

Широкая, покатая седловина между сопками, левее Центрального лагпункта. Там и находится Кладбище (или, как его часто называли, Аммоналовка — в той стороне был когда-то аммональный склад). Неровное плоскогорье. И все оно покрыто аккуратными, ровными, насколько позволяет рельеф местности, рядами едва заметных продолговатых каменных бугорков. И над каждым бугорком, на крепком, довольно большом деревянном колышке — обязательная жестяная табличка с выбитым дырчатым номером. И если поблизости хорошо заметны могильные возвышения (порою и даже часто это просто деревянные гробы, поставленные на чуть-чуть расчищенную каменистую осыпь и обложенные камнями; верхняя крышка гроба часто полностью или частично видна), то далее они сливаются с синевато-серыми камнями, и уже не видны таблички, а лишь кое-где колышки.

И лежат на этом номерном кладбище многие мученики. Сколько их? Никто не считал.

Природа создала идеальные условия для, можно сказать, вечного сохранения и тел, и могил. Там, где гробы случайно повреждены, видно, что тела погибших высохли, задубели на почти постоянном сухом морозе. (Зимою температура держится здесь ниже 70 градусов по два с половиною — три месяца.) Лето очень короткое и тоже сухое и холодное. Сохранность трупов такая, что позволяет различить черты лица. Я это видел сам, когда был там. Об этом же говорят в письмах знакомые магаданские поэты, краеведы, геологи, журналисты. По номерам на табличках можно в соответствующих архивах легко найти личные дела погребенных, узнать их имена.

Работа в любой шахте вредна. А в мокрых или пыльных рудниках при плохом питании — тем более. Особенно ручная откатка руды вагонетками из-под блоков по штрекам. Если штрек мокрый, то невыносимо влажно. И не помогают ни резиновая роба, ни резиновые сапоги. Едкий туман стоит в штреке, видимость плохая, с бревен крепления капает, а порой и струится вода. Вода плещется и на путях под ногами. В сухом штреке — мелкая, как пудра, удушающая рудная пыль. Кашель до кровохарканья.

Катали мы вагонетку с Володей Филиным (я уже писал об этом). Мы старались избежать штреков, просились в квершлаг. Там тоже пыльно от работы бурильных молотков. И грунт самый твердый и тяжелый — чистый гранит. Но зато — гранит! Чистый!

Чтобы не идти работать в штреки и на блоки (ведь не сам решал, а бригадиры назначали место работы), я отказывался от работы вообще, за что месяцами сидел в холодном БУРе на 300 граммах хлеба и воде. Я соглашался вместо теплой шахты работать зимою на поверхности. Жестоко обмораживался, попадал в лазарет. Знал, что с моими легкими при работе в штреке неизбежно погибну.

Рудообогатительная фабрика тоже была, что называется, вредным производством. В дробильном цехе та же, но еще более мелкая пыль. И химический, и прессовый цехи, и сушилка (сушильные печи для обогащенной руды) были чрезвычайно опасны едкими вредоносными испарениями.

В последнее время мне особенно часто снится Бутугычаг, рудник, рудообогатительная фабрика, сушилка... Большие длинные печи, большие стальные противни.

Работа в сушилке была очень легкая — слегка помешивать кочережками концентрат, высыхающую, прошедшую дробильный, химический и прессовый цехи массу, почти чистую смесь окислов добываемого металла, — пока не высохнет. И рабочая смена всего шесть часов. На эту работу с удовольствием шли молодые западноукраинские парни. (Наверное, потому в этих снах я думаю по-украински.) Чем вкалывать четырнадцать часов в мокрой или пыльной шахте, бурить шпуры или надрываться над вагонетками с рудою — почему не пойти в сушилку? Тепло. И кормят лучше. Даже молоко дают.

Я в сушильном цехе был всего однажды — быстро, почти бегом прошел через цех с прессами, мимо сушильных печей. Мы таскали на первом этаже пеки — выжимки из прессов, — и меня послали наверх узнать, почему случился перебой.

Много лет спустя я был с писательской делегацией на подобной фабрике для обогащения металлической руды. Кажется, вольфрамовой. Многое похоже. Но работают там в специальных респираторах. И вообще — техника безопасности, охрана труда. А на Бутугычаге не было никакой охраны труда. Естественная логика того времени — зачем смертникам охрана труда?..[1]

Ребята с сушильных печей работали легко и весело — двадцать — тридцать смен по шесть часов. Потом их, здоровых и отдохнувших, отправляли тем не менее в так называемые лечебные бараки. В них собирались со всего Бутугычага доходяги — больные дистрофией, цингой, пеллагрой, гипертонией (от сравнительно большой высоты над уровнем моря), силикозом и бог знает какими еще болезнями.

Смертность в Бутугычаге была очень высокая. В «лечебной» спецзоне (точнее назвать ее предсмертной) люди умирали ежедневно. Равнодушный вахтер сверял номер личного дела с номером уже готовой таблички, трижды прокалывал покойнику грудь специальной стальной пикой, втыкал ее в грязно-гнойный снег возле вахты и выпускал умершего на волю...

...Я проснулся сегодня рано утром в каком-то полусне или полубреду. Жена сказала, что я во сне отвечал на ее вопросы. Мне опять снился Бутугычаг. Там, ниже кладбища, в южных распадках и на южных склонах еще кое-где растет кедровый стланик и живут бурундуки.

Часто души умерших олицетворяют в образах птиц. Но на Бутугычаге птиц нет. Наверное, души погибших на Бутугычаге в каком-то смысле олицетворяются в бурундуках. И, наверное, поэтому эти милые зверьки так прекрасны, печальны, кротки, очень доверчивы и несчастны.

В 1961 году я написал стихотворение «Кладбище в Заполярье». Им я и закончу эту главу.

Я видел разные погосты.
Но здесь особая черта:
На склоне сопки — только звезды,
Ни одного креста.

А выше — холмики иные,
Где даже звезд фанерных нет.
Одни дощечки номерные
И просто камни без примет.

Лежали там под крепким сводом
Из камня гулкого и льда
Те, кто не дожил до свободы
(Им не положена звезда).

...А нас, живых, глухим распадком
К далекой вышке буровой
С утра, согласно разнарядке,
Вел мимо кладбища конвой.

Напоминали нам с рассветом
Дощечки черные вдали,

[1] В 1954 году рудообогатительная фабрика в Бутугычаге закрыта, сейчас от нее остались лишь хрупкие руины.

Что есть еще позор
Посмертный,
Помимо бед, что мы прошли...

Мы били штольню сквозь мерзлоты.
Нам волей был подземный мрак.
А поздно вечером с работы
Опять конвой нас вел в барак...

Спускалась ночь на снег погоста,
На склон гранитного бугра.
И тихо зажигала звезды
Там,
Где чернели
Номера...

ПОСЫЛКА ЭДИДОВИЧА

Мои колымские стихи, опубликованные в книгах и ходящие еще и в рукописях, приносят мне довольно большую почту. Кто-то из читателей, владеющих пером, написал даже так:

И все ж дошли до нас, хоть и не сразу,
В разгуле разыгравшихся стихий
Шаламова колымские рассказы,
Жигулина колымские стихи.

Современные магаданские писатели и колымские читатели считают меня своим — колымчанином, колымским поэтом. В магаданской областной печати рецензируются мои книги. В местных (магаданских, хабаровских, вообще дальневосточных) антологиях и тематических сборниках помещаются и мои стихи, порою большими циклами.

Уже давно, еще в 1954 году, все бутугычагские рудники-месторождения, полностью выработанные, закрыты и заброшены. Сейчас там по-прежнему, как сказано в географической энциклопедии, горная заполярная каменистая пустыня. Пустынный пейзаж нарушают лишь руины лагерей.

Магаданские писатели и журналисты и просто любознательные люди наведываются туда за «реликвиями» — и присылают мне куски колючей проволоки, куски породы, обточенные обломки касситеритовой руды, фотографии этих страшных мест. На эти снимки мне больно смотреть, и Ирина постепенно убирает их с моих глаз.

Это я все к тому говорю, что полученное однажды извещение на ценную (пять рублей) бандероль из Магадана вовсе не удивило ни меня, ни Ирину. Удивила еще на почте лишь странная форма бандероли. Оказалось, что это крепко упакованная и перевязанная маленькая балалайка. Развернули. Сначала выпал кусок непрозрачного белого кварцита с машинописной наклейкой: «26/7. р/к БУТУГЫЧАГ, 1974», а потом — о, ужас! — мы увидели могильный деревянный колышек с прибитой к нему гвоздями жестяной табличкой. На табличке с помощью дырочек был выбит номер: «Г-13».

Письмо гласило:

«В Магадане
10. XII. 1976.

Анатолий Владимирович, мучаюсь — не бестактно ли посылать Вам эту бандероль, трогать раны... Но ездил на Бутугычаг и смотрел на постройки, на сползающую из горловины зеленую ледяную лаву, на частокол полусгнивших столбиков сквозь Ваши строки... У меня все Ваши сборники... Вас очень любят у нас и работу Вашу ценят. Дай Вам бог здоровья и удачи счастливо продолжать ее...

Столбик и камень из Бутугычага. Я дерева или древка не вытаскивал из земли. Он лежал в выбросе, свежем выбросе... Спутники предполага-

ют — медведь копался... Рядом ссохшаяся, коричневая кисть человеческая...

Из штрека санки торчат. Веревка, в которую впрягались... В столовой стены сохранились, потолок — небо. В столовой по верхнему бордюру, что ли, синие цветочки и орнамент... Трудно описывать, даже постороннему трудно...

Спасибо за Вашу работу. Простите мое незваное письмо. Просто сегодня днем говорили о Вас, дома еще раз перечитал «Полярные цветы», и захотелось что-нибудь для Вас сделать... А вот сделал ли — вопрос... Не судите строго. Если у Вас будут поручения, нужды, связанные с нашей землей, с удовольствием выполню...

Мих. Эдидович»

Нам от этой посылки, от этого «сувенира» стало нехорошо. Мы буквально не могли найти себе места. Пахнуло могильным черным холодом. А я почувствовал, что словно бы опускаюсь в страшное прошлое.

Жена это поняла. Мысль ее лихорадочно заработала: как избавиться от этого могильного знака? Выбросить — и грешно, и как-то нехорошо, кощунство по отношению к покойнику. Отнести на какое-либо кладбище и там на символическом холмике установить этот знак — тоже нельзя — это фальсификация. Да и уничтожат там этот знак как мусор при очередной уборке.

Спасительная мысль пришла мне. Вот что я написал М. Эдидовичу (цитирую полностью по сохранившемуся черновику, кроме абзаца, относящегося к его стихам).

«25 декабря 1976 года
Москва

Михаил Давидович!

Спасибо Вам за книгу и письмо! Спасибо за кусок породы из рудника, на котором я когда-то работал. Это — реалия суровой, но неизбежной и необходимой памяти о Бутугычаге...

В своем письме Вы совершенно верно предположили «...не бестактно ли посылать» столбик с «дощечкой номерной» с Бутугычагского погоста. Конечно, не только посылать мне, но и вообще брать эту горестную мету с кладбища не следовало бы. Ведь этот колышек с номером — какое ни есть, а надгробие (как крест, как обелиск и т. д.). Надгробие же — это часть могилы, то, что принадлежит погребенному в ней человеку. И вовсе не оправдание в том, что это, как Вы пишете, был свежий раскоп, что Вы не выдергивали колышек, а лишь взяли его. Брать что-либо с могилы, тем более надгробие (да еще в качестве «сувенира») — тяжкий грех по всем — и религиозным, и общечеловеческим — моральным нормам. Вы как поэт это особенно хорошо должны знать. Вам и Вашим спутникам надо было по мере возможности забросать камнями раскоп, укрепить над ним колышек. Поэтому возвращаю Вам надгробие (простите, но поступить иначе я не могу). Возвращаю с просьбой: при первой же возможности отвезите эту «дощечку номерную» на Бутугычагское кладбище, на то место, где она лежала.

Могу еще добавить (хотя это вовсе не главное), что человека Г-13 я знал и работал с ним в одной бригаде.

Анатолий Жигулин».

Третьего января 1977 года я получил телеграмму:

«Спасибо урок подобное не повторю более того исправлю первой возможности Простите Эдидович»

Летом 1977 года М. Эдидович прислал мне письмо с рассказом о том, что ездил на Бутугычагский погост, зарыл могилу и прочно укрепил над нею знак Г-13 и даже колышек подгнивший заменил свежим (это он приготовил еще в Магадане — новый крепкий колышек).

Теперь можно сказать несколько слов о человеке с номером Г-13. Я познакомился с ним еще в 1950 году на лесоповальной и железнодорожной колонии 031-й Озерного лагеря. Он был из западников — дюжий, высокий и жилистый мужик лет сорока. Меня он потряс тем, что забивал в шпалу костыль для крепления рельса одним ударом молотка. Сначала он лишь ставил костыль на нужное место и в нужном положении. Затем — разворотное движение руки с молотком — от земли над головою и вниз к костылю, и — удар! Из других бригад приходили любоваться работой Ивана Дядюры. Фамилия у него была на мой тогдашний вкус весьма смешной: Дядюра.

Поэтому в своем стихотворении «Костыли» (1960), говоря об этом человеке и оставив его имя, я выдумал ему фамилию: Бутырин. А нынче, пожалуй, верну ему фамилию настоящую:

Выдохнув белое облачко пара,
Иван Дядюра, мой старший друг,
Вбивал костыли с одного удара.
Только тайга отзывалась: «У-ух...»

Нельзя сейчас не удивиться тому, что, живя в моих стихах под чужой фамилией семнадцать лет, он пришел ко мне странным явлением с посылкой М. Эдидовича.

Словно потребовал восстановления настоящей фамилии. И фамилия-то какая хорошая, сильная — Дядюра! Ведь она от слова «дядя».

Крепок был Иван Дядюра, но с сердечной болезнью (из-за высоты над уровнем моря) не смог сладить. Царствие тебе небесное, Иван Дядюра! И в моих стихах ты тоже будешь обозначен.

ПОБЕГ

Памяти Ивана, Игоря, Феди

«Черные камни». Это был довольно большой лагерь. По дороге, сбегавшей вниз, вдоль реки, по долине, было к нему от основных рудников Бутугычага километров шесть — восемь.

Здесь, у «Черных камней», впервые, если спускаться дорогою вниз, кончалась справа почти сплошная стена очень крутых, обрывистых каменных сопок и открывалась сравнительно широкая долина. Это был большой раздол. Здесь было зелено, особенно летом. Однако и зимою на склонах округлых сопок зеленел кедровый стланик. Не везде, но большими куртинами. И было много бурундуков.

Зоны лагеря «Черные камни» располагались в долине слева от главной дороги. Здесь журчал на перекатах широкий Черный ручей, сливающийся ниже с речкой Шайтанкой. Когда я какой-то весною или летом впервые оказался в этом месте, я был потрясен огромным количеством цветов. Обе долины и частично склоны сопок были до самого горизонта розоватыми от сиренево-фиолетовых цветов иван-чая. Это впечатление легло в основу моего стихотворения «Полярные цветы». Я сначала из кузова машины не мог определить, что это за цветы. Но когда мы высадились, я сразу узнал знакомый с детства кипрей, или иван-чай. (Epilobium angustifolium!) Правда, был он мельче российского, и, возможно, второе (видовое) латинское название я написал неверно. Возможно, что это какой-то иной вид кипрея.

Привезли нас на это место, в долины иван-чая, на заготовку дров. Здесь — в долинах и по склонам — когда-то была тайга, был лес, сведенный на топливо, на строительство и рудничную стойку еще в тридцатых годах. Поэт Валентин Португалов валил здесь году в 37-м невысокую колымскую лиственницу, а к моему времени (1952 — 53-й годы) от тайги здесь сохранились лишь одни пни. Высохшие и смолистые, они были прекрасным топливом. Пни легко выходили из сыпучей каменистой гальки на склонах сопок или из трухлявой торфяной и рассыпчатой наносной земли в долинах. Стоило только слегка подважить, то есть поднять вагою, как пень вместе с сухими своими корнями выходил наружу, как деревянный осьминог. Иногда из-под него выскакивал рыжий бурундучок. Пни грузили на машину, а уже в лагере их распиливали другие работяги.

Я работал в бригаде по заготовке пней месяца два, это было вольготное время моей колымской жизни — короткое колымское лето, солнце, теплая шуршащая осыпь окатанных камней, кедровый стланик, брусника, бурундуки... По мере корчевки пней места работы менялись. Пни листвен-

ниц обнаруживались порою и довольно высоко на южных склонах, и даже на лбах отдельных сопок. Благодаря этому я хорошо изучил местность вокруг «Черных камней» — расположение дорог, долин, распадков, ручьев, тропинок. А главное — хорошо выяснил зеленые густые места по распадкам и ручьям со стлаником, молодым подростом лиственницы, ивой, мелкой березой, травою. Места, где можно было незаметно укрыться весною и летом. Наметился ясный путь обхода поселка Усть-Омчуг, главного препятствия, мешавшего уходу вниз, в густую, живую, непроходимую и неодолимую, но свободную тайгу!

Побег с Колымы невозможен. Имеется в виду побег с концами, то есть побег, при котором беглецы оказываются не пойманными или не убитыми при попытке уйти на чистую волю. В нашем случае надо было идти тайгой и болотами многие тысячи километров до Якутска или до Транссибирской магистрали. А порядок был таков. При поимке беглецов они, живые или мертвые (порою даже обнаруженные в тайге их скелеты), обязательно должны были быть привезены, возвращены в тот лагерь, откуда бежали. Живых судили, давали 25 лет. Мертвые долгие дни, недели и даже месяцы лежали возле проходной у главных ворот лагеря с табличками-плакатиками. Например, такими: «Иванов Иван Сергеевич, 1920 года рождения № А-2-549. Осужден по ст. 58—1-б на 25 лет. Бежал 6-V-49 г. Пойман 10-X-1951 г. Застрелен при оказании сопротивления».

Добраться до материка было нельзя. Но бежать и жить в глухой тайге охотой или разбоем было можно. Вертолетов тогда еще не было. Но для жизни в тайге надо было бежать с захватом оружия — винтовок или автоматов. Винтовка предпочтительнее для охоты на зверя, автомат — для защиты от солдат и местных охотников, которые, польстившись на щедрые дары Дальстроя: деньги, оружие, порох, дробь, спирт, продукты, — при случае ловили беглецов. Один такой охотник по иронии судьбы попал в лагерь, на рудник имени Белова. И здесь его опознал пойманный им Андрей Бехтерин, бежавший за два года до этого из СВИТЛа. После суда (58-14 — саботаж) Андрей получил 25 лет вместо своей десятки и попал уже не в СВИТЛ, а в Берлаг. Андрей жестоко отомстил ему. Летом 1953 года этот бывший охотник бесконвойный взрывник Петька, по кличке Петька-стукач, был «технически уработан».

На руднике имени Белова добывали рудное золото. Мощных подъемных машин не было, были лебедки ЛШ-600, поднимавшие около трех тонн руды или породы с глубины около 80 метров. В шахте было четыре горизонта по 80 метров каждый. Поэтому и руда, и порода поднимались на-гора́ ступенчато, с перегрузкой на промежуточных горизонтах. На каждом горизонте стояла своя подъемная лебедка. Подъемных машин для людей не было. И людям официально полагалось спускаться на четвертый горизонт (320 метров глубины) по людским ходкам — узким, гнилым, шатким деревянным лестницам, устроенным в тех же шахтах, по которым ходил скип — стальной короб для руды, — только сбоку. Чтобы спуститься по людскому ходку на четвертый горизонт, нужно было два часа, чтобы подняться — три. С молчаливого согласия начальства людей и опускали и поднимали на скипах. Человек восемь становились на верхние края скипа, держась за трос.

Я работал машинистом-лебедчиком на втором горизонте и однажды в конце смены, когда все люди были уже подняты, ждал взрывника. Петька-стукач появился, встал на край скипа. Я начал спускать его на моторе — так надежнее, тормоз — деревянный рычаг, упирающийся в муфты сцепления электромотора с механизмом лебедки, — был весьма ненадежен, при спуске тяжелого груза на тормозе (а это иногда приходилось делать, когда, например, отключалась электроэнергия) доска от трения начинала гореть. Взрывник, увешанный шнурами и аммонитными шашками, поехал вниз. В это время из штрека подошли ко мне Андрей Бехтерин и еще один, забыл его фамилию, имя только помню — Василий. Сказали грозно:

— Отойди-ка, отдохни, мы сами немного поработаем.

Сопротивляться, увещевать их было абсолютно бесполезно...

Андрей выключил мотор. Барабан лебедки бешено завертелся. Стальной трос начал разворачиваться молниеносно, взвиваясь порою, как пастуший кнут. Из шахты раздался душераздирающий, смертельный крик Петьки. Удар. И крик прекратился.

Вася снял кожух лебедки, закрывавший несложную систему стальных шестерен.

— Приложи-ка, Андрей, к большой шестерне этот горбыль, а я шибану по нему.

С первого же удара кувалдой шестерня разлетелась.

— Проверь, Андрей, хорошенько, чтоб ни единой крошечки дерева не осталось под кожухом и на шестернях.

Проверили, слегка припылили место на обломке шестерни, где была приложена доска.

— Все, теперь ни одна экспедиция не пришибется. Усталость металла.

Надели кожух. Закурили. Потом поднялись, поехали на первый горизонт на скипе лебедки первого горизонта. Кувалду и доску взяли с собой.

Я минут через десять позвонил наверх, доложил бугру о несчастном случае. Мне дали трое суток карцера за нарушение правил. Но через сутки выпустили на работу — был конец квартала, нужны были опытные машинисты-лебедчики.

Я, однако же, отвлекся от «Черных камней». Почему так назывался лагерь? Было четыре черных скалы вдалеке за лагерем, на хребте пологой сопки. Четыре крупных камня. Один из них, крайний, — поменьше и со щербинкой. Наверное, из-за них и назвали.

Лагерь был старый, бараки — ветхие. Были даже, как, впрочем, почти в каждом лагере, палатки — двойные, с дощатыми засыпными каркасами. Жилая зона была большая, примерно 600 на 800 метров. Располагалась она на пологом склоне сопки. Рабочая зона примыкала к жилой. Здесь было несколько штолен, был бурцех, инструментальный цех, ламповая, электроцех — все как полагается. Но работа велась вяло. Временами «Черные камни» вообще пустовали. Одно время в жилой зоне «Черных камней» была больничка. Но это до меня, не при мне.

На «Черные камни» я попал в феврале 1953 года. Там я встретил давних друзей: Игоря Матроса и Ивана Шадрина. Когда меня оставили на Коцугане, а их повезли дальше, я еще не знал о «Черных камнях», а их повезли именно туда. Встретил я на «Черных камнях» и друга еще более давнего, Ивана Жука.

С Иваном Жуковым — Жуком — я познакомился еще в августе 1951-го, когда на большой 035-й колонии Озерного лагеря формировался этап на Колыму. Колонну заключенных построили внутри зоны, чтобы вести на посадку в телячьи вагоны, и начальник конвоя звонко крикнул:

— Беглецы — вперед! В первую шеренгу!

Из разных мест строя вышли два человека и стали впереди первой шеренги — я и не знакомый мне человек, высокий, широкоплечий, ярко голубоглазый, светловолосый, с медным нательным крестом в просвете распахнутой рубахи, лет на десять старше меня. Его назвали первым:

— Жуков!

— Я! Иван Степанович, 1919 года рождения...

— Жуков. А еще?

— Жуков. Он же Сидоров, он же Степаненко, он же Ковалев...

— Хватит. Статьи?!

— 58—8, 58—14, 59—3, 136...

— Хватит. В наручники его!

— Следующий! Как там тебя?

— Жигулин Анатолий Владимирович! 1930 года рождения! Он же Раевский! 58—10, первая часть, 58—11, 19—58—8...

— Откуда бежал?

— С Тайшетской пересылки.

— От нас не убежишь! В наручники его тоже!.. Мужик, — обратился он к кому-то из первой шеренги, — возьми его вещи!

Мешочек мой — сидорочек — был уже невелик и легок.

Когда заковали и замкнули нас в наручники, Иван Жуков повернулся ко мне светлым, добрым лицом и радостно сказал:

— Привет, воришка! Я-то думал, что я один здесь.

— Я не законник. Я честный битый фраер...

— Восьмой пункт-то у тебя не фраерской. Да фраера и не бегают. Ты не бойся — я честный вор. Ты откуда сам-то?..

— Из Воронежа.

— А! Москва — Воронеж — шиш догонишь! А я москвич. С Марьиной рощи. Бывал в Москве?

— На пересылке. На Краснопресненской...

Раздалось: «Шагом марш!» Колонна тронулась. Шли недолго. Уже стоял наготове порожний состав с телячьими вагонами. К вагонам подводили группами, по счету — сколько должно уместиться в каждом. У двери вагона наручники с нас сняли — все полотно, весь состав — все было уже оцеплено.

Иван Жук выбрал самое лучшее место — на верхних нарах возле решетчатого, но открытого окна.

— Залезай сюда, Толик! Дорога долгая нам предстоит. Эх, жаль, гитары нету!..

...Пока плывет за окном искореженная, искромсанная, гниющая тайга, я кратко расскажу, как я стал беглецом.

Из Тайшета, вернее, из зоны тайшетской пересылки, я пытался бежать смешно, почти по-детски. Однако и такие глупые попытки иногда удавались. Я решил рискнуть. Марта уже ушла, дня три как ушла. Ожидался и мужской этап. Однажды группу заключенных — двадцать два человека — вывели разгружать горбыль с высоких платформ, стоявших на путях прямо у ворот пересылки. Нас долго пересчитывали перед выводом — двадцать один или двадцать два. И я решил рискнуть. Шанс был очень мал, но он был реален. Просчет на одного человека — не очень редкое явление в лагерном мире. Когда кликнули:

— Выходи строиться! На ужин! — я остался на одной из платформ, спрятался под горбыль, под доски. Меня ннкто и не искал. Но мне было слышно:

— Кажется, двадцать два было?

— А может, двадцать один?

— Ладно, ты давай заводи, а мы на всякий случай просмотрим платформы.

Эх! Если бы они не стали просматрнвать платформы! После наступления темноты я вылез бы и поехал на каком-нибудь товарняке в Россию. На мне еще не было лагерной формы, на мне был серый шевиотовый костюм, сшитый к 1 мая 1949 года, модная в то время фуражка, скрывавшая отсутствие волос. Но меня нашли. Когда солдаты, кряхтя, залезали на платформу, я лег совсем открыто и захрапел, притворяясь спящим.

— Вот он!

— Неужели и вправду спит?

— Хрен его знает. Притворяется, наверное. Тряхни его!

Меня разбудили и весьма побили прикладамн. Но я твердо стоял на своем — заснул, разморило. Мне вроде бы даже и поверили (судить не стали). Посадили в БУР и даже больше не били. Оба солдата были рады случаю — за поимку беглеца получили отпуск домой. А меня вскоре отправили с этапом на станцию Чуна, на ДОК. Потом была страшная зима на 031-й.

И вот почти через год — этап на Колыму. За окном теплушки уже плыли освоенные сибирские места. Помню ярко-синий сказочный Байкал, крепкие рубленые сибирские дома, Биробиджан, «штормовые ночи Спасска, волочаевские дни». Все — как в учебниках истории и географии.

Переправа через Амур на пароме. Грязно-коричневые скалы и темно-серая волна. Порт Ванино — главная дальневосточная пересылка. Говорили, что временами на ней собиралось до 200 000 заключенных. Двадцать восемь, кажется, зон там было, это — только *огневых*, т. е. простреливаемых.

До Ванино ехали мы с Иваном весело. Он оказался страстным поклонником Есенина. А я, как уже говорил, знал наизусть много стихотворений Есенина да и других поэтов, да еще и сам писал стихи. Бандит, осужденный за вооруженный грабеж, бежавший шесть раз, слушал «Москву кабацкую», глядя мне в рот, а в глазах его были слезы.

В порту Ванино мы с Иваном попали в разные зоны. Я приплыл в Магадан на корабле «Минск». Грузовой. В трюмах шестиярусные деревянные нары. Пулеметы направлены прямо в душу. Шесть суток. Болтало порою сильно. Как и в телячьем вагоне — параша, но ие одна, а

много. Когда в телячьем вагоне параша переполнялась, оправлялись возле нее. А на пароходе — выливали парашу в море. Оно глухо ворочалось за стальной ржавой стеной. Шаткие, ведущие вверх трапы. По ним и тащили по многу раз в день параши. Они плескались. Однажды мне посчастливилось — я помогал нести эту огромную бочку и добрался до самого верха. Я увидел море — серое, свинцовое, с грязно-белыми барашками волн. И темные тучи у горизонта, и чайки... Вот и все, что запомнилось мне в краткий миг (на палубу меня не пустили, там были другие, более надежные, постоянные *парашутисты*, они и выливали парашу в море). Помнится еще, впрочем, мокрая пустынная палуба и опять пулеметы, пулеметы — шкассовские — на всех надстройках.

Охотское море я видел однажды
Каких-нибудь десять — пятнадцать секунд...

Бухта Ванино и бухта Нагаева — не в счет. Это не открытое море.

С Иваном Жуком мы снова встретились на пересылке Берегового лагеря.

Там уже носили номера особенные. В Озерном лагере у меня был лишь один номер — на спине — Я-815. А здесь разгуливали пижоны с пятью номерами: на спине, на груди слева, на рукаве справа, на коленке слева и на фуражке или шапке. Номера были сложные, похожие на химические формулы: Например: $Н_2$-560, $А_2$-001 и т. п. Мой номер в Берлаге был $И_2$-594. Он у меня (подлинный, нагрудный) сохранился, только с римской двойкой И II — 594. Передовики производства красовались на стендах в фуражках или шапках, и у каждого на головном уборе был тщательно выписан номер.

На пересылке было весело. Хозяином там был Иван Жук. Ворья больше не было. Было несколько уважаемых битых фраеров (в основном из военных и обязательно *природных русаков*, т. е. русских из России). Были шестерки из западных украинцев, из харбинских русских. Чифирили. Ели молодую свежепойманную жареную треску. Ах! Как она была вкусна!

Этап, и опять мы расстались. Я уехал на Бутугычаг. Зима 1951 — 52-го годов была для меня почти гибельной. Я о ней уже рассказал. Упомяну только о маленьком эпизоде, связанном косвенно с Иваном Жуком. В одном из бутугычагских лагерей (в Коцугане) я как-то проснулся ночью от шума. Возле моей постели-вагонки стояли несколько только что прибывших этапом доморощенных берлаговских сук с уже окровавленными ножами.

— Вставай, жучок [1]! Ссучивать тебя будем! А хочешь — сам к нам примыкай. Понял?

— Понял! Только я, ребята, не вор. Я честный битый фраер, студент.

— А кто с Иваном Жуком в Магадане чифирил?!

— Мы просто земляки с ним. А чифирил — здесь многие чифирят.

— Фраер, говоришь?! А ну, снимай рубашку.

«Резать будут», — невесело подумал я. Вся большая секция барака громко храпела, хотя никто не спал. Они только делали вид, что спят, — литовцы и западники, дюжие мужики. Наверное, кожу на спине ремнями будут резать для начала. Эх, нет здесь Ваньки Жука!

Резать, однако, не стали. Стали тщательно осматривать голое тело. Руки, ладони, плечи, грудь, спину.

— Похоже, что и впрямь фраер, — ни одной наколки. А ну, кальсоны сними! Повернись. Ноги покажи. Фраер. Но ты подумай, студент, примыкай к нам. Наша власть здесь будет, весело будем жить, спирт будем пить!

— Ладно, я подумаю.

Примыкать к ним я вовсе не думал, думал утром уйти в БУР...

Ну вот, а встретнлись мы снова с Иваном Жуком на «Черных камнях». Он уже давно знал историю моей жизни. Мне он тоже все о себе рассказал, еще когда ехали в телячьем вагоне до Ванино. Встретились мы как друзья, как родные люди. Он уже слышал, что меня хотели зарезать на Коцугане.

[1] Жук, жучок — вор.

Да, если б нам на «Черных камнях» попались Протасевич или Дзюба!

Вместе с Иваном мы отпраздновали смерть Сталина. Уже первое сообщение о болезни всех обрадовало. А когда заиграла траурная музыка, наступила всеобщая, необыкновенная радость. Все обнимали и целовали друг друга, как на пасху. И на бараках появились флаги. Красные советские флаги, но без траурных лент. Их было много, и они дерзко и весело трепетали на ветру. Забавно, что и русские харбинцы кое-где вывесили флаг — дореволюционный русский, бело-сине-красный. И где только материя и краски взялись? Красного-то было много в КВЧ.

Начальство не знало, что делать,— ведь на Бутугычаге было около 50 тысяч заключенных, а солдат с автоматами едва ли 120—150 человек. Ах! Какая была радость!

Стали ждать амнистию. Но она хоть и была щедрая — Указ Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года — почти не коснулась 58-й, политической статьи. Освобождались только осужденные по 58-й статье УК РСФСР не более чем на 5 лет ИТЛ. А таких было в лагерях «спецконтингента», может быть, десятая доля процента. Уголовники, которые попадали в лагеря «спецконтингента», как я уже писал, были крепко увешаны пунктами 8 и 14 58-й статьи и поэтому тоже под амнистию не подпадали.

Иван рассказал мне о том, что уже давно задумал побег.

— Когда меня возили для опознания в Усть-Омчуг, понравилось мне одно место дороги. Его отсюда видно. Видишь, желтая скала, а ниже — густой стланик, там, дальше, опять невысокая стенка, ее не видно отсюда. Там место узкое. Машины идут, ветки задевают. Нам лучше машина с рудным концентратом. Она всегда выходит с фабрики ровно в девять утра. В кабине — шофер, заключенный-бесконвойник. В кузове бочка с концентратом и два солдата с автоматами. Для налета, для прыжка в кузов нужно четыре человека. По двое на каждого солдата. Трое, считая меня, уже есть. Ты будешь четвертым. Один хватается за автомат, второй действует пикой. Я покажу, научу, как, если не умеешь.

Двух друзей Ивана Жука я хорошо знал по Дизельной, мы жили там в одной секции барака. Федор Иванович Варламов, 1920 года рождения, работал на «Черных камнях», как и на Дизельной, столяром в рабочей и жилой зоне. Очень хорошая специальность. Сидел он за плен. Попал в плен раненым во время тягчайших наших неудач в 1941 году, когда немцы брали в «котлы» десятки тысяч наших. Судьба его чрезвычайно типична для почти всех осужденных за плен кадровых офицеров. Хотя в плену он краткое время работал на ремонте дорог, он ничем себя не замарал, бежал довольно скоро, воевал всю войну и даже не только до Берлина дошел, но и до Порт-Артура. Окончил войну майором, имел боевые ордена, а в 1946 году получил... 25 лет за измену Родине. Был он мой земляк — воронежец... Впрочем, я еще расскажу о нем.

Второй друг Ивана и мой друг (я уже писал о нем, когда рассказывал о Дизельной) Игорь Матрос работал на «Черных камнях» в бурцехе. Родился он в 1928 году в Ленинграде, окончил что-то морское, среднетехническое. Взят был с военно-морской службы за высказывания против Сталина, получил 25 лет. Приземистый, сильный физически. Однако же и в шахматы — сколько мы ни играли — не мог я его обыграть. Он говорил мне ласково после очередного проигрыша:

— Игруля! Тебе надо сделать шахматы маленькие-маленькие и учиться играть для начала под столом.

Игорь, работая в бурцехе, взял на себя техническое обеспечение побега. Он отковал из прекрасной шведской стали (из обломков шведских шестигранных буров) четыре великолепные пики — обоюдоострые (можно резать, можно колоть) кинжалы с лезвием 22—23 см. Ими вполне можно было бриться. И двое кусачек для проволоки. Нужны были в общем-то одни, но на всякий случай он достал и наточил две штуки.

Разделились на пары, тренировались, насколько это было возможно, где-нибудь в пустом штреке. Иван и я составляли одну пару. Федор и Игорь — другую. Иван и Федор при прыжке должны были хвататься за солдатские автоматы. Я и Игорь — действовать пиками. Конечно, риск был очень велик. Что ножи и голые руки против автоматов! Была предусмотрена возможность гибели двоих из нас. Машину мог вести любой.

Поэтому даже в случае гибели троих оставшийся имел шанс прорваться в вольную тайгу.

Пики и кусачки были переброшены Игорем из рабочей в жилую зону во время пурги. Уходить решено было, когда стает снег, в одну из коротких весенних ночей, через средний участок ограждения, чтобы быть подальше от вышек. На этой стороне, параллельно колючей проволоке, вне лагеря проходила неглубокая геологическая траншея.

Но надо было минут на двадцать — двадцать пять погасить прожекторы на этом участке. Погасить технично, чтобы наш уход был не сразу замечен. Разве увидишь с вышки за 300—400 метров, что кое-где проволочка покусана? Не увидишь. На каменной гальке тоже следов никаких. Место прохода через ограждение предполагалось посыпать махоркой (от собак) до Черного ручья, а до него всего двадцать метров. Затем по ручью бегом — он не глубже чем по колено,— из световой зоны. Затем — все время по воде — до Шайтанки. От Шайтанки по ручью в распадок за Желтой скалой. Там опять посыпать махоркой, но не густо, чтоб ее не было видно. И в стланике ждать фабричную машину. В любом случае — будет стрельба или нет — проехать через Усть-Омчуг как можно дальше, как можно ближе к густой тайге. Было четыре брезентовых куртки, которые обычно надевают поверх телогреек вольные гормастера и прочая вольная шушера. Шапки и брюки — тоже вольные. Продуктов (и я, и Федор, и Игорь получали посылки) — на две недели.

Предусматривалась и возможность укрыться в стланике на Желтой скале на несколько дней, пока все успокоится. Мы будем в двух километрах от лагеря, а искать нас будут уже где-нибудь на Индигирке, полагая, что мы рванули зайцами на каком-нибудь грузовике.

Светом в жилой зоне командовал электрик Коля Остроухов, тоже, к слову сказать, мой земляк. Ему оставалось еще четыре года (как в песне) от его десятки «за язык». С ним был связан только Иван, но все мы знали об их договоре. Коля мог технично устроить темноту. Я не знаю, как именно он мог это сделать: вынуть предохранитель и заменить его сгоревшим или имитировать случайное замыкание, но он обещал Ивану все устроить как надо. Коля знал, что в случае отказа Иван его технически замочит, в случае же если он донесет куму, Ивана просто посадят в БУР, из которого он рано или поздно выйдет. Но еще до выхода Ивана оттуда его могут замочить Ивановы дружки. Коля был нами роскошно одарен — шмотками, спиртом, жратвой, деньгами.

Растаял снег. Черный ручей весело бушевал в двадцати метрах от проволоки. Настала ночь побега. Мы жили в одной секции и, не имея часов, заранее, сориентировавшись по цвету неба, собрались наготове в сушилке, решетка там (это было известно только нам) лишь внешне казалась грозной, а в самом деле была легкопроходимой — два прута вынимались, а поперечины были далеки друг от друга. По всей секции и особенно в сенях возле параши посыпали махоркой.

Было договорено, что Коля выключит освещение в 3 часа 10 минут. 3 часа ночи легко определялись (у Коли тоже не было часов) — над фабрикой, километрах в пяти по прямой, на соседней сопке рвали резервуар для воды. Палили в 9 утра, в 3 часа дня, в 9 вечера и в 3 часа ночи.

Простучали взрывы. Мы вынули прутья, приготовились. Погас свет. Через минуту мы были у намеченного места ограждения. Минуты четыре ушло на проход. Федя полз впереди и ювелирно кусал колючку. И не бросал, а взял ее с собой, как и кусачки. Я полз последним, слегка посыпая след махоркой. Встали. Я последним вступил в геологическую траншею. Иван сказал:

— Слава богу! Скорее, ребята, в ручей!

И тут вспыхнул свет. И как-то необыкновенно дружно, словно ждали, с обоих вышек ударили пулеметы.

— Вот б..ды!..— успел только крикнуть Иван и захлебнулся.

Я успел увидеть, как упали Иван и Игорь. Потом меня сильно ударило в левую руку (камень, что ли? — мелькнуло в уме), и я потерял сознание.

От пулеметной стрельбы весь лагерь проснулся. Один из бараков находился почти возле запретной проволоки, метрах в пяти и параллельно ей, напротив нас, лежавших в совсем неглубокой старой траншее. В окна

барака было нас видно и слышно, как заливаются пулеметы на обеих вышках. Было видно, что все мы лежим неподвижно, но пулеметчики, «как бы резвяся и играя», прохлестывают по нам очередь за очередью. Стрельба эта, как рассказывали мне потом, длилась минут двадцать. Затем к нам подошли поднятые по тревоге солдаты и офицеры охраны, лагерное начальство, надзиратели.

Я очнулся, когда меня волокли за ноги. Первая мысль была: почему включился свет? Потом я услышал множество голосов. Кто-то спросил:

— Все дохлые?

— Все, товарищ капитан.

— Это хорошо. Обыскать и положить возле ворот в зоне, чтобы все видели. И пусть лежат, пока не завоняют.

— Они быстро не завоняют, товарищ капитан. Температура еще долго будет минусовая или около нуля.

— Ничего. Если и завоняют — это не беда. Это даже лучше в смысле культурно-воспитательной работы.

Я понял, что жив, но, разумеется, глаз не открыл и не пикнул. Хотя голова болела чудовищно, горела огнем, я все думал: почему зажегся свет? Очень нехорошо было моей левой руке. Она почему-то вывернулась в локте и волочилась в таком неестественном положении. Волокли меня двое. Голова билась голым затылком о камни. Света (сквозь веки) и шума было много — десятки голосов.

— Откройте ворота!..

Огни прожекторов у вахты. Ах, скорее бы заволокли в зону! Не дай бог обнаружить стоном, что ты живой, — полоснут из автомата, добьют. Почему же вспыхнул свет?..

Заволокли, бросили. Проскрипели закрывающиеся ворота. Теперь вся о х р а с оружием осталась за воротами, за зоной. Заходить в любую — жилую или рабочую — зону с оружием строго запрещалось и охре, и лагерной администрации. Будут, конечно, бить, но это ничего... Почему через пять минут вспыхнул свет? Я открыл глаза и увидел предрассветное небо с бледными звездами... Если бы не вспыхнул свет, мы уже были бы сейчас в густом стланике на Желтой скале...

Первым застонал Федя. Он лежал рядом со мной и, на счастье (а может быть, на несчастье), только что пришел в сознание. Кто-то из надзирателей подошел к нему, удивленный:

— Смотри-ка, живой! Товарищ майор! Варламов-то живой!

— Тут еще один живой.

И я увидел в метре над собой небритое лицо и маленькие злые глаза начальника лагеря майора Кашпурова:

— Они дойдут! Помогите им.

Меня били ногами по ребрам, по голове. Я орал вольготно, сильно, просторно — во всю глубину своих двадцатитрехлетних легких. А Варламов сразу затих. Вскоре — потом мне рассказали — вся зона, весь лагерь знал, что живым остался только один Толик Студент.

Моя левая рука (я уже понял, что в нее попала пуля) не слушалась, мешала свернуться в клубок. Голова была вся в крови, и я уже чувствовал пулевую рану над правым ухом.

— Граждане начальники! Так нельзя, это убийство! — раздался где-то рядом громкий голос нашего нового лагерного заключенного, врача Моисея Борисовича Гольдберга. Его секцию (он жил с помощником прямо в маленькой нашей санчасти) не запирали на ночь — на случай рудничной травмы. Он подошел прямо ко мне, к надзирателям, меня избивавшим, в белом халате.

— Ладно! — раздался недовольный голос майора Кашпурова. — Хватит! Мертвецы пусть отдыхают. Живых — в БУР. Врача — на ...!

Меня и Федю Варламова втащили в небольшую камеру с деревянным полом. Федя был без сознания. Когда нас тащили в БУР, я несколько раз пытался подняться на ноги. Но голова кружилась, меня сильно, до рвоты тошнило. И отвратительно рвало. Через решетчатое, но открытое окошко камеры доносился голос врача, спорившего со старшим надзирателем.

— У молодого человека ранена рука, и у него явное сотрясение мозга. Другой вообще очень тяжело ранен. Им обоим надо помочь, нужно их

осмотреть, оказать помощь. Я как врач требую, чтобы меня пропустили к раненым!

— Ты, папаша, слыхал, что майор сказал?

— Слыхал.

— Вот то-то и оно-то.

— Это же вопиющее нарушение наших советских законов!

— Здесь, гражданин доктор, закона нет, здесь закон — тайга, а прокурор — медведь.

Пришел в сознание Федя. Я потихоньку снимал с него одежду. Он стонал, бедняга. Я внимательно осмотрел его. Вся спина и ягодицы его были изорваны пулями. Потом я понял: Федя как фронтовик быстро отреагировал в траншее на свет — упал. И пули настигли его в лежачем положении под острыми углами. И проникли глубоко, куда-то внутрь. Из девяти пулевых ранений (касательные не в счет) только одно имело выходное отверстие выше пупка. Все остальные были слепыми. А где находились пули, можно было только предполагать. Несколько где-то в легких, — он начал кроваво кашлять. Две пули коснулись позвоночника, и опять-таки ушли куда-то вглубь. Кровоточил только живот, вытекала кашица непереваренной пищи. Я считал эту рану в животе наиболее опасной, т. к. выяснилось, что позвонки не разбиты, а только задеты пулями.

Я разделся до пояса, разорвал свою нательную рубаху. Сделал в несколько слоев нечто вроде компресса. Пропитал его своей мочой, приложил, закрыл рану этой накладкой. Перебинтовал полосами, сделанными из рубахи. Не хватило. Тогда я порвал на бинты и свои кальсоны. На Центральном была маленькая операционная. Я думал, что нас — или уж, во всяком случае, Федора — скоро повезут туда.

Моя рана была странной. Между кистью и локтевым суставом было большое продолговатое отверстие с обнаженными мышцами. Выходного отверстия не было. Рука болела вся, сгибать или разгибать ее в локте было очень больно. Я помочился на рану и завязал ее тряпкой. Правая часть головы застыла кровавой коркой. Я не стал ее трогать.

После развода через окошко послышался снова голос врача, спорившего уже с другим надзирателем:

— А я опять-таки требую пропустить меня к раненым! Я напишу жалобу самому товарищу Маленкову. Это беззаконие!

— Ладно, иди отсюда к себе в санчасть и пиши! Большую пиши!

— И напишу! Но пока она дойдет, люди могут погибнуть.

— Пусть гибнут, они фашисты, такие же, как ты, отравитель, жидовская морда! Пошел прочь, а то приложу промеж глаз!

Часом позже пришел Коля Остроухов:

— Гражданин начальник! Здесь проводка плохая, я ее здесь меняю во избежание пожара!

— Давай, проходи. Только с беглецами не разговаривать. Электрику можно — пожалуйста!

Коля д л я п о н т а немного повозился в коридоре, затем зашел в нашу камеру, прикрыл дверь. Лицо его было землисто-белым. Словно на белую простыню посыпали немного черноземной пыли.

Варламов был в забытьи. Я спросил:

— Почему через пять минут свет загорелся?

— Ты понимаешь, Толик, у них, оказывается, есть вторая, автономная сеть и движок — на случай отключения основного питания. Они завели движок и...

— А почему те же самые прожекторы загорелись, если цепь автономна?

— Это очень просто. Я тебе потом объясню.

Коля поставил на пол свой чемоданчик с инструментами. Вынул оттуда нераспечатанную бутылку: «Росглаввино. Спирт питьевой. Крепость 96°. Цена...» И большой кусок сала и хлеб. Достал также газету и махорку, спички. Кулечек с п л а н о м.

— Это все от Лехи Косого. А это от Моисея Борисовича. Здесь тоже спирт для обработки ран и бинты — все, что было в санчасти. Да, вот еще стрептоцид — посыпать на раны. Ваты нету. Он сказал, что вата от телогреек годится, но ее нужно пропитать спиртом минут на пять, потом от-

жать. Тебе велел лежать, не вставать на ноги, не ходить. Где попало в тебя?

— Да вот: одна — в руку, одна — в голову, по касательной, видимо, прошла. Я из-за нее сознание потерял. Она мне жизнь спасла.

— А Федор? — кивнул он на Варламова.

— Федор очень плохой — девять ран и все — внутрь. Сознание теряет. Его надо бы на Центральный, чтоб пули вынули и живот зашили.

Федя умирал почти трое суток. Я перевязывал его. Загноился живот. Временами из горла шла кровь. Он чувствовал, что умирает. Попросил меня заучить его адрес: «Город Белогорск, Камышовая улица, дом 5, Варламова Мария Анисимовна». Это была его мать. Других родных у него не было: отец и два брата погибли на фронте. За Родину. Не было ни жены, ни детей. Заучил я на память и его номер: «А-2-291». Взял он с меня слово, клятву, что я, если освобожусь, навещу его мать и расскажу, как мы хорошо здесь жили и что умер он легко — от сердца, мгновенно.

Электрик Коля Остроухов навещал нас ежедневно. Но Федя ничего не ел, только просил пить и без конца повторял свой адрес. Бредил. Бредил более всего войной, пленом, матерью. Умер он ночью, когда я спал. Лежал он навзничь. Глаза были открыты, но мертвы. И в них стояли слезы. Ему было тридцать три года.

Вместе с мертвым Федей я был в одной камере еще двое суток. Рука моя распухла, как бревно, из раны шел гной...

Однажды Коля Остроухов не пришел. А на другой день с тем же ящиком, что был у Коли, пришел новый «электрик» — Иван Шадрин. Я с ним дружил на Дизельной, мы ж р а л и вместе с ним и с Игорем Матросом. Шадрин любил петь, по-своему, по-чалдонски, протяжно, сердечно:

Ой не могу отплыть от берега —
Волною прибиват.
Ой, не могу забыть я милую —
Целует, обнимат.

Сидел он тоже за плен.

— А где Остроухов?

— Остроухов вчера куда-то по спецнаряду ушел, вроде на Центральный, а может, и дальше.

«Невеликий он специалист, чтобы по спецнаряду уходить», — подумалось мне и забылось.

А сию минуту моя жена Ирина, дочитав рукопись до этого места, сказала:

— А ты знаешь, кто вас заложил?

— Нет.

— Ко́ля Остроухов. Он к оперу ходил, и они разработали этот спектакль. Только и Коля, и лагерное начальство, и охрана рассчитывали на то, что все четверо будут убиты. А ты выжил. От твоего топора Коля и уехал. Ты начал бы думать об этой «автономной цепи», с Лехой бы посоветовался...

Моисей Борисович через пять дней, когда меня наконец выпустили с чернеющей рукой, с помощью вычищенных и прокипяченных острой финки и пассатижей вынул мне пулю из локтевого сустава. Протянул дренаж-резинку по всему ходу пули. Никаких обезболивающих средств, кроме спирта и плана, не было. Не было и операционного стола. Меня крепко привязали к стулу, дали стакан спирта и цигарку с планом. Пуля была длинная, утяжеленная, как маленький снарядик. Счастье мое оказалось в том, что вторая пуля свалила меня под самый бортик геологической траншеи. Я потом, гуляя возле зоны с рукою в гипсе (обе кости — локтевая и лучевая были разбиты), хорошенько рассмотрел это место. Я оказался в недоступном для пулемета мертвом пространстве.

Я ежедневно ходил и к главным проходным воротам. Там лежали рядом трое погибших моих товарищей. Бывший в зоне больной и старый западноукраинский священник ежедневно читал над ними молитвы на церковнославянском языке. Его прогоняли и даже били, но он снова приходил и читал. Лица погибших были уже закрыты белыми тряпками. И Жука, и Игоря смерть настигла сразу. В них попали десятки пуль. Пространство так хорошо простреливалось и в нас так долго стреляли из двух пулеметов, что у охраны не было никаких сомнений в том, что убиты все четверо.

Почему лагерное начальство не устроило тогда судебного разбирательства, не отдало меня под суд за побег? (Суд был в Магадане — военный трибунал.) Не знаю. Но шла весна пятьдесят третьего года. Сталина уже не было. Видимо, лагерная администрация стала чувствовать себя менее уверенно.

Месяца через три после моего выхода из БУРа как-то вечером, когда мы чифирили в бараке с Косым и другими ребятами, прибежал шестерка от нарядчика:

— Пан Косой! Пан нарядчик просил вам передать, что завтра утром вас и ваших друзей выдернут на этап, всего четырнадцать человек.

— А куда?

— На Центральный! Пан нарядчик, — это паренек сказал Косому на ухо, но я слышал, — просил передать, что шмонать вас не будут — ни здесь, ни там.

— Ясно! — сказал Леха, когда паренек убежал. — Поедем на Центральный сук резать. Готовьте пики. Дело доброе — начальник разрешает.

Наутро, еще до развода, нас посадили в зоне на машину. В передней части кузова, отделенной крепким деревянным щитом с гвоздями наверху, стояли два автоматчика. Автоматы направлены были на нас. Однако к таким перевозкам мы давным-давно привыкли. Нас действительно не шмонали, и у всех были хорошие пики. Семь-восемь километров — путь небольшой. Нас построили у вахты Центрального, передали наши дела дежурному. Тот сделал перекличку. Все правильно.

Сквозь щели в воротах нам были слышны взволнованные голоса:

— Гражданин начальник! Откуда этап?

— С «Черных камней».

— Кто?

— Во́ры.

— А конкретно?

— Провоторов, он же Леха Косой. Студент Жигулин, он же Раевский. Он же с Иваном Жуком бежал. Стало быть, Беглец.

Так я впервые услышал свою вторую лагерную кличку. У ворот нас тоже не шмонали, только приказали:

— В БУР!

Впереди нас, метрах в двухстах, к БУРу бегом бежали Протасевич, Дзюба и Чернуха с какой-то мелкой шушерой. Мы кинулись было вдогон, но часовой с проходной вышки заорал:

— Стой! Стрелять буду!..

Пришлось остановиться минут на десять. Когда мы подошли к БУРу, суки уже сидели в одной из камер с решетчатой дверью под замком. Нас всех тоже поместили в большую, просторную камеру — наискосок от «сучьей». Леха Косой начал веселые переговоры:

— Эй, Протасевич, Чернуха, Дзюба! Ночью начальник забудет закрыть замки на камерах. Резать вас будем. Толик-Беглец на вас большой зуб имеет. Вы меня поняли?

— Поняли, — жалобно сказал Протасевич.

— Попроси у него прощения. Может, он тебя простит.

Протасевич, всхлипывая, начал просить прощения:

— Толик! Прости, Христа ради. Век не забуду. Порежь, если хочешь, только жизни не лишай.

Наша камера развеселилась. В соседней царила могильная тоска. Нам принесли жратву и целых три банки только что сваренного чифира — от нового нарядчика. Предыдущий (Купа) был зарезан ворами зимою. (Я об этом уже рассказывал.)

Принесший подозвал меня и передал маленький пакетик.

— Это бугор Степанюк просил вам долг вернуть и спасибо сказать. Он брал у вас взаймы, но не смог рассчитаться — вас неожиданно выдернули на этап, а он с бригадой был в шахте.

В кусок газеты были завернуты аккуратно сложенные в восемь раз две четвертные. Ни в какой долг я денег Степанюку не давал. Я дал ему когда-то лапу — одну четвертную. А теперь он узнал, что я могу оказаться в высшем воровском руководстве лагеря. Сообразительный мужик был этот Степанюк. Нашел способ.

Всю ночь мы ждали открытия замков. Но — увы! — этого не произошло. Лагерное начальство почему-то отказалось от своего намерения. Утром нас, всех четырнадцать, ошмонали возле БУРа и отобрали пики. Затем погрузили в кузов машины и повезли на рудник имени Белова.

Пейзажи были самые разные, но все — колымские. Ехали тихо.

...Ямщик, не гони лошадей —
Нам некуда больше спешить,—

вспомнились почему-то гениальные строки старинной песни.

В начале пути, когда въехали на взгорок под желтой скалой (ах! какое чудное место для нападения!), ясно увиделись четыре больших черных камня. Вернее, три больших и один маленький. И мне подумалось: три большие черные скалы — это памятники Ивану, Игорю и Федору. Маленький — это знак для меня, поскольку я остался жив. Знак памяти.

Клятву, данную Феде Варламову, я выполнил летом 1957 года. Путь от железнодорожной станции к маленькому родному его городку Белогорску был недолог, не более получаса. Места эти с раннего детства были мне знакомы, отец часто брал меня в свои поездки по району по почтовым делам на тарантасе. Я не был в Белогорске двадцать лет. И ничего не изменилось. Только городок словно стал меньше. Так же, как и в раннем моем детстве, текла могучая река, и белели меловые горы, поросшие лесом и кустарником: сосна, дуб, рябина (уже краснеющая), бузина и еще бог весть какие кустарники и травы.

У остановки я спросил Камышовую улицу. Юная девушка подробно по-украински объяснила мне путь. Камышовая улица, и дома на ней почти все с камышовыми крышами. За плетеными изгородями цвели высокие, чуть запыленные мальвы. Стены домов — кирпичные, саманные, деревянные — были. по местному обычаю, обмазаны глиной и чисто выбелены.

Вот и калитка с цифрою пять. Я постучал, позвенел щеколдою. Из раскрытой двери раздалось по-русски:

— Заходите, не заперто!

И навстречу мне вышла высокая, красивая женщина лет уже за шестьдесят. Глаза ее, чистые и еще молодые, живые, прозрачные и глубокие, были глазами Феди Варламова. И лицом очень похожа была она на моего погибшего друга. Я сказал:

— Здравствуйте, Мария Анисимовна!

— Здравствуйте, не знаю, как величать. А откуда вы меня знаете?

— Знаю я вас от дорогого друга моего Федора Варламова. Очень он на вас похож и лицом и глазами.

— Так вы от Феденьки?! Где он? Что с ним случилось — пятый год ни одного письма! А раньше-то письма, хоть по одному в год, но приходили! — И в глазах Марии Анисимовны заметалась тяжелая смертельная тревога и предчувствие: — Что, нету уже моего Феденьки, меньшенького моего родного сыночка?

Я мог бы ничего не говорить. Ответ уже был в моих глазах. Но я никогда раньше подобные вести никому не сообщал. У меня у самого навернулись слезы, и я сказал:

— Нету, нету уже Феденьки нашего дорогого, Мария Анисимовна.

Мария Анисимовна зарыдала, померкла лицом. Но, как бы спохватившись, сказала сквозь слезы:

— Да что ж мы тут стоим-то? Проходите в дом, проходите, пожалуйста.

Я прошел в дом, в просторную белостенную горницу. Как в большинстве сельских русских домов, одну из стен украшала рамка с разными фотографиями под стеклом. На нескольких был Федя. Вот он с капитанскими погонами на плечах, веселый, белозубый, с орденами.

— Вот он, Федя,— сказал я.

— Да, это он, Феденька мой ненаглядный.

За стеклом в рамке были также награды: два Георгиевских креста, орден Славы, какие-то медали.

— Это не Федины награды. Кресты — отцовские, моего отца, за первую германскую войну. Раньше они запрещались, а сейчас можно. Орден Славы и медали моего мужа. Он в Воронеже в госпитале умер, товарищ, друг его привез. И еще два сына погибли. От них и наград не осталось. Только похоронки.

В красном углу горела, теплилась лампадка перед иконою Богородицы.

— Давайте сядем, поговорим. Расскажите мне все про Федю, как вы там жили, в Хабаровском крае. Как, что случилось с ним. Все рассказывайте.

Девушка лет двадцати накрыла стол белой скатертью («Это внучка моя от старшего сына, Катя»).

— Помянем Феденьку по православному обычаю.

И Мария Анисимовна достала из шкафчика и протерла полотенцем бутылку московской водки с зеленой этикеткой и белой сургучной головкой. Катя (не сама, а по приглашению Марии Анисимовны) присела к столу. Выпили, помянули, и я стал рассказывать, как хорошо было нам с Федей в Хабаровском крае, в Магадане. И работа была легкая, и харчи хорошие были. Что умер Феденька от сердца. Стоял рядом со мною, схватился вдруг за грудь и умер.

— Слава тебе, господи! Легкая смерть,— сказала Мария Анисимовна и перекрестилась,— а могилка-то его есть там, в Магадане-то?

— Есть, конечно. Вот номер могилки. Можно легко найти.— И я написал Федин номер: «А-2-291» и дописал еще: «Бутугычаг».

— А что значит буква «А»?

— Аллея. Аллея вторая.

— Кто ж хоронил-то его?

— Друзья его хоронили, и я тоже.

— А ухаживает ли кто-нибудь за могилками там?

— Конечно. Специальные есть люди и сторож кладбища.

— А травка или цветочки растут там?

— Растут там и трава, и цветы. Маки. Я и березку там посадил. Там березы тоже растут, только чуть меньше наших, но тоже красивые.

— А когда, какого числа и месяца он умер?

Число и месяц я назвал правильно, а четыре года жизни прибавил.

— Господи,— всхлипнула она,— и всего-то тридцать семь лет пожил на свете мой Феденька!

Часа два-три рассказывал я о Феде. Потом Мария Анисимовна и Катя проводили меня к автобусу и долго-долго махали мне вслед, пока не скрылись из глаз.

А в вагоне сквозь стук колес все слышались мне слова Марии Анисимовны:

— Спасибо тебе, родимый, за то, что березку посадил!..

Эти слова звучат во мне и поныне.

РУДНИК ИМЕНИ БЕЛОВА

Этот лагерь, это лагерное производство было все в том же Тенькинском управлении Дальстроя.

Ехали мы к нему — ранней осенью 53-го года — несколько часов. Открылась широкая болотистая долина, а по сторонам — сопки, совершенно отличные от бутугычагских. Цветом они были бархатисто-темно-зеленые. А по форме преобладали продольные и плосковатые наверху, на склонах. И по широким разлогам, по распадкам нечастые деревья — лиственницы, развесистые, несколько даже нелепые.

Еще когда подъезжали, стала видна обнаженная, как бы распиленная взрывами сопка. Порода была темно-голубого цвета. И из темно-голубого

обрыва выходили рядом две или три штольни. Отвалов не было, руду забирали прямо из вагонеток мощные длинные скипы.

Название породы я забыл, она немного мягче гранита. А золото находилось в мощных кварцевых жилах с наклоном примерно в 45 градусов. Перфораторы, вагонетки, буры разных размеров и забурники — все было, как на Бутугычаге. Было множество штолен, были шахты.

На руднике имени Белова было довольно сносно. Я работал и на подъемных лебедках, и на скреперных, работал и электриком. Сохранилась у меня тетрадь с кинематическими схемами разных лебедок и схемами электрооборудования. Это я конспектировал книгу по электротехнике, присланную мне дядей Васей. Как она мне помогла и как ценна была там! Я окончил на руднике специальные курсы. Очень интересно мне было горное дело.

А скреперная лебедка ЛУ-15, она рвется с платформы, воет, как дикий зверь, и, сидя или — чаще — стоя за ней и нажимая по очереди правый и левый рычаги, чувствуешь себя укротителем, гоняя по забою тяжеленный зубатый ковш — то пустой, то с рудою или породой.

Бурил я и даже сам палил, с согласия вольного взрывника, мокрую шахту на 4-м горизонте. Обычно забуривали одну половину шахты, шпуров десять — двенадцать, и эта половина была всегда несколько глубже. Туда и клали в с а с мощного откачивающего насоса. Густо текла вода со стен, пока я бурил, я стоял на сравнительно сухом бугорке. Насос непрерывно откачивал воду. Он был американский, фирмы «Мориссон». Я был в специальном резиновом костюме. Управлялся быстро и выезжал на поверхность.

В избушке возле устья штольни мы с Лехой Косым варили чифир по-колымски. А случалось, и спирт пили. Рядом с избушкой-теплушкой была контора участка. Там, в шкафу, пылились книги по горному делу, пять или шесть, я их все, с разрешения вольного гормастера, старика Кузьмича, с интересом прочел. Особенно заинтересовало меня маркшейдерское дело.

Кузьмич работал когда-то в Донбассе, и его за «вредительство» посадили в 1937-м или даже раньше и сразу — на Колыму.

— Ты читай, вникай, — говорил он мне, — освободишься, сдашь экзамен на гормастера. Очень ты хорошо все это осваиваешь. Вот только жаль, что у тебя ОСО. Особое Совещание — дело туманное. Есть народный суд, есть военный трибунал, а ОСО вроде и нет... ОСО меня судило заочно. Постановили — 5 лет. В сорок втором готовлюсь я к освобождению, предвкушаю встречу с родными, готовлюсь Родину на фронте защищать. Вызывают меня в спецчасть. Я радостно иду — будут освобождение оформлять. Ан нет! Подает мне офицер такую же бумажку, как в тридцать седьмом, и говорит: «Пришло дополнительное решение по вашему делу. Прочтите, распишитесь». Я читаю: «Пересмотрели дело такого-то. Постановили: продлить такому-то срок нахождения в исправительно-трудовых лагерях на 10 лет». В пятьдесят втором, в январе, освободился, наконец. Но могли продлить еще на десять лет, потом еще на пять или три, а потом еще на восемь и так далее. Эх, ОСО, ОСО! Так мы тачку, бывало, называли: машина ОСО — два руля, одно колесо!..

Да, это мне было известно давно. Особое Совещание могло продлять срок незаконно осужденного до бесконечности.

Не знаю, кто как к этому отнесется, но я, ей-богу, полюбил рудник имени Белова. У меня уже были зачеты года на два. Шел к концу 1953 год, уже не только умер Сталин, но и был разоблачен Берия. Я чувствовал, что ОСО уже продлять срок не будет. Через пару лет выйду на волю, буду на месте Кузьмича работать. (Он тяжело был болен и остался после освобождения на руднике только ради пенсии.) Думалось, будет у меня комната отдельная в поселке имени Белова. Буду работать вольным на руднике, буду гулять по тайге, буду читать, буду писать. Пошлю что-нибудь честное в «Советскую Колыму», не век же там печататься со стихами одному только Петру Нехфедову. Вот такие планы и мечты были у меня даже после казни Берии. Так долго на Колыму шло потепление.

К слову сказать, весть о разоблачении Берии мы, осужденные по 58-й статье, встретили довольно спокойно. Конечно, приятно было прочитать об аресте кровожадного палача и нескольких его «сподвижников». Хотя, скажу прямо, слова о том, что Берия был агентом империалистических разведок, воспринимались с улыбкой. Главное для нас было не это. Мы ждали перемен. Но в лагерях «спецконтингента» мало что изменилось. В декабре 1953 года порядки, во всяком случае на Колыме, были прежние. Режим был строг, водили по-прежнему в номерах. Однако какое-то подсознательное ощущение, что наша жизнь все-таки должна поменяться к лучшему, все же появилось.

Работа на руднике имени Белова, как и всякая горная работа, была порою опасной. В мокрой шахте однажды со мной тяжелый случай произошел. Бугорок был в эту смену невелик. Уместилось в нем всего восемь шпуров. Я забил их, как полагается, деревянными пробками-втулками — чтобы не насыпались камешки да и чтобы взрывнику было хорошо видно, где я забурил шпуры. В бадью погрузился. Лебедчик-машинист вытащил меня. Перфоратор, и буры, и лишние пробки я выгрузил. Тут взрывник идет, не помню, как его звали. Он мне:

— Толик! Сколько там шпуров?

— Восемь.

— Будь другом — помоги зарядить.

— Пожалуйста.

Быстро нас лебедчик опустил. Быстро мы в две пыжовки (деревянная палка для заталкивания заряда в шпур) зарядили шпуры, хорошо забили, запыжевали глиняными пыжами, чтоб не простреляло впустую. Подожгли все восемь шнуров, влезли в железную бадью.

— Давай, — кричу, — поднимай!

Поехали, но вдруг энергию выбило, лебедка не работает, бадья повисла метрах в пяти над горящими шнурами. А шнуры уже под водой горят. Воды на бугорке уже по колено, даже выше. Ведь насос-то выключен и всас поднят, чтобы его взрывом не разбило. И осталось минуты полторы. Я кричу:

— Ионас! Спускай нас скорее!

На тормозе можно и без энергии опустить. Стоя по пояс в воде, мы по огонькам видели шнуры и прямо-таки ныряли за ними! Вырвали все восемь. Слава богу! Мы были по грудь в воде, когда включилось электричество, Ионас поднял нас, совершенно мокрых.

Вот фамилию Ионаса точно не помню, что-то вроде Юргес или Юглас. Совсем молодой парень, моего возраста. Мы спали рядом на нижних местах одной вагонки и, можно сказать, дружили. Он очень много читал. Срок у него был 10 лет, и не Особым Совещанием дан, а военным трибуналом. В то время можно точно было сказать: если человеку военный трибунал дал всего 10 лет, то этот человек на 120%, ни капли, ни в чем не виноват. По-русски Ионас говорил совершенно без акцента, только читая книги, иногда спрашивал значение какого-либо слова. Он любил и очень душевно пел такую песню:

Здравствуй, мама, сын вернулся твой
Издалека, из страны чужой.
Долго я томился,
Долго я страдал
И ни днем, ни ночью
Счастья я не знал.

Был наказан я жестокою судьбой
За ошибку, сделанную мной.
Вот теперь вернулся снова в край родной.
Жизнь моя помчится светлою тропой.

Вернулся ли? По всем расчетам, должен был вернуться. И молодой, и здоровый, и срока ему оставалось, как и мне, учитывая зачеты, года два-три.

Когда работы не было (выбило энергию, сломалась лебедка или просто раньше времени закончили смену), всегда сидели с чифиром либо в избушке-теплушке (если холодно), либо на солнышке (если лето). И любил заходить к нам гормастер Кузьмич. За полтора года вольной жизни к воле он еще не привык, и его тянуло к нам, заключенным.

— Иван Кузьмич! Расскажите чего-нибудь, пожалуйста.

— Был однажды интересный случай в Сусумане. Там при проходке вечной мерзлоты увидели вдруг в боковой стене ледяное окно, и в нем зеленая, как живая, доисторическая ящерица. Больше метра. Осторожно выпилили глыбу и принесли в барак и оставили в корыте в сушилке. Там очень тепло. Ночью дневальный зашел в сушилку, слышит — плещется что-то в корыте. Ожила ящерица! По полу бегала, весь барак видел. А наутро подохла.

В декабре 1953 года я поругался с начальником режима из-за наручников. Он решил по лютому морозу гонять меня на работу в штольню в наручниках. Я, как там говорили, начал б а з л а т ь, и меня посадили в карцер на десять суток.

На третий день прибежал надзиратель:

— Жигулин-Раевский! Быстро с вещами на этап!

Мне подали черный воронок на одного. Было очень холодно. Между двумя дверями сидел солдат с автоматом. Я спросил его: куда? Солдат ответил:

— На материк. В Воронеж.

Боже мой! Святая дева Мария! Я-то думал, что придется прожить еще долго на Колыме, возможно, до конца жизни («Оттуда возврата уж нету»).

Через несколько часов мы приехали в Бутугычаг на Центральный (надо было вора-попутчика захватить в Магадан). И я снова попал в БУР. Хотя была глухая ночь, мне принесли ужин, большую банку чифира и очередные пятьдесят рублей от бригадира Степанюка. Новый нарядчик и бугор Степанюк свято чтили память Купы.

Магаданскую пересылку я просто не узнал. Многие прежние ее строения вышли за зону в город, в том числе монументальное здание столовой. На пересылке я познакомился с князем или графом Кирсановым. В честь знакомства я попросил бесконвойника купить мне бутылку коньяка (пригодились деньги бригадира с Центрального), и мы ее распили с аристократом.

Дней через пять меня в наручниках посадили в самолет ИЛ-12, и мы (я, еще несколько заключенных и два охранника) поднялись в воздух. Мы сидели в задних рядах, остальные места были заняты вольными.

Промелькнул Магадан, замелькали поселки, закрутились снежные, с редкой прозеленью сопки и хребты. Я впервые в жизни летел на самолете.

Сам я никаких жалоб и никаких просьб — о помиловании или пересмотре дела — не писал. В пути меня мучал вопрос — зачем? Какое-то доследование?

ДОЛГАЯ ДОРОГА НА СВОБОДУ

...Я живу близ Охотского моря,
Где кончается Дальний Восток.
Я живу без тоски и без горя,
Строю новый в стране городок.
Вот окончится срок приговора.
Я с проклятой тайгою прощусь.
И на поезде в мягком вагоне
Я к тебе, дорогая, примчусь...

Эта колымская песня, сложенная в начале тридцатых годов, была широко известна еще до войны и стала своего рода блатной классикой.

Вечная мечта о свободе. Я покидал Колыму не в поезде, а на самолете, давно оставив позади и Бутугычаг, и поселок имени Белова, и «новый в стране городок». Но летел я не вольным, а заключенным, и не на волю, а в неизвестность. И путь мой к свободе, а тем более к полной реабилитации был еще очень долог. Шел еще только декабрь 1953 года.

Самолет ИЛ-12 в то время был самым лучшим пассажирским самолетом. Об этом рассказал мне сидевший рядом безногий летчик Борис, осужденный на 10 лет примерно в 1950 году. Самолет плавно падал в воздушные ямы, ничего интересного, кроме облаков, за стеклами иллюминаторов не было, и я слушал Бориса.

Он до войны был кадровым летчиком. Был сбит на И-16 в первые дни войны «мессерами». И только через полгода получил новый истребитель типа «эйркобра» американского производства. Боря сражался в районе Мурманска, встречал и охранял с воздуха конвои союзников, за что был награжден несколькими американскими и английскими боевыми наградами. Разумеется, и советских наград получил немало. Он всю войну пролетал на «эйркобре» (она превосходила «мессершмитт» по вооружению, уступая ему в маневренности). За неделю до победы был тяжело ранен в левую ногу, но сумел посадить самолет на свой аэродром. Ногу отняли выше колена.

Году в 50-м к Борису пришли из военкомата и предложили в знак протеста (шла холодная война) отослать президенту США и королеве Великобритании награды, полученные от союзников. Борис наотрез отказался: «Это награды, полученные за участие в боях против фашистов, это боевые награды. Они дороги мне. Любой протест против холодной войны я готов написать, но ордена были получены в другое время, когда мы были союзниками». Его не стали уговаривать. Взяли на следующий день и отобрали все награды — и иностранные, и советские. Дали 10 лет. Особое Совещание.

Самолет сел в Хабаровске, когда уже начало темнеть, и нас на воронке отвезли в Хабаровскую пересыльную тюрьму. Меня поместили в довольно большую камеру с небольшим населением, человек в двадцать — тридцать. Когда я вошел туда легкой походкой, все стали глазеть на меня, послышался шепоток:

— Смертник... Смертник... — Мои берлаговские номера всех потрясли. Я сказал:

— Привет! Зовут Толик. Пришел с Колымы самолетом.

Мелкая блатная шушера освободила мне лучшее место на верхних нарах у окна. Так позже было и в Новосибирске. Пацаны-воришки сварили чифир, настругав с нар щепок для костерка. Чифир пришелся весьма кстати.

— А б а ц и л ь н о е что-нибудь есть?

Нашлось и бацильное, т. е. что-то из сала, масла, колбасы.

Наутро, когда была перекличка и я назвал свои статьи, уважение ко мне еще повысилось. А когда раздавали завтрак, кто-то сказал раздатчику:

— А сюда двойную порцию — Толику-Колыме.

Так я впервые услышал свою третью лагерную кличку. Толик-Студент, Толик-Беглец, Толик-Колыма.

Вскоре меня выдернули, и я покатил в новом столыпинском вагоне с матовыми стеклами. Я был как бы лишен зрения. И больше слушал, чем смотрел. Я слушал, в первую очередь, песни. Вагон был довольно мало загружен. Со мною ехал старый жулик. Он внизу с шестеркой, я наверху — целые апартаменты для одного. Старый жулик пел. Все песни были знакомы.

А поезд летел и летел. Летел быстро, судя по мельканию телеграфных столбов за матовыми стеклами. Мелькали не только столбы, но и дни. Свет естественный сменялся тьмою или электрическим светом неведомых городов и полустанков. Поезд был «Новосибирск — Москва», и, представляя карту, я понимал, что через Воронеж он не пройдет, пройдет скорее всего севернее. Значит, где-то должна быть для меня еще одна пересадка.

Однажды вечером сказали:

— Приготовиться с вещами...

Приготовился. Вывели. Бобров. На тюремной карете привезли в старинную тюрьму, и не одного меня, а какого-то еще бандита, который

следовал в орловский изолятор. Нас заперли в просторную камеру с гладким, чистым, некрашеным деревянным полом. В центре камеры стояла такая же гладкоструганая деревянная, широкая, как в бане, скамья. Мы познакомились и даже говорили. Надзиратель все время подслушивал. Для него это единственное ночное развлечение — послушать, о чем беседуют два загадочных заключенных. Интересно ему было, наверное. Оба — по спецнаряду. Один — в номерах.

Когда стало светло, я проснулся и увидел в окне за решеткой большой православный храм с наклоненным ржавым крестом. Вскоре приказали:

— С вещами на выход!..

Была теплая российская зима, морозец всего градусов десять — двенадцать. Весело поскрипывал снег. Нас привезли к поезду местного значения «Воронеж — Калач». Воронежцы называют этот поезд калачевским или даже калачом. К составу был прицеплен столыпинский вагон старого типа с прозрачными стеклами. И он был совершенно пуст. Мне (как, вероятно, и моему случайному спутнику) досталось целое купе. Решетка купе выходила в коридор, слева по ходу поезда. Значит, увижу родное Подгорное. Я не видел его с 1946 года, когда проезжал мимо него в Кисловодск. Но доехали до Лисок, и я понял свою ошибку — Подгорное-то южнее Лисок. Все равно я внимательно и неотрывно всматривался в мелькающие станции, в медленно проплывающие снежные просторы полей. Зрение было отличным. Каждая береза была видна мне издалека. И чувство теплой нежности разливалось в груди. Господи!.. Родина!.. Родная земля!.. «Оттуда возврата уж нету». А я возвращаюсь!

Масловка. Ненадолго мелькнул впереди разбросанный по холмам Воронеж. Поезд шел по левому берегу, но правобережная часть города была закрыта домами, заводами, деревьями. Только подъезжая к Отрожке, я увидел город с неожиданным острым силуэтом высокого, но не церковного шпиля. Что это?..

Архиерейская роща. Маленькие домишки. За снежным лугом — Придача и весь левый берег. Их трудно было рассмотреть из-за солнечного и снежного блеска. Воронеж. Когда из вагона переводили в воронок, я заметил — высокий шпиль с башней находится примерно там, где располагается здание управления ЮВЖД. Позднее узнал, что его надстроили по примеру московских высотных домов.

Воронок дверцами — задним ходом — подогнали во дворе хорошо знакомого здания прямо к двери одного из прогулочных двориков. Через него я вошел в знакомый коридор между прогулочными двориками с темно-синим солнечным небом над головою. Двери внутренней тюрьмы. Несколько ступенек вниз, и я в тюремном коридоре. Сразу заметил — был ремонт, нумерация камер изменена. Нет уже ни правых, ни левых, ни четвертой центральной. Подвел меня к камере незнакомый надзиратель. По «зеленой тетради» я легко устанавливаю теперь ее номер — 33-я. Камера была пуста, и в ней было, кажется, две кровати. Я прибыл утром, и мне дали завтрак. Потом:

— Собраться на прогулку!.. Выходи!

Я вышел без телогрейки, а только в кителе из хэбэ. Надзиратель удивился:

— А почему вы не оделись? Там градусов десять.

— Ничего. Я пришел с Колымы. Там сейчас морозы до восьмидесяти градусов.

— Как хотите. Но можно ведь простудиться.

Я давно не гулял так хорошо. И было тепло. И мгновенно пролетели положенные минуты прогулки.

В камере я постучал в обе стены — молчание. Соседние камеры были пусты.

Вскоре меня вызвали на допрос. В знакомом кабинете второго этажа сидел за письменным столом незнакомый майор. Он представился:

— Майор Теплов. Мы производим пересмотр вашего дела. Вас мы ждали очень долго.

— А я был очень далеко. На Колыме.

— Знаю, знаю... А почему у вас две фамилии?

— Вторая фамилия — моей матери, она Раевская. Мне присвоили эту фамилию на следствии, так как многим подельникам я был только под ней известен.

— Так. Это почти ясно. Вот у меня ваше личное дело заключенного. Что там, на последнем вашем колымском лагпункте произошло у вас с начальником режима? Здесь записано, что за оскорбление офицера вы были заключены в карцер на десять суток, но отбыли только двое, в связи с этапом. По правилам я должен засадить вас в карцер на восемь суток, которые вы не отбыли.

— Как знаете. Я никого там не оскорблял. Просто на меня надели наручники и очень крепко их забили. Если бы я так, в наручниках, до крови забитых, пошел на работу, при пятидесятиградусном морозе у меня бы за час начисто отмерзли кисти рук. Пришлось бы их ампутировать выше запястья... Да вот, взгляните, следы сохранились.

У майора Теплова было доброе и умное лицо, добрые глаза, слегка вьющиеся светлые волосы. Иногда, задавая вопросы, он почему-то слегка краснел или бледнел. Лицо явно выражало чувства, возникавшие в душе майора.

— Хорошо. Оставим это. Я, конечно, не буду заключать вас в карцер. Расскажите мне, пожалуйста, о первом следствии по вашему делу в 1949 — 1950 годах. Расскажите с полной откровенностью, без боязни. Ни один из ваших прежних следователей, ни один из надзирателей уже не работают в Управлении. Так что не бойтесь их. Вы можете говорить полную правду, не опасаясь за свою жизнь и здоровье.

Я подумал, что он, наверное, почти все уже знает, что все мои подельники дали показания и вопрос, по существу, уже ясен. Но начал рассказывать все по порядку — и о КПМ, и о следствии. То, что готовились сказать на суде. Несколько дней подряд майор Теплов записывал мои показания. Записывал правильно.

Однажды он спросил:

— В декабре месяце 1949 года вы показали майору Белкову следующее: «...в случае вооруженного восстания мы намерены были прежде всего арестовать и без суда расстрелять всех членов Политбюро...»

— Ничего такого я не показывал ни майору Белкову и никому другому. Никогда у нас не было таких страшных преступных планов.

— Однако здесь есть и ваше письменное подтверждение и подпись. Посмотрите, пожалуйста. Это вы писали?

— Подделка похожая, но почерк не мой, подпись не моя. Можно произвести экспертизу?

— Не волнуйтесь. Уже есть протокол экспертизы. Это подделка. Идите отдыхайте.

Им мало было того, что они из нас выбили на следствии! Они уже после окончания следствия заменили многие протоколы допросов подложными. Мы не читали этих протоколов. Они появились в деле уже после подписания нами 206-й статьи. Расчет был верен. Прижбытко, и Литкенс, и Белков, и другие знали, что дело пойдет в Особое Совещание, а там никаких экспертиз проводить не будут. Вскрылось много такого — подчистки, дописки, фальшивки, самые наглые подделки. (Об этом я узнал позднее.)

Когда я возвратился в камеру, то вправду лег немного отдохнуть — лежать на кровати разрешалось в любое время. Сколько угодно. Разрешалось читать книги.

Однажды открылась «кормушка», а в ней знакомое лицо. Боже мой! Это же старый завхоз. И манит меня пальцем.

— Здравствуйте! — говорю.

А он спрашивает:

— Не хотите ли книгу почитать?

— Хочу. Вы что, один остались от прежних?

— Да. Вот, смотрите. — И он показал мне несколько книг.

Я взял М. Стельмаха «Большая родня» и еще что-то.

В конце января пересмотр дела КПМ в Воронеже был закончен. Об этом мне сказал следователь. Какое будет решение в Москве, никто не знал.

3 февраля открылась форточка-кормушка, и надзиратель тихо сказал:
— Приготовьтесь, пожалуйста, с вещами.
Меня привели в большой воронок и поместили в отдельную стальную камеру с тонкими стальными жалюзи для дыхания. В соседней камере и напротив уже кто-то был. Я громко спросил:
— Кто здесь, ребята?
— Здесь я, Толик, Юрий Киселев.
— Здравствуй, дорогой друг! А кто еще здесь с нами?
Раздался голос, от которого у меня начали переворачиваться внутренности:
— Аркадий Чижов!.. Здравствуй, Анатолий! Здравствуй, Юра!
Я ничего не сказал в ответ. Странные чувства возникли во мне и удивили меня. Пока солдат-охранник еще не залез в свою кабинку, я спросил Киселя, но тихо и неуверенно:
— Юра, Аркашу мочить будем?..
— Толик, не говори этого...
— Прекратить разговоры! — раздался грозный голос солдата.
Машина покрутилась во дворе и в переулках и выехала на Плехановскую в сторону Заставы, в сторону городской тюрьмы. Наверное, в тюрьму?.. Город родной был виден мне сквозь щели и через обе двери с зарешеченными окошками, между которыми сидел солдат с автоматом. Родной город. Снег на Плехановской был расчищен, блестело булыжником трамвайное полотно. Родной город! Никогда не думал, что вернусь сюда.

...Вот переулок у Заставы.
Я много лет мечтал с тоской
К твоим булыжинам шершавым
Припасть небритою щекой.

Наверное, тогда пришли впервые эти строки...
Тюрьму мы, однако, миновали. И, объехав областную больницу, спустились к железнодорожным путям, ведущим к Курскому вокзалу. Развернулись и вновь увидели ту же тюрьму. Лагерные ворота. Процедура передачи наших бумаг на вахте. Воронок въехал в какую-то зону.
— Выходи!
Первым вышел Кисель. За ним — Чижов. Потом — я.
А Юрка уже стоял на утрамбованном снегу и делал мне какие-то знаки. Надзиратель был довольно далеко, у вахты. Видимо, знакомился с нашими личными делами. Все трое мы встали в круг. Я обнялся с Юркой. На Аркадия старался не смотреть.
Юра взволнованно заговорил:
— Толич! Толик! Ты был на Колыме и ничего не знаешь. Мы судили Аркадия судом КПМ в пятидесятом году, приговорили к смерти. Но он дал клятву больше так не поступать, и Борис помиловал его, а мы простили. Большинство из нас простили его. Он ведь тоже много пострадал. Подай ему руку!.. Поверь мне. Все, что было, в прошлом.
Я посмотрел на Чижова. В глазах его был страх, и он протягивал мне руку:
— Я виноват, Толич. Но Юрий говорит правду. Я стал другим человеком!
Мы пожали друг другу руки. И тут подоспел надзиратель. Он провел нас через угол рабочей зоны в жилую. Я заметил, что в рабочей зоне деловито дымил, грохотал и лязгал порядочный заводик. Прибежал кто-то от нарядчика.
— Пожалуйста, сюда. — И провел нас в барак, устроенный в разрушенной и перестроенной церкви (на месте лагеря было когда-то мало кому теперь памятное Солдатское кладбище). — Где здесь свободные места? — спросил он у дневального.
Помещение мне не понравилось. Грязь, двойные сплошные нары. Мы влезли наверх, легли. В метре или чуть выше был потолок.
— Юра, пойдем к нарядчику. Он нас не уважает.
Мы вышли. В номерах, со злыми лицами. Навстречу — несколько удивленный нарядчик в щегольском ватнике и с такою же точно трубой, как у Купы.

— Ты что, — сказал я, — нас не уважаешь? Имей в виду: я заколол на Колыме двух нарядчиков.
Вдохновенная брехня, но действует безотказно. Главное — полная серьезность.
— Ребята, вы извините, это недоразумение. Пойдемте, я вам покажу другие места.
И мы вошли в новый кирпичный дом с коридорной системой, нечто вроде казармы. В комнатах были кровати (двойные: верхняя вставляется в нижнюю). Так бывает и в казармах.
— Выбирайте место.
— Вот здесь, — показал я, — в уголке, возле окна.
Одну из двойных кроватей мы заняли полностью и нижнее место соседней.
— Пусть перестелят постели!
— Сейчас перестелят, а вы пока погуляйте!
Рассказы, рассказы, рассказы — наперебой. Кто где был... Четыре с половиной года прошло. Вечером, после ужина, прибегает востроглазый шестерчатый малец. Тихо спрашивает:
— Где ребята, которые с Колымы пришли?
Ему показали.
— Здравствуйте! Резаный Витёк приглашает вас троих к себе. Там чифирок заделали.
— Пусть сам принесет и селедку не забудет, — сказал Юра Киселев.
У Резаного был шрам на щеке, лет ему было, как и нам, примерно двадцать пять. Чифир был крепок. Селедка свежа.
— Я когда-то был вором, — сказал Витек. — Но теперь все смешалось, и я отошел. Ни там, ни там. Но меня здесь уважают.
— Хорошо. Мы тебя не тронем. Будь, как был. Но если что важное — держи в курсе.
П о б о т а л и еще немножко по фене и разошлись. Мы — в курилку, где можно было поговорить без свидетелей, Витек — в свой барак.
Стало вскоре ясно, что нас, членов КПМ, разместили небольшими группами в нескольких воронежских лагерях, в городе и ближних районах. Наша колония называлась 020-й. Однако в моей справке об освобождении она именуется лагерем. Начальником лагеря был майор (в звании может быть ошибка) Брызгалов.
Нас трудоустроили. Меня и Аркадия определили техниками-конструкторами в технический отдел. Юрия — заведующим лабораторией. В основном он исследовал на прочность и т. п. формовочную землю для литейного цеха. Завод изготовлял никелированные кровати с панцирными сетками (наверное, последние в нашем веке), печную литую арматуру, утюги и другой железный ширпотреб. Выполнялись и многие заказы со стороны — от кладбищенских оградок до огромных шестерен мукомольного элеватора. Были цехи: литейный, механический, гальванический, кузнечно-штамповочный, заготовительный, лакокрасочный, модельная мастерская. Был, естественно, отдел главного механика, ОГМ.
Я вникал в производство, читал техническую литературу и справочники, чертил чертежи и обсчитывал (на стоимость) заказы. Все это шло у меня удивительно легко, я работал с удовольствием — было очень интересно. По обломкам шестерни надо было ее восстановить и заново отлить, а для этого определить все ее параметры — зуб, шаг зуба, углы, диаметры и т. д., выполнить на бумаге точный чертеж погибшей детали.
Чрезвычайно интересным человеком в техническом отделе был Дмитрий Иванович Шилов. Он окончил философское отделение, кажется, МГУ, еще до войны. Увлекался языками, филологией, древними литературами, отлично знал греческий и латынь. Он вдохновенно читал мне Горация:

Tu ne quaesieris —
scire nefas
quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leukonoe.
Nec babylonios
Tentaris numeros...

Ты не спрашивай,
Знать грешно,
Какой мне, какой тебе
Конец боги дадут, Левконоэ.
Вавилонских
не касайся чисел...

То есть не гадай на этих числах, не пытайся узнать свое будущее. Я перевел это в рифму. Получилось слов в два раза больше, но Дмитрий Иванович радовался моему переводу, как ребенок:

— Ах! как хорошо и звучно.

Было так:

Ты не спрашивай, милая,—
знать нам об этом грешно.
Что по воле богов
в нашей жизни случиться должно.

Не гадай и не думай,
что будет с тобой и со мною,—
Никогда не узнаешь конца своего, Левконоя.
Не считай по ночам
вавилонские мрачные числа,—
Все равно не отыщешь правдивого, ясного смысла.

— А где вы получили высшее техническое образование? — спросил я Дмитрия Ивановича.

— В лагере.

— То есть как?

— А вот как. В 1937-м, когда меня осудили, в лагере, где я случился (а там было техническое предприятие), почти не было людей не только с высшим, но и со средним образованием. И мне просто приказали стать начальником технического отдела. Раньше на месте лагеря было вольное предприятие, но всю техническую верхушку расстреляли за «вредительство», а завод перевели в систему НКВД. Я пришел в отдел. Там была большая библиотека—не только специальная техническая литература, но и вообще научная. Я начал читать, и почти все было мне понятно. Ведь где-то в высших сферах науки строгие и гуманитарные сливаются в общую философскую систему. Не случайно ведь Софье Ковалевской за ее две чисто математические работы присвоили звание доктора философии.

Ах, милый, милый Дмитрий Иванович! Он так много дал мне знаний—и гуманитарных, и философских, и технических. Он объяснил мне сам смысл жизни! А Аркадию Чижову наши долгие беседы казались скучными, и он уходил в сад—даже садик с аллеей тополей имелся в рабочей зоне.

Забегая на целый год вперед, скажу, что встретил я Дмитрия Ивановича неожиданно летом 1955 года на своей Студенческой улице. Он нес большой сверток.

— Здравствуйте, Дмитрий Иванович!

— Здравствуйте, Толя! Меня тоже выпустили и реабилитировали.— (Он не знал, что я еще не был полностью реабилитирован.)

— Ну, и где же вы теперь?

— Мне предлагали читать философию и любую литературу в ВГУ. И одновременно попросили остаться на заводе в той же должности. Технический отдел перестроили. Отвели мне огромный кабинет, и,—не смейтесь,—на нем табличка: «Начальник технического отдела капитан Д. И. Шилов». А это моя новая офицерская форма! Я к ней еще не привык, да и неловко как-то. Гоголин сказал, что мне скоро дадут звезду майора. Квартира очень хорошая в доме МВД. Зарплата тоже хорошая... Я к заводу привык. Я там все знаю. И все меня там уважают: и начальство, и заключенные. Да, вот уж никогда не думал, что стану офицером МВД. До пенсии же немного. А в системе МВД пенсия хорошая.

Мы долго говорили с Дмитрием Ивановичем, зашли даже в столовую, в дом-гармошку на углу Студенческой и Карла Маркса, выпили бутылку вина.

— Семнадцать лет в заключении был, и вот нате вам,—он раскрыл удостоверение: «МВД СССР. Шилов Дмитрий Иванович. Капитан».

Возвращаюсь на 020-ю. Первое мое, первые наши свидания с родными. И отец, и мать изменились, постарели. Приносили передачи.

Пришел, видимо, уже летом 1954-го из другого лагеря Васька Туголуков. А Аркадий ушел на волю. Оказывается, он родился 15 ноября 1931 года, и получалось так (арест 17 сентября 1949 года), что преступление он совершил, еще не достигнув 18-летнего возраста. Началось освобождение осужденных до наступления совершеннолетия,—если хорошая характеристика, если начальство «за», и Аркадия освободили со снятием судимости. Ушел он от нас, Аркаша, к своей невесте.

А мы—и я, и Юрий, и Василий Туголуков—ждали решения по пересмотру дела КПМ. Терпения не хватало. Очень туго скрипела еще сугубо сталинская в своих недрах прокуратура. Да и очень много дел пересматривалось.

Юрка особенно томился. Надоели ему, не отвлекали от гнетущего ожидания платонические романы с вольными, работавшими в плановом отделе и в бухгалтерии женщинами. Их было несколько, среднего возраста. Все они были влюблены в Юрку, и в Аркадия, и в меня.

Меня любила девушка-украинка. Она была мила собою. Сохранились ее посвященные мне стихи.

Вот в этих ужасных застенках
Немало хороших людей
Томятся, вздыхают и плачут,.
Когда же...

Стихи слабые, но трогательные. С грамматическими ошибками,—не справилась с тонкостями русского языка.

Вообще мы, все бывшие члены КПМ, были на 020-й колонии и в других лагерях окружены ореолом загадочности и горестной романтики. И не только в лагерях, но и в городе сотни людей напряженно ждали: и в обкоме партии, и в университете, и в УМВД, и в УКГБ, и наши родные, и наши бывшие соклассники, сокурсники, друзья, соседи, изгнанные наши следователи, трепещущие наши провокаторы—все напряженно ждали, какое придет решение по результатам переследствия членов КПМ.

6 июля мы получили письмо от Бориса Батуева и Николая Стародубцева. Оно сохранилось:

«Привет, ребятишки!

Ксиву[1] вашу получили. Все ясно. Живете, значит, кучеряво. Это хорошо...

Да, братцы кролики, это вам не карпов руками в Репном вылавливать и арбузы из машинки дырявить. Так хотелось бы увидеться. Ну, ничего, может, и нам фортуна плюнет. Справедливость восторжествует!!!

Колька у нас сущий оракул: каждый день во сне волю видит. Есть же пословица: «Голодной курице просо снится!»

Кончаю. Пусть еще Колька покляузничает.

С приветом (прозаическим)[2]

Болени».

Дальше пишет Коля Стародубцев, тоже в шуточной форме. В конце письма обращается ко мне—говорит, что стихи мои помнит.

Приятно получить такое письмо от друзей.

Позволю себе процитировать и запись из записной книжки, которую я вел в лагере.

[1] В данном случае — письмо.
[2] Я в своем письме посылал им привет поэтический.

«11 июля (воскресенье).

Утро. Ясное солнечное утро. Если стать ногами на подоконник, то можно видеть по ту сторону забора часть города около Заставы.

Железнодорожные пути, разноцветные вагоны — на первом плане. А немного дальше голубые баки нефтебазы, спрятанные в густой яркой зелени. А еще дальше — дома, подъемные краны, какая-то незнакомая башенка со шпилем — очевидно, на вновь построенном здании. Видна даже часть моста и трамваи. А почти сразу за забором, на бугорке около насыпи цветет большой золотой подсолнечник. На горизонте — трубы, много труб. Одна, две, три — не сосчитать!.. Вот он, мой город!

«Город мой синий, любимый, далекий...» Да, ты еще далек от меня. Очень близок и очень далек! Когда же я пройду по твоим улицам?

Над городом в прозрачной синеве плывут теплые, мягкие облака... Эх! Иметь бы крылья — улететь бы отсюда!..»

21 июля, под самый вечер, прибежали взволнованные Василий Туголуков и Юрка. Начальник спецчасти просил сказать, что завтра мы освобождаемся, все трое.

Я впервые в жизни не спал всю ночь от радости. Подходил старшина: «Чего не спишь?» Но узнав меня, понял: «В последнюю ночь трудно уснуть».

Утром за нами пришли родители — и мои, и Юркины отец и мать. Кто-то пришел и за Василием. Сестра Юркина была.

Я получил справку 7 — БН № 0001555. В ней, в частности, было написано:

«...По Указанию Прокуратуры СССР, МВД СССР и КГБ СССР срок снижен до 5 лет. С применением Указа от 27/III-53 г. об амнистии. Освобожден 22 июля 1954 г.».

Объясню смысл людям неискушенным. Эта формула означала, что нас все же сочли преступниками, но заслуживающими меньшего наказания, чем нам было дано. В связи со снижением срока наказания до 5 лет мы подпадали под амнистию.

Нас осудили неконституционно. Неконституционно и освободили. Гора родила мышь.

Конечно, по амнистии снималась судимость, и это было прекрасно. Борьба за полную реабилитацию была еще впереди. Пока мы не думали о ней. Мы думали о свободе.

Боже мой! Какое счастье быть свободным! Мы тихо шли мимо областной больницы, тюрьмы и Чугуновского кладбища. Я не узнавал знакомых мест. Было восстановлено много домов, построено много новых зданий.

В двенадцать часов мы были уже дома. Нас встретил кот Макс и замурлыкал, словно ждал меня ежедневно все эти пять лет.

Макс родился в 1946 году и по моей инициативе его назвали в честь тогдашнего чемпиона мира по шахматам голландского гроссмейстера Макса Эйве. В разные следственные и карательные учреждения поступило за долгие годы (Макс прожил на белом свете 14 лет) несколько анонимок о том, что мы назвали своего кота... Марксом.

Вечером этого счастливого дня мы крепко отметили свое освобождение. Вскоре, через день-два, возвратились из небытия наши друзья: Леня Сычов, Саша Селезнев...

Борис Батуев еще не вернулся. Мы с Юрой Киселевым зашли к его матери. В семье бывшего второго секретаря воронежского обкома ВКП(б) нужда была беспросветная. Работала только старшая сестра Бориса Лена и содержала всю семью. Светлане было около пятнадцати, она училась в школе, а Юрка был совсем еще маленький, лет десяти или меньше. Он очень был похож на Бориса, и, когда он вырос, мы стали называть его младшим Фирей.

Если Борис в скором времени должен был вернуться, то глава семьи, Виктор Павлович Батуев, был еще далеко-далеко на Воркуте. Кроме руководства нашей организацией, ему пришили и чисто уголовное дело. Еще когда все мы были под следствием, в начале следствия, его сняли с обкомовского поста и назначили на хозяйственную должность — начальником

межобластного управления «Вторчермет», а там уже состряпали уголовное дело и дали 25 лет.

Вскоре, слава богу, пришел Борис. Его, как и Юрия Киселева, без экзаменов восстановили в университете. Обком партии решил восстановить в вузах всех бывших «участников» КПМ. Председатель областной партийной комиссии Самодуров и заведующий отделом культуры обкома Бурнадский звонили директорам, ректорам вузов и советовали нас восстановить. Обнаружилось, что никаких вузовских документов бывших членов КПМ не сохранилось. Они были после нашего осуждения изъяты и уничтожены. А там ведь были наши «аттестаты зрелости». Нам помог директор нашей школы, — в течение одного дня изготовили дубликаты. Весь город покровительствовал нам. Дело КПМ стало личным делом многих людей и важным фактом для города Воронежа.

У меня в лесотехническом институте сохранился только приказ от августа 1949 года о начислении мне повышенной стипендии (я сдал все на «отлично»). По этому документу тогдашний директор ВЛХИ Рубцов и «провел меня приказом» в студенты 1-го курса лесохозяйственного факультета.

Б. Батуев и Ю. Киселев сразу же перешли на заочное отделение и пошли работать на завод тяжелых механических прессов. Обоим нужно было кормить семью.

Прозвучал доклад Н. С. Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС 25 февраля 1956 года. А еще накануне XX съезда все мы получили документы с такой формулировкой (привожу свой):

«...По постановлению Прокуратуры, МВД и КГБ СССР от 8 февраля 1956 года Постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 24 июня 1950 года в отношении Жигулина Анатолия Владимировича ОТМЕНИТЬ и дело на основании ст. 8 УК РСФСР в уголовном порядке ПРЕКРАТИТЬ».

Когда большой веселой группой мы получали эти справки, каждый повторял формулировку и находил ее весьма приличной. А я сделал серьезное и даже несколько огорченное лицо:

— А у меня формулировка другая!

— Да ты что, Толич? Не может быть, прочти!

Ребята стояли вокруг меня, у всех обеспокоенные лица. А я, глядя в справку, говорю:

— У меня окончание не такое. Все, как у вас, но окончание другое: «Постановление Особого Совещания... ОТМЕНИТЬ и дело на основании ст. 8 УК РСФСР в уголовном порядке ПРЕКРАТИТЬ и указанную справку в обязательном порядке ОБМЫТЬ!»

Раздался дружный хохот. И пошли обмывать...

Это уже была реабилитация (после второго, заочного пересмотра нашего дела, о котором мы ходатайствовали). Но она была неполной. Восьмой пункт тогдашнего Уголовного кодекса РСФСР предусматривал отмену приговора и прекращение дела в случае, когда преступление *перестало* быть преступлением.

А ранней осенью 1956 года состоялся третий пересмотр нашего дела. Нас, руководителей КПМ, несколько раз вызывали в обком партии, где с нами беседовали представители ЦК КПСС товарищи Гуляев и Иштокин. Участвовал в беседах и В. В. Самодуров, председатель областной комиссии партийного контроля. Результатом этих бесед явилась полная реабилитация.

Вот такая формулировка была теперь в наших справках:

«Дана гр. ЖИГУЛИНУ Анатолию Владимировичу, 1930 года рождения, в том, что определением Судебной Коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР от 24 октября 1956 года Постановление Особого Совещания при МГБ СССР от 24 июня 1950 года в отношении его отменено, и дело производством прекращено за отсутствием состава преступления».

Это была победа! Это была полная свобода!

Мы шли к ней более семи долгих, порою страшных лет.

А ведь и девиз наш дерзкий юношеский и романтический был:
«Борьба и победа!»
Мы боролись!
Мы победили!

ЭПИЛОГ

Многое, что могло бы войти в эпилог, уже описано ранее. Например, моя поездка в 1957 году к матери Феди Варламова; приезд ко мне в Москву Володи Боброва и последовавшее вскоре сообщение о его смерти; изъятие А. Чижовым из дела КПМ гнуснейших своих показаний.

Все наши следователи, которые стряпали дело, разжалованы, лишены наград, полученных во время службы в МГБ. Лишены таким образом (из-за полного разжалования) больших пенсий. Восстановиться в партии никому из них не удалось. Ибо восстанавливаться надо было в Воронеже, а там и люди, и документы против них. Их надо было бы судить. Они ведь преступники.

Личному представителю министра Госбезопасности СССР при Воронежском областном управлении МГБ полковнику Литкенсу удалось избежать смертной казни только потому, что он сразу же после разжалования исчез из города на 10—12 лет — уехал в Каракумы, устроился там рабочим в какой-то экспедиции.

На заводе тяжелых механических прессов в Воронеже Юра Киселев и Боря Батуев частенько встречали работавшего там же бывшего начальника следственного отдела, бывшего полковника Прижбытко. Он работал чертежником в техотделе.

А была встреча еще повеселее. В начале шестидесятых годов река Воронеж была еще нормальной и левый пойменный берег еще не был затоплен и изобиловал удобными для купания бухточками, небольшими пляжиками, закрытыми с трех сторон лесом до самой воды и даже в воде—ивами. И вот однажды, гуляя и резвясь, выскочили в такую бухточку из зарослей Борис Батуев с малокалиберной винтовкой и его шурин Иван Дрычик—с охотничьим ружьем. И перед нами оказался и стал в ужасе пятиться к воде и в воду голый, толстый, обрюзгший человек. Лютый страх сковал его движения, он дрожал всем телом и, оборачиваясь во все стороны, искал помощи белыми глазами. Но никого, кроме Бориса и Ивана, даже и на другом берегу не было. Когда ребята миновали бухточку, Борис спросил Ивана, не заметил ли он чего-либо особенного в этом ожиревшем борове. Иван сказал:

— В глазах его был страх смерти. Я никогда не видел такого страха в глазах человека. А кто он?

— Это бывший мой следователь, бывший майор Белков.

С Володей Филиным (он нашел меня по публикациям в печати) я регулярно переписывался, и был у него в Астрахани году в шестьдесят шестом, а позже он — у меня в Москве. И Саша Филин, его брат, тоже бывал у меня. Он и сообщил мне горькую весть, когда друга моего не стало. Сердце.

Ежегодно, бывая в Москве, заходил ко мне большой, радостный и радушный Ноте Лурье. И мы беседовали с ним о Бутугычаге, об Олеге Троянчуке (он не нашелся), о Якове Иосифовиче Якире, который в 70-х годах уехал и уже умер там, в Израиле. Недавно пришло печальное известие из Одессы—не стало и Натана Михайловича.

Московские писатели в 60—70-е годы знали и сейчас помнят оргсекретаря писательской организации Виктора Николаевича Ильина. Он работал в Союзе писателей более двадцати лет. А в свое время был он генерал-лейтенантом МГБ и был незаконно репрессирован в те же годы, что и я. И на этой почве произошло у нас некоторое сближение. В. Н. Ильин писал стихи о тюрьме (он сидел в тюрьме, а не в лагере, в специальной тюрьме для офицеров и генералов МГБ) и читал мне их. И мои стихи он и любил, и любит (он сейчас на пенсии).

Году в семьдесят пятом захожу я к нему однажды по мелкому вопросу—бумажку какую-то подписать. Он подписал и задержал меня:

— А вы знаете, кто у меня здесь был и в этом же кресле вчера сидел?

— У вас десятки людей бывают за день.

— Он в вашей жизни большую роль сыграл.

— Не могу угадать.

— А был у меня вчера бывший личный представитель министра Госбезопасности СССР, бывший полковник Литкенс! Знали такого?!

— Еще бы не знать. Он не раз меня лично допрашивал. А что он к вам заходил?

— Мы какое-то малое время работали с ним вместе, был он у меня в подчинении. И вот зашел с просьбой помочь ему восстановиться в партии. Но вы сами знаете, что дело КПМ совершенно ясное и чистое. И ничего у него не выйдет. Сам знал, что делал... Между прочим, о вас хорошо отзывался.

— Это в каком же смысле?

— На следствии хорошо держались.

— А-а-а! Ну, что ж. Это, пожалуй, верно... Только не нужны мне похвальные отзывы палача!

Иван Широкожухов сошел с ума в лагере. Он жив, но безнадежно болен.

Никогда не забуду похорон Ивана Подмолодина. Помню его молодым и здоровым, голубоглазым летчиком воронежского аэроклуба. Это был человек благородный и лицом, и сердцем.

Как я уже говорил, он сошел с ума от тяжких побоев и потрясений уже в первые дни следствия. Начал бредить. Но даже в бреду не выдал членов своей группы. (Поэтому Подшивалов, которого не знал Чижов, остался на свободе.) Иван был отправлен в Институт судебно-медицинской экспертизы имени Сербского, а дело его выделено в так называемое «особое дело». В 1953 году его перевели в орловскую психиатрическую лечебницу, в тюремное отделение. До него не дошли ни снижение срока, ни амнистия, ни реабилитация. О нем как бы забыли.

Лечить Ивана начали лишь незадолго до смерти, после того, как мы с Борисом, узнав, что он лежит в Орловке, пошли к председателю КПК В. В. Самодурову, привезли к нему отца Ивана, с трудом разыскав его на левом берегу. Ивана перевели тогда из тюремного отделения больницы в обычное.

Умер Иван 12 декабря 1956 года. В этот же день пришла его отцу телеграмма из больницы. Он позвонил Борису. 16-го мы были с Борисом в похоронном бюро. Там сказали: лютая зима, нет цветов. Венок, однако, в цветочном магазине нам взялись сделать, если мы достанем гибкие ветки лозы. По глубокому снегу мы прошли в Новый парк и нарезали длинных веток желтой акации. Венок получился. Траурную надпись на ленте я писал сам. Читал свидетельство о смерти—кровоизлияние в мозг. Перед смертью пришел в сознание. Говорят, такое бывает.

Хоронили Ивана в лютый декабрьский мороз на занесенном снегом кладбище за заводом имени Коминтерна. На похороны пришли почти все члены КПМ. Ехали на кладбище с левого берега на другой конец города вместе с гробом в открытом грузовике. Несли гроб к могиле. Я и Борис—впереди. Я—справа, он—слева. Опустили в черную яму. Бросили по горсти промерзшей земли, поставили крест. С кладбища опять поехали на левый берег, к отцу Ивана, помянули по христианскому обычаю. Водка была кстати—зуб на зуб не попадал. Еще позже собрались у Юрия Киселева. Пили и не пьянели. Чижова не было. А остальные

мы как дружная семья: Борис, Юрий, я, Рудницкий, кто-то из Землянухиных, Сидоров, Сычов... Возникло чувство кровной близости...

Вспомнился сейчас отец Подмолодина — Трифон Архипович. Жаль старика. Потерять сына — самое ужасное горе на земле...

На кладбище снег на дорожках был хрусток. Гроб черен. На крышке мелом нарисован крест. Мы несем гроб к черной яме. Рыдает (навсегда в моей памяти) сестренка Ивана. Ивана Трифоновича Подмолодина. Вечная память тебе, дорогой друг Иван!

Следующим событием, которое собрало под одним кровом бывших членов КПМ, живших тогда в Воронеже, было событие радостное — моя свадьба, точнее, наша с Ириной, Ириной Викторовной Неустроевой свадьба в феврале 1963 года.

Из друзей по КПМ на свадьбе нашей были Борис Батуев, Юрий Киселев, Николай Стародубцев, Александр Селезнев, Володя Радкевич. Жаль, что Славка Рудницкий по какой-то причине не смог прийти.

Коля Стародубцев читал мои стихи, которые заучил по тюремному перестуку: «Сердце друга», «Ты помнишь, Борис». Все были потрясены.

Большое впечатление произвело на всех — родных и гостей, и особенно на Иру — наше общее зэковское пение песни «Ванинский порт». «Обнявшись, как родные братья», соединив руки и плечи пели стройно, вдохновенно. Уже нет в живых двоих из певших, а оставшимся она помнится, эта замечательная песня, соединившая нас шестерых в единое целое. А при таком соединении, при такой дружбе и братстве ничего не страшно.

Должен сказать, что на многочисленные свои послелагерные встречи — на дни рождений и свадеб, на юбилеи ареста, освобождения или реабилитации — мы никогда не приглашали А. Чижова. Большинство ребят не поддерживало с ним никаких отношений.

Судьба Владимира Радкевича

Трудная выпала ему доля. Я уже писал, что А. Чижову было известно лишь, что Радкевич был принят в КПМ, потерял на другой день партийный билет и на следующий же был исключен из организации. Поэтому за свое всего лишь двухсуточное (как думал Чижов и следователи) пребывание в КПМ Хариус и получил смехотворно малый по тем временам срок — три года. Он освободился раньше всех нас, еще в сентябре 1952 года, еще до послесталинской амнистии. Приехал в Воронеж. Его не прописывали (на нем была судимость по 58-й статье), он пошел в военкомат — не взяли и в армию. Он был изгоем.

Доподлинно известно, что Володька Радкевич прямо в областном драматическом театре (их семья все еще жила в описанной мною крошечной каморке в здании театра) во время антракта, на глазах у многих, нанес Игорю Злотнику несколько ножевых ранений, но, к счастью для себя, не убил его. Нож был чуть ли не перочинный, рука была слаба от вина. Его не судили — Злотник счел лучшим для себя не подавать в суд.

В конце концов Володьку взяли в армию, и он попросился в военное училище. Судимость к тому времени уже была снята, и его направили в харьковское гвардейское танковое училище. За ним была уже и десятилетка, и шоферские права, полученные «на Севере».

Прослужил Володя в армии до 1957 года. За это время он бывал в Воронеже в отпусках, встречался с друзьями, женился на Галке Зайчиковой. Родился у них сын Бориска. Демобилизовался Володя из армии по болезни. Циклофрения (теперь ее называют маниакально-депрессивным психозом — МДП) началась у него еще, конечно, в тюрьме, долго тянулась почти незаметно, с длительными периодами ремиссии и наконец накрыла его крепко.

Я впервые встретился тогда с этой болезнью. В новой большой квартире Стиро-Даниловых сидел на стуле или в кресле Володька, сидел в оцепенении, смотрел в одну точку. И не видел, и не слышал нас — меня, Бориса, Юрия... Это была тяжелейшая депрессия. Потом наступало улучшение, Володька казался совсем здоровым. Учиться в институте ему врачи, правда, не советовали. Он делал кукол в кукольном театре, рисовал декорации, работал порою в лесоустроительных и поисковых партиях рабочим, техником. Временами лежал в больницах. Мы с Борисом навещали его в Орловке. Лечебница эта старинная расположена на высоком, белом от черемухи правом берегу Дона. Было еще половодье и сильная волна, но мы с Борисом все-таки переплыли реку в утлой лодчонке, черпавшей бортами воду. Это было 20 апреля 1962 года. Володька явился к нам небритый, одетый в типичную лагерную робу. Но чувствовал он себя уже вполне нормально. Гуляли, беседовали. Он показал нам окна тюремного отделения, где когда-то томился Иван Подмолодин...

В августе 1966 года были мы с Ирой в воронежском саду и кто-то там нам сказал, что где-то за Уралом в лесоустроительной экспедиции погиб Володя Радкевич. Застрелился из ружья. Галя ездила туда, но предсмертные, прощальные письма ей не отдали, даже не дали прочесть, взяли в местный отдел МВД.

Застрелился Володя нелепо. Ушел рано утром в далекую тайгу и разворотил себе дробовым патроном правую и часть левой стороны груди, сердце случайно оказалось не задетым. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что после выстрела (а второго патрона не было) Володя в полном сознании жил еще около шести часов и ползал по таежной лужайке, оставляя кровавую полосу. Смерть наступила от потери крови.

Когда пришла ужасная эта весть, я впервые в жизни плакал. Он от болезни это сделал. Незадолго до этого умерла в Москве от рака его мама, и он был в тяжелой депрессии, не ведал, что делал.

Ах, Володя-Володя! Беззащитный одуванчик в свирепом урагане жизни. Прости меня за то, что я не был там, с тобою, и не отнял у тебя то проклятое ружье.

У меня сохранилось двадцать пять Володиных писем, из них девятнадцать армейских, и почти в каждом из них — посвященные мне стихи.

А вот мои строфы.

...А солнце над лесом
Взорвется и брызнет
Лучами на мир,
Что прозрачен и бел...
Прости меня, друг мой,
За то, что при жизни
Стихов я тебе
Посвятить не успел.

Вольны мы спускаться
Любою тропою.
Но я не пойму
До конца своих дней,
Как смог унести ты
В могилу с собою
Так много святого
Из жизни моей?

Звезда и гибель Бориса Батуева

Я не оговорился — у Бориса Батуева была такая судьба, которую называют звездою.

После освобождения, как и Юрий Киселев, он пошел работать рабочим на завод тяжелых механических прессов. Там после XX съезда оба вступили в партию. (Я подал заявление в партию в дни XXII съезда КПСС.) Поскольку Виктора Павловича освободили и реабилитировали значительно позже, Борис стал главою и кормильцем семьи. (Впоследствии Е. П. Батуев был пенсионером союзного значения). Работая на заводе, Борис заочно окончил ВГУ, стал на воронежском телевидении редактором. Я помогал ему первое время писать тексты передач. Преподал ему несколько уроков не теоретической, а прикладной журналистики. А даль-

ше — дальше, как говорится, он за пояс заткнул меня в этом деле. Это был чрезвычайно талантливый человек. И еще его отличала цельность. В своих мыслях, и в своих поступках он был одинаков. Всю жизнь беззаветно и трогательно любил одну только женщину, свою жену Анну, или, как он часто ее называл, Анюлю.

В начале 60-х годов ему и Юрию Киселеву предложили поехать учиться в Высшую партийную школу. После окончания ВПШ Борис стал главным редактором воронежского Комитета по радиовещанию и телевидению. Руководитель он был прирожденный. Это я знал давно, еще в 1948 году. Борис далеко бы пошел (он, в частности, уже был членом Воронежского обкома КПСС), но случилась беда.

10 января 1970 года работники воронежского телевидения ехали в район что-то снимать. Их было пятеро в специальной телевизионной машине: кроме Бориса, операторы, осветитель, шофер. С обледенелого мостика через реку Усманку между Новой Усманью и Рогачевкой машина упала в речной овраг. Все остались живы, погиб только Борис. Об этом сообщил мне по телефону (я жил уже в Москве) воронежский поэт Виктор Поляков.

Сердце заболело, и стал я сам не свой. Нет больше Бориса! Кажется, совсем недавно оплакали Хариуса, и вот тебе — Борис!.. Лучший, самый близкий друг мой Фиря! «Генсек» КПМ. Почти четверть века дружбы. Всего тридцать девять лет было Борису. Горе-то какое! Сын без отца остался, Валерка.

Я выбежал из дому, за три минуты до отхода поезда взял билет, еле пробился к кассе, прорвался, как в бою. На ходу вскочил в поезд — он уже тронулся. Ночь без сна в душном вагоне. В окнах — деревья в белых саванах и огни. Двенадцать часов напряженного, бессонного ожидания — скорей бы Воронеж. Вспомнилось почему-то, что, когда поминали Хариуса, Борис сказал: «Знаешь, Толька, у меня такое ощущение, что я скоро пойду за Харюней...» Так и случилось. Давно ли мы с ним резали ветки для венка Подмолодину?

Наконец утренний Воронеж. Скорей к киоску. Развернул «Коммуну». Некролог. Похороны 13 января. Не опоздал!

Около десяти-одиннадцати я подошел к так хорошо знакомой арке на проспекте Революции. Навстречу — Колька Стародубцев, Славка Рудницкий. Я их несколько лет не видел. Горе всех свело. Тут же и Юрка Киселев:

— Спасибо, что приехал!

Тут же и Селезнев, Миронов, и Иван Сидоров, которого я почти забыл, один из Землянухиных, и Чижов... Приехали или пришли попрощаться с Борисом все оставшиеся в живых бывшие члены КПМ. Не приехал только с Сахалина Игорь Струков, не приехала из-за опоздания телеграммы Марина Вихарева.

Ленька Сычов, пьяный Димка Буденный. Аня в черном:

— Толечка, здравствуй! Ты совсем белый лицом! Не спал ночь? Пойди выпей водки на кухне. Там ребята.

На кухне сидела ставшая совсем взрослой сестра Бориса Светка, младший его брат Юрка в офицерской форме, Виктор Павлович — какой-то совсем маленький. Мне налили чайный стакан водки, полный. Я выпил залпом, не закусывая, и — к гробу. Уступили мне сразу место в изголовье, напротив Ани. Валерка — рядом с нею, худенький, бледный мальчик в сером свитере и в очках. Особенно тяжело было смотреть на него.

Борис в гробу совсем как живой. Синячки небольшие на лице. Я поцеловал его холодный лоб.

Небрежные швы вскрытия на голове и на шее. Вскрытие показало, что не было никаких серьезных повреждений. Смерть наступила от замерзания! Да, воды чуть-чуть хлебнул. Но шофер с поломанными двумя руками вытащил его из воды. Нужно было ему искусственное дыхание сделать или хотя бы головой вниз потрясти. Нельзя было бросать его, оставлять на снегу. Борис (это тоже показала экспертиза) сам начал дышать, лежа на снегу, и дышал, пока не замерз. Шофер обессилел — оказалось, что у него сломана и нога... А остальные пошли искать попутную машину и оставили Борьку мокрого на снегу. Мы с Юрой Киселевым Бориса не оставили бы никогда... А мороз был большой. Замерз. Даже видно — уши синие, обмороженные.

Гроб несли только друзья. Машина похоронная. Улица Карла Маркса. Телецентр. Внесли цветы, венки. Один был особенный: «...от самых близких друзей-единомышленников». То есть от КПМ. От КПМ, которой давным-давно уже не было, но которая особенным образом жила в душе каждого из наших ребят. Дружба осталась, остался какой-то внутренний долг, какая-то сила, живущая в каждом из нас. Много венков. На одном лента: «УКГБ ВО. Воронежские чекисты глубоко скорбят... трагической гибели... коммуниста...» На похороны приехал с группой офицеров сам генерал. Стояли в почетном карауле. Они правильно сделали, что приехали на похороны, — отмежевались от тех «горе-чекистов», которые год держали нас в подвалах, а потом отправили в лагеря...

И, наконец, последний путь к кладбищу. Холод. Все наши — без шапок, хоть и долго шли. Митинг. Составленные из казенных блоков речи. Только Галя Поваляева, диктор, сказала несколько человечных, точных и по-женски грустных слов.

Глубокая, с нишей в торце могила. Суглинок. Слишком большая ограда. Это Юрка на заводе тяжелых прессов сделал. Юрке много пришлось — и ограду, и венок, и собирать друзей со всех концов — все Юрка Кисель делал... Как всегда в тяжких случаях. Добрая и нежная душа — Юра Кисель. Рыдал, говорят, накануне, с ума сходил от горя...

Поминки. Снова речи о журналисте Батуеве. Но ведь Борис Батуев известен был в Воронеже не только тем, что он главный редактор телевидения. А все, словно сговорились, молчат о самом главном, что было в жизни Бориса. О том высоком взлете в юности и страшной его и нашей трагедии, которые озарили всю его жизнь. «Заговор молчания» нарушил я. Что я сказал?

— Борис был по-настоящему сильным человеком. Еще в юности он сумел повести за собой людей к возвышенному, светлому идеалу. Пусть это была юношеская романтика, пусть сейчас почему-то нельзя говорить об этом. Но почему нельзя? Зачем у нас шоры на глазах? Давайте отодвинем, снимем эти шоры и скажем вслух то, что знает каждый... Борис был руководителем организации... еще в юности. Можно об этом сказать? Конечно, можно. Нужно! Судьба Бориса была жестока, но возвышенна. Была большая, смелая честность и высота в этом благородном порыве!.. Жизнь есть жизнь, и обо всем, что было в жизни Бориса Батуева, можно говорить, не боясь. Плохого, дурного в ней не было. И та часть жизни Бориса, о которой мы нынче так старательно умалчивали, была его высоким нравственным подвигом!

В зале, а было на поминках человек сто, совсем стало тихо. О чем-то задумались офицеры. Глаза А. Чижова, который сидел напротив меня, были полны животного страха.

— Толя! Прочитай, пожалуйста, стихотворение «Кострожоги». Его Боря очень любил, — попросила Аня.

Я прочел «Кострожоги» и посвященное Борису стихотворение «Ты помнишь, мой друг? На окне занавеска...»

Над белоснежным проспектом Революции в черном небе сияла одна-единственная яркая звезда. Это была звезда Бориса Батуева.

— Да, это, конечно, Борькина звезда! — уверенно подтвердил мою мысль Юрий Киселев и добавил: — Знаешь, Толич, ты должен написать обо всем этом, о КПМ, о нашей юности.

— Напишу, Юра. Обязательно напишу.

Слава богу! Я свой долг выполнил.

Алексей Эйснер

РАЗЛУКА

В коротких словах не расскажешь об Алексее Эйснере. Это был человек яркого таланта, незаурядного характера, необычной судьбы. Когда будет написана его биография, перед читателем предстанет образ истинного героя неприглаженной истории нашего века. Его личность формировалась в крутых ситуациях эпохи, которых он был свидетелем, участником, а порой и жертвой.

Тем, кому имя Алексей Эйснер покажется знакомым, напомню, что он был автором очерков «Писатели в интербригадах» и «Двенадцатая интернациональная», напечатанных в журналах «Новый мир» и «Иностранная литература» в конце 50-х — 60-х годах, и книги «Человек с тремя именами» о генерале Лукаче (Мате Залке). Все эти публикации связаны с Гражданской войной в Испании (1936—1939), столь памятной нескольким поколениям советских людей. Принято считать, что это главная эпопея в жизни Алексея Владимировича. Исследователи в этом разберутся. В Испанию вел нелегкий путь, а к очеркам еще более долгий и тяжкий.

Расскажу, как узнал об Алексее Эйснере и как познакомился с ним. В странах Европы, освобожденных Советской Армией от гитлеровского нашествия, попадались нам следы русской эмиграции — в разбитых, покинутых домах книги и журналы. Читать это было некогда. Удавалось иногда перелистать страницы, наткнуться на знакомые имена: Бунин, Куприн, Бальмонт, Цветаева. Другие имена были вовсе не слышаны нами. Все это печатное слово было, конечно, обречено на уничтожение. Кажется, одному Борису Слуцкому, майору политотдела армии, пришло в голову вырезать из журналов стихи. Потом он переплел вырезки в книгу. (Да будет стыдно тому, кто ее у меня украл!)

В этом самодельном томе была небольшая поэма «Конница», напечатанная в пражском журнале «Воля России» за 1928 год. Автор — Алексей Эйснер.

«Конница» поразила нас яркостью, вещественностью своего стиха, невероятной энергией и какой-то необычной для эмигрантской поэзии нотой. Она была о победном походе красной конницы. В ней было восхищение и любование. Конечно, ощущалась там стихия блоковских «Скифов», но как-то самостоятельно претворенная. Строфы «Конницы» легко запомнились.

Толпа подавит вздох глубокий,
И оборвется женский плач,
Когда, надув свирепо щеки,
Поход сыграет штаб-трубач.

Легко вонзятся в небо пики,
Чуть заскрежещут стремена.
И кто-то двинет жестом диким
Твои, Россия, племена.

Постарались узнать, кто такой Алексей Эйснер. От И. Г. Эренбурга стало известно, что он принадлежал к молодому поколению русской эмиграции, попал за рубеж подростком, в 30-е годы жил в Париже, работал мойщиком стекол, стал коммунистом, воевал в Испании в интербригадах, где был адъютантом генерала Лукача. На этом сведения прерываются. Трудно было предположить, что мы когда-нибудь встретимся.

Однако это произошло году в 1957-м (или на год раньше). Мы со Слуцким были приглашены на обед к Антонину Ладинскому, поэту, в ту пору вернувшемуся на родину из парижской эмиграции. Нас долго не звали к столу. Хозяин объяснил: «Должен прийти Алеша Эйснер».

— Автор «Конницы»?

— Именно он.

Я так и ахнул. Антонин Петрович, видно, специально задумал эту эффектную встречу.

Вскоре пришел Эйснер. Впечатление от него тогдашнего очень хорошо описано в статье Л. Ю. Слезкина «Памяти А. В. Эйснера» (в книге «Проблемы испанской истории», М., 1987). «Он выглядел молодо, двигался стремительно. Густые темные волосы, немного тронутые сединой, распадались...» Когда он говорил, «с его лица исчезали следы жизненных испытаний, которые угадывались в нескольких резких морщинах, чуть опущенных плечах, в остром взгляде карих глаз. (...) Поражала феноменальная память, необыкновенная смелость суждений, истинный артистизм в передаче случившегося и зарисовке характеров, необъятный диапазон знакомств, в том числе с людьми, чьи имена известны всем».

В разговоре дошло до стихов, и я прочитал наизусть всю «Конницу». Случай был необычайный. Вещь, напечатанная в Праге почти тридцать лет тому назад, неожиданно прозвучала в Москве.

Алексей Владимирович улыбался, потом махнул рукой, сказал:

— Стишки, стишки. Я давно уже их не пишу.

Много было резких зигзагов в судьбе и взглядах Алексея Эйснера. Он всегда остро проживал время и менялся вместе с ним. В его раннем формировании трудно было предугадать будущего интербригадовца, любимца бойцов, адъютанта легендарного генерала.

Алексей Эйснер 1905 года рождения. Отец — киевский губернский архитектор, мать из семьи черниговского губернатора. Раннее детство не было безмятежным. Родители расстались. Мать вторично вышла замуж за высокопоставленного петербургского чиновника и вскоре умерла. Отчим определил одиннадцатилетнего мальчика в Первый кадетский корпус в Петрограде. А через год пришла революция. Алеша с отчимом переехали в Москву. В голодухе и неразберихе он стал Гаврошем Сухаревской толкучки. Потом — тяжелый путь на Юг России. Эвакуация из Новороссийска вместе с остатками Добровольческой армии. Константинополь. Югославия. В Сараеве он поступает в русский кадетский корпус. В двадцать лет оканчивает его. Он не хочет стать офицером Сербо-Хорватского королевства. Уезжает в Прагу.

Там он активно включается в литературиую жизнь, печатается в русских периодических изданиях. Его публикации обращают на себя внимание А. М. Горького. «...В «Воле России», — пишет он одному из своих знакомых, — очень хорошие стихи Алексея Эйснера; не знаете, молодой?..» (Сорренто, 1927.)

Молодой поэт все меньше чувствует себя своим в эмигрантской среде. Его тянет на родину. В поисках единомышленников он уезжает в Париж. Сближается с «Союзом возвращения на родину». Цветаева пишет об Эйснере тех лет, что он ей «решительно нравится. Смесь ребячества и настоящего самобытного ума. Лично — скромен, что дороже дорогого». (Из письма 1932 года.)

Жаль, что приходится лишь называть главные вехи его пути, не имея возможности рассказать, как мужественно, самобытно и ярко раскрывался он на каждом этапе жизни.

1936 год. Начало Гражданской войны в Испании. Эйснер становится бойцом XII Интербригады.

В январе 1940 года он, наконец, приезжает в Советский Союз. В апреле его арестовывают. Сперва — Воркута, потом — ссылка в Казахстан. Перед ссылкой он пишет свое последнее стихотворение (1948).

Он возвращается из ссылки через шестнадцать с половиной лет, пятидесятилетним человеком.

Ему предстоит еще три десятка лет жизни. Он напишет книги, статьи, очерки, обретет семью, воспитает сына, возникнут новые дружбы.

Алексей Владимирович умер в 1984 году. Как драгоценный подарок храню я машинопись «Конницы» с дарственной надписью автора.

Алексей Эйснер всю жизнь искал формулу счастья. Он был человеком страстной веры, он искал веру и находил ее.

Стихи, представленные в данной подборке, написаны в разные годы. Читателю легко будет определить, где и по какому поводу они написаны.

Нелишне отметить, что его первую прозу на родине опубликовал журнал «Знамя». Это были «Записки адъютанта», присланные из Испании после гибели Лукача.

Д. Самойлов

Разлука

Летят скворцы в чужие страны.
Кружится мир цветущий наш...
Обклеенные чемоданы
Сдают носильщики в багаж.

И на вокзалах воздух плотный
Свистки тревожные сверлят.
И, как у птицы перелетной,
У путников застывший взгляд.

И мы прощаемся, мы плачем,
Мы обрываем разговор...
А над путями глаз кошачий
Уже прищурил семафор.

Уже взмахнул зеленым флагом —
В фуражке алой — бритый бог...
И лишь почтовая бумага
Теперь хранит следы тревог.

И в запечатанном конверте,
Через поселки и поля,
Несут слова любви и смерти
Размазанные штемпеля.

И мы над ними вспоминаем
Весенний вечер, пыльный сад...
И под земным убогим раем —
Великолепный видим ад.

1929

Воскресенье

Фабричный дым и розовая мгла
    На мокрых крышах дремлят ровно.
И протестантские колокола
    Позванивают хладнокровно.
А в церкви накрахмаленный старик
    Поет и воздевает руки.
И сонный город хмурит постный лик,
    И небо морщится от скуки.
В унылых аккуратных кабачках
    Мещане пьют густое пиво.
Но кровь, как пена желтая, в сердцах
    Все так же движется лениво.
Хрипит шарманка, праздностью дыша.
    Ей вторит нищий дикой песней...
О, бедная! О, мертвая душа!
    Попробуй-ка — воскресни...

1929

★

Надвигается осень. Желтеют кусты.
И опять разрывается сердце на части.
Человек начинается с горя. А ты
Простодушно хранишь мотыльковое счастье.

    Человек начинается с горя. Смотри,
    Задыхаются в нем парниковые розы.
    А с далеких путей в ожиданьи зари
    О разлуке ревут по ночам паровозы.
Человек начинается... Нет. Подожди.
Никакие слова ничему не помогут.
За окном тяжело зашумели дожди.
Ты, как птица к полету, готова в дорогу.
    А в лесу расплываются наши следы,
    Расплываются в памяти бледные страсти —
    Эти бедные бури в стакане воды.
    И опять разрывается сердце на части.
Человек начинается... Кратко. С плеча.
До свиданья. Довольно. Огромная точка.
Небо, ветер и море. И чайки кричат.
И с кормы кто-то жалобно машет платочком.
    Уплывай. Только черного дыма круги.
    Расстоянье уже измеряется веком.
    Разноцветное счастье свое береги, —
    Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком.
Зазвенит и рассыплется мир голубой,
Белоснежное горло, как голубь, застонет,
И полярная ночь поплывет над тобой,
И подушка в слезах, как Титаник, потонет...
    Но уже, погружаясь в арктический лед,
    Навсегда холодеют горячие руки.
    И дубовый отчаливает пароход,
    И, качаясь, уходит на полюс разлуки.
Вьется мокрый платочек, и пенится след,
Как тогда... Но я вижу, ты все позабыла.
Через тысячи верст и на тысячи лет
Безнадежно и жалко бряцает кадило.
    Вот и все. Только темные слухи про рай...
    Равнодушно шумит Средиземное море.
    Потемнело. Ну, что ж. Уплывай. Умирай.
    Человек начинается с горя.

1932

Молчание

Все это было. Так же реки
От крови ржавые текли, —
Но молча умирали греки
За честь классической земли.

О нашей молодой печали
Мы слишком много говорим, —
Как гордо римляне молчали,
Когда великий рухнул Рим.

Очаг истории задымлен,
Но путь ее — железный круг.
Искусство греков, войны римлян
И мы — дела все тех же рук.

Пусть. Вечной славы обещанье
В словах: Афины, Рим, Москва...
Молчи, — примятая трава
Под колесом лежит в молчанье.

30-е годы

Е. И. М.

Корабли уплывают в чужие края.
Тарахтят поезда. Разлетаются птицы.
Возвращается ветер на круги своя,
Выставляется весь реквизит репетиций.

Вынимается всякий заржавленный хлам,
Все, что тлея лежит в театральном утиле.
Разрывается с треском душа пополам,
Соблюдая проформы канонов и стилей.
И опять, при двойном повышении цен,
Я порою все тот же — не хуже Хмелева, —
И в классическом пафосе избранных сцен
Повторяется все до последнего слова.
Повторяется музыка старых стихов.
Повторяется книга и слезы над нею.
В загорелых руках молодых пастухов,
Повторяясь, кричит от любви Дульцинея.
Повторяется скука законченных фраз.
Повторяется мука троянского плена.
И, забыв Илиаду, в стотысячный раз
Под гитару поет и смеется Елена...
Это было уже до Тебя, до меня —
И ненужная нежность моя и...
Короче,
Мне не страшен ни холод бесцельного дня,
Ни большие бессонные белые ночи.
Я допью эту горечь глотками до дна,
И забуду улыбку твою, дорогая...
Но когда Ты останешься в мире одна, —
Это будет как только Ты станешь другая.
Ты поймешь, Ты увидишь, Ты вскрикнешь тогда.
Ты оплачешь наивную грубость разлуки.
Через годы, пространства и города
Ты невольно протянешь покорные руки.
Повторяется все, даже прелесть Твоя,
Повторяется все без изъятья на свете.
Возвращается ветер на круги своя...
Я — не ветер!

1946, Воркута

Жемчужина

Охрипший Гамлет стонет на подмостках.
Слезами Федра размывает грим.
Мы мучаемся громко и громоздко,
О страсти и о смерти говорим.

Мы надеваем тоги и котурны,
Мы трагедийный меряем парик.
Но прерывает слог литературный
Бессмысленный и безнадежный крик.

Весь мир кричит. Мычат быки на бойне,
И отпевают счастье соловьи.
И все пронзительней и беспокойней
Кричат глаза глубокие твои.

Весь мир кричит. Орет матрос со шхуны
Как барабан, гремит прибой в гранит.
Но устрица на тихом дне лагуны
Дремучее молчание хранит.

Она не стонет, не ломает руки,
В соленом синем сумраке, внизу,
Она свои кристаллизует муки
В овальную жемчужную слезу.

И я лежу, как устрица, на самом
Холодном, темном и пустынном дне.
Большая жизнь полощет парусами
И плавно проплывает в вышине.

Большая жизнь уходит без возврата...
Спокойствие. Не думай. Не дыши.
И плотно створки раковины сжаты
Над плоским телом дремлющей души.

Но ты вошла, ничтожная песчинка,
Вонзилась в летаргический покой,
Как шпага в грудь во время поединка,
Направленная опытной рукой.

Подобной жгучей и колючей болью
Терзает рак больничную кровать...
Какой дурак посмеет мне любовью
Вот эту вивисекцию назвать!..

Кромешной ночью и прозрачным утром,
Среди подводной допотопной мглы,
Я розовым и нежным перламутром
Твои смягчаю острые углы.

Я не жалею блеска золотого,
Почти иконописного труда...
И вот уже жемчужина готова,
Как круглая и яркая звезда.

Сияешь ты невыразимым светом
И в Млечный Путь уходишь. Уходи.
На все слова я налагаю вето,
На все слова, что у меня в груди.

В таких словах и львиный голос Лира —
И тот сорвется, запищит, как чиж...
Ты в волосатых пальцах ювелира,
Ты в чьем-то галстуке уже торчишь.

Я, думаешь, ревную? Что ты, что ты,
Ни капельки, совсем наоборот.
Пускай юнец пустой и желторотый
Целует жадно твой карминный рот.

Пускай ломает ласковые пальцы.
Ты погибаешь по своей вине,
Ведь жемчуг — это углекислый кальций,
Он тает в кислом молодом вине.

Так растворяйся до конца, исчезни
Без вздохов, декламации и драм.
От экзотической моей болезни
Остался только незаживший шрам.

Он заживет. И все на свете минет.
Порвутся струны, и заглохнет медь.
Но в пыльной раковине на камине
Я буду глухо о тебе шуметь.

1947, Воркута

Прощание

Прощайте, прощайте!.. Беснуется пес на цепи,
И фыркают кони. Ворота распахнуты. Трогай.
Цыганскую песню поет колокольчик в степи.
Как в старом романсе, пылит столбовая дорога.

Прощайте, прощайте!.. Последний сверлящий свисток.
На грязном перроне отчаянно машут платками.
И поезд, качаясь, уходит на Дальний Восток,
Печально стуча по мостам на Оке и на Каме.

Прощайте!.. Исчезли уже берега за кормой.
Над реями трепетно реют веселые флаги.
Прощайте! Никто никогда не вернется домой
Из чайных Шанхая, из шумных притонов Малаги.

Гремя, как поднос, опрокинулся аэродром,
И Бахом рыдает орган ураганного ветра.
Прощайте! Вопрос о прощанье поставлен ребром —
Разлука на скорости до пятисот километров!

Я столько оставил в Париже, в Мадриде, в Москве,
Я в разных подъездах такие давал обещанья,
Я с жизнью прощался на выжженной солнцем траве,
Так что́ для меня и привычней и проще прощанья!

Прощай, дорогая, бессмысленно смейся. Живи,
Покорно врастая в лубки неуклюжего быта.
Немного горюй о потерянной этой любви,
Как в детстве своем горевала над куклой разбитой.

А если я встречусь с тобой и на прежних правах
О прежней любви захочу говорить по привычке,—
Не слушай. Кто знает, что будет заметней в словах:
Большая любовь или очень большие кавычки.

Прощай же. Без ветра, без моря, без рельс, без дорог
И даже без слез. Но в стихах этих горьких и строгих
Я громкую гордость бросаю тебе на порог.
Всегда спотыкайся теперь на пороге!

1948, Воркута

Публикация И. Ф. Рековской-Эйснер

Из переписки Ариадны ЭФРОН и Бориса ПАСТЕРНАКА
(1948 — 1957 гг.)

10 апреля 1950

Дорогой Борис! Твои письма, оба, дошли до меня в тот же день и час,— и книга, и стихи. Спасибо тебе.

О стихах: среди всего твоего, мною прочитанного когда-либо, нет и не было «отталкивающего», да, пожалуй, и не может быть, слишком велика *притягательная* сущность твоих стихов, чтобы была возможна хоть в какой-то мере какая-то контрпритягательная сила. Насчет же «неяркости» и «нехудожественно-личного», то, по-моему, ни «яркостью», ни «художественностью» стихи твои никогда, слава Богу, не грешили. Для меня «яркость» синоним «внешнего», а «художественность» граничит с искусственностью. В последнем я, может быть, не права, понимая это по-своему, а м. б., у меня это атавизм типа галлицизма, т. е. «art» — «artificiel». По-моему, неспроста отсутствует у галлов понятие художественности при наличии понятий искусства и ремесла. Как ты думаешь? Да и вообще может ли *твое* личное оказаться «нехудожественным», претворяясь в *стихотворение*? Подчеркнула «твое», т. к. у многих — может, а у тебя не получается.

Стихи твои — прекрасны. Спасибо тебе за них, за то, что ты их пишешь, за то, что ты — ты.

Асе перепишу и пошлю.

Что же до «militante № 2», то эта тема не притворна и не разыграна. Потому что со мной тоже не раз случалось — получать письма, написанные от души, но так, что их душа не приемлет, ибо ужасно трудно любить так, как нужно любимому, а не любящему (не прими это как-ниб. узко!), и писать так, как это нужно адресату, особенно гриппозному. Тут дело не в том, чтобы «подладиться» как-то, а — чтобы это было именно *то самое*.

Один экз. «Воскресения» ты мне подарил в Москве, но я не смогла захватить его сюда с собой. Очень рада, что ты прислал мне эту книгу, не из-за Толстого, а из-за отца, осуществившего тему лучше, чем автор, т. е. с не меньшей любовью, но абсолютно без сентиментальности. Ты понимаешь, вторая половина книги расхолаживает меня к первой, прекрасной, тем, что напряжение, по теме и замыслу долженствующее нарастать, падает, расплывается, захлебывается в лжи толстовской «правды», точно уже не Толстой, а его вегетарианцы писали.

Жаль, что репродукции неважные и часть иллюстраций срезана — видимо, чтобы не уменьшать до искажения. Вот, например, в иллюстрации к заутрене (или к чистому четвергу?) — там, где все со свечками,— срезана чудная фигурка мальчика, который крестится, с силой вжимая пальчики, сложенные щепоткой, в лоб, как бабушка учила. Беленькая головка наклонена, только темя видно и эта ручонка. А особенно сильна сцена, где Катюша, в арестантском халате, почти спиной к зрителю, видит там, вдали, Нехлюдова, а за ее спиной конвоир, так вот *настороженность* руки конвоира.

Окончание. Начало см. «Знамя» № 7 за 1988 год.

Часть этих иллюстраций, в чудесных репродукциях, я видела в монографии твоего отца в Рязани — писала тебе тогда об этой книге и до сих пор не могу себе простить, что не догадалась украсть ее, там столько чудесного и много портретов вас, детей и подростков, и матери.

Живу все так же. Жду весны, как никогда в жизни. Бывало, весна приходила своим чередом, а здесь, чтобы она пришла, нужно все сверхчеловеческое напряжение человеческой воли, ибо здесь она не просто весна, а такое же чудо, как воскресение Лазаря, настолько все мертво и спеленуто. (Как хорошо у тебя про Лазаря в последних стихах!). И вот я все время из недр своих взываю и вопияху, но вызвала пока что только одинединственный весенний день с настоящей капелью и попытками луж. Обрадовалась — и все пропало. Пурга, заносы, морозы.

А наше село чем-то похоже на Вифлеем. Каким-то библейским убожеством, м. б., таящим в себе Чудо, а м. б., только ожиданием его, чаянием.

Снега и снега, лачуги, лохматые коровы, косматые псы. Все время приходится перебарывать возникающее от пейзажа и окружения желание волочить ноги и сутулиться, насколько город подтягивает, настолько село, да еще северное, размагничивает.

Работаю много, часто свыше своих, теперь небольших, сил, но работа эта не утоляет жажды настоящей работы и даже не заглушает ее, несмотря на то, что считаюсь художником и работа близка к специальности.

Чувствую себя неважно, плохо переношу климат. Постоянная противная температура в окрестностях 37,5, и постоянно чувствую сердце, это, плюс многое другое, очень утомляет.

Но, в общем, все, как всегда, терпимо.

Спасибо тебе за все.

Целую тебя.

Твоя Аля

17.4.50

Дорогой Борис! Большое тебе спасибо за деньги, ты и представить себе не можешь, как они меня выручили и как кстати пришли. А главное, спасибо за заботу. Я с каждым годом становлюсь все беспризорнее, все забвеннее (?), и тем бо́льшим чудом кажется мне человеческое внимание, человеческое добро. Сама я, мне кажется, черствее прежнего не стала, но сентиментальности лишилась абсолютно, так же как и слезного дара, которым в молодости обладала превыше всякого другого — лет до 20-ти рыдала над чеховской «Каштанкой», плакала в кино, и т. д. И, представь себе, израсходовала весь свой слезный запас лет около 10 тому назад, теперь способна плакать, только если очень радуюсь, что со мной случается редко.

У нас один за другим подряд три весенних дня. Снег чернеет, делается губчатым и рассыпчатым, с крыш бежит вода, а по небу — серые, теплые облака. Тайге еще далеко до зелени, но она голубеет, покрывается сливовой дымкой, и, когда солнце заходит за полоску леса на горизонте, тень падает на снег нежно, как тень огромных ресниц. От солнца все становится гибким, и веточки лиственниц, и пышные, как лисьи хвосты, ветви пихт, а очертания теряют свою зимнюю сухость, четкость, схематичность. На свет божий выползают ребятишки и щенята, урожая этой зимы, выращенные в избах наравне с телятами и курами. Птиц еще не видно и не слышно, только однажды увидела какую-то случайную стайку странных хохлатых воробьев с белой грудкой.

Как удивительно, что в последнее время я совсем не живу, а, скажем, «переживаю» зиму, «доживаю» до весны и т. д. (Прости за гадкую бумагу, здесь и такую трудно добыть.)

Сегодня ходила к врачу, она сказала мне, что нельзя в таком возрасте иметь такое сердце, посоветовала мне побольше отдыхать и беречься волнений и переживаний. И прописала всякой дряни внутрь. Причем, насколько я соображаю, дряни взаимоисключающей. Насчет отдохнуть, не волноваться и не переживать сам догадываешься, а насчет сердца — неправда, оно еще повоюет.

Какая меня всегда тоска за душу хватает от казенных помещений и присущих им казенных же запахов — милиций, амбулаторий, контор

и т. д. Сегодня просидела в амбулатории часа четыре подряд, в очереди разнообразных страждущих — обросших щетиной мужчин, бледных женщин с развившимися волосами, подростков с патетическими веснушками на скуластых мордочках. Скамьи со спинками, отполированными спинами, плакаты «Мы излечились от рака», «Берегите детей от летних поносов», отполированные взглядами, ай-ай-ай, какая тоска! и все эти разговоры вполголоса о боли под ложечкой, под лопаткой, в желудке, в грудях, в висках, о боли, боли, боли! У меня тоже сердце болит тихой, скулящей болью, но от этого обилия чужих болезней начинаю себя чувствовать неприлично здоровой, хочется встряхнуться и удрать.

А зато как хороши гостиницы, пристани и вокзалы! И какая там иная тоска, живая, с огромными сильными крыльями, вот-вот готовая превратиться в радость, правда? и по силе не уступающая счастью. Тоска приемных покоев совсем другая, заживо ощипанная и бесперспективная (чудесное словечко!). Осенняя муха, а не тоска.

Пишу тебе всякую несомненную ерунду. Кругом так шумно, тесно, неудобно, и, несмотря ни на что, так хочется хоть немного поговорить с тобой, т. е., вернее, смотря на все, та́к хочется поговорить с тобой! Все бы ничего, но я ужасно тоскую, грущу и по-настоящему страдаю о и по Москве. Как никогда в жизни. А ведь жила я там так мало, до 8-ми лет ребенком и потом взрослой года три в общей сложности, вот и все. Это — самая страшная тоска, тоска — неразделенной любви, что ли! Сколько же я видела в жизни городов, стройных и прекрасных, сколько любовалась ими, понимала и ценила, но не любила, нет, никогда. И, покинув их, не больше вспоминала, чем декорации когда-то виденных пьес.

Но этот город — действительно город моего сердца и сердца моей матери, м о й город, единственная моя собственность, с потерей которой я никак не могу смириться. И во сне вижу — в самом деле, а не для красного словца — московские улицы, улички и переулочки, именно московские, а не какие-ниб. другие. А вместе с тем ж и т ь в Москве я бы не хотела, не хотела бы, чтобы этот город стал для меня будничным городом нескольких привычных маршрутов. И с удовольствием — если бы жизнь моя была в моих собственных руках, жила и работала очень далеко от Москвы, и именно на севере, еще севернее, чем здесь, — жила и работала бы по-настоящему, не так, как сейчас приходится. Книги писала бы о том, что немногим приходится видеть, хорошо писала бы, честное слово! Крайний Север — непочатый край для писателя, а никто решительно ничего настоящего о нем не написал.

А потом прилетала бы в Москву, окуналась бы в нее — и опять улетала бы.

Все «бы» да «бы».

Крепко целую тебя. Спасибо тебе.

Твоя Аля

5.5.1950

Дорогой Борис! Огромная к тебе просьба: мне очень нужны мамины стихи: 1 — цикл стихов к Пушкину, 2 — цикл стихов к Маяковскому и 3 — цикл стихов о Чехии. Последний цикл написан был мамой в период захвата Гитлером Чехословакии. М. б., все это есть у тебя, если нет, то может быть у Крученых, у к-го много маминых вещей, рукописных и перепечатанных. Если нет ни у тебя, ни у Крученых, то есть у Лили[1] в черновиках. Мне нужны обязательно все три цикла. Теперь так — если ты обратишься к Крученых, то очень попрошу тебя — не от моего имени. Мы с ним не очень ладим, и мне он может отказать, а тебе, наверное, нет. И последняя инстанция — Лиля. Там труднее всего, т. к. они обе устали, больны, им это очень утомительно и трудно, и, кроме того, действительно нелегко разыскать нужное в черновиках, если у них нет оттисков или хотя бы переписанного набело. Только мне очень хочется, чтобы все мамины тетради остались на месте, т. к. даже при самом бережном отношении что-ниб. может пропасть, как это случилось с письмами, а рукописи — невосстановимы.

[1] Е. Я. Эфрон.

Я знаю, что тебе это будет очень трудно, но просить мне больше некого, т. к. только тебе могу доверить эту просьбу, во-первых, и вообще, во-вторых. Очень прошу тебя, сделай это, и если возможно — поскорее.

Кроме того, если есть возможность, пришли немного хотя бы своих книг, т. е. книг своих стихов, у меня на руках осталось только надписанное тобою мне, а читателей, и среди них таких, которые заслуживают иметь твои книги, много. Если нельзя прислать несколько экземпляров, то пришли хоть немного, и я отдам в библиотеку, где часто тебя спрашивают и где нет ничего твоего.

Прости за эти трудновыполнимые просьбы. Один Бог знает, кажется, с какой радостью я все это сделала бы сама!

Пишу тебе поздно вечером, в нетрезвом от усталости состоянии. Сегодня — день печати, и пришлось много поработать, да и от предмайской усталости еще не очухалась. Время приближается к полуночи, а на улице еще совсем светло. Если не теплом, так светом хороша северная весна. А она уже в полном разгаре. Совсем недавно осознала, почему именно весну я люблю меньше всех остальных времен года. С утра — снег огромными хлопьями, потом солнце проталкивается сквозь облака, тает, с крыш вода, под ногами лужи, проталины, ручьи. Потом резкий холодный ветер, гололедица, сосульки. Потом теплый, ленивый и уже почти душистый ветерок, и вновь снег хлопьями, а затем дождик. И так — целыми днями и ночами. И вот, шла я по мостику через овраг, на меня накинулся влажный ветер и начал рвать с меня платок и хватать за колени, бросил мне в лицо несколько угрожающих пригоршней снега, заставил запахнуться и чертыхнуться. Еще несколько шагов — овраг позади, тишина, солнце светит, все кругом мирно, тепло и ярко. Весь предыдущий гнев оказался шуткой, м. б., даже инсценировкой! Тут меня и осенило, почему к весне я не так благоволю: она ведь женщина, настоящая, с вечной сменой настроений, с такой искренней легкостью переходящая от смеха к слезам, от слов к делу, и даже от поцелуев к пощечинам! Женщина, т. е. я сама, и поэтому только, видимо, я предпочитаю ей, со всей неустойчивостью ее характера, определенность лета, выдержку осени и суровость зимы. (Последнее желательно в более умеренном климате!)

Скоро ледоход. Я впервые увижу его на такой большой реке. Енисей — огромный, шире Волги намного. Я боюсь ледохода, даже на Москва-реке. Это страшно, как роды. Весна рожает реку. Последний ледоход я видела в прошлом году на Оке, и мне было в самом деле и страшно и немного неловко смотреть, как на что-то личное и тайное в природе, несмотря на то, что все было так явно!

У меня опять очередное несчастье — через две недели я буду без работы, т. е. нашему учреждению не на что нас, небюджетных, живущих на «привлеченные средства», — содержать. А работу найти очень трудно, почти невозможно. Господи, как жить, что делать, о какую стенку головой биться, и ума не приложу! М. б., за эти две недели что-ниб. чудесным образом наклюнется, хотя шансов на это никаких. Никак не вылезу из серии плохих чудес, никак не попаду в хорошие! (чудеса).

Крепко тебя целую.

Т в о я А л я

25 мая 1950

Дорогая Аля! О Чехии пришлет тебе Елиз. Як., к Пушкину достанет Крученых, разыщем и о Маяковском. Сейчас все разъезжаются по дачам, это затрудняет.

Каждый раз, как заходит разговор о маминых книгах или рукописях, это мне как нож в сердце. Разумеется, это укор уничтожающий и убийственный, что у меня ничего не осталось отцовского, Цветаевского, Рильковского, близкого, как жизни, и, как жизнь, растекшегося. Это все в чьих-то руках, но поди вспомни, в чьих, когда их — так неисчислимо много! Этому нет имени, и ссылки на то, как я живу, как складывалась жизнь и пр., оправдать меня не могут, а разве только послужить успокоением, что из многих видов преступности это не самый худший. Так, проезжая на антифашистский съезд, где я тебя видел, я не захотел встретиться с родителями, потому что считал, что я в ужасном виде, и их стыдился. Я твердо верил, что это еще случится с более достойными возможностями, а потом они умерли, сначала мать, а потом отец, и так мы и не повидались. Это все одного порядка, и этого много у меня в жизни, но, клянусь тебе, не от невнимания или нелюбви!!

У тебя очень хорошо о весне, о л е д о х о д е.

У меня все так же нет ничего своего, что я мог бы послать тебе. Посылаю тебе однотомник Гете нарочно без надписи, чтобы ты могла подарить его вашей библиотеке с твоею собственной, если это тебе будет интересно.

В однотомнике есть мой перевод Фауста, и не будет ничего удивительного, если он удовлетворит тебя. Сколько принесено было в жизни жертв призванию, какая создана замкнутость и пр., пора, кажется, научиться. Гораздо удивительнее совершенство остальных переводов, мелких и крупных, людей с более скромным именем, среди которых мой Фауст затерялся.

Это было для меня открытием. И переводить, как оказывается, не стоит, все научились.

Крепко целую тебя.

Как только будет возможность, переведу тебе денег.

Т в о й Б.

<Конец мая> 1950

Дорогая Аля. Вот «к Пушкину», достали только вторую половину, первую разыскивают. О Чехии пришлет Елиз. Яковлевна. Это переписал своей рукой Крученых, и я не даю переписывать на машинке, чтобы не задерживать.

Осталось о Маяковском, делают и это.

Прости меня за торопливость, послал тебе заказной бандеролью однотомник Гете, просмотри, что тебе будет интересно, и потом от себя со своей надписью подари в вашу библиотеку.

Т в о й Б.

7.6.50

Дорогой Борис! Получила твое письмо, и второе со стихами, и только сейчас осознала, до какой степени разрознено все мамино. То, что переписал Крученых, лишь незначительная часть пушкинского цикла, а не то что «первая» или «вторая». Там было не менее десяти стихотворений — я, конечно, могла бы восстановить в памяти хоть названья, если бы голова не была сейчас так заморочена и непохожа на самое себя.

Когда я думаю об огромном количестве всего написанного и потерянного нами, мне страшно делается. И еще страшнее делается, когда думаю, к а к это писалось. Целая жизнь труда, труд всей жизни. И еще многое можно было бы разыскать и восстановить, и сделать это могла бы только я, единственная оставшаяся в живых, единственный живой свидетель ее жизни и творчества, день за днем, час за часом, на протяжении огромного количества лет. Мы ведь никогда не расставались до моего отъезда, только тогда, когда я уехала, она писала без меня, и то уже совсем немного.

Я никогда не смогу сделать этого, я разлучена с ее рукописями, я лишена возможности разыскать и восстановить недостающее. Я ничего не сделала для нее живой и для мертвой не могу.

Мне очень понятно все, о чем ты говоришь. Конечно, тогда ты не мог увидеться с родителями, тогда еще казалось, что главное хорошее — впереди, тогда еще многое «казалось», а жизнь проходила, и для многих — прошла уже. Как же тяжело чем дальше, тем больше сталкиваться с невосстановимым и непоправимым.

Я ужасно устала. Такая длинная, такая темная и холодная зима, постоянное, напряженное преодоление ее, а теперь вот весна — дождь и ветер, ветер и дождь, вздыбившаяся свинцовая река, белые ночи, серые дни.

Ледоход начался 20 мая, и до сих пор по реке бегут, правда, все более и более редкие, все более и более обглоданные льдины. Пошли катера, этой или будущей ночью придет первый пароход из Красноярска. Но пока что нигде никакой зелени, по селу бродят грустные, низкорослые, покрытые клочьями зимней шерсти коровы и гложут кору с жердей немудреных наших заборов.

Одним словом, мне ужасно кюхельбекерно и скучно — надеюсь, что только до первого настоящего солнечного дня.

Пишу тебе ночью. Без лампады. Спать не хочется и жить тоже не особенно. Тем более, что живется так нелегко, так дерганно и так неуверенно! Утешаю себя мудростью Соломонова перстня, на котором было начертано, как известно из Библии и из Куприна, — «и это пройдет». Нежеланье жить пройдет так же, как желанье, да и как сама жизнь. И ты отлично понимаешь, что такая нехитрая философия навеяна вот этой самой белой ночью, вот этим самым атлантическим ветром, вот этим самым ливнем, пронзающим всю нахохлившуюся природу.

И сквозь все это архангельским гласом гудок парохода — первый гудок первого парохода. Значит, пришел «Иосиф Сталин», теплоход, чьим капитаном — наш депутат, о встрече с которым я тебе как-то писала.

Сбилась с ног окончательно со всеми своими неполадками с работой и квартирным вопросом, который здесь острее и необоснованней, чем в Москве. В каких углах, хибарах и странных жилищах я только не побывала! Но все ничего, только бы солнца! У меня без него какая-то душевная цинга развивается!

Книгу, о к-ой пишешь, еще не получила, жду с нетерпением и вряд ли отдам. Самой нужны стихи. По уши увязла в прозе.

Спасибо тебе за все, за все, мой дорогой. Как только у меня что-ниб. «утрясется», напишу тебе по-человечески, а сейчас только по-дождливому пишется.

Очень люблю тебя за все.

Твоя Аля

24 июня 1950

Дорогой Борис! Большое спасибо тебе за посланное, все получила. Благодаря тебе смогла переехать на другую квартиру, хоть и далекую от центра и от совершенства, но несравненно лучшую, чем та, в которой буквально и фигурально прозябала всю страшную зиму. Это — крохотный домик на самом берегу Енисея, комнатка и маленькая кухонька, три окошка — на юг, восток и запад. Огород в три грядки и три елочки. Домик продавался, и приятельница, с которой я живу[1], мечтала купить его, но для приобретения не хватало как раз присланной тобой суммы, а как только я ее получила, мы сразу его купили, и таким образом я, в лучших условиях никогда не имевшая недвижимого имущества, вдруг здесь, на севере, стала если не вполне домовладелицей, то хоть совладелицей. Впрочем, в недвижимости этого жилища я не вполне уверена, т. к. оно довольно близко от реки и при большом разливе, пожалуй, может превратиться в движимое имущество. Но до разлива еще целый год, и пока что я просто счастлива, что могу жить без соседей, без хозяев и тому подобных соглядатаев.

Долго не писала тебе, т. к. переезд с места на место здесь дело чрезвычайно долгое, сложное и трудоемкое. Устала я бесконечно и к тому же все время хвораю чем-то непонятным и, вероятно, северным. Температурю и сохну — видимо, климат неподходящий, никак не пускаются корни в этой бесплодной, каменистой, насквозь промерзшей почве.

22 июня вновь пошел и, к счастью, скоро прошел снег. Все время ветер и дождь, холодно. За все время было 3—4 хороших, ясных, солнечных дня, когда все кругом преобразилось, сколько красок скрывается в этой сумрачной природе, и для того, чтобы вся тоска превратилась в радость, нужно только одно: солнце! Оно не закатывается сейчас круглые сутки, но его все равно не видно. А ночи, правда, совсем нет,

[1] А. А. Шкодина.

«и изумленные народы не знают, что им предпринять, ложиться спать или вставать!»

Гете я еще не читала, т. к. все мучаюсь с водой, дровами, огородом, стиркой, приведением в порядок и отеплением жилища, да и на работе, где мне урезали наполовину мою и так небольшую ставку, в то же время забыли сократить рабочий день, т. ч. работаю не меньше, чем зимой, а зарплату в последний раз получила в апреле!

М. б., в конце концов работы у меня не так много, как мне кажется. Дело, очевидно, в силах, которых все меньше. Оттого и времени убиваешь значительно больше, чем нужно бы, на то, что раньше делалось пóходя.

Стихов от Лили еще не получила, не знаю, сумела ли она их разыскать до отъезда на дачу. Она выслала мне посылки со всяким моим старьем, но я еще не все получила, т. ч., м. б., стихи окажутся в какой-ниб. из них. Писем от Лили давно не получаю, но по талончику от извещения на посылку узнала, что она переехала на дачу. Дай ей Бог хоть немного поправиться, она ведь очень слаба, и я над ней дрожу — на таком огромном расстоянии. Разумом знаю, что мы с ней больше не увидимся, а все же надеюсь на чудо встречи.

Спасибо тебе, родной мой. Когда чуть очухаюсь, напишу тебе по-человечески. Сейчас пишу — как и все делаю в последнее время — через пень-колоду.

Целую тебя.

Твоя Аля

1 августа 1950

Дорогой Борис! Так давно не писала тебе — болела, с трудом выкарабкалась и теперь опять вроде живу, хотя ноги еще слабые и кажутся поэтому чересчур длинными, вроде верблюжьих, или как в «Алисе в стране чудес». Здесь воистину страна чудес, только несколько дней, как хоть ненадолго стало закатываться солнце, и ему на смену выползает огромная багровая луна, страшная, точно конец мира, но небо еще совсем светлое, и, кажется, луна совсем ни к чему. Коротенькое лето уже прошло, почти без тепла, все в беспокойных дождях, ветрах, в сплошной «переменной облачности». И уже с севера всерьез тянет холодом, и солнце греет как-то поверхностно, не сливаясь с воздухом, а главное, в не успевшей как следует потемнеть зелени, в ее еще по сути дела весенней, цыплячьей желтизне появляется уже настоящая осенняя ржавчина. Знаю, что скоро зима, что она неизбежна, что в сентябре уже снег и мороз, а еще не верится. Кажется, что еще долго по Енисею будут ходить пароходы, тащиться баржи, рыскать катера, что еще долго будут крякать утки и ночью посвистывать кулики, и надоедать мошки и комары, и что двери покосившихся хаток еще долго будут открыты, и побледневшие до синевы за долгую зиму дети будут розоветь и подрастать на глазах, неумело играя в летние игры на сером, каменистом берегу. А всему этому счастью остались считанные дни, и в это не верится, как в смерть.

Ты очень давно не писал мне, и хоть предупредил в последнем письме о том, что летом будешь очень занят, мне все же тревожно. Правда, я еще не совсем такая безумная, как Ася, которая вся состоит из тревог, предчувствий и вещих снов, но все же и я на этот счет слегка тронута. Когда долго нет писем — схожу с ума, а когда наконец получаю их и узнаю, что все живы и здоровы, то мне, неблагодарной, это кажется настолько естественным, что до следующего почтового перебоя свято верю в то, что все хорошо, всем хорошо, отныне и до века.

Ася пишет редко «...». От Лили за все лето не получила ни одного письма и с ужасом думаю о ее старости, о ее слабости, о сердце, которое скоро откажется служить, обо всем том, что осталось ею нерассказанным, последней старшей в семье, о родителях, ее и моих, о всей долгой жизни, которая так неотвратимо подходит к концу. Я очень, очень люблю ее, и просто так, и за необычайную ее чистоту и благородство, простоту и жизненность, и еще за чудесное несоответствие в ее лице трагических бровей и глаз с легкомысленным носом и легко смеющимся ртом.

А главное — она старшая в семье, нескольким поколениям заменявшая мать и не знавшая материнства. Почему в нашей семье у всех женщин такие удивительные судьбы? Причем каждая из нас, помимо своей — несет еще и груз остальных судеб, понимая их, вникая в них.

Я не помню, писала ли тебе о том, что мы с приятельницей, с которой ехали с самой Рязани и здесь вместе живем, купили маленький домик на берегу Енисея. Осуществить такое несбыточное мы смогли — она — благодаря домашним сбережениям, я — благодаря тебе. Домик — крохотный, комната и кухонька, сейчас своими силами пристраиваем сени, чтобы зимой было теплее. Окна — на восток, юг и запад. По материалам, из которых он построен, домик вполне диккенсовский, так что совершенно невозможно угадать, как он будет переносить зимние непогоды и прочие бури. Во-первых, его может унести ветром (это зимой), а весной — унести водой. Впрочем, все остальные туруханские постройки такие же и, ничего себе, стоят. Наш домик оштукатурен и побелен снаружи и внутри. Мы обнесли его загородкой из жердей, чтобы не лазили мальчишки и коровы, вокруг посадили березки и елочки, но принялись только три деревца. Вид — чудесный, кругом спокойно и просторно, а главное, никаких хозяев, соседей, соглядатаев. Спасибо тебе за все, дорогой мой!

Заболела я совершенно неожиданно дизентерией, видимо, от енисейской водички, которая хотя и светла и приятна на вкус, но летом пить ее не рекомендуется. Это ужасно противная болезнь, от которой так слабеешь, что каждое движение вызывает какое-то тошное, как, наверное, перед смертью, чувство. Какая тоска, когда тело перестает повиноваться, страдая и слабея, и с ним вместе страдает и слабеет душа, отказываясь от бессмертия и цепляясь за жизнь, да и так ли уж цепляясь? Но, правда, наступил и в моей жизни период, когда гляжу вперед несмело, чувствуя, что сил остается все меньше. И вдруг получится так, что жизни будет больше, чем сил? Прости, что я такой нытик, вот встану на ноги — и душа будет бодрее. А сейчас так и тянет повыть на луну.

Крепко тебя целую и жду двух-трех слов на открытке.

Твоя Аля

8.9.50

Дорогой Борис! Все никак не удается написать тебе, а вместе с тем нет ни одного дня, чтобы не думала о тебе и не говорила бы с тобой. Но занятость и усталость такие, что всем этим мыслям и разговорам так и не удается добраться до бумаги. Большое, хоть и ужасно запоздалое, тебе спасибо за твоего «Фауста». Для меня он — откровение, т. к. до этого читала (уже давно) в старых переводах, русских и французских, где за всеми словесными нагромождениями Гете совершенно пропадал, вместе с читателем. Я, любя твое, очень к тебе придирчива, но тут о придирках не может быть и речи — безупречно.

Вообще — прекрасен язык твоих переводов, шекспировские я все читала, ты, как никто, умеешь, помимо остального, передавать эпоху, не вдаваясь в архаичность, что ли, благодаря этому читающий чувствует себя современником героев, их язык — его язык. Необычайное у тебя богатство словаря. «Фауста» прочла сперва начерно, сейчас перечитываю медленно и с наслаждением, по-настоящему наслаждаюсь каждым словом и словечком, рифмами, ритмами и тем, что все это — живое, крепкое, сильное, настоящее.

Милый мой Борис, жестоко ошибаются те, кто не чувствует в твоем творчестве жизнеутверждающего начала. Тебе, конечно, от этого не легче! Не тот критик плох, который писать не умеет, — а тот, который не умеет читать!

Как всегда, пишу тебе поздно, как всегда, усталая, и поэтому, опять-таки как всегда, не в состоянии рассказать тебе все, что хочется, и так, как хотелось бы. Здешний быт пожирает все время без остатка, и в первую очередь то, что дается человеку для того, чтобы быть самим собою. А я — я тогда, когда пишу, иногда, когда рисую, иногда, когда читаю. Читать удается чуть-чуть за счет сна, а насчет писаний и рисования — ничего не получается, как ни пытаюсь отстоять хотя бы один час своего собственного времени в сутки.

Но в жизни остается много радостного. В этом году здесь чудная осень, холодная и ясная, я несколько раз ходила в лес за грибами, за ягодами и чувствовала себя просто счастливой среди золотых осин, золотых берез, счастливой, как в детстве, которое в памяти моей связано тоже с лесом. Как я люблю шелест листьев под ногами и пружинящий мох — мне всегда кажется, что мама близко. Верующие служат панихиды по умершим, а я в память мамы хожу в лес, и там, живая среди живых деревьев, думаю о ней, живой, даже не «думаю», а как-то сердцем, всей собою, близко к ней.

Благодаря тебе с жильем все у меня налажено и улажено, славный маленький домик на берегу Енисея, комната и кухня, живем вдвоем с приятельницей, и с нами собака. Пристроили сени, все оштукатурили снаружи и внутри, все — сами, и теперь все побелила, и известка так съела пальцы, что перо держу раскорякой, особенно большой и указательный пальцы пострадали. Все лето провозилась с глиной, навозом и пр. стройматериалами. Трудно, т. к. обе работаем, но зато надеемся, что зимой теплее будет, чем в прежней хибарке. И главное — ни хозяев, ни соседей, так хорошо! Осталось осуществить еще очень трудное — запасти топливо и картошку на зиму, особенно трудно с дровами, их надо очень много, а пока еще нет ни полена. Вот-вот начнутся дожди, а тогда к лесу не подступишься. Трудно здесь с транспортом.

Все домашнее делаю сама, готовлю, стираю, мою полы, таскаю воду, пилю, колю, топлю. Как вспомню о газе и центральном отоплении — завидно становится: сколько же свободного времени дают они людям! Боюсь, что в Туруханске такие вещи заведутся в самую последнюю очередь — когда правнукам, хоть не лично моим, а моих односельчан, надоест жить по старинке.

Скоро, очень скоро зима. Уже холод и тьма берут нас в окружение. Как-то удастся перезимовать! Скоро полетят отсюда гуси-лебеди, скоро пройдут последние пароходы — да что гуси-лебеди! Даже вороны улетают, не переносят климата!

Когда будет минутка, напиши хоть открытку, я очень давно ничего о тебе не знаю. Даже Лиля, и та чаще пишет. Жалуется она на дождливое лето. Надеюсь, дождь не помешал тебе хорошо работать и, работая, хоть немного отдохнуть от города. А я бы уже с удовольствием отдохнула от деревни.

На днях впала в детство — затаив дыхание смотрела «Монте-Кристо» в кино. Только, к сожалению, не дублировано, почему-то все говорили по-французски.

Крепко тебя целую.

Твоя Аля

21 сент. 1950

Дорогая Аля! Прости, что давно не пишу тебе, и не тревожься. Как здоровье твое? Боюсь об этом и думать, бедная ты моя.

Позволь не рапортовать тебе, откуда мое молчание, какие у меня бывают огорчения и отчего мне надо и нравится так нечеловечески гнать работы, свои собственные и переводные.

Писал ли я тебе, что за один июнь месяц перевел и сдал в отделанном и переписанном виде Шексп. «Макбета»? И все в таком темпе.

Была тревога, когда в «Нов. мире» выругали моего «Фауста» на том основании, что будто бы боги, ангелы, ведьмы, духи, безумье бедной девочки Гретхен и все «иррациональное» передано слишком хорошо, а передовые идеи Гете (какие?) оставлены в тени и без внимания. А у меня договор на вторую часть! Я не знал, чем это кончится. По счастью, видимо, статья на делах не отразится.

Прости, и толкового письма жди от меня не скоро. На пристройку к енисейскому домику хочу послать тебе, но смогу не раньше ноября.

Бросаю писать, потому что ничего путного все равно не смогу сказать: не вижу подходящих эпистолярных форм.

Мне написала со своей дачи Елиз. Яковл., в письме тревожится о тебе и хвалит твою акварель с видом Енисея. «...»

Целую тебя.

Т в о й Б.

25 сентября 1950

Дорогой Борис! От тебя так давно нет ни слова, что я по-настоящему встревожена: здоров ли ты? Если здоров и даже если болен, то по получении этого письма напиши мне открытку, для успокоения, пойми, насколько это выматывает силы — постоянно тревожиться о нескольких последних близких, оставшихся в живых. В самом деле — каждая весточка с «материка» прибавляет бодрости, они — последнее горючее для моего мотора («а вместо сердца пламенный мотор!»), каковой в это лето работает с большими перебоями.

А лето для здешних мест было хорошее, много дней подряд стояла ясная погода, и благодаря этому все тайное в природе становилось явным, и было очень красиво. Только схватывать эту красоту удавалось урывками из-за постоянной, непрерывной занятости. «Мелочи жизни» заели окончательно и меня, и жизнь мою. В постоянном барахтанье, суете, борьбе за хлеб насущный я еще никогда не жила, хоть и приходилось по-всякому. Но всегда, при любых обстоятельствах, удавалось урывать хоть сколько-то времени «для души». Здесь — невозможно, и поэтому я всегда неспокойна, все мои доотказу заполненные дни кажутся безнадежно пустыми, обвиняю себя в лени, а на самом деле это совсем не так. Ты представляешь себе, какой ужас — трудовой день, результатом которого является только сытость и только сон! Все спавшее во мне ранее до того дня, когда можно будет проснуться, теперь определенно проснулось и бодрствует вхолостую, с полным сознанием безвозвратности каждого проходящего часа, дня, месяца. А их прошло уже немало. Жить же иначе здесь невозможно, либо в живых не останешься, либо нужно выигрывать самую крупную сумму при каждом тираже каждого займа и жить чужим трудом, что всегда нестерпимо, — даже мама, которая вполне имела на это право, всегда старалась все делать сама — как я ее понимаю!

Но все же надеюсь, что дальше будет легче, м. б., даже зимой будет оставаться свободное время на что-то свое, т. к. лето — сплошная подготовка к зиме, и таким образом теоретически зимой должно быть свободнее и спокойнее. Но как только вспомнишь, что зима тоже является подготовкой к лету, так и чувствуешь, что до конца дней своих так и будешь кружиться, сперва как белка в колесе, потом — как слепая лошадь, только не помню, где, в чем кружатся слепые лошади, но знаю, что кружатся! Между прочим, кстати о белке, у меня была белка, сразу в клетке и в колесе, т. е. белка в квадрате. Я была маленькая, беличья клетка стояла на окне в моей детской, белка была рыжая с белой грудкой, и смотреть на то, как она крутится в колесе, было совсем неинтересно.

За лето мы с приятельницей, с которой живем вместе, утеплили и оштукатурили домик, в котором живем, сами пристроили к нему сени, которые также оштукатурили, — а это только написать легко! Строительный материал добыть было очень и очень нелегко, т. к. частным лицам такие вещи не продаются, но в конце концов, притворившись организацией, кое-как купили необходимое количество горбылей, которые по одному нужно было притащить на себе. Потом всеми правдами и неправдами искали и находили гвозди. Потом заказали дверь, которую нам сделали сначала слишком узкой, потом слишком короткой, но потом она как-то разбухла, села, одним словом, как-то исковеркалась и стала такой, как нужно.

Потом мучились со всякими замками, крючками, рамами, стеклами, планками, дранками и т. д.

Таскали из леса мох, из оврагов глину, собирали, делая вид, что это не мы, конский и коровий навоз для штукатурки и затирки, «то соломку тащит в ножках, то пушок в носу несет». Все это — до и после работы, и плюс к этому — готовка, стирка, мытье полов и прочие мелкие домашние дела. И все на — себе, и картошка, и дрова, и вода, — все нужно таскать. И все нужно рассчитывать и страшно экономить. И несмотря на то, что все делается своими руками, обходится это «все» очень дорого. Сейчас я больше всего хотела бы жить в гостинице, желательно в Москве, ходить в музеи, в гости и просто по улицам. Я даже во сне всегда вижу город, города, в которых не бывала, но во сне узнаю, а сельская местность, слава Богу, достаточно надоедает наяву, чтобы еще сниться.

Но в конце концов получился у нас славный маленький домик, белый снаружи и внутри, чистенький и даже уютный, когда прихожу с работы, всегда радуюсь тому, что угол свой, никаких соседей и хозяев, тихо, и кругом — просторный берег, и во все три окошка видна большая, пока еще сравнительно спокойная река.

Были в лесу несколько раз, собрали довольно много грибов, насолили, намариновали, насушили. Варенья сварили три банки, можно было бы хоть три ведра, ягод достаточно, но сахар дорог. Ягоды здесь — черника, голубика, есть где-то брусника и морошка, но мест мы не знаем, а слишком углубляться в тайгу боимся, каждое лето кто-ниб. пропадает, в этом году, например, заблудилась теща начальника милиции, ее искали и пешком, и самолетами, и так и не нашли.

Домик наш — самый крайний на берегу, под крутым обрывом. Слева есть соседи метров за 300, живут в землянке, справа — никого. Однажды ночью было очень страшно, нас разбудил отчаянный стук, сопровождавшийся отчаянным же матом. Мы не открывали — стук продолжался, потом ночной гость стал ломать дверь, сорвал крючок и ввалился в сени. Я, собрав остатки храбрости, заперла приятельницу в комнате, а сама вышла в сени. Нашла там вдребезги пьяного лейтенанта в мыльной пене и в сметане — когда он ворвался в сени, на него свалилась банка кислого молока, а сам он попал в ведро с мыльной пеной, оставшейся от стирки. На мои негодующие вопросы он ответил, что, по его мнению, он находится в горах на границе, где каждый житель рад приютить и обогреть озябшего пограничника. Я сказала, что кое-какие границы он, несомненно, перешел, и предложила ему отвести его в такой дом, где его приютят, обогреют и примут с распростертыми объятьями. Сперва лейтенант слегка упирался, считая наиболее подходящим местом для отдыха с обогревом именно наш дом, но потом сдался, я взяла его под руку и с трудом дотащила до... милиции, где сдала очень удивленному именно моим (у меня скорбная репутация женщины порядочной и одинокой!) появлением дежурному. И правда, одета я была легкомысленно — тапочки на босу ногу, юбка и телогрейка, распахнутая на минимуме белья. И под руку со мной мыльно-сметанный лейтенант. Но такие случаи здесь очень редки, так что, надеюсь, этот лейтенант был первым и последним.

Сейчас мучаюсь с дровами — на зиму нужно 20—25 куб., а у нас — только 5. Купили 5 кулей картошки.

Немножко очухиваюсь только в постели, когда, зажегши лампу, в полнейшей тишине перечитываю самые чудесные места твоего «Фауста» и еще кое-какие переводы. Ты прав — общий уровень переводов этого сборника высок, и Гете освобожден от тяжеловесности переводов прошлого, а также от чужих вариаций на его тему. Какое счастье, что я совершенно лишена чувства зависти и ревности и совсем беспристрастно сознаю, насколько я отстала от всяких хороших дел, в частности, и от стихотворных переводов. До того заржавела, что сейчас ничего путного не смогла бы сделать, обеднел до ужаса мой словарь. Тем более радуюсь именно богатству словаря этих стихотворных переводов.

Моей приятельнице случайно прислали среди всяких старепьких носильных вещей маленький томик с золотым обрезом — Виньи «Стекло», по-французски. Вещь написана в 1823 г., а не перечитывала я ее уже больше двадцати лет. И сейчас перечла как бы заново, вспомнила маму, очень любившую эту книгу, рассказывающую о судьбах трех поэтов разных эпох, — Жильбера, Четтертона и Шенье. Помнишь ли ты ее? Давно ли читал? Меня немного раздражал разнобой между темой и языком — язык какой-то чересчур «барокко» и весь в жестах, если можно так сказать. Но как страшно было быть н а с т о я щ и м поэтом в те далекие времена! И о своих современниках, и о своих предшественниках Виньи, пожалуй, справедливо говорит, что «Le Poète a une malédiction sur sa vie

et une bénédiction sur son nom»[1], но зато немало и дикого говорит с нашей сегодняшней точки зрения.

Итак, очень буду ждать хотя бы открыточки. Ты пойми, уже треугольники гусей улетают на юг, и такая неумолимая зима впереди, а тут еще и писем нет.

Крепко тебя целую.

Твоя Аля

Ты знаешь, сегодня день рожденья папы и мамы.

30 сент. 1950

Дорогая моя Аля! Я получил от тебя письмо, полное души и ума, про лес, про твою маму, про мои переводы. Я всегда кому-нибудь показываю твои письма, хвастаю ими, так они хороши.

Но зато я тебе пишу в последнее время пустые, бездушные, торопливые записки, лишенные содержания, просто, чтобы ты не думала, что я забыл тебя, и не беспокоилась.

Отчего, кроме недостатка времени, я стал в последнее время так тих и односложен, этого не объяснишь «...»[2] неумелое выражение моей сущности, отнюдь не мрачной, а ясной и радостной, наводит на них тень и заражает превратно понятыми настроениями, что людям, которым и без того трудно, вредно слушать меня.

Может быть, это приступ мнительности, но вот именно я стал сдерживаться, чтобы как-нибудь не огорчить тебя большими посланиями. Прости меня.

Наверно, перед тем, как ты написала мне о Фаусте, тебе попался ругательный отзыв о переводе в «Новом мире». Не тревожься. Все это пустяки...

7 октября 1950

Дорогой Борис! Как я обрадовалась, увидев наконец твой почерк на конверте! В самом деле, твое такое долгое молчание все время грызло и глодало меня исподволь, я очень тревожилась, сама не знаю, почему. Наверное, потому, что вся сумма тревоги, отпущенная мне по небесной смете при моем рождении на всех моих близких, родных и знакомых, расходуется мною теперь на 2—3 человека. Тревог больше, чем людей. Я не жду от тебя никаких «обстоятельных» писем, во-первых, потому, что не избалована тобой на этот счет, а во-вторых, знаю и понимаю, насколько ты занят. Но я считаю, что две немногословных открытки в месяц не повредили бы ни Гете, ни Шекспиру, а мне определенно были бы на пользу, я бы знала основное—что ты жив и здоров, а об остальном при моей великолепной тройной интуиции (врожденной, наследственной и благоприобретенной) — догадывалась бы.

У нас с 28 сентября зима вовсю, началась она в этом году на 10 дней позже, чем в прошлом, когда снег выпал как раз в день моего рождения. Уже валенки, платки и все на свете, вся зимняя косолапость. Все побелело, помертвело, затихло, но пароходы еще ходят, сегодня пришел предпоследний в этом году. Две нестерпимых вещи—когда гуси улетают и последний пароход уходит. Гусей уже пережила—летят треугольником, как фронтовое письмо, перекликаются скрипучими, тревожными голосами, душу выматывающими. А какое это чудесное выражение—«душу выматывать», ведь так оно и есть — летят гуси, и последний тянет в клюве ниточку из того клубка, что у меня в груди. О, нить Ариадны! В лесу сразу тихо и просторно—сколько же места занимает листва! Листва—это поэзия, литература, а сегодняшний лес—голые факты. Правда, деревья стоят голые, как факты, и чувствуешь себя там как-то неловко, как ребенок, попавший в заросли розог. Ходила на днях за вениками, наломала—и скорей домой, жутко как-то. И белизна кругом ослепительная. Природа сделала белую страницу из своего прошлого, чтобы весной начать совершенно новую биографию. Ей можно. А главное, когда шла в лес, то навстречу мне попался человек, про которого я точно знала, что он умер в прошлом году, прошел мимо и поздоровался. Я до сих пор так и не поняла, он ли это был или кто-то похожий, если он, значит, живой, если нет—то похожий и тоже живой.

Здоровье ничего, только сердцу тяжело. Это такой климат — еще севернее — еще тяжелее. На пригорок поднимаешься, точно на какой-ниб. пик, а ведро воды, кажется, весит вдвое больше положенного — вернее, налитого. Лиля прислала мне какое-то чудодейственное сердечное лекарство, от которого пахнет камфарой и нафталином и еще чем-то против моли. Я не умею отсчитывать капли и поэтому глотаю, как придется, веря, что помогает, если не само средство, так то чувство, с которым Лиля посылала его. А вообще живется не совсем блестяще, т. к. моя приятельница, с которой я живу вместе, больше не работает, и мы неожиданно остались с моей половинной ставкой pour tout moyen d'existence[1], т. е. 225 р. в месяц на двоих, с работой же очень трудно, т. к. на физическую мы обе почти не способны, а об «умственной» и мечтать не приходится. Как ни тяжелы мои условия работы, как ни непрочна сама работа, я буквально каждый день и час сознаю, насколько счастлива, что есть хоть это. Кроме того, я очень люблю всякие наши праздники и даты, и вся моя жизнь здесь состоит из постоянной подготовки к ним.

Хорошо, что пока мы обе работали, успели подготовить наше жилье к зиме, обзавестись всем самым необходимым—у нас есть два топчана, три табуретки, два стола (из которых один мой собственный, рабочий), есть посуда, ведра и т. д. Есть 5 мешков картошки, полбочки капусты насолили (здесь у нас не растет, привезли откуда-то), кроме того, насолили и намариновали грибов, и насушили тоже, и сварили 2 банки варенья, так что есть чем зиму начать. Только вот с дровами плохо, смогли запасти совсем немного, а нужно около 20 кубометров. Тебе, наверное, ужасно нудно читать всю эту хозяйственную ахинею, но я никак не могу удержаться, чтобы не написать, это вроде болезни—так некоторые всем досаждают какой-ниб. блуждающей почкой или язвой, думая, что другим безумно интересно.

Статьи о «Фаусте» я не читала, а только какой-то отклик на нее в «Литературной газете», писала тебе об этом.

Дорогой Борис, если бы ты только знал, как мне хочется домой, как мне ужасно тоскливо бывает — выйдешь наружу, тишина, как будто бы уши ватой заткнуты, и такая даль от всех и от всего! Возможно, полюбила бы я и эту даль, м. б., и сама выбрала бы ее — сама! Когда отсюда уходит солнце, я делаюсь совсем малодушной. Наверное, просто боюсь темноты!

Крепко тебя целую, пиши открытки, очень буду ждать. Если за лето написал что-ниб. свое, пришли, пожалуйста, каждая твоя строчка—радость.

Твоя Аля

Недавно удалось достать «Госпожу Бовари»—я очень люблю ее, а ты? Замечательная вещь, не хуже «Анны Карениной». А «Саламбо» напоминает музей восковых фигур—несмотря на все страсти. Да, ты знаешь, есть еще один Пастернак, поэт, кажется литовский или еще какой-то, читала его стихи в Литер. газете.

10 октября 1950

Дорогой Борис! Сегодня получила твое второе, почти вслед за первым, письмо, и хочется сейчас же откликнуться, хоть немного, сколько позволит время, вернее—отсутствие его. Твое письмо очень тронуло и согрело меня, больше—зарядило какой-то внутренней энергией, все реже и реже посещающей меня. Спасибо тебе за него. Нет, я не читала отзыва в «Новом мире», а только отзыв на отзыв в «Литературной газете».

[1] «Над жизнью поэта тяготеет проклятье, но имя его благословенно» (фр.).

[2] Половина листка оторвана и сожжена А. Эфрон, по ее словам, тогда же, в 1950 г., или позже, в 1953 г.

[1] В качестве единственного источника существования (фр.).

Я и этим слабым отголоском той статьи была очень огорчена, не потому, что «выругали» то, что мне нравится, а оттого, что у критика создалось впечатление, по моему мнению, настолько же ложное, насколько «научно обоснованное», я не поверила в ее, критика и критики, искренность, что меня и огорчило главным образом. В твоем «Фаусте» преобладает свет и ясность, несмотря на все чертовщины, и столько жизни, и жизненности, даже здравого смысла, что все загробное и потустороннее тускнеет при соприкосновении, даже, несмотря на перевод, чуть отдает бутафорией. (Занятная это, между прочим, вещь — этот самый гетевский здравый смысл, в конце концов, всюду и везде, преодолевающий стиль, дух времени, моду, фантазию, размах. Что-то в нем есть страшно terre-à-terre[1], и его «бог деталей» с деталями вместе взятый — очень хозяйственный дядя, все детали ладно пригнаны и добротны, а остальное — украшение, позолота. Так чувствуется, что именно в «Германе и Доротее» он у себя дома, да и в «Страданиях молодого Вертера», там, где еще только дети и бутерброды, и самоубийством еще не пахнет. И фаустовские чертовщины, если разобраться, и не подземны, и не надземны, и сами духи в свободное от служебных дел время питаются здоровой немецкой пищей. Между прочим, не люблю я Маргариту его, она слабее всех остальных.) Да, так вот, весь этот гетевский здравый смысл, жизненность его, грубоватый реализм даже в нереальном я впервые узнала именно из твоего перевода (а читала их до этого немало, все были малокровными и многословными), из чего совершенно справедливо заключаю, что именно тебе удалось донести до читателя «передовые идеи» Гете и что критик из «Нового мира» плохо вчитался и еще хуже того написал.

Ты, конечно, ужасно неправ, говоря о том, что «не приносишь счастья своим друзьям» и т. д. И, конечно, это просто мнительность (сверх!) и сверхделикатность по отношению к друзьям. Ты и в горе остаешься светлым и добрым, именно это в твоих письмах (и в тебе самом!) дает ту зарядку, когда читаешь их, о которой говорила выше. Трудно это все выразить, определить, мысли мои, от недостатка общения с людьми, от невозможности писать, ужасно расплывчаты и, как чувства, плохо поддаются описанию. Но мне думается так — пройдет время, и внуки теперешних критиков будут писать об оптимистичности твоего творчества, им легко будет доказать ее, это будет бесспорным, как бесспорна сейчас возникшая из раскопок Древняя Греция. Утешительно ли это, когда живешь и дышишь именно сегодня, — не знаю, но знаю, что это удел избранных, бесспорный и вечный, как звездное небо. Почему я так тянусь к тебе, так глубоко радуюсь твоим письмам, так чувствую себя самой собой, когда думаю о тебе и пишу тебе? Не только потому, что ты — старый друг, что твое имя навсегда связано у меня с маминым, что я люблю тебя за них и сама — и еще и оттого, что я, ничего не создавшая, зрячая и слышащая, но немая, ничего никогда не сотворившая, тянусь к тебе, как к творцу, тянусь к твоему земному (единственному, в которое верю, наиблагороднейшему, ибо — дело рук человеческих) — бессмертию. Очень я люблю и уважаю тебя и за то, что ты не зарыл свой талант в землю, и за то, что ты не сделал ему мичуринской прививки, и вообще за все на свете. Прости меня за мою проклятую бессвязность и за всю бестолковость, с которой я пытаюсь высказать то, что так стройно складывается в голове! И не думай, что, как ты написал мне однажды, я пытаюсь «завязать роман на расстоянии» (написал-то ты не так, но смысл был приблизительно таков). Нет, это все вне всяких романов, как окружающая меня сейчас северная ночь, как волочащий льдины на своем стальном хребте Енисей, как тисками охватившее холодную землю небо, пронзенное звездами.

А все-таки трудно живется, честное слово. Жизнь как-то изнашивается, понимаешь, не столько я сама, как именно моя жизнь, так должно быть или перед смертью, или накануне какой-то другой жизни. Мне просто снится иногда, что я вновь в Москве, и никакой иной жизни мне не хотелось бы. Это — единственный город, к которому привязано мое сердце, остальные в памяти, пусть я к ним несправедлива, — как альбомы с открытками. От Москвы начинается мое чувство родины, и, описав огромный круг по всему Советскому Союзу, возвращается к ней же. Так у меня было и с мамой, жизнь моя началась любовью к ней, тем и кончится — от чувства детского, наполовину праздничного, наполовину зависимого (от нее же) до чувства сознательного, почти что, после всего пережитого, на равных правах (с нею же).

[1] Прозаичное (фр.).

Сегодня вечером пришел последний пароход — по темной реке, по которой идет «шуга», — легкий светлый ледок, из которого через несколько дней сольется, спаяется зимний панцирь, противного цвета свежемороженой рыбы. Славный нарядный пароходик, похожий на те, что ходят по Москва-реке, шел, расталкивая льдины, везя последних пассажиров, последние грузы — до следующей весны. Коротенький промежуток от зимы до зимы, небольшой скачок времени со льдины на льдину, неужели же так оно и будет до конца дней!

Скоро начинается серия зимних праздников, я ужасно много работаю, устала сверх всякой меры, зарабатываю обидные гроши, и, несмотря на это последнее обстоятельство, держу дома двух щенков с их мамашей и кота. Кот никаких мышей не ловит, щенки спят в ящике с песком и гадят везде кроме, что вносит некоторое разнообразие в мое весьма монотонное существование. У нас 1 ч. ночи, у вас — только 9 ч. вечера.

Целую тебя.

Твоя Аля

Если возможно, пришли что-ниб. новое твое, давно ничего не присылал!

5 дек. 1950

Аля родная, прости, что я так редко и мало пишу тебе, настолько реже и меньше, чем хотел бы, что кажется, будто не пишу совсем. Не сочти это за равнодушие или невнимание.

В конце лета я полтора-два месяца писал свое, продолжение прозы, а теперь по некоторым соображениям решил двинуть вперед перевод второй части Фауста. Это нечто вроде твоих лозунгов, подвигается медленнее, чем у меня в обычае, непреодолимо громоздкая смесь зачаточной и оттертой на второй план гениальности с прорвавшейся наружу и торжествующей Вампукой. Вообще говоря, это труд решительно никому не нужный, но так как нужно делать что-нибудь ненужное, лучше буду делать это.

Алечка, все это я написал для того, чтобы записать чем-нибудь эти полстраницы. То, что я хочу сказать тебе, выразимо в нескольких строках. Жизнь, передвижения, теснота квартир научили меня не загромождать жилья, шкапов и ящиков стола книгами, бумагой, черновиками, фотографиями, перепиской. Я уничтожаю, выбрасываю или отдаю все это, ограничивая рукописную часть текущей работой, пока она в ходу, а библиотеку самым дорогим и пережитым или небывалым (но ведь и это, к счастью, растаскивают). Когда меня не станет, от меня останутся только твои письма, и все решат, что, кроме тебя, я ни с кем не был знаком.

Ты опять поразительно описала и свою жизнь, и северную глушь, и морозы, и было бы чистой болтовней и празднословием, если бы я упомянул об этом только ради похвал. Вот практический вывод. Человек, который так видит, так думает и так говорит, может совершенно положиться на себя во всех обстоятельствах жизни. Как бы она ни складывалась, как бы ни томила и даже ни пугала временами, он вправе с легким сердцем вести свою, с детства начатую, понятную и полюбившуюся линию, прислушиваясь только к себе и себе доверяя.

Радуйся, Аля, что ты такая. Что твои злоключения перед этим богатством!

Крепко тебя целую.

Твой Б.

5 марта 1951

Дорогой Борис! Очень обрадована твоим письмом, приободрена и внутренне собрана им, правда! Во всех твоих письмах, даже самых наспех написанных, даже самых гриппозных, столько жизнеутверждающего

начала, столько неведомого душевного витамина, что они действуют на меня вроде аккумуляторов, я ими заряжаюсь — и дальше живу.

Не знаю почему, но эта зима дается мне труднее предыдущей, хотя живется несравненно легче — домик теплый и «свой собственный», значит — по-своему уютный, не лишенный андерсеновской и диккенсовской прелести, которая еще более заметна благодаря контрасту с окружающей природой, ее размаху, суровости и титаническому однообразию ее проявлений. Снег, ветер, мороз, пурга, и опять сначала. И вот меня ужасно утомляет это постоянное единоборство со стихиями, или бушующими, или замирающими в почти нестерпимых морозах до нового неприятного пробуждения. Я просто физически устаю от продолжительности этой зимы, от ее ослиного упрямства, от ее непреоборимого равнодушия. С одной стороны, я уже настолько привыкла к ней, что дикая ее красота перестает на меня действовать, а с другой — настолько не отвыкла от всего остального, что не могу не чувствовать ее безобразия.

Одним словом, как говорят французы, шутки хороши только короткие, также и зимы.

Но вдруг температура поднялась до —15°—20°, и всем нам кажется — весна! Мы расстегиваем воротники, дышим полной грудью, оживаем, щурясь от солнца, озираем свои владения — голубовато-серые обветренные деревянные домики под белыми лохматыми ушанками крыш, твердо утоптанные дороги, дорожки и тропинки, полоску тайги, отделяющую небо от земли, кручи и скаты енисейских берегов, и, господи, до чего же все хорошо и красиво! А потом опять задувает отвратительный северный ветер и начисто сбривает все наше благодушие...

Март же здесь такой, что даже кошки его не считают своим месяцем — никаких прогулок по крышам, сидят на печках, а то и внутри, жмутся к теплу и ни о чем таком не думают.

Но вот звезды здесь поразительные. Вчера возвращалась поздно с работы домой, было сравнительно тепло и очень тихо, чудная звездная ночь поглотила меня, растворила меня в себе, выключила из меня все, кроме способности воспринимать, ощущать ее. Я, казалось, спокойно вошла в великое движение светил, и вселенная мне стала понятной и своей изнутри, а не снаружи, не как, скажем, человеческий организм хирургу, а как весь организм какой-нибудь части его, понимаешь? И тьмы не стало, не то что появился свет, нет, просто тьма оказалась состоящей из неисчислимого количества световых точек, т. е. «тьма» светил, количество их и давало иллюзию темноты земному моему зрению.

Нет, это, конечно, все не то и не так. Рассказывать о звездах дано только музыке и очень немногим поэтам. Да и что говорить о них — они о себе лучше скажут!

Нет, все же это было чудесно, эта ночь, эти звезды и доносящийся с земли мирный и мерный звук движка, дающего электроэнергию соседнему колхозу!

Кончаю, страшно перечесть, а поэтому не буду. Крепко тебя целую, желаю тебе сил — физических, духовных, творческих, а остальное — приложится! Пиши!

Твоя Аля

О деньгах не беспокойся, во-первых, ты мне ничего не обещал, во-вторых, когда бывает очень трудно, я сама прошу, а не прошу — значит, не трудно. Целую.

4 апреля 1951

Дорогой мой Борис! Только что получила твое письмо и только что отправила свое тебе — т. е. сперва отправила, а потом получила. Спасибо тебе за все доброе, что ты пишешь обо мне и для меня! — Но я — не писательница. Не писательница потому, что не пишу, а не пишу, потому что могу не писать, иначе я подчиняла бы все на свете писанию, а не подчинялась бы сама всему на свете — всяким большим и малым обязанностям. Это во-первых. Во-вторых, я не писательница потому, что никогда не чувствую конца и начала вещи, которую, скажем, хотела бы написать. Никогда не смогла бы, как Чехов, что-то и кого-то выхватить и бросить на полпути, придав этому видимость законченности. Так и барахталась бы в истоках, устьях, потомках и предках, и получилось бы ужасно. Это у меня какая-то ненормальность, которую я сознаю, но отделаться не могу, так у меня и в жизни. Например — знаю, что мама умерла, знаю, как и когда, а чувства к о н ц а ее нет, и это без всякой мистики, без всякой «загробности» — смерть не всегда и не для всякого значит — конец. И то, что она родилась тогда-то, еще не обозначает для меня начала ее судьбы, уже предопределенной, скажем, встречей ее родителей, таких трагически несхожих, и т. д., понимаешь? Впрочем, я опять говорю что-то не по существу, а около.

Я люблю Чехова. И знаю, что не права, втайне притом думая, вернее, чувствуя, что писать рассказы — это то же, что любить кошек и собак за неимением детей.

В-третьих, я не писательница потому, что дико требовательна к себе, до такой степени, что с первых же строк перестаю понимать, «что такое хорошо, что такое плохо», и в поисках лучшего дохожу до белиберды самой очевидной, в чем неоднократно убеждалась, набредая на какую-ниб. старую тетрадь с какими-ниб. попытками чего-то.

Не писательница я еще и потому, что, не пройдя необходимого каждому творящему пути — от творчества слабого и подвластного кому-то к творчеству сильному и своему собственному, я не могу позволить себе сейчас, в свои 37 необыкновенных лет, писать слабо, а быть самой собой творчески — не могу, ибо своего собственного (творческого) лица нет. Виденное, слышанное, прожитое, пережитое, воспринятое, понятое еще не дают в руки способов выражения, да и слава Богу, а то писатели поглотили бы читателей!

И еще много есть причин, по которым я не писательница, несмотря на то «яркое и смелое», что, как ты говоришь, иногда оказывается в моих письмах. Слишком мало яркого и еще меньше смелого и во мне самой, и в любых моих проявлениях, — это не скромность и не эпистолярное кокетство, а правда. Жизнь моя так пошла, и слишком рано, чтобы во мне могло образоваться настоящее смелое и яркое ядро, что-то, на что я могла бы опираться в себе самой. («Пошла» от «идти», а не от «пошлость», хоть от нее господь миловал!)

Мне очень жаль, что ты не смог ничего написать о себе из того, что я не знаю и не угадываю. А знаю я тебя очень хорошо. О тебе — мало. Был ли в поликлинике насчет шеи, что тебе сказали, как лечат, помогает ли? У меня, кстати, эти дни она тоже болела ужасно, ни с того ни с сего, или это твоя боль передалась мне на расстоянии, или это родство шей и их нагрузок, не знаю, во всяком случае, у меня уже прошло, само собой.

Ты знаешь, у меня ничего не получается с душевной ясностью и спокойствием — когда плохая погода и небо низко. Не выношу ни морально, ни физически. Оживаю и успокаиваюсь, когда солнце, а оно тут так редко, хотя день все удлиняется. Как при солнце все осмысленно, прочно, ясно и красиво! И какая без него на земле и на душе тошная, серая кутерьма!

У нас уже несколько дней оттепель, на центральной улице чудесное оживление — мальчишки на коньках, привязанных к валенкам веревочками и прикрученных огрызками карандашей, девушки в стандартных ботах, с прическами second Empire[1], лайки в зимних грязных шубах, хребтастые коровы в географических пятнах, одним словом — кого-кого только нет! И над всей этой весенней мешаниной плывут, не приземляясь, торжественные звуки Бетховена (трансляция из Москвы). Хорошо!

Я сейчас достала и перечитываю «Детство и отрочество» Толстого. В последний раз читала (вернее, в первый!) чуть ли не 30 лет тому назад и все отлично помню, и книгу, и свое восприятие ее. Сейчас, конечно, читается иначе и, знаешь, хуже читается, потому что все время останавливаешься перед тем, к а к написано, а тогда никакого ка́к не было, одно только что́, т. е. полное слияние содержания с формой. У меня и музыка сейчас так же расслаивается на замысел и исполнение автора, на восприятие и осуществление исполнителя, а когда оркестр — то слежу и за авто-

[1] «вторая Империя» (фр.).

ром, и за каждым инструментом. А раньше была только «музыка» вообще.

Как хорошо читается в детстве и в юности! И как все принимается всерьез! Только сейчас, перечитывая «Детство и отрочество», я поняла, что и Толстой писал об этой поре своей жизни с доброй и немного иронической усмешкой, без которой невозможна книга о детстве.

Дорогой Борис, тебя раздражают неизбежные мои оговорки в конце каждого моего письма, что, мол, прости, все так сумбурно и нелепо, а иначе не выходит, потому что я очень устала и не могу собраться с мыслями. Но и на этот раз я так же и тем же закончу, потому что это правда истинная. Мне никогда не удается вложить в письмо и сотой доли того, что хотелось бы, пишу не так, не то и не о том, потому что в голове шумит и в ушах звон — я стала так легко утомляться от работы, вовсе не трудной физически, и от этого рассеиваюсь и размагничиваюсь. Я бесконечно благодарна тебе за твои письма, ты мне дорог давно и навсегда, наравне с мамой и Сережей, но чувство мое к тебе без личной горечи, а перед ними я непоправимо виновата во многом. Дети — всегда плохие, и наказание их в том, что сознают они это всегда слишком поздно.

Спасибо тебе за все. Целую тебя.

Твоя Аля

Напиши о своих. Как твой сын? Я была у тебя, и ты был один, и мне трудно представить себе твою семью. Сколько лет сыну? Он родился, наверное, году в 35—36 или даже в 1937-м. Единственный мой ориентир это то, что ты мне как-то, давным-давно, накануне моего отъезда из Москвы, говорил о своих беседах с трехлетним (кажется) сыном, да ты, наверное, не помнишь, а я так хорошо все помню! Потому что мы с тобой редко встречались. И теперь ты мне о нем рассказал немного. И вот я уже и письма не пишу, и спать не ложусь, а вспоминаю, вспоминаю...

А ты говоришь — рассказы писать! Нет, нет, Борис, лучше я буду хорошим твоим читателем. Не по моим силам материал. Пока.

Целую тебя.

4 июня 1951

Дорогой Борис! Пишу тебе, а по реке еще идут льдины. 4 июня! Просто наглость. Круглые сутки светло, и круглые сутки пасмурно. Величественно и противно. Правда, когда солнце появляется, тогда чудесно, но это бывает так редко! Вообще же освещение — это настроение природы, а здесь она вечно плохо настроена, надута, раздражена, ворчлива, плаксива, и все это в невиданных масштабах, с неслыханным размахом.

Было у нас сильное наводнение, многие береговые жители пострадали, лачуги, лодки, ограды унесло водой. Я, как молитву, шептала «Медного всадника», удивляясь, до чего же верно, и собирала чемоданы, но нас наводнение не тронуло, слава Богу! Все же было очень тревожно. Теперь вода отступает, но под окнами еще настоящий атлантический прибой. Я так люблю море, океан еще больше, а реку — нет, с самого детства боюсь и противного дна, и течения, вообще чувствую себя почти утопленницей. Кроме того, река, самая спокойная, тревожит меня, а море и в тишь и в бурю радует. Ну это все неважно. Я пишу тебе, чтобы попросить тебя написать мне хотя бы открытку. Я очень давно ничего от тебя не получала и ничего о тебе не знаю, кроме того, что ты одним из первых подписался на заем, о чем прочла в «Литературной газете». Главное — как здоровье, как работа?

Я — дохлая, ужасно от всего устаю, когда есть работа — от работы, когда ее меньше — от страха, что совсем не будет. Зимой уставали глаза от постоянного мрака, сейчас — от неизменного дневного света. А кроме того, все же всегда очень труден быт во всех его проявлениях, здесь, конечно, особенно. Но я пока что бодра и вынослива, особенно если есть хоть немного солнца. Мне кажется — только солнце, настоящее, вольное, щедрое, вылечило бы меня от всех моих предполагаемых недугов, предполагаемых потому, что к врачам не хожу, дабы не узнать, что вдруг я в самом дéле чем-ниб. больна.

Поговорить здесь решительно не с кем, а мысленно я обращаюсь только к тебе, правда. Когда в какой-нибудь очень тихий час вдруг все лишнее уходит из души, остается только мудрое и главное, я говорю с тобой с тою же доверчивой простотой, с которой отшельник разговаривает с Богом, ничуть не смущаясь его физическим отсутствием. Ты лучше из всех мне известных поэтов переложил несказáнное на человеческий язык, и поэтому, когда мое «несказáнное», перекипев и отстоявшись, делается ясной и яркой, как созвездие, формулой, я несу ее к тебе, через все Енисеи, и мне ничуть не обидно, что оно никогда до тебя не доходит. Молитвы отшельника тоже оседают на ближайших колючках, и от этого не хуже ни Богу, ни колючкам, ни отшельнику!

Прилетели гуси, утки, лебеди. И вот я думаю, почему же это ни один из русских композиторов, переложивших на ноты русскую весну, не передал тревожного гусиного разговора, ведь гуси в полете не просто гогочут, они переговариваются, повторяя одну и ту же коротенькую музыкальную фразу в разных тонах, и эта фраза колеблется в воздухе плавно и грустно, и вторят ей сильные, различные удары крыльев. И еще — плещется только что освободившаяся от льдов река, закрой глаза и слушай, смотреть не надо, и без того ясно — весна! Русская, с таким трудом рождаемая природой, такая скупая в первые дни и такая красавица потом!

Целую тебя, будь здоров и пиши.

Твоя Аля

9 октября 1951

Дорогой мой Борис! Только сейчас получила твое письмо, не потому, что оно долго шло, а оттого, что меня самой не было в Туруханске, только что вернулась из соседнего колхоза, где проработала целый месяц на уборке урожая. Вначале было очень интересно, под конец ужасно устала, да и зима нагрянула, что меня всякий раз очень расстраивает. Еще сейчас не совсем очухалась, т. к. немедленно начала работать в клубе, и к усталости колхозной тотчас же добавилась художественная.

Колхоз — 28 километров от Туруханска, добраться туда можно только по Енисею, ехали на колхозной моторной лодке, когда мотор испортился — на веслах, когда руки устали — пешком по берегу, когда ноги устали — опять на веслах и т. д.

Наконец на крутом скалистом берегу возникла деревушка — Мироедиха, с десяток прочно построенных, но одряхлевших избушек цвета времени, церковь без колокольни, кругом тайга, да такая, что перед каждым ее деревом хочется идолопоклонствовать.

Все как полагается, жидкие дымки из покосившихся труб, собачий лай, ребячий крик и хватающая за душу русская деревенская тоска, усугубляемая неверным, неярким, неопределенным вечерним освещением. Заходим на «заезжую» — там темно, пахнет ребятишками. Зажигают лампу, и — о Боже мой! венские стулья, кованые сундуки по углам, старинное зеркало в резной раме — глянешь туда и видишь утопленницу вместо живой себя. На стенах — портреты невероятной упитанности блондинов с усиками и в железобетонных негнущихся одеждах, как дешевые памятники. Круглый стол, на столе — самовар, за столом — большеносая седая старуха пьет чай из позолоченной чашки кузнецовского фарфора, на коленях у нее — старый кот с объеденными ушами. Две маленькие беленькие девочки в ситцевых коротеньких платьишках тщательно застятся от гостей, но зато без всякого смущения показывают голые животы, мне кажется, что попала я в те времена, о которых знаю только понаслышке, да так оно и оказалось. Носатая старуха с умными пристальными глазами живет здесь уже 40 лет — она вышла сюда «взамуж» из Енисейска, а вот и другая старуха, ей 87 лет, она сестра мужа первой, здесь родилась, здесь и состарилась. Она зашла на огонек, к самовару, к гостям, ее тело, похожее на выброшенную прибоем корягу, одето в дореволюционный заплатанный сатинчик, а глаза, хоть и обесцвеченные временем, посматривают зорко и хитро. Так вот и прожила я месяц в «заезжей», днем работала на поле, а вечерами

чинно беседовала со старухами, и чего они мне только не рассказали! Я замечала — у неграмотных часто бывает изумительная память. Лишенная книжной пищи, она впитывает в себя все события своей и чужих жизней и до самой могилы хранит, ничего не отсеивая, все нужное и ненужное. Старухи рассказали мне, как жили мироедихинские купцы, как шаманы приезжали к ним за товаром — тогда старшая старуха была маленькой — «шаман всю ночь, бывало, не спит, и мы не спим, боимся, молитву творим, «да воскреснет Бог»... а еще была шаманка, так та была больно вредная. Померла, похоронили ее у Каменного ручья, бубен над могилой повесили, а она ночью встает да за проезжими гоняется, так и гонялась, пока священник молебен не отслужил на ее могиле, да посля молебна осиновый кол всадил ей в спину — полно ей людей морочить-то!» и т. д. Рассказывали, как священники сгоняли местных жителей в Енисей и крестили их, как купцы за пушнину и рыбу платили водкой, бусами и топорами. Рассказывали, как пригоняли сюда ссыльных, и те получали «способие» и рыбачили, и ходили по ягоды, и собирались вместе, и читали книги, и спорили. На этой самой «заезжей» останавливался Сталин, бывал Свердлов и многие сибирские ссыльные большевики. «А был тут Иона-урядник, ему, как беспорядки начались, приказали большевиков, которые в лесу таились, ловить... он полну котомку хлеба наберет, и когда кого встретит, хлебушка ему даст и говорит — идешь, мол, ну и иди, мол. Потом зато Сталин и приказал — Иону никогда никому не трогать и что он урядником был — не поминать. Не знаю, сейчас живой Иона аль нет, а работал он на стекольной фабрике в Красноярске вместе с сыном...»

Я тебе потом дорасскажу про колхоз, потому что сейчас до того устала, что нет сил даже писать. За мое отсутствие такой накопился завал дел домашних и служебных, что никак не расхлебаю, а силенок так мало, а они так нужны! Дрова, картошка, двойные рамы, лозунги, плакаты, стенгазеты, монтажи, все нужно успеть, а оно все такое разное и такое утомительное! Особенно после всех этих гектаров картошки, тронутой морозом, турнепса, присыпанного снегом, и пр. Спасибо тебе за обещанное, когда бы ни прислал,— кстати, тем более, что за месяц работы в колхозе я заработала 60 р., 2½ литра молока и мешок картошки!

Целую тебя крепко, скоро напишу еще, если не надоела.

Твоя Аля

6 мая 1952

Дорогой мой Борис! Бесконечное спасибо за все, тобой присланное и мною полученное, и не только за это. Во-первых и прежде всего, спасибо тебе за тебя самого, за то, что ты — ты! Очень меня взволновало и твое письмо, и мамины стихи. Я помню, как писались те, что красными чернилами, и тот чердак, и тонкий крест оконной рамы, и весь тот — девятнадцатый — год. Первое из чердачных — не полностью, видимо, не хватает странички, а конца наизусть я не помню. А те, что черными чернилами,— из большого цикла «Юношеских стихов». Полностью они никогда не были опубликованы и в рукописи не сохранились; есть один машинописный оттиск всего цикла. Спасибо тебе, родной мой!

Да, вообще-то я очень люблю тебя и за то, что ты мне так редко пишешь, и ты, конечно, мог бы мне не объяснять, почему, я и сама все знаю. Я люблю тебя не столько, может быть, или не только за талант, а и за рамки, в которые ты умеешь его загонять, рамки данной цели, рамки долга, за рабочий мускул твоего творчества. За это же я горжусь и мамой, недаром назвавшей одну из своих книг «Ремеслом»,— не помню дня ее жизни без работы за письменным столом, прежде всего и невзирая ни на что. Это дано очень немногим, очень избранным, ну а вообще талантливых, и в частности поэтов, куда как много, и в конце концов невелика цена их вдохновению! А почему «Ремесло» так названо, ты, наверное, знаешь? Мама очень любила это четверостишие Каролины Павловой: «О ты, чего и святотатство Коснуться в храме не могло. Моя печаль, мое богатство, Мое святое Ремесло!» (Вот только не уверена, что «печаль», так мне запомнилось в детстве.)

Только, однако, не злоупотребляй моей любовью к тебе и не-за-неписанье писем во имя писанья основного. Мне просто время от времени нужно знать, что ты жив и здоров, это можно сделать даже открыткой, даже телеграммой.

Пусть это дико звучит, но я до сих пор не могу простить себе, среди прочего невозвратно не сделанного мною, то, что я в свое время попросту не стащила в библиотеке училища, где работала, монографию твоего отца, о которой тогда писала тебе. Как она была чудесно издана, какие великолепные репродукции, хотя бы тех же иллюстраций к «Воскресенью», сколько зарисовок детей, в том числе и тебя, подростка, юноши. И какой-то семейный праздник, когда все с подарками. И твой портрет, тот trois-quarts[1], на который ты и по сей день похож. Там было много Толстого и Шаляпина, а главное, там было так непередаваемо много жизни — жизни вполоборота, с незаконченным жестом, стремительной и вечной в вечной своей незавершенности и незавершаемости.

Не смейся, но я в самом деле была бы не только менее несчастлива, но даже более счастлива, если бы эта книга была у меня здесь. А ведь ее нигде не найдешь. Да и искать-то негде.

Одним из итогов прожитого и пережитого у меня оказалось то, что отпало много лишнего и осталось много подлинного, т. е. отпало всяческое кино, всяческое легкое чтение и смотрение, всякий интерес к этому, всякая потребность. И если не дано мне творить, то хоть хочется дочитать, досмотреть, довидеть, почувствовать настоящее. Творить же не дано по чисто внешним причинам, дай Бог, чтобы они отпали прежде, чем отпаду я сама!

Вот я недавно писала Лиле о том, что у меня странное чувство, будто бы я живу не свою, а чью-то чужую жизнь. Все, что было до Туруханска, определенно было моим, а здесь — какой-то пробел, точно настоящая, живая я просто осталась, ну, хотя бы, на пароходе. Так у меня впервые, и причины сама не найду. Ни причины, ни самой себя. Очень редко встречаюсь я с самой собой — на первомайской демонстрации, иногда в настоящей книге, или вот на днях мы провожали в армию одного нашего молоденького работника, и вот представь себе вокзал аэропорта, изредка нарастающий и пропадающий рев самолета, идущего на посадку, звук провожающей новобранца гармошки, пляски и песни среди стандартных пейзажей в золоченых рамках и кресел в холстяных чехлах — каменные лица матери и сестер, а за застекленной дверью бледная, вялая, слабая весна: снег подался, осел, из-за этого тайга стала выше, точно все деревья встали на цыпочки, зелени еще нет и в помине, просто обнажились ранее скрытые зимой последние осенние оттенки. Опять гармошка и стук каблуков и песня, но лица все равно не теплеют, чтобы проводить сына, брата, товарища без слез. А ведь, провожая, всегда хочется плакать, даже на заведомо хорошее провожая! И вот здесь я немного «встретила себя» — м. б. оттого, что на минуту пахнуло настоящей жизнью? а уж на обратном пути опять я — не я.

Еще раз тебе спасибо. Мне очень хочется, чтобы ты не болел и чтобы это лето было у тебя всесторонне удачным. Скажи, а твои боли в спине не могут быть какою-ниб. разновидностью вегетативного невроза или чем-то в этом духе? Такие истории длительны, болезненны, но, к счастью, не опасны. Только обычно трудно бывает поставить диагноз — обращался ли ты к хорошему невропатологу?

Крепко тебя, родной, целую. Будь здоров и спокоен.

Твоя Аля

5 июня 1952

Дорогой мой Борис! Еще плывут по Енисею редкие льдины, а уже июнь! Никак не могу привыкнуть к тому, что здешняя природа и погода так отстают от общепринятого календаря, да и вообще от всего на свете. За окном — безнадежный дождь, мелкий, нудный, и все вокруг — цвета дождя, и небо, и земля, и сам Енисей, шумящий возле дома. Этот дождь

[1] Три четверти (фр.).

назревал, как болезнь, уже несколько суток, и наконец разразился сперва, а потом и пошел и пошел однообразно стучать и стучать по крыше. Ночей у нас уже больше нет, стоит один и тот же непрерывный огромный день, сразу ставший таким же привычным, как недавняя непрерывная ночь. Еще нигде ни травинки, ни цветочка, весна еще ленится и потягивается, пасмурная и неприветливая, как старухина дочка из русской сказки. Навигация пока что не началась, но на днях ждем первого пассажирского парохода из Красноярска. Гуси, утки, лебеди прилетели. Кажется, все готово, все на местах, дело за весною. Я живу все так же, без божества, без вдохновенья и без настоящего дела, несмотря на постоянную занятость и благодаря ей. Сонм мелких и трудоемких работ и забот не снимает с меня все обостряющегося чувства вины и ответственности за то, что все, что я делаю,— не то и не так, и по существу ни к чему. Быт пожирает бытие, и все получается вроде сегодняшнего дождя, не нужного здешней болотистой почве, и к тому же такого некрасивого!

Поговорить даже не с кем. Правда, все мои былые собеседники остаются при мне, но ведь это же монолог! А о диалоге и мечтать не приходится. Тоска, честное слово!

Ты прости меня, что я к тебе со своими дождями лезу, как будто бы у тебя самого всегда хорошая погода. Но кому повем? Ты знаешь, когда вода близко шумит и шум ее сливается с ветром, я всегда вспоминаю раннее детство, как мы с мамой приехали в Крым, к Пра, матери Макса Волошина. Ночь, комната круглая, как башенная (кажется, и в самом деле то была башня), на столе маленький огонек, свечка или фонарь. В окно врывается чернота, шум прибоя с ветром пополам, и мама говорит — «это море шумит», а седая кудрявая Пра режет хлеб на столе. Я устала с дороги, и мне страшновато.

Мне иногда кажется, что я живу уже которую-то жизнь, понимаешь? Есть люди, которым одну жизнь дано прожить, и такие, кто много их проживает. Вот я сейчас читаю книгу о декабристах, и все время такое чувство, что все это было недавно, на моей памяти — м. б. просто потому, что все ж и в о е близко живым? Ведь Пушкин — совсем современник, а Жуковский — далек. Я хорошо помню Сергея Михайловича Волконского, внука декабриста, и в самом деле все близко получается — ведь его отец родился в Сибири!

Нет, Бог с ним, с дождем, а жить все равно интересно. И все равно — ж и в ы е — бессмертны!

Когда ты устанешь переводить и захочешь пойти покопаться в огороде, вот в эту самую минутку, между переводом и огородом, напиши мне открытку. (Хотя бы.) Пусть у меня будет хоть иллюзия диалога. Мне очень хочется узнать о твоем здоровье, и очень хочется, чтобы никакие боли тебя не мучили. Когда ты долго молчишь, я думаю (и, увы, иногда угадываю!), что ты болеешь. И не столько из-за дождя я написала тебе, и не столько из-за свободного вечера (а их будет так мало летом — дрова, картошка, всякие общественные сенокосы, уборочные, народные стройки!), сколько из-за желания сказать тебе что-то от всего сердца хорошее. И опять не вышло.

Крепко тебя целую. Будь здоров!

Т в о я А л я

Туруханск 6 мая 1953 г.

Дорогой мой Борис! Устала, как здешняя собака (именно здешняя, т. к. на них всю зиму возят воду и дрова), и поэтому только сейчас в состоянии написать тебе немного и поблагодарить тебя за неизменную твою заботу. Спасибо за все, мой родной! Я писала тебе по какому-то фантастическому адресу в Болшево, когда ты там отдыхал, но не знаю, дошло ли письмо, если нет, то беда очень невелика. Да, этот год полон событий и перемен, я немного понимаю это умом, но ничего не успеваю осознать как следует. Я настолько, видимо, перенасыщена «прожитым и пережитым», что все последующее как-то не достигает души, если ее у меня хоть сколько-нибудь осталось? Вернее всего, я просто дико устала, немного отойду и снова начну всему удивляться.

Опять весна. Здесь она, до явного начала лета, горностаевая, белая с проталинками черной земли. Вначале эта необычная весенняя масть трогала меня, а теперь я привыкла, и надоел этот бедный полутраур, раскинутый на тысячи километров, на десятки дней. Преснота, грозная по своим масштабам, что может быть противнее? И потом, сколько ни живи, а сирени все равно не дождешься. Птицы не поют, цветы не пахнут, куры не несутся, все назло, все наоборот. А между тем весна здесь, как и всюду, самое доброе время года. Что же скажешь об остальных? <...>

Оторви хоть маленький кусочек своей милой подмосковной весны в мою пользу, напиши мне, как сердце и как работа. Я знаю, насколько ты — оправданно — скуп в отношении времени и, следовательно, писем, но все равно напиши мне немножко. Я тоже ведь почти роман (отменно длинный, длинный, длинный...), не весь же век мне ходить в Брокгаузах, и потом может быть всевышний автор придумал мне все же не слишком грустную развязку? (Это я к тому, что я вполне заслуживаю письма!)

Да, я почти не заметила, как в этом году прошли здесь майские праздники — только видела много очень живописных пьяных. Один из них даже выбил лбом стекло в нашем клубе, чтобы подышать свежим воздухом. Выбил и ушел, т. ч. свежим воздухом пользуемся мы.

Крепко тебя целую, будь здоров. Спасибо бесконечное за все.

Т в о я А л я

29 мая 1953

Дорогой мой Борис! Я очень скучаю по тебе, хоть и пишу так редко. Не только время мое, но и всю меня как таковую съедают неизбывные работы и заботы, вернее, не съедают, а разрознивают, разбивают на мелкие кусочки. И в редкие минуты, когда я собираюсь воедино, все равно чувствую себя какой-то мозаикой. Или — «лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду» — в одном лице. В таком состоянии трудно даже письмо написать.

Кончается май, а сегодня у нас первый весенний день, голубой и холодный. Холодный оттого, что лед идет. За окном настоящий океанский гул, мощный и равнодушный. Меня с самого детства потрясает равнодушие водных пространств — в любом живом огне больше темперамента, чем в Енисее, впадающем в океан, и чем в океане, поглощающем Енисей. Вода равнодушна и сильна, как смерть, я боюсь и не люблю ее. Вчера у меня на глазах утонул мальчик, ловивший с берега лес-пловун. На одном конце веревки — железный крюк, другой держат в руках, когда подплывает «лесина» — сильно размахиваются, бросают канат, крюк впивается в дерево. Мальчик же привязал канат к себе, крюк с брошенного им конца зацепился не за дерево, а за проходившую мимо льдину, которая стащила его с берега, уволокла за собой. В двух шагах от берега, от людей его закрыла чудовищная неразбериха ледяных кувыркающихся глыб — и ничто не остановилось ни на секунду, ибо «минуту молчания» выдумали люди! Так же неизбежно шла вода и дул «сивер», и, растерзанные, неприбранные, косо летели облака, и Бог не сделал чуда, и люди не спасли, и с глинистого обрыва голосила мать, рвала на себе кофту. Лицо ее, голые, только что от корыта, руки, грудь были белы, как расплавленный металл, и люди отводили глаза. Смерть и горе всегда голые, и на них стыдно смотреть.

Борис, родной, мне даже здешняя весна опротивела, не из-за этого мальчика, а вообще. Небо здесь то слишком густое, то пустое, вода — бездушна, зелень — скупа, люди — давным-давно рассказаны Горьким. По селу ходят коровы, тощие, как в библейском сне, и глаза у них всех одинаковые, как у греческих статуй. Они объедают кору с осиновых жердей на огородах и трутся спинами обо все телеграфные столбы. По мосткам ходят лошади, отдыхающие перед пахотой, и люди шарахаются в грязь. На завалинках сидят «ребята» и рассматривают проходящих «девчат», на которых надето все, что можно купить в здешнем магазине, так что каждая вторая — в крапинку, каждая третья — розовая, каждая четвертая — в крупных цветах, как лошадь в яблоках, и все — в голубых носках. Над всем

этим — слабый, доносящийся из-за реки запах черемухи и такие же приторные звуки всепобеждающей гармони.

Сегодня пришел первый пароход. Среди пассажиров, как мне рассказывали девушки, совсем не было молодых и интересных. Один, правда, сошел молодой и хорошо одетый, но поскольку он оказался инструктором крайкома, приехавшим проверять результаты политучебы в первичных комсомольских организациях, то интерес к нему угас, уступив место священному трепету.

День у нас уже круглосуточный, но от этого не легче.

Крепко целую тебя, будь здоров!

Твоя Аля

27 июля 1953

Дорогой мой Борис, очень беспокоит твое здоровье — и молчанье. Что с тобой? Как себя чувствуешь? Напиши несколько слов на открытке, мне этого опять будет достаточно месяца на два вперед.

Я живу все так же, и от этого «так же» настолько отупела, что сделалась какая-то обтекаемая, и даже все необычайные происшествия последнего времени не достают до сердца. Наверное, и сердца-то уж почти не осталось.

Июль у нас был по-настоящему жаркий, первый раз за четыре года. По радиосводке погоды Красноярск все время шел наравне с Ташкентом и Ашхабадом. Туруханск тоже старался не отставать. Все расцвело и выросло на целый месяц раньше, чем обычно, — солнце ведь круглые сутки! и все было бы хорошо, если бы не комары и мошкара. Они буквально отравляли существование, оказывались сильнее солнца, голода, сна.

Начинают поспевать ягоды, хожу в лес, но леса не вижу сквозь сетку накомарника и укусы мошки, сосредоточиваясь только на чернике и голубике. Время от времени забредаю в болото или натыкаюсь на корову, похожую в лежачем виде на бутафорскую скалу. Везде коровы — в лесу, на аэродроме, на кладбище, и, уж конечно, на каждой улице. А молоко продают только кислое.

Ловлю себя на том, что иногда всерьез рассматриваю в окно клуба прохожих — у кого из знакомых новое платье и «где брали матерьял и почем?» За четыре года узнала в лицо всех местных жителей, сразу распознаю приезжих. Кстати о приезжих — одно время было настоящее нашествие амнистированных, большинство которых устроились в качестве рабочих в геологические разведки, приезжающие сюда на лето. Они внесли некоторое оживление в нашу однообразную жизнь, ограбив несколько квартир и очистив немало карманов. (Конечно, не все они, а некоторые, те, кому не в коня корм.)

В соседней деревне на берегу появился один голый, выплывший из Енисея. Колхозники пожертвовали ему штаны и майку, а потом спросили документы — откуда они могут быть у голого? Голый рассказал, что его амнистировали, что он ехал из лагеря вместе с несколькими такими же товарищами, по дороге они играли в карты, сперва на деньги, потом на хлеб, потом на одежду — кончилось тем, что кто-то проиграл его самого, и в качестве проигранного выбросили с баржи в Енисей. Я его видела — он ходил все в тех же колхозных штанах и ждал работы по специальности. На вопрос о профессии отвечал: «вор-карманник».

В общем, все это ерунда.

Перечитываю сейчас твоего Шекспира, он у многих здесь побывал, и все чернорабочие руки читателей очень бережно к нему отнеслись, книги как новые. А вот Гете гостит по соседним колхозам и, наверное, вернется — если вернется — в очень потрепанном виде. Ну ничего, пусть читают!

Родной мой, я надеюсь, что у тебя все хорошо и что сердце не тревожит. Мне было бы просто неловко навязываться тебе со всеми своими беспокойствами по поводу твоего здоровья, если бы не огромные расстояния, разделяющие нас; они уничтожают всякую неловкость, оставляя неприкосновенными все беспокойства и все тревоги. Очень прошу тебя, напиши несколько слов!

Твоя Аля

12 сентября 1953

Дорогой друг Борис! Получила твое письмо и стихи, и хочется сейчас же отозваться, не ожидая несбыточного досуга — и таких же несбыточных настоящих слов. Ты знаешь, я ужасно к тебе пристрастна, и не потому, что это хоть сколько-нибудь в моей природе, а потому, что ты сам не позволяешь иначе — начинаешь тебя читать, и вот уже тобой уведена и тебе подвластна, и все понимаешь и чувствуешь так, как это сказано тобой. И, черт возьми, никогда не знаешь, к а к это сказано, и п о ч е м у это именно то самое! У тебя никогда не видно того, что французы метко называют «les ficelles du métier[1]», никаких «приемов», все так просто и просторно, как божий мир, а поди-ка сотвори! Конечно, «подвластна» — совсем не то слово, вот в том-то и дело, что ты никогда не порабощаешь и что всегда «печаль твоя светла». Откуда в тебе столько света? Где, чем, кем пополняешь ты в себе его запасы? Талант? но он всегда бремя, всегда крест, и большинство творцов хоть часть его возлагают на читателей и слушателей, зрителей, а с тобой всегда легко дышится, будто бы всю тяжесть творчества — да и просто жизни — ты претворяешь в «да будет свет». Я еще не успела как следует вникнуть в твои комментарии насчет биографичности, полубиографичности или небиографичности стихов — Боже мой, да ты же всегда т ы, за какой год или век тебя не открой, как ты ни запирайся или ни распахивайся. (Написала и засмеялась — вдруг вспомнила картинку в «Крокодиле», сфинкс и подпись: «Все изменяется под нашим зодиаком — но Пастернак остался Пастернаком!» Помнишь?) Ты всегда остаешься самим собой и всегда — нов, и ради Бога прости меня за всю Хиву и Бухару этого сравнения, — напоминаешь мне солнце — всей своей неизменностью, неизбежностью, светом и неподвластностью критическим подходам облаков.

Предыдущая тетрадь у меня есть. Я туда присоединю и это. А сейчас кончаю, время свидания истекло, скоро напишу еще. У нас было сияющее жаркое лето, оно прошло, но вокруг нашей избушки еще догорают астры и настурции, они здесь не боятся заморозков.

Я устаю и старею, ссыхаюсь, как цветок, засушенный в Уголовно-процессуальном кодексе, и первым признаком того, что действительно старею, является то, что это совсем меня не волнует. Спасибо тебе, целую тебя, горжусь тобой. Будь здоров.

Твоя Аля

12 октября 1953

Дорогой мой Борис! У нас — долгие темные ночи, короткие дни и тишина необычайная — все замерзло в ожидании зимы, а снега все нет. Южный ветер сбивает с толку даже северное сияние. Осень — странная и тревожная, как весна. Ушли пароходы, улетели птицы, на Енисее же — ни льдинки, и на душе — тоже. Так хорошо, когда не по графику, даже в природе! Я недавно перечитывала — в который раз и в который раз по-новому, «Анну Каренину» и в который раз задумалась о твоем — не ясном для меня и вместе с тем несомненном — родстве с Толстым. Я не так-то давно (по времени) читала твою прозу, но однообразие моей жизни, изо дня в день засоряемой мелочами, уже заставило меня позабыть многое. Не то что «позабыть», но потерять ключ к этой вещи, понимаешь? Кстати, зачем тебе понадобилось забирать ее у меня? Я люблю перечитывать и, как ни странно, с первого раза лучше воспринимаю стихи, чем прозу, а вот как раз твою книгу лишена возможности перечитывать, вчитываясь. Я не решаюсь просить тебя о том, чтобы ты мне прислал хотя бы то же самое, что тогда, знаю, что ты не забудешь об этом, когда найдешь возможным. Так вот, вы настолько с ним разные, что говорить о родстве и сходстве кажется даже нелепым, и меня злит то, что я сейчас брожу вслепую и даже нащупать не могу, в чем тут дело. Ах, Боже мой, и главное, что в этом слепом состоянии я нахожусь почти постоянно, все время «по усам текло, а в рот не попало», о том, чтобы не только с д е л а т ь что-то, но хоть бы

[1] Тонкости ремесла (фр.).

додуматься до чего-то, не может быть и речи. Эта жизнь, дробленая на мелкие кусочки, размолотая ежедневными, насущными и никому не нужными мелочами, постепенно и неумолимо превращает меня в клинического идиота. Даже ты это замечаешь, несмотря на все мои усилия казаться умницей, и пишешь мне все реже.

Недавно видела в «Огоньке», посвященном Толстому, пастель твоего отца, и столько мне сразу вспомнилось и подумалось, что я бросила работу и опустила руки, — весь тот чудесный мир светлых красок и мягких очертаний, вставший передо мной из синего альбома работ Л. О. там, в библиотеке рязанского училища. Как же он сломал и переделал технику пастели, бывшей до того достоянием нежностей и сладостей французского 18-го и немного 19-го века — какой же он был мастер! Я ужасно люблю его иллюстрации к «Воскресению», и твой чудесный портрет, и в с е о Толстом, все зарисовки, и его Шаляпина. И еще я вспомнила белого плюшевого мишку, которого они с твоей мамой подарили маленькому Муру. Мур назвал его «Мумсом» и спал с ним, и ходил гулять, и зацеловал ему мордочку до блеска. И еще я подумала о той великолепной круговой и трудовой поруке людей большого дара и чистой души, побеждающей время и временщиков, о великой, неиссякаемой, всепобеждающей силе правды и человечности. Может быть, именно в этом — твое родство с Толстым? Я совсем не об этом хотела писать тебе, ты сам говорил, что писать нужно только о том, что вполне ясно тебе самому, я хотела очень поблагодарить тебя за присланное и извиниться за то, что не написала сразу. Но что же поделаешь, если меня всегда тянет писать именно о нелепом — и именно тебе!

Крепко целую тебя.

Т в о я А л я

12 января 1954

Борис мой дорогой, запоздало поздравляю с Новым годом, желаю тебе здоровья, вдохновенья и побольше возможностей его осуществлять. Я только что получила письмо от Лили — она пишет, что твой «Фауст» вышел, но что в Москве его достать невозможно, «а сам он (т. е. ты) не подарил», и просит, чтобы, если в Туруханске можно достать, я прислала ей. Я думаю, что это слишком длинный путь, уж не говоря о том, что здесь, конечно, не достанешь. Короче говоря, достань ты, и подари ей «Фауста» ты, и поскорее; она — один из вернейших и благороднейших твоих друзей, да стоит ли об этом упоминать!

Себе-то я не прошу, ты сам пришлешь, когда будет время.

Я ужасно много работаю и устаю как собака буквально, т. к. на них здесь воду возят и дрова. Этим только и объясняется мое длительное молчание по твоему безответному — на что, конечно, ничуть не в обиде — адресу.

Но я всегда тебя помню, и ты, наравне с двумя-тремя дорогими мне отсутствующими, все равно всегда со мной, и именно это позволяет мне переживать мое реальное окружение.

У нас зима во всем объеме — моя пятая здесь. И каждую все труднее выносить — не то что они лютее, а просто сил меньше. А главное, что тратишь их бесполезно и нудно. Когда их было побольше, я и не замечала, что трачу их, а теперь замечаю.

А вообще-то все идет хорошо. Особенно меня обрадовало, что Берию разоблачили, и что елку в Кремле устроили, мне даже во сне снилось, что я побывала на обоих этих праздниках.

Целую тебя и люблю. Главное — будь здоров!

Т в о я А л я

20 апреля 1954

Дорогой мой друг Борис! Прости, что я такая свинья и до сих пор не поблагодарила тебя за «Фауста». Благодарить — мало, хочу много написать, и из-за этого совсем ничего не пишу. У меня опять миллион всяких терзаний, меня опять «сокращают» (это уже в третий раз), но я пока еще работаю — и очень много — на неизвестных правах. Надоело все это до одури, я устала и отупела, еще и поэтому не пишу тебе. Я напишу, когда немного приду в себя, а сейчас мне просто очень трудно и беспросветно.

«Фауст» же меня просто ошеломил. Работа гигантская, талантливо необычайно, и, ты понимаешь, с одной стороны, жаль ужасно, что столько труда, времени и себя ты вложил в Гете, лучше бы в свое, а с другой — как хорошо, что это сделано именно тобой. Какой ты молодец — талантливый и трудоспособный, а ведь в России это сочетание встречается раз в столетие, да и то не в каждое. Я очень по-хорошему завидую тебе за то, что ты — такой, я не только «бы» не могла, — я уже не могу! Только читать умею. Но в Туруханске и это — редкость! Кстати, здесь есть человека четыре, которые очень любят тебя и читают все твое, что можно достать, сетуют, что только переводы. Сейчас «Фауст» переходит из рук в руки. Я очень дорожу твоими книгами и м. б. поэтому охотно даю их читать. Скоро ли будет печататься твое? Думается, что скоро. Самое-то чудесное, что тебя и так любят. Когда ты болел и долго не писал, я спрашивала о тебе знакомых, знающих тебя по книгам и понаслышке (потому что общих знакомых у нас почти нет), и мне все отвечали словами любви и внимания к тебе — звонили в больницу, узнавали о тебе, а, да что там говорить, ты и сам знаешь, а не знаешь, так чувствуешь.

Напишу тебе более или менее по-человечески в начале мая (как та гроза), а пока еще раз спасибо за Гете и за тебя.

Целую тебя.

Т в о я А л я

Книга чудесно издана, и это тоже радует!

22 июля 1954

Дорогой друг Борис! Большое спасибо тебе за присланное и за письмо. Я знаю, насколько трудно было осуществить и то, и другое — особенно в такую жару. Да и вообще. Не смогла написать тебе раньше, т. к. меня «угнали» в соседний колхоз на заготовку силоса, и я оттуда вернулась, еле живая от усталости и новых впечатлений.

Вот уж действительно край света и почти его конец. Избы завалились, обвалились, провалились, но все еще держатся, и в них все еще живут — а самое страшное это то, что на них еще сохранились всякие дореволюционные наличники, ставни, петушки и прочие отсталые украшения. И всюду следы чего-то, как после землетрясения, — вот здесь была церковь, но ее разобрали, а тут — пекарня, но она сгорела, и т. д.

Именно там до революции находился Туруханск — место ссылки, а здесь, где мы сейчас живем, было село Монастырское. Деревня (по-здешнему станок) стоит не на Енисее, а на маленьком его притоке, Турухане, и жители жалуются, что скучно живется — даже пароходов не видать. В этом году колхоз впервые организовал детские ясли — они находятся в том же помещении, где колхозная контора, красный уголок и заезжая. Заведующая печет на железной печке оладьи, на помосте для сцены сидят как истуканы две няньки-девчонки в красных платьях и держат на коленях по грудному младенцу. Младенцы — калмыки, и тоже в красных платьях, и тоже как истуканы. Остальные дети (все как один без штанов) с увлечением ползают по грязному полу и отбирают друг у друга оладьи и единственную игрушку — поломанный фуганок. В одном углу играют на гармошке, в другом — огромная рыжая немка ругается с колхозным счетоводом, тихим грузином, который в прошлом году надеялся лишь на то, что в юные годы дружил с Лаврентием [1], а в этом — не знает, на что и уповать. Причем все эти подробности можно разглядеть только через сетку накомарника, т. к. и небо, и земля, и избы, и ясли, и дети, и оладьи, и счетовод, и его мечты, и вообще все на свете скрыто тучами комаров. Да, товарищи...

---

[1] Л. П. Берия.

После долгих хлопот и ожиданий я, наконец, добралась до «Знамени» с твоими стихами[1], очень обрадовалась им и тебе. Дорогой друг мой, если бы ты знал, как изболелось мое сердце по твоей судьбе — и как я горда ею! По-матерински я вечно «молюсь о чаше» и вместе с тем — прости и пойми меня! — горжусь и радуюсь тому, что она, предназначенная величайшим и достойнейшим, не минула тебя. Ты сам это знаешь, и в конце концов велика ли беда говорить с потомками, перешагнув через современников? И велика ли беда в том, что, пока история движется спиралеобразно, лучшие идут по прямой?

У меня все по-старому. Устала я донельзя. Говорят, что есть какое-то постановление от 31 мая о снятии ссылки со всех нас, но всякое счастье хорошо вовремя — боюсь, что у меня нет сил опять все начинать сначала — куда-то ехать, где-то искать работу в таком возрасте, когда у каждого нормального человека уже есть квартира, дача, прислуга и, за неимением детей, хотя бы внуки. А я, бедная, все только «начинаю жить» и, как Агасфер, кочую от окраины до окраины.

Целую тебя, мой родной. Напиши мне, когда это не будет трудно.

Твоя Аля

20 августа 1954

Дорогой друг Борис! Во первых строках моего зеленого письма сообщаю, что мы получили официальное сообщение о том, что репримaнд с нас снят и что мы получим в течение сентября паспорта (такие, какие у нас были до поездки[2], т. е. на тройку с минусами, но все же и за то спасибо). И вот мы думали-думали с Адой (с которой вместе приехали из Рязани и вместе живем все эти годы) и решили эту зиму, до следующей навигации, зимовать здесь. Ехать нам фактически некуда, у нас, кроме Москвы, нигде никого, и ехать куда-то наобум, думается, просто немыслимо. М. б., Бог даст, за зиму дождемся реабилитации, тогда все значительно упростится, а если нет, то постараемся разузнать насчет возможной работы для Ады и для меня (она — преподаватель вуза — английский язык), я — сама не знаю. За зиму постараемся подкопить денег на выезд, на продажу нашей хатки надежда невелика, уезжают очень многие, продают всё — всё, а покупать некому. Как ты думаешь? Одобряешь ли такое решение? Если не был бы такой безумный тариф у самолетов, я непременно прилетела бы в отпуск в Москву зимой — это разрешается, но на такую partie de plaisir[3] нужно не меньше двух тысяч, которые при большом желании можно было бы собрать, но тогда опять летом не выберешься! Очень уж хочется поскорее со всеми вами увидеться, тут мне дорог каждый день за все эти годы.

Вторая новость — у меня обнаружили tbc, к счастью, не в открытой форме. Тут только я и поняла, почему я весь последний год так плохо себя чувствовала, вечно была слабой и усталой. Ездила на покос, видимо, переутомилась, и сейчас же получилась вспышка, долго пролежала с высокой температурой, теперь она понизилась, но в норму еще не входит. Не работаю второй месяц. Здесь, на севере, есть всевозможные, в других местах трудно находимые, лекарства и препараты, глотаю всякую горечь, в которую не верю (по старинке верю в овсянку, масло и в «как господь»), и дважды в сутки — стрептомицин. Уверена, вместе с царем Соломоном, что «и это пройдет», ибо из всех моих качеств самые явные — это верблюжья выносливость и человеческое терпение. (Об остальных качествах мама говорила: «Мудра, как агнец, и кротка, как змий».)

Я с ужасом думаю об этих пяти прошедших годах, за которые я ничего не сделала, только «боролась за существование» — добро б за жизнь, а то именно за существование, за прозябание. Где я возьму силы на дальнейшие устройства и переустройства? У меня их совсем нет, о пережитом (за себя и за других) не расскажешь. Дорогой мой, я смотрю на полку, где за эти годы выросло с т о л ь к о твоих книг (не считаю романа), и думаю, какой же ты герой, какая же ты прелесть. Я ведь знаю, чем были эти годы для тебя. И все это — malgré tout et quand même[1]! Да что об этом говорить! Мне кажется, мы настолько понимаем друг друга, что можем обходиться мыслями, без слов. Но, черт возьми, поговорить все-таки очень хочется! (Мне. Тебя же придется уговаривать, чтобы поговорил. Ты занят!)

Крепко целую тебя и люблю.

Твоя Аля

29 августа 1954

Дорогой друг Борис! Сегодня я получила от маминой приятельницы, бывшей с ней в Елабуге (ты когда-то советовал к ней обратиться, чтобы узнать о маме), полторы тысячи, т. е. как раз столько, сколько стоит самолет Туруханск — Красноярск и обратно, а на поезд я наберу (у меня лежит бо́льшая часть присланных тобой денег — на книжке), так что одно чудо уже есть, и я, если все будет благополучно, смогу ненадолго приехать в Москву в отпуск. Вернее всего в ноябре. И тогда я отниму у тебя, у романа, у переводов, у семьи (твоей) и у всего на свете два часа, которые я не только заслужила, но и выстрадала. Я прилечу и приеду только для того, чтобы увидеть Лилю и тебя, единственную семью души моей, и поэтому сгони сейчас же с лица недовольное выражение. Я знаю, ты не выносишь вторжений, особенно в последнее время, но я все равно буду Аттилой и вторгнусь, предупреждаю тебя заранее, чтобы ты свыкся с этой мыслью. М. б. только час, м. б. полчаса, чтобы не утомлять тебя.

Итак, весной будущего года вновь буду корчеваться и пересаживаться в иную почву — еще не знаю, в какую. Бог мой, какая я стала мичуринская и морозоустойчивая за эти годы, как я привыкла к почвам песчаным и каменистым — привыкну ли я в нормальном климате, и что из всего этого получится? Цветочки? Ягодки? или это все уже позади? Кстати, на воскреснике, на котором я, собственно говоря, и заболела, кто-то из участников, увидев прокурора, возвращавшегося с покоса с букетом цветов, воскликнул: «Вот и цветочки, а ягодки впереди!» Это — эпиграф дружбы с прокурором.

Я еще не работаю, меня лечат до одури, единственный ощутимый результат, помимо стоимости всех этих препаратов, — синяки на всех тех местах, куда делают уколы. Терплю все из уважения к лечащему меня фтизиатру (в прошлом — санитарному врачу), но без малейшей уверенности в том, что меня лечат от того и тем.

Опять наговорила уйму глупостей. Прости.

Целую тебя и люблю, и как же я по тебе стосковалась! Главное, будь здоров, а остальное — приложится.

Твоя Аля

24 сентября 1954

Дорогой друг Борис! Прости, что не сразу ответила тебе, мой бюллетень кончился, и я вышла на работу как раз в такое время, когда все остальные сотрудники оказались мобилизованными в колхоз на уборку картофеля, и мне одной пришлось отдуваться сразу за всех, т. е. два раза в неделю мыть полы (за уборщиц), ежедневно топить печи (за истопника), стоять у дверей вместо контролера, получать и сдавать деньги в банк и... обеспечивать идейность и качество проводимых мероприятий. Было очень весело и публике, и мне! Наконец все вернулись и начали по-прежнему дружно дармоедствовать, а я вернулась в свое русло.

Страшно благодарна тебе за твое приглашение, это действительно будет чудесно, а также и то, что за короткий отпущенный мне срок я надеюсь просто не успеть тебе надоесть. Я начинаю свыкаться с дивной

---

[1] В журнале «Знамя» № 4 за 1954 год было опубликовано 9 стихотворений Б. Пастернака под заголовком «Стихи из романа» с коротким авторским предисловием.

[2] Т. е. до ссылки в Туруханск.

[3] увеселительная прогулка (фр.).

[1] Несмотря ни на что и тем не менее (фр.).

мыслью, что то, о чем так недавно не смела и мечтать, возьмет да осуществится. У меня еще одна радость, правда, это еще не совсем сбылось, но почти. Я получила от Аси очень тяжелое письмо о том, что ей некуда ехать и кто-то приглашавший приглашение отменил, и что у нее нет постоянных, пусть небольших, средств к существованию, и что комендатура, поскольку отпала ссылка, лишила ее инвалидного пособия, и т. д. Я сходила здесь в собес, разузнала насчет пенсии. Оказывается, не имея 20 лет стажа рабоч. в ее возрасте (стаж-то у нее есть, но, несомненно, нет о том справок), она, в сельской местности, может рассчитывать на пенсию... в 18 руб. ежемесячно! Думала, думала, что мне делать, увидела в «Литературной газете», как Эренбург целует какого-то зарубежного демократа, и написала ему об Асином положении — неужели нельзя организовать какую-то регулярную, пусть небольшую, помощь через какой-нибудь Литфонд? Я не очень рассчитывала на ответ — он так омастител за эти годы, и тем более была тронута и обрадована, когда он отозвался немедленно и сердечно. Он говорил об Асе с Леоновым, председателем правления Литфонда, и тот обещал поставить вопрос о пособии ей на правлении, и надеется, что это будет улажено скоро и как надо. И я тоже надеюсь. Это было бы чудесно, и Ася чувствовала бы себя лучше, крепче, увереннее, зная, что может ежемесячно располагать определенной суммой-минимумом, а остальное всегда приложится. Самое страшное, это когда ко всему пережитому и переживаемому еще нужда, еще страх за завтрашний кусок хлеба, и это в ее возрасте, при ее состоянии здоровья, при ее одиночестве.

С сегодняшнего дня и по 7 ноября у меня сумасшедшая работа, а потом, даст Бог, сразу Москва! Бывает же так! Меня — неимоверно ругают все (кроме тебя и Лили) за эту дикую затею: мне! ехать! в отпуск! мне тратить! такие деньги! Мне же надо копить! Мне же надо выезжать тихонечко, скромненько, дешево и, главное, «куда-нибудь»! Все советуют «куда-нибудь» выехать, «где-нибудь» устроиться и, главное, немедленно бросить Аду, с которой я живу здесь шестой год, она была хороша, пока помогала мне в трудных условиях, а сейчас, мол, каждый сам по себе, мне, мол, помогут, а она как хочет. Боже мой, ну никто не понимает, что я так заработала, так заслужила такой отпуск, и пусть добрые деньги, данные мне, хоть раз в жизни пойдут не на хлеб насущный, а просто на радость.

Кроме того, мне как-то предчувствуется, что я скоро сама буду зарабатывать как следует. Правда, совершенно не представляю себе, как и чем, но это непременно будет. Ах, мне бы реабилитацию!

Спасибо тебе, родной. Неужели я тебя скоро в самом деле увижу? Я не буду тебе мешать, я очень тихая.

Целую тебя.

Твоя Аля

Туруханск, 10 января 1955

Дорогой Борис! Как видишь, я вдоволь наговорилась с тобой мысленно, прежде чем принялась за письмо. Туруханск вновь принял меня в свои медвежьи объятия, по-прежнему не оставляя времени ни на что, кроме работы. А ее за мое отсутствие накопилось столько, что я, разленившись во время отпуска, никак не могу ее осилить и по-настоящему войти в колею. Находившись, наездившись и налетавшись по большим дорогам, все не привыкаю к туруханской узкоколейке, спотыкаюсь на тропках, проваливаюсь в сугробы, работаю на ощупь, думая о другом. А мысли мои, как и все бабьи мысли, идут ниоткуда и ведут в никуда, что и является основным моим несчастьем. Таким образом, всю жизнь я делаю всякие нелепые вещи, которые осмысливаю лишь спустя, и постфактум подвожу под них фундаменты оправданий.

Дорогой друг мой, я бесконечно счастлива, что побывала в Москве и вновь встретилась с тобой. Мы видимся очень редко, между нашими встречами такие события и расстояния, что история их вмещает с трудом. А мы — сколько же м ы вмещаем, сколько же у нас отнято и сколько нам дано! Из последних твоих, мне известных стихов, пожалуй, самое мое любимое — это Гамлет, где жизнь прожить не поле перейти. А из наших встреч каждая — самая любимая. И тогда, когда ты так патетически грустил в гостинице (я как сейчас помню эту комнату — слева окно, возле окна — восьмиспальная кровать, справа — неизбежный мраморный камин, на нем стопка неразрезанных книг издания NRF, а сверху — апельсины). На кровати (по диагонали) ты, в одном углу я хлопаю глазами, а в другом — круглый медный Лахути. (Ему жарко и он босиком.) И тогда, когда мы с тобой сидели в скверике против Жургаза, вскоре после отъезда Вс. Эм.[1] Кругом была осень и были дети, кругом было мило и мирно, и все равно это был сад Гефсиманский и моление о чаше. Через несколько дней и я пригубила ее. И тогда, когда я приехала к тебе из Рязани, и твоя комната встретила меня целым миром, в который я не чаяла вернуться, — картинами отца, Москвой сквозь занавески, и еще на столе была какая-то необыкновенно красивая синяя чашечка (просто чашечка, а не из того сада!), резко напомнившая мне детство — если у моего детства был ц в е т, то именно этот, синий, фарфоровый! Помнишь мамин цикл стихов об Ученике? Так вот, всегда, когда встречаюсь с тобой, чувствую себя твоим Учеником, настоящим каким-то библейским Учеником, через времена, пространства, войны, пустыни, испытания вновь добредшим до Учителя, как до источника. Скоро опять в путь, а кругом — тишина. Время притаилось, готовясь к прыжку. И вот теперь вновь мы встретились с тобой, и опять я слушала тебя и смотрела в твои неизменно-золотые глаза. Пожалуй, не было бы сил все глотать и глотать из неизбывной чаши, если бы не было твоего источника — добра, света, таланта, тебя, как явления, тебя, как Учителя, просто тебя.

Все остальное было тоже очень хорошо, и твоя дача, о которой З. Н.[2] говорит, что она куда лучше Ясной Поляны, и тихие сосны вокруг дачи, и, главное, тоненькая рябина, усыпанная ягодами и снегирями. Очень все было хорошо, я страшно рада, что побывала у вас

Ливанова вспоминаю с удовольствием. Он таким чудесным, отчетливым, сценическим шепотом говорил мне такие ужасные вещи про каких-то академиков, там, за таким чинным столом, что показался мне Томом Сойером по содержанию и Петром Великим по форме (в воскресной школе и на ассамблее). Впрочем, приятно все это было постольку, поскольку он нападал именно на академиков, а не, скажем, на меня. Тогда бы мне, конечно, не понравилось.

У нас вторую неделю беспрерывные метели, что ни надень — продувает насквозь. За водой ходить — мученье, дорогу перемело, сугробы. Стараемся пить поменьше, а умываемся снегом (конечно, растопленным). Но все равно все хорошо.

Напиши мне словечко, скажи, как тебе живется и работается. Я просто вида не показала, насколько я была уязвлена тем, что ты мне ничего не прочел и не дал прочитать своего нового. Конечно, я сама виновата. А очень просить тебя не стала, чтобы ты не воспринял это, как «голос простых людей» (по Гольцеву).

Спасибо тебе за все.

Целую тебя.

Твоя Аля

Передай мой сердечный привет Зинаиде Николаевне.

24 марта 1955

Дорогой мой Борис, спасибо! Рада, рада была увидеть твой летящий почерк, прочитать твои милые слова. Очень беспокоило твое молчание. Такие расстояния всегда порождают тоску и беспокойство. Ну, а насчет денег — они всегда радуют, потому что они — деньги, и всегда печалят, потому что напоминают о твоей ради них работе, оторванном от основного времени, обо всех твоих иждивенцах, обо всем том, о чем не хочется думать.

---

[1] А. Эфрон имеет в виду арест В. Э. Мейерхольда.
[2] Зинаида Николаевна — жена Б. Пастернака.

Вообще спасибо тебе за все!

Живу нелепым галопом, работаю как заводная и так же бессмысленно. Нет времени собраться с мыслями, причем боюсь, что если бы время нашлось, то не оказалось бы мыслей. Мне всегда недостает ровно половины до чего-то целого. Насчет будущего ничего не решила, жду окончательного ответа от прокуратуры, сколько ждать еще — неизвестно, а главное — неизвестно, каков будет ответ. И ничего я не могу уравнять с этими двумя неизвестными. Так и живу машинально. Все более или менее осточертело, кроме природы. День прибавляется, прибывает, как полая вода, в лыжнях, колеях, оврагах лежат весенние, синие тени, с крыш свисают хрустальные рожки сосулек, и солнце, с каждым днем набирая сил, поднимается все выше и выше, без заметного труда. Так все это хорошо, так нетронуто, бело и просторно! И небо, белое с утра, голубеет к полудню, доходя к вечеру до нестерпимого ультрамарина, и потом сразу ночь. И тоска здесь своя, особенная, не похожая ни на московскую, ни на рязанскую, ни вообще на тоску средней полосы! Здесь тоска лезет из тайги, воет ветром по Енисею, исходит беспросветными осенними дождями, смотрит глазами ездовых собак, белых оленей, выпуклыми, карими, древнегреческими очами тощих коров. Здесь тоска у-у какая! Здесь тоска гудит на все пароходные лады, приземляется самолетами, прилетает и улетает гусями-лебедями. И не поет, как в России. <...>

Но — тоска тоской, а забавного много. Например — заместитель председателя передового колхоза им. Ленина — шаман, настоящий, воинствующий, практикующий! Именно он и осуществляет «связь с массами», и, прочитав над ними соответствующие заклинания, мобилизует их на проведение очередного мероприятия, вроде заключения соцдоговора о перевыполнении плана пушнозаготовок.

А вот тебе стихотворение, при мне написанное очень милой девушкой «с образованием» одному тоже очень милому молодому человеку на подаренном снимке:

«Быть может нам встретиться не придется,
Настолько несчастная наша судьба.
Пусть на память тебе останется
Неподвижная личность моя».

На каковой личности и заканчиваю свое, неизменно нелепое, письмо. Целую тебя и люблю. Привет всем твоим.

Твоя Аля

Как отмечал В. Иванов свой юбилей? Никто из гостей не помешал? А жаль!

Туруханск, 28 марта 1955

Дорогой мой Борис, можешь меня поздравить, получила реабилитацию. Дело пересматривалось без нескольких дней два года, за которые я уж и ждать перестала. Прекращено дело «за отсутствием состава преступления». Теперь я получаю «чистый» паспорт (это уже третий за год) и могу ехать в Москву. Я так удивлена, что даже еще не очень рада, еще «не дошло».

Впрочем, до меня зачастую «не доходит» вовремя, я поэтому в годины сильных переживаний смахиваю, в отношении эмоций, на скифскую (или какую там!) каменную бабу.

Так что, наверно, с навигацией поеду в Москву, где у меня ни кола, ни двора, и тем не менее я считаю ее своею.

Одним словом, «и ризу влажную свою сушу на солнце под скалою». Боренька, даже если я буду близко, я никогда не буду тебе мешать работать, не буду навязываться к тебе в гости и даже не буду звонить по телефону (это все после того, как сгоряча продемонстрирую тебе свой еще один паспорт и расцелую тебя по приезде). Ну, а если так пройдет слишком много времени, то я тебе, по старой привычке, напишу очень талантливое письмо, и ты сам позвонишь мне по телефону и скажешь, что очень занят и очень любишь меня. И всегда собираюсь написать что-то толковое, и сбиваюсь на чушь!

Крепко тебя целую.

Твоя Аля

21 июня 1955

Дорогой Боренька, вот уж неделя, как я приехала. Очень хочу тебя видеть, т. к. от тебя давным-давно ни ответа, ни привета. Только Журавлев[1] немного рассказал о тебе. Напиши, пожалуйста, когда к тебе можно приехать, чтобы почти что не помешать, и как к тебе добраться — ты однажды объяснял, но я забыла, т. к. приехала тогда на машине, а то письмо, где объяснял, идет багажом вместе с остальным и еще не прибыло в Москву.

Крепко, крепко тебя целую. Сердечный привет Зинаиде Николаевне.

Твоя Аля

Я живу в Мерзляковском — 16 кв. 27, на всякий случай телефон К-4-95-71 (уже прописали — и даже с улыбкой!).

Болшево, 20 августа 1955

Дорогой Боренька, сейчас разбираю мамины стихи, и захотелось мне напомнить тебе этих «Магдалин» — все те же волосы, о которых ты мне говорил, и те же грехи!

Крепко тебя целую, и Лиля, и Зина тоже шлют привет.

Твоя Аля

В маминых записных книжках и черновых тетрадях множество о тебе. Я тебе выпишу, многого ты, наверное, не знаешь. Как она любила тебя и как *долго* — всю жизнь! Только папу и тебя она любила, не разлюбливая. И *не* преувеличивая. Тех, кого преувеличивала, потом, перестрадав, развенчивала.

МАГДАЛИНА

1

Между нами — десять заповедей:
Жар десяти костров.
Родная кровь отшатывает,
Ты мне — чужая кровь.

Во времена евангельские
Была б одной из тех...
(Чужая кровь — желаннейшая
И чу́ждейшая из всех!)

К тебе б со всеми немощами
Влеклась, стлалась — светла
Масть! — очесами демонскими
Таясь, лила б масла́ —

И на ноги бы, и под ноги бы,
И вовсе бы так, в пески...
Страсть, по купцам распроданная,
Расплеванная, — теки!

Пеною уст и накипями
Очес — и по́том *всех*
Нег... В волоса заматываю
Ноги твои, как в мех!

Некою тканью под ноги
Стелюсь... Не тот ли (та!)
Твари с кудрями огненными
Молвивший: «Встань, сестра!»

26 авг. 1923 г.

2

Масти, плоченные втрое
Стоимости, страсти пот,
Слезы, волосы, — сплошное
Исструение, а тот,

В красную сухую глину
Благостный вперяя зрак:
— Магдалина! Магдалина!
Не издаривайся так!

[1] Д. Н. Журавлев — чтец, ныне народный артист СССР.

3

О путях твоих пытать не буду,
Милая! — ведь все сбылось.
Я был бос, а ты меня обула
Ливнями волос —
И — слез.

Не спрошу тебя, какой ценою
Эти куплены масла̀.
Я был наг, а ты меня волною
Тела — как стеною
Обнесла.

Наготу твою перстами трону
Тише вод и ниже трав.
Я был прям, а ты меня наклону
Нежности наставила, припав.

В волосах своих мне яму вырой,
Спеленай меня без льна.
— Мироносица! К чему мне миро?
Ты меня омыла,
Как волна.

31 августа 1923 г.

3 октября 1955

Боренька, нашла в маминой записной книжке (м. б., это вошло в ее прозу о тебе? не знаю — не перечитывала лет 20).

«Есть два рода поэтов: парнасцы и — хочется сказать — везувцы (-ийцы? Нет, везувцы: рифма: безумцы). Везувий, десятилетия работая, сразу взрывается всем (NB! Взрыв — из всех явлений природы — менее всего неожиданность). Насколько такие взрывы нужны? В природе (а искусство не иное), к счастью, вопросы не существуют, только ответ. Б. П. взрывается сокровищами».

Боренька, а ведь это о твоем романе (хоть запись и 1924 г.!).

Как-то ты живешь, мой родной? Целую тебя и люблю.

Твоя Аля

Ты мне ничего не ответил о романе: переписывается ли, переписан ли, когда и как можно прочесть?

3 апреля 1957

Боренька, дорогой, знаю о тебе все, что возможно, угадываю все остальное. Знаю, что теперь дело пойдет на поправку — уж так мы все загораживаем и завораживаем тебя от болезни! Главное, ни о чем не тревожься (самый глупый из всех человеческих советов и самый невыполнимый!) — но в самом деле все у нас всех хорошо и, главное, денег на всех и на все хватает. Так что эти хотя бы заботы выбрось из головы.

Весна идет, мой дорогой, прилетели и грачи, и жаворонки, и скворцы, скорей поправляйся. Я была два дня в Тарусе и слушала все голоса, которые передать умеешь только ты — и почти зримый узор жаворонночьей песенки в пустом чистом небе, и как невидимый под снегом ручеек полощет себе горлышко, и как петухи перекликаются, все, все слушала, еще не пересказанное тобой в стихах.

Скорей поправляйся, будь тверд и силен нашей верой и любовью.

Я рада, что ты в кремлевской больнице, тебя там скорее вылечат, чем где бы то ни было, а тем не менее жалко, что ты не дома и нельзя к тебе прокрасться и убедиться еще и еще раз в том, что, несмотря на все страданья, ты светел и хорош, и красив, и вечно молод, и дай тебе Бог поскорей поправиться, и нам поскорей увидеться, и прости за бред сивой кобылы, и целую тебя, родной, пусть у тебя ничего не болит.

Наши Лиля и Зина тебя целуют и любят. Большой привет просила передать Любовь Михайловна Эренбург накануне отъезда в Японию («сам» уже там) и пожелания скорого выздоровления.

Твоя Аля

28 августа 1957

Дорогой мой Боренька! Тысячу лет не писала тебе, но знала основное — что ты чувствуешь себя лучше. Слава Богу. Еще в один из коротких приездов в Москву узнала в Гослите, что твоя книга стихов непременно выйдет в этом году. А вот что хотелось бы узнать: сильно ли изменился ее состав и что с предисловием? Напиши мне хоть две строчки о своих делах. Очень мило по сибирской инерции продолжать держать тебя в душе — и только, но там ведь к этому меня обязывали расстояния, и еще всякие другие непреодолимости, а сейчас ведь по-другому («Так — никогда, тысячу раз иначе!»), и, пожалуй, нет никакой нужды совсем не видеться и даже не переписываться!

Милый друг мой, как ты живешь, как твоя поясница, как колено? Что ты делаешь? Что, помимо слухов, на самом деле с книгой стихов и с предисловием? Как «Доктор»? И еще: что говорят доктора? И еще: как ты выглядишь? Ходишь ли гулять?

Я в Тарусе, видимо, недалеко от того имения, о котором ты упоминаешь в своем предисловии, в той самой Тарусе, где прошло детство и отрочество маленьких Цветаевых, где все прошло, кроме, вопреки пословице, окской воды. Собор, где кто-то из Цветаевских прадедов моих был священнослужителем, теперь превращен в клуб, в прадедовском доме артель «вышивалок», в бабкином — детские ясли, вместо старого кладбища — городской сад. Домик, в котором росли мама и Ася, — уцелел почти неизмененный, там живет прислуга и «обслуга» дома отдыха. До Цветаевых там жил — и умер — Борисов-Мусатов: мама рассказывала, что в комнате, отданной детям, долго еще выступали после всех побелок и окрасок следы кисти Борисова-Мусатова; последнее время своей жизни он работал лежа, стены и потолок комнатки в мезонине служили ему палитрой. — Но в чем же дело? Почему именно река остается неизменной? Почему уже давно не та вода остается той самой рекой? Нет больше никого из живших здесь — никого больше! Ни Вульфов, ни Цветаевых, ни Поленова и Борисова-Мусатова, ни милого Бальмонта, ни милого Балтрушайтиса, ни многих-многих единственных! А река остается — и теперь я смотрю на нее и, благодаря ее неизменности, вижу, осязаю, пью из того источника, который оказался творческим для мамы. Вот это все она видела впервые и на всю жизнь, здесь родились ее стихи, родились, чтобы не умереть. Вот они, рябина и бузина всей ее жизни, горькие ягоды, яркие ягоды. Вот и деревья, у которых «жесты трагедий», и река — жизнь, Лета, и все равно жизнь.

А все же я до многого дожила — спасибо судьбе, Богу и людям. Дожила до встречи с тобой, и вот теперь до встречи с самими истоками маминой жизни и ее творчества, дожила до собственной своей предыстории! Дожила и до того, что прочла твой роман, и предисловие к стихотворной книге, где так глубоко и просто о маме — ведь все это чудеса из чудес, и, когда хочется немного поворчать, чудеса — останавливают меня и не позволяют мне быть мелочной... Ах, Боренька, все-то мы мелочны! Ведь важно, чтобы написано было, ведь именно в этом чудо, а мы еще хотим и издания написанного, т. е. чуда в кубе! Ну, хорошо, милый, м. б., доживем и до этого, но ведь гораздо важнее, что написанное тобой и мамой доживет до поколений, которых мы сейчас и угадать-то не можем, и с ними вы будете «на ты». Дорогой ценой заставляют сегодня платить за право жить в завтра, жить во всегда.

Крепко тебя целую, будь здоров!

Твоя Аля

Валентин Никитин

КРЕЩЕНИЕ РУСИ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Исполнилось 1000 лет со времени крещения Руси. Генеральная Ассамблея ЮНЕСКО призвала все государства-члены отметить эту дату как крупнейшее событие мировой истории и культуры.

Крещение Руси — та точка отсчета, с которой начинается нравственное совершеннолетие русского народа, становление его церкви, государственности и культуры. «Высшие формы культуры X—XIII вв.— письменность, общественная мысль, литература, живопись, зодчество — были тесно связаны с основным культурным событием того времени — принятием и распространением христианства»,— отмечает академик Д. С. Лихачев.

Благодаря заметному улучшению атмосферы в нашем обществе, особенно за последние три года, юбилей получил большой резонанс в самых широких научных, культурных и, разумеется, церковных кругах. Отношение общественности к этому событию заинтересованное и благожелательное. Выражением такого отношения является, в частности, недавнее решение Советского правительства о передаче Русской Церкви знаменитого монастыря — Оптиной пустыни, история которого связана с жизнью и творчеством великих русских писателей — Гоголя, Достоевского, Толстого.

Советское государство отдает должное усилиям Русской Церкви в деле сохранения и упрочения мира, ее позитивной роли в укреплении семьи, правопорядка и нравственности, в восстановлении многих историко-архитектурных памятников, что само по себе имеет общекультурное и воспитательно-патриотическое значение. «Человечество и его культура не могут не быть раздробленными, если не руководятся высшими задачами духа,— писал выдающийся ученый-энциклопедист Павел Флоренский.— Большинство культур было именно прорастанием зерна религии, горчичным деревом, разросшимся из семени веры».

Сегодня нужен синтез нового политического мышления, науки и культуры в ее широком понимании, с учетом тех или иных религиозных традиций, которые несут положительный заряд гуманистической нравственности. Это принципиально важно для созидания международного доверия, для продолжения и развития диалога и сотрудничества между Востоком и Западом.

Социалистический плюрализм и социалистическая демократия допускают достаточно широкие рамки для взаимопонимания и сотрудничества представителей различных мировоззрений, верующих и неверующих, всех людей доброй воли, объединенных общим устремлением и общей надеждой — сохранить мир, обеспечить счастливое будущее для грядущих поколений.

Оглядываясь на 1000-летний путь, пройденный Русской Церковью, отечественной культурой и государственностью, мы по-новому осознаем их взаимосвязь и взаимообусловленность; становится очевидно не только исключительное значение православия в истории России, но и исключительное значение России в судьбах православия.

В середине X века в состав Киевской Руси как государственного образования входили различные славянские племена на обширных пространствах Восточной Европы — от Причерноморья до Западной Двины. Несмотря на генетическую и этническую близость, духовного единства между ними не было: языческое многобожие не только не способствовало, но и мешало этому. Славяне-язычники поклонялись духам природы, у них бытовали пережитки ритуальных человеческих жертвоприношений, многие варварские обычаи основывались на законе кровной мести.

Неудивительно, что власть киевских князей была менее устойчивой, чем верховная власть в соседних, принявших христианство странах — Болгарии, Чехии, Венгрии и Польше (не говоря уже о Византии).

Известно летописное предание о «выборе вер», согласно которому киевский князь Владимир отправил посланцев в чужие земли, чтобы узнать, как веруют соседи. Достоверность этого предания спорна, но, безусловно, оно отражает реальное положение: Русь в X веке стояла на распутье. Единое государство не могло более жить разрозненными языческими верованиями. Историческая необходимость требовала универсальной и «интернациональной» религии — ведь русское государство с самого начала было многонациональным союзом не только славянских, но и финно-угорских, некоторых тюркских и других племен. Именно христианство, в котором все народы равны перед Богом, обеспечивало в тех условиях возможность дальнейшего историко-культурного прогресса.

Считая принятие новой веры делом не частным, а общественным, князь Владимир, по преданию, устроил богословский диспут, о котором мы узнаем из повествования Нестора Летописца. Выслушав магометанского, христианских (латинянина и грека) и иудейского проповедников, князь Владимир избрал христианство. Вопрос о крещении был передан на рассмотрение собрания старейшин, которые решили «испытать веру» на месте. Отправленные с этой целью в Византию русские посланцы были восхищены красотой богослужения у греков, в Софийском соборе Константинополя. Это обстоятельство оказалось решающим для выбора восприемников при крещении. Не случайно русские богословы определяют православие как «любовь к красоте, умную красоту и духовное художество».

Интересно, что в скандинавской саге «Хеймскрингла» (XII—XIII вв.), посвященной королю и христианскому просветителю Норвегии Олафу Тригвасону, повествуется о том, что в бытность свою на службе у князя Владимира после возвращения из Константинополя, где Олаф крестился, он своими уговорами помог обращению Владимира.

Языческие волхвы не смогли оказать серьезного сопротивления; по приказу великого князя все идолы были уничтожены, главный из них — Перун низвергнут в Днепр. Вот как, основываясь на русских летописях, описывает Крещение Руси М. В. Ломоносов:

«По сем назначил Владимир день всему народу киевскому для принятия святого крещения, объявив, что ежели кто в установленное время не явится на реке Почайной [приток Днепра], тот Господу Богу Иисусу Христу и ему будет противник. Собралось неисчислимое множество народа на указанный день и место. И сам великий самодержец со всем синклитом и освященным собором украсил присутствием великое сие действие и чудное позорище. При береге на плотах стоят облаченные священники и диаконы, река наполнена обнаженными людьми всякого возраста и пола: иные в воде по колена, иные по пояс, другие по шею — моются, купаются, плавают. Между тем читают крещальные молитвы; каждый по особливом погружении получает в крещении имя и помазание миром» («Древняя Российская история»).

Крещение киевлян совершилось летом 988 года, вероятно, 1 августа. Существует мнение, что именно в память об этом в Русской Церкви установлено совершать чин малого освящения воды 1 августа. Сам князь Владимир принял крещение за год до того; по некоторым данным — в Херсонесе (Корсуни), по другим — в Киеве или близ Киева — Василеве (ныне город Васильков). По преданию, после крещения с ним произошла изумительная перемена. Известный беспутством, князь Владимир распустил свой гарем. В браке с византийской царевной Анной проявил себя преданным супругом, своим примером содействуя утвер-

ждению христианского единобрачия на Руси. В делах управления и в личной жизни князь Владимир стал руководствоваться евангельскими принципами любви и милосердия. Он неизменно заботился о нуждающихся, «раздавая имение убогим, и нищим, и странникам, и по церквам и по монастырям».

988 год стал переломным для русской истории. Именно тогда в лоне церкви и государственности были посеяны семена единой национальной культуры. Церковное богослужение требовало широкого распространения грамотности и развития искусства. В течение многих столетий школа и просвещение оставались на Руси преимущественно церковными. Выдающиеся достижения русской архитектуры, живописи и музыки воплощались в церковных памятниках. И поныне непревзойденной вершиной в мировой живописи остается древнерусская икона. Православие как религия одухотворенной любви и красоты наложило печать гуманности на древнерусские гражданские законы.

Наиболее значительные и достоверные свидетельства, объясняющие обращение князя Владимира в христианство и крещение Руси, мы находим у трех русских писателей XI века: митрополита Киевского Илариона, монаха Иакова и преподобного Нестора Летописца, автора «Повести временных лет».

В похвальном слове князю Владимиру митрополит Иларион писал: «Пришло на него посещение Вышнего... и воссиял в сердце его разум; он уразумел суету идольского заблуждения и взыскал Единого Бога, сотворившего все видимое и невидимое».

Монах Иаков подчеркивает влияние на Владимира рассказов его бабки, великой княгини Ольги, которая приняла крещение в Константинополе на три десятилетия раньше.

Нестор Летописец объясняет крещение Владимира мистическими мотивами — явлением ему Христа и повелением креститься.

Все три писателя указывают, что Владимир настойчиво и вдохновенно утверждал свой план полной христианизации Руси: «Крести же всю землю рускую от конца и до конца». И действительно, еще при жизни князя Владимира (умер в 1015) Русь почти повсеместно приняла крещение. Епископские кафедры были основаны в Киеве, Белгороде, Владимире-Волынском, Чернигове, Туровске, Полоцке, Переяславле, Новгороде Великом, Ростове Великом, Тмутаракани. По всей Руси в городах и селах воздвигались храмы.

Успех христианизации объясняется не только тем, что православие не противоречило русскому национальному характеру, но и тем, что истины новой веры прозвучали на родном славянском наречии: к этому времени появились переводы Евангелия и богослужебных книг, осуществленные создателями славянского алфавита братьями-просветителями Кириллом и Мефодием.

Старославянский литературный язык, разработанный благодаря этим переводам, стал общегосударственным языком Киевской Руси, «столпом и утверждением» просвещения и культуры, подтверждением генетического и духовного единства всего славянского мира. «Древний греческий язык,— писал А. С. Пушкин,— открыл ему [славянскому] свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи...».

Здесь уместно сказать, что большинство европейских народов вплоть до эпохи Реформации (XVI в.) пользовалось латинскими и греческими текстами, не имея переводов Нового Завета на свои национальные языки.

С крещением Руси связано и введение византийского юлианского календаря, принятого тогда в Европе. Он появился на Руси в X веке как результат ее приобщения к христианской культуре.

Народная память, сохранявшая образ Единой Руси, какой она была при князе Владимире, вдохновлялась этим образом впоследствии, в период татаро-монгольского ига, черпала в былом идеале духовные силы, необходимые для борьбы за национально-государственное возрождение. Князь Владимир по достоинству получил в народных былинах и сказаниях прозвище «Владимир Красное Солнышко». Память его чтилась церковью уже в следующем поколении,

при сыне его великом князе Ярославе Мудром (1019—1054), который продолжил дело отца.

При нем, по словам летописца, «начала вера христианская плодиться и распространяться; и черноризцы [монахи] стали множиться, и монастыри появляться».

Будучи исключительно образованным человеком, знающим европейские языки, Ярослав Мудрый содействовал сооружению «множества церквей», в том числе знаменитых Софийских соборов в Киеве и Новгороде Великом.

В 1051 году был основан Киево-Печерский монастырь, ставший центром духовного просвещения на Руси. В нем переписывались и переплетались книги, осуществлялись переводы, достигло больших успехов искусство иконописания. Первые русские иконописцы — монахи Киево-Печерского монастыря преподобный Алипий (умер ок. 1114) и Григорий (XI в.) были достойными учениками греческих мастеров.

В 1025 году Ярослав Мудрый открыл в Новгороде училище, в котором обучали грамоте и наукам триста юношей. Тогда же при Софийском соборе Новгорода была учреждена первая на Руси публичная библиотека. Впоследствии летописцы, желая похвалить Владимира и Ярослава, говорили: «Владимир взорал [вспахал] землю Русскую, Ярослав засеял книжною мудростию, а мы пожинаем плоды их».

Но языческие суеверия и верования, различные пережитки язычества еще долгое время продолжали существовать на Руси. Отсюда так называемое «двоеверие» (смешение языческих и христианских элементов). В святочных обычаях, например, сохранялись отголоски древних языческих праздников и мистерий, связанных с днем зимнего равноденствия и поворотом солнца на лето. Достаточно вспомнить балладу В. А. Жуковского «Светлана». Вообще, надо сказать, что православие, пришедшее на Русь, сопровождалось множеством различных апокрифических сказаний и было ярко расцвечено богатой народной фантазией.

И все же, хотя отдельные «вкрапления» язычества еще оставались, вся жизнь и весь быт русского человека были оцерковлены. Христианские праздники стали основными календарными вехами, определявшими ритм труда и отдыха, начало и конец земледельческих работ. Это хорошо показал Василий Белов в своих очерках о народной эстетике «Лад»: «Деревенские праздники, обусловленные православным календарем, служили не одному веселью или отдыху. Они же несли в быт организующее начало, упорядочивали трудовую стихию, были своеобразными вехами, главными ориентирами духовной и нравственной жизни».

Соотнесение язычества с христианством представляет значительный интерес для изучения русской средневековой культуры. Современный исследователь А. Л. Топорков отмечает: «Игнорирование христианских верований как якобы легкого покрова, под которым всегда обнаруживается языческая старина, мешает должным образом оценить вклад древнерусской литературы в национальную культуру и ограничивает возможности исторического изучения фольклора».

Привнеся в русскую жизнь новое миропонимание, православие оказало всестороннее влияние на русскую культуру и письменность. Оно культивировало представление об абсолютной ценности человеческой личности, вместо языческой «свободы» от этических норм утверждало общий для всех нравственный кодекс, основанный на чувстве вины и голосе совести; православную культуру по праву можно считать «культурой совести». Об этом свидетельствуют дошедшие до нас памятники Древней Руси: «Слово о Законе и Благодати» митрополита Киевского Илариона (умер в 1088), историческая хроника «Повесть временных лет» Нестора Летописца (1056—1113), сборник жизнеописаний святых «Киево-Печерский патерик» (XII — начало XIII в.), слова и послания епископа Туровского Кирилла (умер в 1183), «Моление Даниила Заточника» (конец XII — начало XIII в.) и другие. Они впитали в себя лучшие традиции византийского красноречия. Подлинный шедевр древнерусской литературы — всемирно известное «Слово о полку Игореве» (1187). Эти произведения стали ядром не только стремительно расцветшей самобытной литературы Киевской Руси, но и всей древнерусской литературы. Былинный и сказочный эпос, народные песни, ска-

зания, пословицы, а впоследствии «духовные стихи» вобрали в себя радостный дух первохристианства.

В истории Руси запечатлелась огромная созидательная энергия и поистине выдающаяся культурная роль Русской Церкви. С X по XIII в. на Руси было построено около 10 тысяч храмов и 200 монастырей. Тысячи рукописных книг, значительная часть которых пришла из Болгарии, Сербии и с Афона, получили широкое распространение. С закладки храма и крепости (кремля), как правило, начиналось основание нового города. Так возникла русская градостроительная традиция. В этот период были построены Суздаль и Муром, Владимир и Ростов Великий, Ярославль, Углич, Тверь, Нижний Новгород, Переславль-Залесский и многие другие города. Русь по праву удостоилась наименования «страна зодчих».

В середине XII — начале XIII в. смоленский князь Роман Ростиславич, владимирский князь Всеволод Большое Гнездо и его сын Константин значительные средства тратили на строительство и содержание церковноприходских народных школ. Киев и Смоленск, Новгород и Владимир можно, безусловно, считать образцовыми, весьма благоустроенными по тогдашнему уровню европейскими городами.

Найденные в наше время новгородские берестяные грамоты красноречиво свидетельствуют о широкой образованности всех сословий в Древней Руси. Судя по ним и надписям «граффити», по старинным сказаниям и былинам, запечатлевшим много конкретных черт древнерусской жизни, грамотность и образованность в Новгороде Великом были общедоступны. Православная культура шире и глубже, чем в других центрах Древней Руси, проникала здесь в массы населения. Древнейшая русская датированная рукопись «Остромирово Евангелие» была написана в 1057 году в Новгороде по заказу посадника Остромира. Новгородские летописи принадлежат к древнейшим русским историко-литературным памятникам. Они легли в основу Воскресенского собрания рукописей, хранящегося ныне в Государственном Историческом музее. В 1136 году новгородский математик иеродиакон Кирик составил замечательный памятник древнерусского календаря — «Учение имже ведати человеку числа всех лет».

Когда наступил период феодальной раздробленности, Русская Церковь осталась единственной носительницей идеи национального и государственного единства. В любом княжестве, чьим бы гражданским подданным ни был русский человек, у него оставался один и тот же духовный владыка — митрополит Киевский и всея Руси. Служители церкви сурово осуждали распри и междоусобицы удельных князей.

Феодальная раздробленность послужила главной причиной того, что Русь не смогла дать отпора татаро-монгольскому нашествию. Полчища хана Батыя в 1240 году захватили и сожгли матерь городов русских — Киев, разрушили храмы, предали поруганию Киево-Печерскую лавру, расхитили и уничтожили многие бесценные сокровища русской культуры.

Два с половиной века татаро-монгольского ига были для русского народа не только эпохой жестокого внешнего давления, но и временем незримой внутренней работы по собиранию духовных и нравственных сил. Русские люди сохранили веру своих отцов и дедов, свои национальные и культурные традиции.

Одновременно с политическим «собиранием Руси» шло «культурное собирание»; оба эти процесса вдохновлялись общенациональными задачами, в их осуществлении большую роль играла церковь.

Испытывая суеверный страх пред неведомым Богом христиан, татары считались с русским духовенством. Церковь старалась утишить и облегчить скорби народа, примирить враждующих князей, направить их усилия на создание единой Руси. Это принесло добрые плоды, поверженная страна начала возрождаться к жизни.

В 1299 году при родоначальнике московских князей Данииле (1261—1303) митрополичья кафедра была перенесена из Киева во Владимир-на-Клязьме. В 1325 году митрополит Петр (1308—1326) переехал из Владимира в неприметную, затерянную в лесах деревянную Москву, предсказав ей будущее величие. Его преемник митрополит Феогност (умер в 1353) окончательно утвердил в Москве митрополичью кафедру, что предопределило ее превращение в столицу государства.

В течение семи лет (1326—1333) московским князем Иваном Калитой были возведены в новом первопрестольном граде семь каменных храмов. Московские мастера успешно развивали искусство владимирских зодчих, создавших русскую национальную школу архитектуры.

Духовной твердыней, на которую опиралась новая русская столица, стал Троицкий монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским (ок. 1314—1392). Отсюда началось собирание Руси в единое государство. Здесь в 1380 году Сергий Радонежский благословил на ратный подвиг князя Дмитрия Донского, вооружил его верой в победу, дал ему в подкрепление двух своих любимых учеников — иноков-богатырей Пересвета и Ослябю.

Победа над ордами Мамая на Куликовом поле досталась нам великой ценой. Лишь один из десяти русских воинов вернулся домой. С 1380 года церковь установила литургическое совершение Вечной памяти о всех павших там.

Объединение Москвой русских земель, которому всемерно содействовала церковь, воодушевило и сплотило русский народ, вызвало мощный патриотический подъем, способствовало росту национального самосознания и культуры.

В. О. Ключевский справедливо писал: «Московское государство родилось на Куликовом поле». В это время на русский язык были переведены многие творения византийских церковных писателей: Василия Великого, Исаака Сирина, Иоанна Лествичника, Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова и других.

Интересно отметить, что под влиянием духовно-патриотического подъема в Москве и Владимире в начале XV века появились первые высокие иконостасы. Образцом для них стал иконостас Благовещенского собора в Московском Кремле, расписанный гениальными художниками Феофаном Греком, Андреем Рублевым и Даниилом Черным.

Многоглавые русские храмы с маковками и луковками, устремленными к небу, как пламя свечей, столь разнообразны в облике, пропорциях, убранстве и деталях, что не устаешь удивляться мастерству и воображению русских зодчих, их самобытному таланту.

В XIV — начале XV вв. на Руси были созданы замечательные литературные памятники: «Житие митрополита Петра», «Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище», «Житие Сергия Радонежского» и другие. Значительное распространение получило местное летописание.

Духовное и культурное возрождение Руси выразилось в расцвете церковного зодчества и иконописи. В конце XIV века в Московском Кремле была возведена каменная церковь в честь Воскрешения праведного Лазаря, расписанная в 1395 году Феофаном Греком и Симеоном Черным. Вдова великого князя Дмитрия Донского Евдокия основала первый в Москве девичий монастырь. Успешно развивались различные художественные ремесла, ювелирное искусство (в частности, искусство скани), книжная миниатюра. Свою знаменитую «Троицу» Андрей Рублев написал в похвалу Сергию Радонежскому, выразив в этой иконе идею единения и взаимной любви.

Привлеченные размахом строительства, в Москву перебирались лучшие зодчие и художники, мастера-ремесленники из Владимира и Твери, Новгорода и Пскова. Их неустанными трудами Москва превращалась в белокаменную и златоглавую столицу новой великой державы.

Книжная миниатюра и книжный орнамент, резьба по дереву, кости и камню, металлическое литье и бронзовая скульптура, церковная музыка и пение — во всех этих видах искусства русские мастера создали неповторимые шедевры. В росписях новгородских иконописцев того времени заметно влияние византийского искусства, например, в знаменитых фресках Феофана Грека и его учеников; творчески усваивая это влияние, новгородские и псковские художники создали оригинальную школу иконописи. Лучшие традиции Андрея Рублева продолжил другой гениальный русский художник — Дионисий, работавший вместе со своими сыновьями во второй половине XV — начале XVI в.

В 1480 году окончательно пало ордынское иго. На смену униженной и политически раздробленной Руси пришла свободная и внутренне окрепшая великая Русь — Россия.

К этому времени весь лесистый север страны покрылся сетью крупных монастырских хозяйств. «Вокруг монастырей оседало бродячее население, как корнями деревьев сцепляется зыбучая песчаная почва... Многочисленные лесные монастыри становились опорными пунктами крестьянской колонизации: монастырь служил для переселенца-хлебопашца и хозяйственным руководителем, и ссудной кассой, и приходской церковью, и, наконец, приютом под старость»,— писал В. О. Ключевский. Издревле существовавший на Руси обычай делать вклады в монастыри («на помин души») иконами превращал их в сокровищницы национальных художественных святынь.

Благодаря деятельности монастырей началось мирное освоение огромных земельных пространств. Оно шло одновременно с широкой просветительской и миссионерской деятельностью. Епископ Стефан (умер в 1396), просветитель зырян, изобрел для них азбуку, перевел необходимые книги, открыл училище для обучения грамоте. Монахи Сергий и Герман (умерли в 1353) основали Валаамский монастырь на островах в Ладожском озере. Савватий (умер в 1438) и Зосима (умер в 1478) положили начало крупнейшему на севере Европы Соловецкому монастырю на островах Белого моря. Феодорит Кольский (начало XVI в.) был просветителем лопарей. Его труды продолжил в середине XVI века Трифон Печенгский, основавший монастырь на Кольском полуострове

В 1453 году произошло событие, потрясшее весь европейский мир: под натиском турок пал Константинополь и вместе с ним пала тысячелетняя Византия. Московская Русь стала ее исторической преемницей. В этих условиях в России возникла новая церковно-государственная концепция, получившая название «Москва — третий Рим».

Великий князь Московский Иван III (1462—1505) по праву именовался уже «Государь всея Руси». При нем была осуществлена реконструкция Московского Кремля, который превратился в могучую крепость. Центром Кремля стал Успенский собор, возведенный по проекту итальянского зодчего Аристотеля Фиораванти. Белокаменные соборы с золотыми куполами, сонм многоцветных церквей и часовен в окружении дворцов, палат и хором, могучий треугольник зубчатых стен с башнями, вознесшимися над излучиной реки, в ярких архитектурных образах воплотили идею духовного единства России. Москва превратилась в столицу могучей державы с широкими международными связями, которая заняла достойное место среди цивилизованных государств Европы.

В Москве и ее окрестностях были основаны Богоявленский (1460), Новоспасский (1462), Воскресенский (1479), Николо-Угрешский (1488), Космодамиановский (1498) и другие монастыри. Много новых монастырей появилось и в других русских городах.

Большим успехом русской культуры стало начало книгопечатания. При содействии митрополита Макария в Москве была устроена первая типография, из которой в конце 50-х—начале 60-х годов XVI в. вышел основной круг богослужебных книг. Первой точно датированной московской печатной книгой, изданной русским первопечатником диаконом Иваном Федоровым, был Апостол (1564). История сохранила имена архиепископа Новгородского Геннадия (под руководством которого был осуществлен первый славянский перевод всей Библии), выдающегося переводчика и философа-гуманиста Максима Грека, видного богослова Зиновия Отенского и других.

По мере укрепления Русского государства и возрастания авторитета Русской Церкви назревал вопрос об учреждении Московского Патриаршества. Митрополит Московский Иов был избран на Церковном Соборе 1589 года первым Московским Патриархом.

Учреждение Патриаршества благотворно сказалось на развитии русской культуры. Москва стала общерусским духовным и государственным центром, в котором трудились выдающиеся представители национальной культуры, создавались литературные памятники и летописные своды.

В так называемое Смутное время в начале XVII века, в годы тяжелых для России испытаний, когда в страну вторглись польско-литовские и шведские интервенты, Русская Церковь была верна своему патриотическому долгу. В народной памяти неизгладим патриотический подвиг иноков Троице-Сергиевой Лавры, более года выдерживавших осаду. По всей России расходились грамоты Патриарха Ермогена (1606—1612) с призывом твердо стоять за Отечество. Благодарности потомков заслуживают усилия Патриарха Никона по воссоединению Украины с Россией (1654).

Богатые культурные традиции юго-западной Руси оказали заметное влияние на развитие отечественной культуры. Воспитанники основанной в 1632 году Киево-Могилянской академии были приглашены в специально учрежденный в Москве в 1649 году Андреевский монастырь. В 1687 году на его основе была создана Славяно-греко-латинская академия. Она стала крупнейшим центром просвещения в России. Видными представителями академической науки в то время были митрополит Ростовский Димитрий Туптало (1651—1709), автор нового агиографического свода; митрополит Киевский Петр Могила (умер в 1647); писатели Епифаний Славинецкий (умер в 1675) и Симеон Полоцкий (1629—1680); первый доктор философии в России Палладий Роговский (умер в 1703).

Украинско-белорусские зодчие оказали влияние на распространение в России нового архитектурного стиля — «московского барокко». Наиболее известные сохранившиеся памятники московского барокко — храм Покрова в Филях, церкви Спаса в селе Уборы, Знамения в Дубровицах.

Отличительной чертой нового периода русской культуры, начавшегося во второй половине XVII века, было обращение к достижениям западноевропейского реалистического искусства (Симон Ушаков, Иван Максимов, Василий Познанский и другие). В это время заметно ослабевает влияние древнерусского церковного искусства.

В XVIII в. в результате усиливающегося влияния протестантского Запада и секулярных реформ, осуществленных Петром I, внутренне единая русская культура претерпевает постепенную трансформацию, разделяясь на «культовую» (церковную) и светскую. Но это уже особая тема.

Здесь мы коснулись только «допетровского» периода, который наиболее ярко характеризует тесную связь отечественной культуры с церковью и духовным просвещением, сохраняя прямую преемственность с эпохой крещения Руси. И в более поздние времена, конечно же, были значительные деятели культуры, радевшие о ее единстве, но трещина между «двумя культурами» продолжала расти и углубляться.

Благодаря подвигу реставраторов, возродивших немало прекрасных шедевров на рубеже XIX—XX вв. и в наши дни, древняя церковная традиция в какой-то мере ожила, возродилась. Велика в этом отношении заслуга Общества охраны памятников.

Несмотря на многие утраты, национально-духовные основы древнерусской культуры не забыты. Сегодня, как никогда ранее, мы отдаем себе отчет в том, что богатейшее художественное наследие Древней Руси представляет собой общенародное, а отнюдь не узкосословное явление.

«Жизненно необходимо, чтобы народ понимал свою историческую преемственность в потоке чередующихся времен,— из чувства этого и вызревает главный гормон общественного бытия, вера в свое национальное бессмертие»,— писал Леонид Леонов.

В удивительной гармонии архитектурных и иконописных форм, во всем строе православного богослужения, которое является синтезом искусств, сияет и поныне нетленная красота. Эстетика храма, храмового действа удивительно притягательна.

Наша сегодняшняя задача, одна из первостепенных,— беречь и приумножать великие традиции русской тысячелетней культуры, утвердившей приоритет

духовных ценностей над материальными запросами. Это поистине святые традиции. Память народная, таинственная связь с давно отошедшими поколениями, которые положили начало России и отстояли ее в веках,— залог созидания и обновления.

Дм. Балашов

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

В детстве я о религии, как и все школьники, знал, в общем, немного. Знал, что это «темнота и мрак» (В церкви, ежели случалось забредать с некоторым робким любопытством, и правда, было темновато после залитой огнями ленинградской улицы.) Бывал в антирелигиозном музее в подвалах Казанского собора, где выставлялись на обозрение отвратительные орудия пыток испанской инквизиции, и, как все, не задумывался о том, почему русская православная церковь должна быть ответственна за грехи католицизма на дальнем западе Европы. Вообще-то саму разницу католичества и православия я основательнее понял лишь недавно, на склоне лет. Попытка представить бессмертные души на том свете, где-то в темном и беспредельном космосе, рождала зрительное представление чего-то, схожего с лягушачьей икрой вечером в темной воде пруда. Вид бородатых, в долгополой черной одежде духовных лиц был нелеп и крайне несовременен, а приставучие нищенки на паперти никак не вызывали во мне сочувствия.

Что же касается архитектуры древних храмов, на защиту которой я безоглядно кинулся в начале шестидесятых годов, то я, ленинградец, воспитанный на послепетровском барокко и классицизме, в детстве ее тоже не понимал. Иконы, те и вовсе были для меня только черными и скучными досками.

И это при том, что рос я отнюдь не в воинственно-атеистической семье, скорее наоборот, и мама, помню, всегда умеряла, морщась, мои школьные антирелигиозные восторги.

Как началось у меня увлечение древнерусской архитектурой? Помню, Спегальский[1] влюбил меня заочно во Псков, и я на студенческие гроши, в разваливающихся сандалиях отправился осматривать псковские святыни, что в 1947 или 1948 (не помню точно) году вызывало у псковичей живейшее недоуменное удивление. «Да поглядите же, как красиво!» — восклицал я, зарисовывая очередную церквуху. Меня не понимали, косились, иногда бормотали что-то о милиции и бдительности...

Там, во Пскове, в испакощенном немцами и отечественным небрежением Снетогорском монастыре открылась мне впервые красота древней настенной живописи. Помню и никогда не забуду этого чуда, когда серые, полустертые изображения вдруг стали оживать у меня на глазах. Углубились и усилились краски, разгораясь в свою полную древнюю силу, внятны стали лихие лики, почти сатирически изображенные рукою будто бы небрежною, но уже и пронзило, что это — небрежность гения. Словно бы черная, покрытая глиной и копотью плита, что, нагреваясь, начинает раскаляться, и вот в черном проглядывает краснина, алость, и, наконец, полнокровное огненное свечение. Так разгорались передо мною дивные фрески собора, и я должен же был поделиться с кем-то! Кинулся вниз, к рабочим-строителям, объяснял им и говорил, и, верно, не живопись, а убежденность моя и восторг неофита сделали то дело, что и они начали иными глазами глядеть на древние стены и делиться со мною своими полузабытыми представлениями о красоте церковной, в которой, обнаружил я тут нежданно, больше всего ценились ими «светлость и высота»,— изъяснение, сделавшее для меня понятной архитектурную идею псковского Троицкого собора. (Уже после, год спустя, сидел я целый день один на лесах в церкви Спаса-на-Ильине в Новгороде, впитывая в себя Феофана Грека, «Троица» которого потрясла меня тогда больше, чем «Троица» Андрея Рублева.)

Кстати, Псков тогдашний, разоренный и разрушенный, был подлинным чудом: древнее зодчество словно бы вылезло, выстало из-под развалин и... встало бы, не скончайся столь рано Спегальский! Ежели бы в архитектурной среде псковской не возобладало то славное начало, которое все укладывается в формулу: «Чем меньше памятников, тем лучше!» Нынешний Псков, плотно застроенный, рядовой, таких тысячи, провинциальный городок... А мог бы быть единственным в мире! Ежели бы хоть у кого нашлось ума не вторгаться вовсе со своими новостроечными претензиями в треугольник стен старого города с Кромом и Запсковьем...

Как-то постепенно, незаметно для самого себя, понял я, что русский пейзаж, сама Русь, сама Родина наша не может существовать без хотя бы единой грозди луковичных глав, висящих в азре, без шатровой колокольни, без белеющего вдали храма,— что, впрочем, поняли уже давно и Саврасов, и Кустодиев, и Левитан...

А вот к постижению иконы я шел долго и трудно. Читая классиков, отмечал себе и особенно внимательно прочитывал отзывы, описания, мнения знатоков об иконах, но сам видел только «черные доски». И как произошло, как состоялось чудо преображения, даже не уразумел. Кажется, это было после поездки в Палех, в те же студенческие годы (то есть до 1950-го). Перед поездкой туда зашел в Третьяковку и увидел мертвую, тусклую живопись. Вернувшись оттуда, зашел снова и «увидел» сперва двух ярославских архангелов, потом «Видение лествицы», но еще не Рублева. Рублева понимал много лет, а теперь постиг, что его понимать можно всю жизнь, бесконечно, и все новое и новое будет открываться тебе. Но с цветовой гаммой иконной живописи произошло, незаметно для меня самого, то же, что и с фресками. Где-то в 1960-х уже повел я в Третьяковку знакомую на выставку икон. Начали мы с конца, то есть именно с иконы, а затем упросила меня эта дама, вдосталь измученная иконописью, пробежаться по другим отделам музея. Ну и мы пробежали в обратном порядке: через мертвый, черно-белый после цветения иконной живописи классицизм, через едва посвечивающую красками живопись середины прошлого века, и лишь на Нестерове, на Сурикове, на Кустодиеве и мирискусниках вновь начал обнаруживаться цвет, цветовая гамма, хоть и не столь упоительно властная, как в иконах. Вот тут я и понял, что у меня стали другие глаза, и понял, что видеть живопись, вообще воспринимать искусство, далеко не просто, и, может быть, не так уж и виноваты наши модерновые мальчики, не приученные смотреть и воспринимать, дикие настолько же, насколько я сам был дик в свои школьные годы.

Когда, кажется в 1964 году, ежели мне не изменяет память, попалась мне в руки бухгалтерская роспись, приговорившая к сожжению все церкви и часозни Карелии, я кинулся в бой, подобно бульдогу. Вызвал на голову Карельского Совмина громы небесные, комиссию из ЦК (за что позднее и вынудили меня уйти с работы... Ну, это иная и всегда неинтересная материя). Когда узнал, что, оказывается, всесоюзный съезд атеистов-безбожников где-то около 1960 года постановил уничтожить или перестроить, лишив внешнего вида, всю церковную архитектуру страны, мне казалось, стоит только организовать общество охраны памятников, задержать лет на двадцать этот вандализм, и психоз окончится, люди поймут, и уже не о спасении — о восстановлении погубленного будет идти

---

[1] Юрий Павлович Спегальский (1909—1969) — археолог и зодчий, всю жизнь посвятил древнему Пскову, его изучению и восстановлению. (Ред.)

речь... Двадцать лет прошло. Как я ошибался по своей тогдашней, уже относительной молодости!

Делал я в ту пору, что мог. Участвовал в оргкомитете по созданию Общества охраны памятников истории и культуры, общества, ныне готовящегося почить в бозе стараниями нашей вездесущей и бессмертной бюрократии, писал я журнальные статьи в защиту памятников старины, писал о наших «языческих» и «радостных» (пользуясь словами Горького) церквах, созданных народом, «несмотря на давящий гнет самодержавия и религиозного дурмана»... Писал, конечно, кривя душою (уж очень хотелось убедить, спасти!), пока не встретил чью-то иную статью, более зрелого и более смелого автора, сказавшего о пермской скульптуре, что создавалась она не «вопреки», а «благодаря», благодаря тому, что люди верили, и верили глубоко и сильно

И уже очень поздно, как итог своих занятий фольклористикой, понял я значение обряда для человека, символических действий, объединяющих жителя страны с его предками в единый, нерасторжимый ствол национальной истории. И что без объединения с предками нет человека, нет гражданина и личности, а есть лишь дикарь с атомной бомбой вместо камня в волосатой руке Путешествуя с инспекционными целями по ограбленному Заонежью, видел я разоренные, пустые деревни с часовнями, превращенными некогда в свинарники, с загонами, поделанными из икон, откуда несло еще застарелым свиным смрадом, и невольно приходила в голову мне библейская картина проклятой и от проклятия запустевшей земли...

Да, много мы наломали дров в нашей борьбе с религией! Вероятно, ежели сложить стоимости всех уничтоженных храмов, сожженных икон, погубленных ценностей, книг, утвари, мы могли бы на эти деньги дважды возвести заново весь жилой фонд нашей страны. Варварство вообще дорого обходится человечеству.

Очень поздно, повторю, я научился различать, что в кучу «религиозного дурмана» были свалены вещи разновременные и разновеликие, от языческой Масленицы, народных и церковных обрядов, зодчества и до философии и литературы средних веков,— спроста рещи, вся культура допетровской Руси, да и значительная часть послепетровской тоже. К тому же призыв: «Крушн, Гаврило!» — неостановим. Начав с церквей, продолжив дворцами и картинными галереями, теперь уже «крушат» кладбища с захоронениями наших воинов.

Так вот, архитектура наших храмов, радостно устремленных к духовной высоте, к свету добра и правды, это не просто архитектура как таковая, и неверно ее уравнивать, скажем, с архитектурой дворца, поместья и проч. В ней, в церковной архитектуре, была спрессована и воплощена вся глубина и вся сила общенародных духовных и эстетических устремлений. Каждый храм золотой поры — это сокровищница национального духа и должен быть сохранен во что бы то ни стало. Их и сохраняли до поры, пока, уже в XIX веке (да и в конце XVIII!), не начался нигилизм, не миновавший уже и самой церкви, и бесценные творения прошлого стали приходить в запустение и рушиться, а церковное начальство «отделывалось» от сокровищ, накопленных веками.

Церковная архитектура — это якоря, связывающие историю народа со средой его обитания, искусство, неотторжимо объединяющее человека с землею, страной, прошлым. То же и храмовая живопись. (И, скажем сразу, ежели мы даже восстановим храм, то утерянная живопись фресок и икон принципиально невосстановима.) В начале века Грабарь произнес вещие слова: «Недалек день, когда иконы новгородского письма будут ценить не менее греческих статуй». День этот пришел, но все ли постигли силу и правоту этих слов? Все ли даже знают их?

Но это пока разговор о памятниках, о «мертвом», о «священных камнях», о том, чему место в музее, прибавят иные... Однако я уже сказал, что человеку нужна и живая действенная связь времен, нужен ритуал, обрядовость, причем именно традиционная, древняя — «такая же, как у предков». И ежели нет речи о ритуальных убийствах и человеческих жертвоприношениях, то, разрази меня бог, не могу понять, почему надо осуждать человека, особенно в наши дни, который хорошо работает, не матерится и не пьет водку, но ходит в церковь? Давно доказано, что «зеленый змий» гораздо больше приносит разору, чем доходу стране! А то, что люди посещают храмы, не должно никого смущать. Дело это строго добровольное.

Истинное богословие II—VI веков н. э. выдвинуло постулат: Бог, точнее животворящая созидательная сила, нематериален (невеществен) и непознаваем. Человек наделен свободою воли, то есть его действия, поступки зависят только от него самого. И не будем думать, что наказание за грехи ждет или не ждет нас «где-то там», а Господь, взяв за шиворот, будет вытаскивать человека из всех мерзостей, в которые тот добровольно залезет. Сводя леса, поворачивая реки, отравляя воду и воздух, строя атомные станции (вспомним Чернобыль!), словом, нарушая гармонию природы, человек в конечном счете истребляет сам себя. Вот оно и наказание! И ничего, ровно ничего не изменится, ежели мы забудем про невещественное и непознаваемое божество, но не забудем все-таки о сохранении на земле вида «хомо сапиенс» — человека разумного, именно разумного, а не бандитствующего (торопящегося поскорее «взять» у природы, а там — хоть трава не расти) и будем охранять экологическую среду нашего обитания и культурные ценности, завещанные нам пращурами. Верь не верь, а эгоцентризм и всевластие несут смерть всему живому на земле. Так ли важно в конце концов называть жестокость и географический волюнтаризм грехом или экологическим самоубийством? Итог от сего не изменится! Так ли важно считать «человека разумного» единственным представителем мыслящей материи или созданием некоей мыслящей высшей силы? Процессы, происходящие на земле, от этого не меняются ни на волос, и мера ответственности не исчезает. Так есть ли истинные, принципиальные противоречия между сознанием верующего и неверующего в земном, государственном аспекте? В реальной жизни их нет. Ежели только за атеизм не принимать хамство, волюнтаризм и принцип «Живем один раз!». Так, впрочем, рассуждают не одни подзаборные забулдыги, но и весьма часто дипломированные мужчины и женщины в министерских креслах. Иначе бы наша планета не очутилась на грани всемирной катастрофы.

Короче, ничего, кроме безусловного и огромного вреда агрессивная борьба с религией, а по сути, борьба с русской культурой, не принесла и принести не может.

Давайте, если уж так хочется, соревноваться с верующими мирно: в культуре поведения, в бережном отношении к среде, природе, культурному наследию, в любви к ближнему своему. И, может быть, тогда все преткновения исчезнут и мы поймем, что есть некие высшие категории, которые воскресали, например, в минувшей войне, когда весь народ в едином порыве встал на защиту Родины, а церковь собирала средства на танковые корпуса и укрепляла дух воинов, идущих в бой с фашизмом. (Предвижу ехидный вопрос: а как же сектанты, молокане, отказывавшиеся брать в руки оружие? Думаю, они не отказались бы стать санитарами на фронте, что, кстати, не менее опасно, чем быть бойцом.)

Византийская православная церковь отъединилась от католической в силу не только богословских расхождений, но и многих исторических, политических и этнических причин. Впрочем, даже и некоторые богословские отличия (например, принцип первенства папы римского) несут на себе отзвук политических разногласий. На Западе строилась церковная иерархия. Папы боролись за земную власть.

На Востоке церковь сохраняла соборность, тверже держалась исконных принципов христианства, не признавала земной власти пап. Она была аморфнее и «добрее». Когда-то Белинский писал, что католичество было «чем-то», а православная русская церковь «ничем». Да! Правильно, не было у нас костров, на которых сжигали тысячи ни в чем не повинных женщин. Но почему их не было? Что, это произошло само собою?

В грозные десятилетия, когда страна была разорена татарами и, казалось бы, вовсе не до того, в самом конце страшного XIII века митрополит Кирилл (для несведущих: до XVI столетия, до устроения у нас патриархии, высшим религиозным лицом на Руси был митрополит), так вот, митрополит Кирилл (русский, а не

грек!) собрал во Владимире собор, для участия в котором приглашен был из Киева проповедник, получивший прозвание Серапиона Владимирского, и тут, соборно, были раз и навсегда запрещены процессы ведьм, суды над колдуиами и проч. Серапион на эту тему написал дошедшую до нас проповедь, где объяснял, что истинно верующему колдуны повредить не могут и надобно молиться и вести праведную жизнь, а не накидываться с обвинениями и доносами на ближнего своего, колдует ли он, или не колдует. Слова эти, сказанные в XIII веке, мне кажется, не устарели и ныне.

Я думаю, не стоит винить Белинского в злонамеренности. Дело было проще, он просто не знал, не ведал ни истории русской церкви, ни славных деятелей ее, ни культурно-исторической миссии русской церкви, насаждавшей просвещение, книжную культуру, летописание, ни муравьиной работы целых поколений священников по укреплению семьи, ни огромной работы по собиранию страны в единое государство... Да даже и теперь, например, нет школьника на Руси, незнакомого с кардиналом Ришелье, но кому ведом митрополит Алексий, в середине XIV века спасший страну от поглощения соседними государствами, по сути, создавший Московскую Русь! Кому ведомы истинные подвиги и роль его современника и сподвижника Сергия Радонежского?

Да, протекли века, в которых были и паденья, и взлеты. Наступило новое время, и развитие светской науки отодвинуло церковь от руководства культурой страны (хотя были, например, уже в XIX веке такие деятели, как Иоакинф Бичурин, выдающийся китаевед, заменивший целый академический институт). Да и раскол церкви, спровоцированный Никоном, не ко благу православия послужил. Да, в XVIII—XIX веках многие сокровища духа были истреблены самими служителями церкви. Но даже и упадок, и угасание разве могут перечеркнуть великие заслуги прошлого?

Все это надобно понять сейчас, когда мы отмечаем тысячелетие принятия христианства, то есть праздник, возможный раз в тысячу лет. Понять и во многом передумать, переосмыслить наше прежнее нигилистическое отношение к родной истории, к памяти пращуров и к тем, кто, не кликушествуя и не ослабевая в трудах, продолжает воспроизводить в наших действующих храмах обряды старины, великие традиции прошлого.

г. Новгород

Людмила Медведева

ПРИИДЕ КРОТОСТЬ НА НЫ

Середина ночи. Очень надо в туалет. Теперь это со мной часто, как в детстве. Хорошо, ноги попали сразу в тапочки. Тапочки... Уютное слово. Представляются такие мягонькие, с байковыми стелечками... Фу, какие склизкие, холодные, как рыба на песке.

Идти в конец коридора, все равно в какую сторону... Я ночью хожу направо, чтоб не мимо санитарки — она спит в левом холле. Боюсь, знаю, что не проснется, а все равно боюсь. Вот так, по стеночке, по стеночке... Раз палата, два палата, холл, три палата. Против пятой отрываюсь от стенки и перехожу коридор. Иду в самый конец — только там есть закрывающаяся дверь, все не привыкну у всех на виду, хотя пора бы привыкнуть, ведь я здесь пятый... нет, шестой... погоди, пятый... нет, шестой. СКОЛЬКО ЖЕ Я ЗДЕСЬ?! Господи... Раз палата, два палата. Сейчас лягу и все вспомню. Сейчас ля... Кто это на моей кровати? Пока я ходила! Встань сейчас же! Уйди! Слышишь? Жива ли? Дышит. Плеснуть воды? У меня на тумбочке стоял стакан... Нету! И челюсти моей нету! Я перепутала палату. По стеночке, по стеночке... Кажется, здесь. Нет, опять кто-то спит! Проснитесь, проснитесь, пожалуйста! Вы меня не узнаете? Да не кричите же! Вы меня не помните? Где мое место? Не понимает. Как же я устала. Раз дверь, два дверь, вот здесь уж точно моя. Господи, опять кто-то есть! Тьма, тьма кругом. Стены, двери, стены, двери.

Тьма накатывается бормотанием, клекотом, проклятиями. Она ходит уже давно, она будит, она молит: «Узнайте меня, узнайте! Откуда я? Где мое место? Мы с вами годы живем вместе, вы не помните меня? Мы сталкивались в коридоре, у телевизора, умывальника! Не помните? А вы?» Стены, двери, двери, стены, она ползет, коченея от смертного ужаса. Может, это и есть ад? Под утро она решилась разбудить санитарку.

Поговорим о стариках. Но не о тех, что достойно дряхлеют в теплом кругу детей, внучат, преданной собаки, любимой кошки. Любимых вещей («этот сервиз, внучка, мы с твоей бабушкой покупали в нашу первую комнату, а этот самовар подарили мне ученики к юбилею...»). Не о тех, чьи седины украшают президиумы и жюри, не о тех, кого вводят под руки на вернисажи и коллегии...

Поговорим о тех стариках и старухах, что носят общее имя обеспечиваемые, ибо заботится об их старости лишь государство в лице Министерства социального обеспечения. Живут они в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

Интернаты бывают разные, как бывают разными ясли, химчистки или министерства. От руководства, конечно, многое зависит, да мало ли от чего еще. Я хочу показать вам очень усредненный, очень типичный Дом-интернат, в который хоть и не водят иностранные делегации, но и комиссии по жалобам не частят. Он в Москве, но мог бы стоять в любом другом городе. Он похож на все подобные Дома вместе, и все Дома похожи на него. Собесовские учреждения бывают двух-, и трех-, и девятиэтажными. Наш выглядит так: две пятиэтажки, соединен-

ные переходом. Столовая на первом этаже, ее стены выкрашены в веселенький бирюзовый цвет, висит натюрморт с дичью и ананасами, расставлены хрупкие пляжные столики Здесь кормятся те, кого еще носят ноги — ходячие.

Ходячие занимают целый корпус, назовем его «первый». У его обитателей есть верхняя одежда, они гуляют вокруг Дома, кормят приблудных мурок своими обеденными порциями, напевают тоненькими голосками: «Мы красная кавалерия, и про нас...» Навещают они и окрестные магазины, чаще с академическим, чем с практическим интересом, ибо карманных денег у них от четырех до тринадцати рублей в месяц. (Старики, живущие в подобных домах-интернатах, получают в руки десять процентов от пенсии.) А ведь есть еще неизбежные траты на некоторые бесплатные услуги внутри Дома — банщице, чтоб помыла, медсестре, чтоб укол сделала...

Есть в Доме две гордости — их всегда показывают комиссиям и журналистам: это задорный хор с частушками про механизаторов и застенчивая старушка, мастерящая зайчиков из лоскутков. Старушка живет в первом корпусе, да и хор прибредает ка спевки своими ногами.

Для ходячих — библиотека, порой какие-нибудь лекции, а на праздники — концерты, и даже сам директор приходит поздравить их с Восьмым марта.

В другом корпусе, пусть он будет «вторым», живут люди, уже не покидающие стен Дома. Отправиться отсюда они могут лишь в два адреса: больница или кладбище. Ходячие обитатели Дома очень боятся попасть в этот корпус, называют его между собой всякими выразительными словами, в разных домах по-разному. В нашем Доме он зовется «мертвецким».

Но состав живущих в нем тоже неоднороден. Здесь есть укромный уголок, где помещаются молодые уродцы, которых сдали сюда с глаз долой родители. Их не видно и не слышно, туда никого не пускают, о них слагаются легенды и рассказываются шепотом. Тайной покрыта их жизнь, и я, скажу честно, не дерзаю обнажать ее покровы.

Среди престарелых, населяющих «мертвецкий корпус», тоже имеются различия. Есть совсем лежачие, а есть, так сказать, «в меру ходячие». То есть они ходят, но недалеко. Этаж, на котором они живут, пусть он будет четвертый, покидать им запрещено, двери на лестницу обычно заперты. Ни пальто, ни ботинок у них нет, так что свежего воздуха они уже не вдохнут никогда.

Зато они могут прогуливаться по коридору, посмотреть телевизор в одном холле, посидеть под пальмой в другом. Среди них есть, несомненно, такие, которым и не следует никуда выходить, но есть, увы, еще вполне крепкие для недалеких прогулок и об этих самых прогулках мечтающие. Их мир составляет ныне этаж, а этаж — это длинный коридор, шестнадцать палат, два холла, кабинет врача, два туалета, душ и буфетная. Впрочем в буфетную обеспечиваемым вход запрещен.

Но есть в нашем Доме такие, чей мир сужается еще плотнее. Это «совсем лежачие». Если обитатель первого «ходячего» корпуса очень боится попасть во второй («мертвецкий»), то «в меру ходячий» из второго корпуса, в свою очередь, трепещет от перспективы быть переведенным на этаж «совсем лежачих». В нашем Доме лежачие располагаются, допустим, на первом, втором и третьем этажах, посему самый безотказный воспитательный прием у персонала такой: «А вот я тебя на третий переведу!» Действует впечатляюще.

На нижних этажах вставать не принято. Считается, что если уж тебя определили в эти отделения, то твое здоровье сколь-нибудь существенно улучшиться не может. При поступлении ты облачаешься в коротенькую — до пояса — рубашонку (чтоб зря не пачкала, не менять же то и дело). И лежи. И лежишь, даже если есть силы встать. Потому что куда пойдешь неглиже? Ни халата, ни иной какой одежды тебе не положено. А и вынесет тебя нелегкая за палатную дверь — мигом обратно загонят.

Так что мир «совсем лежачих» — это кровать да тумбочка, на которую ставят еду. Правда, есть лежачие, что и до тумбочки-то не дотянутся. Ухватят прямо рукой что-нибудь с тарелки, гущу из щей, например, а то и голодными останутся, ведь даже самая сердобольная санитарка всех с ложечки не накормит. А иной санитарке надоест вечно заляпанная подушка, она в другой раз тарелку так поставит, что лежачая вообще до тарелки не дотянется. Чисто, сухо.

Младшего персонала здесь поболе, чем в других отделениях, нужно ведь чаще испачканное белье менять, грузных лежачих ворочать. Запах на этих этажах куда тяжелее и работы на первый взгляд больше, однако бывалые санитарки предпочитают трудиться именно здесь. Полы никто не топчет, под ногами не путается, а главное — никаких жалоб. Может, они и есть, да их отсюда плохо слышно. Тишь, благодать. А запах что? Запах только проверяльщиков пугает. А санитарочки управятся с делами и вяжут в холле, прямо в ароматическом эпицентре.

В пределах Дома самое тяжелое положение, понятно, у лежачих, а самое, скажем, счастливое — у ходячих. А мы возьмем для примера не тех, не других, а «в меру ходячих», что от ходячих уже ушли, а к лежачим еще не пришли. Помещаются они, как я уже упоминала, во втором корпусе и занимают пятый и четвертый этажи. Я расскажу об одном ничем не примечательном дне четвертого этажа. А чтобы легче было разобраться, дадим условные имена некоторым членам микроструктуры Дома.

ВРАЧ: Елена Анатольевна Голубева (Леночка).

БУФЕТЧИЦА: Евгения Борисовна (Женька).

САНИТАРКИ: Таня Павленко, Венера Гисматулина.

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ (бабушки): Ольга Адамовна, Фира Давыдовна, Ксения Петровна, Ирина Васильевна.

Остальные работники Дома (вахтеры, директор, повара и пр.) в повседневной жизни обеспечиваемых фактически не участвуют, так что мы их имена опустим.

Пусть никого не удивляет, что обеспечиваемые — сплошь женского пола. Большая часть домов-интернатов для престарелых, как и дореволюционные гимназии, делятся на мужские и женские.

Союз нерушимый
Республик свободных...

Танечка встрепенулась и осмыслила эти звуки. Они раздавались из коридорного репродуктора и означали шесть утра, а также то, что Таня должна быть на ногах уже полтора часа. В шесть пятнадцать дверь на этаж отворится и войдет буфетчица Женька, прижимая к груди две пачки сахара.

Образ Женьки сбрасывает Таню с лежанки ураганом. Она мгновенно уничтожает следы своего преступно-долгого сна: раскручивает на составные части ложе — банкетку — к стене, кресло — к телевизору, подушку — в низ бельевого шкафа. Застегивая на ходу халат, бежит к умывальникам. Ведро — под кран, тряпку — с батареи, теперь бегом в конец коридора и — мыть.

Если санитарка встала вовремя, то есть в полпятого, то к приходу буфетчицы она не спеша вымывает полкоридора и находится со своей шваброй обычно на уровне шестой-седьмой палаты. Таня из последних сил стремится к этому рубежу, всей напряженной спиной ожидая сзади грозного рыка. Лицо и зубы тоскуют по холодной воде, рукам противно без резиновых перчаток, волосы лезут в глаза из-под криво повязанной косынки, а по радио говорят: «Шесть часов пятнадцать минут». Хоть бы раз Женька опоздала! Ночь была тяжелая, спину ломало, только закемарила — эта старуха явилась: «Санитарочка, я потерялась... я нечаянно». Пришлось до палаты провожать да спросонья выяснять, откуда она. Потом прилегла на минутку — и вот.

В коридор уже выползают самые ранние пташки и бредут, держась за стеночки в направлении туалетов... Кстати, интересно, очень там за ночь загадили? Раз на раз не приходится, иногда за все дежурство пару раз помоешь и ладно, а иногда просто не вылезаешь с тряпкой оттуда.

Что-то Женька не идет сюда, глянула, видно, издали, а орать не стала. Остались только туалеты. Таня меняет тряпку, сыплет хлорку, обмывает унитазы.

Слава богу, полвосьмого, а у нее все в порядке. Моет руки, снимает лиловый халат, надевает белый, перевязывает косынку и только в таком виде решается явиться перед светлы Женькины очи. У Женьки давно все готово, но она по-

чему-то не вышла в коридор истошно торопить Таню, а тихо сидит, поставив на стол могучие татуированные руки.

— Поехали, что ли,— вздыхает она и встает. Каталка, груженная алюминиевыми кастрюльками, кастрюлями, чайниками, мисками, ждет у дверей. Танюша, счастливая спокойным утром, летит вперед вызывать лифт. Женька выступает с достоинством, будто не толкает каталку, а лишь опирается слегка на нее. Молчит она и в лифте, и в столовой. Таня не знает, что и подумать, а спросить боится.

Раздав с Женькой завтрак, она бежит проверить, все ли в порядке. Так... дальний холл чистый; одна, вторая, пятая, девятая палата — ничего... ой! что же это такое? От пятой палаты тянется желтая дорожка, уже слегка растоптанная, вот еще капелька... и еще.

Бусинки тянулись по всему коридору. Десять минут назад все было чисто! Найду, какая это дрянь сделала, честное слово — врежу. Не понимают человеческого обращения — буду как все!

...Около раковины стояла маленькая горбатая старушка из шестой палаты. Подол рубашки она держала в руке... При виде Тани затряслась от ужаса. В полной растерянности она поворачивалась то к раковине, то к санитарке, от испуга и стыда не зная, что и делать.

— Сечас-сечас-сечас...— повторяла она, бессмысленно топчась на месте, но старческий организм все не мог справиться с бедствием. В отчаянии она швырнула на пол свой халат и стала быстро-быстро подтирать им пол, боясь поднять глаза на Таню.

Да где был давешний Танин гнев?

— Не надо, бабушка, я сама,— всхлипнула она и стала натягивать резиновые перчатки. И опять струя в ведро, шибающий запах хлорки. Шлеп-шлеп по растоптанной дорожке. «Девять часов, десять минут московское время»,— говорит репродуктор над головой. Фу, кажется, успела. Ноги болят, вспухли, белым тестом взошли над впившимися краями тапочек. Последний раз снимается халат и заворачивается в газету — домой, стирать, в последний раз стягиваются перчатки и долго-долго моются руки. Теперь посидеть три минуточки у Женьки в буфете — и привет, на два дня.

— Женечка, я стакан чаю выпью, ладно? А то я что-то сегодня так вымоталась, просто ужас!

— Попей, попей,— Женька откладывает огромный нож, которым резала буханку, достает из буфета чашку,— наливай вон из того чайника, там осталось. Она оглянулась на дверь, наклонила мощный торс и вдруг басовито зашептала: — Слышь, Тань, никому здесь не скажу, тебе одной скажу... Про погашения слыхала? Так вот, я в этом годе на восемьсот рублей погасила, даже на восемьсот пятьдесят, вчера в газете было...

«Так вон оно что! — подумала Таня,— вот отчего такая благодать сегодня царит». А Женька все шептала: «Брату дай, племянникам дай, во Львов хоть двадцатку пошли... Ты только никому, слышь, не говори, сама знаешь, какие... у нас...» — она осеклась, потому что в дверь вошла Венера, высоченная, мрачная, облокотилась о дверной косяк:

— Я не принимаю смену.

— Как? ...Почему, Венера? — (я все так удачно успела).

— Под цветами п о д т е к и, пол в коридоре грязный.

— А я какую приняла? Во сто раз хуже!

— Меня это не волнует, могла бы не принимать.

В глазах торжествующий блеск — хорошо день начинается. С другой бы — не с Танькой — Венера так бы не стала, а эта с приветом, утрется да пойдет. Подтеки под цветами — они всегда есть, там уже краску выело, никак не отмоешь; коридор абсолютно чистым не бывает никогда, так что придраться всегда есть к чему. Если настроение есть. И если не боишься, что через месяц-другой кто-нибудь в отпуск уйдет, очередность поменяется и ты сама будешь сдавать той, у которой принимала. Вообще-то санитарки редко так хамят друг другу. Иной раз даже уходят, не дождавшись сменщицы, и ничего. Ну, а с Танькой

можно. Она никогда тем же не ответит. Она вообще немного не в себе — все со старухами разговаривает, о чем с ними можно разговаривать? То со слепой сидит, за руку ее держит, то с богомолкой из пятой палаты, которая все крестится в окно на церковь (а какая там церковь, никакой там церкви нет, никто, кроме нее, не видит). А с санитарками Танька молчит, так никто в Доме и не знает, с кем она живет, как... правда, не больно-то интересно...

Сначала Таня чуть не взорвалась, чуть не заорала, как орут по поводу и без повода все работники Дома, потом обмякла, пошептала что-то и поплелась мимо ухмыляющейся Венеры за ведром и шваброй. И снова — халат, и снова не желающие влезать тапочки и не желающие ходить ноги. Шлеп-шлеп — моет Танечка свой бесконечный коридор.

А у Венеры — лишний кайфовый часик. У Женьки посидеть или к девкам на второй сходить? Но девок на втором нету.

— Да они же за бельем пошли! Ты что, не похмелилась?! Завтра же комиссия! Всем меняют! — кричит на ходу медсестричка Катя, проносясь мимо с ваночкой для шприцев...

Смена белья — небольшое, но событие. Все санитарки спускаются в подвал, в «бельевую». Садятся по стенкам на банкетки, курят, треплются. Посреди комнаты кружится Стелла, раскладывая белье по кучкам. Она сверяется со списками, подкладывает, переукладывает, увязывает. Простыни, наволочки густо покрыты коричневыми пятнами, хоть и только что из прачечной. «Машина стирает. Мы жаловались, не помогло,— говорит Стелла тем, кто вздумает просить белье почище, и успокаивает: — Все равно за...ут».

Наконец, все готово, белье, связанное в огромные узлы, громоздится посреди комнатенки. Санитарки по двое берутся за них и волокут к лифту. Начинается горячее времечко. Санитарка должна снять и надеть шестьдесят наволочек, шестьдесят пододеяльников, натянуть шестьдесят простыней. По этому случаю она даже не моет полы в палатах.

Некоторые бабушки никак не смирятся с пятнами, просят заменить, хотя менять не на что. Другие, будто хотят кому-то досадить, просят, чтобы им оставили прежнее — оно «чище». Многие не замечают ничего.

Здоровье у Ольги Адамовны было железное, подводили только глаза. Да вот еще напасть — стало зимами ноги ломать. Накатывались холода, накатывался ужас: неужели опять? По тротуару бы ничего, но когда надо было переходить наезженную проклятыми машинами дорогу, трусила. Стояла, покачиваясь, как над зияющей пропастью, кричала раздраженно в расплывающийся мир:

— Эй кто-нибудь, переведите меня! — и шарила по воздуху варежкой, авось зацепит человеческую плоть. Ловила, ее переводили. Давила через силу: «Спасибо, не знаю, правда, кто вы, товарищ,— молодой человек или барышня?..» Но случайные помощники уныривали прочь, не дослушав, и растворялись в этом сомнительном мире, который, прямо скажем, неизвестно, существует ли вообще.

Иногда приходила девочка — дочь дальних родственников — передохнуть от поучений, домашних и школьных. Ольга Адамовна не поучала, рассказывала о своем героическом прошлом и хотела подарить ей все старые платья, хорошие такие платья, из добротных материй, теперь таких не делают. Их и перешить будет нетрудно: Ольга Адамовна сама фигурой — девочка.

Она увязала платья, все, кроме двух, и девочка, счастливая, потащила их домой. Через пару дней ворвалась ее мать, волоча и узел, и девочку.

— Что это вы придумали! Мы, кажется, не нищие какие, сами купим нашей дочери всего! Старушечьи обноски носить!..

Ольга оскорбилась:

— Как?! Брезгуете? Пренебрегаете? Я ведь ничего не просила, задаром отдавала! — И закипела былым пафосом: — Вы — мещане! Предпочитаете свои деньги тратить зря, чем взять у человека то, в чем он не нуждается! О вас еще

Бухарин говорил: «Мелкобуржуазное чванство!» Ну, а ты? — она обратилась к пятну поменьше, что было девочкой,— тебе же нравилось?!

— Девчонки сказали, что такое теперь не носят, а мама обещала мне купить финскую куртку... да, мам?

Такого предательства Ольга не ожидала.

— Уходите. Уходите обе. Курицы мелкобуржуазные. И не приходите никогда. Слышали?! Чтоб ноги...

Кричала она исступленно, пока не услышала хлопок входной двери. Это ушли ее последние родственники.

Не то чтоб они помогали, но все же были. Все ждала: опомнятся, придут, а они не шли. Соседи совсем остервенели. Теперь даже удивительно вспомнить: когда-то справлялись о здоровье, брали у нее книжки для сына, сами захватывали кое-что из магазина на ее долю. И ведь не было никаких ссор, свар, сшибок принципов, просто выросла семья. Пока их было трое, все шло прекрасно, потом сын женился, они стали косо на Ольгу посматривать, а когда родились один за другим двое внуков, она им стала просто врагом. Проживает, цаца, одна в целой комнате. Ольга стала побаиваться, что и прибить могут,— все норовят толкнуть в коридоре, задеть, прижать. Классическими формами коммунальных взаимоотношений тоже не гнушались — плохое Ольгино зрение само подстрекало к творчеству. Венцом всего были гвоздики остриями вверх в соседском кухонном столике,— Ольга, стоя у плиты, иногда опиралась на него...

Кричала, грозила, жаловалась в товарищеский суд, но никакой суд не мог устранить главную причину — тесноту в соседской комнате. И ведь знают, что сына на войне потеряла, знают, что муж при Сталине в лагерях пропал, что сама Ольга Адамовна восемь лет Хозяину за левый уклонизм отдала, все знают, но семья-то выросла.

А тут стала похаживать активистка-общественница: «Что, мол, Ольга Адамовна, вам мучиться? И в магазин самой тяжело, и соседи хулиганы... Перебраться бы вам, Ольга Адамовна, в «Престарелый дом». И уход там медицинский, и питание трехразовое, и кино, и телевизор...»

Ольга стала задумываться: а если действительно? В Дом ветеранов партии ее не возьмут, хоть старее ее партийцев, наверное, там и нет. Ведь после реабилитации она не восстанавливалась, все ждала: позовут, вот позовут. Не позвали. Заперлась в гордыне: не буду сама ничего добиваться — ни пенсии побольше, ни поликлиники получше, проживу и так!

И вот светил ей теперь лишь собесовский Дом-интернат.

Доктор Леночка Голубева пришла без опоздания к девяти и сразу же заперлась в кабинете. Хорошо еще, что можно вот так закрыться, попить кофейку, собраться с мыслями. Что-то неприятное грозило сегодняшнему дню. Да, будут готовиться к комиссии, что придет завтра. Это значит крики целый день, беготня по коридору. От нее будут ждать распоряжений, указаний, урегулирования мелких стычек. Выяснится множество порочных тайн: найдутся сгнившие припрятанные заначки, ворованные вещи, а также вещи, которые бабушкам держать не положено, как не попавшие в специальный реестр. Этот реестр висел внизу, рядом с газетой «Уголок пенсионера», и содержал перечень предметов, которые может иметь в своем распоряжении человек, подошедший к закату жизни. Там была зубная щетка, одеколон и еще шесть-семь наименований.

Некоторые старухи будут рыдать и драться, защищая свои сокровища, остальные ничего не заметят. У большинства, впрочем, отбирать нечего. Однажды Леночка дала приказ перевести слепнущую старуху в палату для слепых и даже решила сама проследить, как она устроится.

Бросив: «Собирайтесь, бабушка», Лена присела на пустую постель рядом. Слепая встала, как автомат, сняла с тумбочки стакан со вставной челюстью, застыла возле кровати.

— Собирайтесь же,— раздраженно повторила докторша.

— Я собралась,— безучастно проговорила старуха.

Лена решила ей помочь, полагая, что та не соображает, что от нее хотят. Заглянула в тумбочку. Тумбочка была пуста, даже газетки, даже корочки хлеба не было в ней.

— Я собралась,— повторила еще раз слепая.

...Лена вынула кипятильник из стакана и засыпала ложечку растворимого. Надо хоть за кофе не думать об этих старухах. А о чем думать? Об Алексее Ефимовиче? Примерно неделю не звонил он, мог и совсем больше не позвонить, бывали, бывали такие случаи в Леночкиной жизни.

Что за скрытый дефект такой был в ней, что не складывалась ее личная жизнь? За что так отвратительно коротки, так бесславны ее романы? Казалось, она выносила из Дома престарелых запахи старости, тщетной жизни, и люди, ощутив такое неприятное биополе, шарахались и старались более не соприкасаться своей свежестью с чужим мраком и тлением.

Ведь ничего же она была, весьма ничего.

Прежде, в институте, даже некоторый успех имела, замуж раз пять предлагали, а она, видите ли: «Медицина, ах медицина!» Неизвестно куда пошлют, как жизнь сложится. Сложилась... Загремела по распределению в Дом престарелых и кукует здесь уже четвертый год. Почти все из ее группы сумели устроиться, только она застряла здесь со старухами, всю квалификацию растеряла. Лекарства самые примитивные, персонала не хватает. Лечение назначишь, а никакой гарантии, что сумеешь организовать. Так что маются старухи, а ты мимо ходишь. Ну, а если что серьезное — в больницу отправляешь. Стоило десять лет мучиться. Говорили мама с папой — поступай в технический, а она ни в какую. Первый раз провалилась — и санитаркой, в Боткинскую, судна носить. Подруги, что с ней тогда поступали, быстро перекинули документики в другой вуз, где конкурс поменьше. А Лена нет. Два года в Боткинской протрубила, зато мечта воплотилась. Московский Мед объятья раскрыл. А сказали бы тебе тогда, что в Доме престарелых окажешься, стала бы прошибать лбом дверь заветного зданьица на Пироговке? Говорили тебе: не лезь, в медицине без связей делать нечего, а ты: поступить, только поступить. Ну, и что теперь? Еще и замуж не выйдешь, все к тому идет. На работе мужчин двое: семидесятилетний директор Пал Палыч и вахтер, отставной майор-книголюб. (Пенсия хорошая, здесь он сутки напролет на вахте читает, потом трое дома.) Послушалась бы маму, сидела бы сейчас в каком-нибудь НИИ: остроумные кандидаты, вылазки на природу, пинг-понг в обеденный перерыв.

Ну, хватит. День еще не начинался, а ты уже прокисла. Обход, что ли, сделать? Давно не делала... Лена сунула грязную чашку в стол, взяла тонометр и пошла по палатам.

Через десять минут начнется «Театр у микрофона», и нет у этой передачи более преданной, более чуткой слушательницы, чем Ксения Петровна из восьмой палаты. У нее над постелью есть даже личная розетка для радио — племянник беззаконно протянул, пока еще ходил ко Ксении Петровне. Приемник домашний, трехпрограммный, трилюбимый тоже имелся — собственный.

Сегодня пропускать особенно нельзя — название такое интригующее «Предполагаем жить». ...Интересно, собирается ли ее глубокоуважаемая соседка почивать после завтрака или, может, она наконец поймет, что у других людей тоже могут быть желания? Конечно, ей, с ее куриными мозгами, не понять чужих духовных запросов, но чисто по-человечески можно не мешать те жалкие два часа, в которые Ксения Петровна будет наслаждаться высоким искусством? Ведь не танцевальную музыку, шут возьми, она включает?

«Следующая наша передача «Театр у микрофона», а сейчас краткий выпуск новостей».

...Уходит... Какое счастье! Неужели хоть раз в жизни можно будет спокойно послушать? Без этой кувалды?

«Действующие лица и исполнители...»

Какая я была театралка! Ни одной премьеры, ничего выдающегося не про-

пускала, всех мхатовцев по имени-отчеству знала... А теперь крохотное удовольствие, и то всегда с боем!

Соседка, выходившая куда-то, вернулась, стала укладываться. Водрузила на постель одну слоновую ногу, затем другую. Внезапно она напряглась. Какие-то легкие звуки все же проникали в ее глуховатые уши. Ксения Петровна приглушила радио до почти неслышного бормотания. Соседка стала снимать ноги обратно... одну, потом другую... Встала, раскорячившись сильнее обычного, тронулась в сторону Ксении Петровны. Возле кровати вдруг резко перегнулась и вырвала штепсель из розетки.

Ксения Петровна затрепетала от ненависти. Она нашарила далеко отлетевший штепсель, воткнула снова. Соседка, отпятившаяся было от кровати, снова стала приближаться. Ксения Петровна загородила розетку спиной, как амбразуру. Соседка медленно, поскрипывая суставами, стала тянуться к шнуру, отпихивая Ксению Петровну другой рукой. Пихались молча и яростно, но сельская, здоровая натура оказалась сильнее. Ксения Петровна едва спасла приемник — он уже летел на пол — и теперь лежала, прижимая его к животу, вся сотрясаясь от злобных рыданий.

— Палкой! Нужно ее палкой! — вдруг осознала она и ринулась к своей клюке, стоявшей в углу палаты... Уже схватила, как вдруг опомнилась, застыла в мысли: «Что это я? ...Собралась бить? Убивать? Эту бессмысленную колоду?!»

Опустилась на постель: «До чего же я дошла, до чего... Если бы меня увидел мой Боря, кто-нибудь из коллектива, знакомых?! Да какие там знакомые, нет уже никого, одна я осталась».

Соседка умиротворенно сопела.

В ближайшей к кабинету и единственной двухместной палате лежит «Шапира» — бывшая надзирательница в женском лагере. Она почти слепа и глуха, но шестым чувством всегда узнает к ней входящих. Вот и сейчас, едва открывается дверь, она тотчас поворачивает сухую головенку и сладко заводит:

— Это кто к нам пришел? То сама Елена Анатольевна пожаловала! А я-то лежу и все думаю: что это со мной сегодня такое радостное будет? А тут и вы идете, краса неописанная!

— Как! Ваша! Печень! — выкрикивает Лена в морщинистое ушко.

Шапира приподнимается, лицо подобострастное, невидящие глаза так и едят доктора:

— А вот я вам пожалуюсь, пожалуюсь!

— Что! Такое!

— Укольчик, что вы мне назначили, два раза пропустили! Не слушают, ироды, вас. Губят старуху! Вы уж проследите, Леи Натольи.

— Прослежу!

— Уж я ли, — хнычет надзирательница, — их не благодарю. И рубликом, и яблочком, и рубликом...

Это было чистой правдой. Она умело совала в карманы персонала деньги, конфеты, льстила, знала всех санитарок по имени-отчеству и имела за то значительные перед всеми преимущества. Ее и помоют почаще, и кусок положат получше, и белье постелят почище.

Елена Анатольевна для нее — начальство огромное — заласкать бы ее, задобрить — но ей не сунешь рубля в карман халата, поэтому обращение к ней достигает предела изысканности, оно почти поэтично: «вишенка сладкая», «сердце бриллиантовое». И на дочку-то она похожа, и на знакомую, к которой «три генерала сватались».

Кроме Шапиры здесь жила еще одна старуха, безмолвная и тоже небедная, но сейчас ее не было, и Елена пошла дальше, вздыхая, что Шапира так ослабла: еще недавно она на радость всему отделению отплясывала босыми ножками и пела, разевая беззубую пасть:

> Приехал скокарь, скокарь!
> Начальник гмокал, гмокал!
> И взяв его за ухо,
> Начальник до-о-лго нюхал!

Следующую палату Елена Анатольевна едва в лицо помнит. Справляется для порядка:

— Есть жалобы на самочувствие?

Все молчат. Даже голову на звук поворачивает лишь одна, стоящая у окна. Две лежат неподвижно, а та, что сидит, свесив ноги, резко поджимает их — ей, видно, кажется, что пришли мыть пол. Лена выходит и направляется к своей «кисте».

Страдалица лежит плашмя, но уже от двери виден ее возвышающийся горой живот. Она кажется невообразимо толстой, но на самом деле худа, даже истощена. Гору образует киста, разросшаяся до чудовищных размеров. Она давно неоперабельна.

— Как мы сегодня себя чувствуем, бабушка? — задает Лена всегдашний бессмысленный вопрос, пальпируя живот.

— Ничего, доктор, — сипит «киста». У нее такое громкое дыхание, что слышно в коридоре. Давно пролежни. По правде говоря, ее бы надо было перевести на третий этаж, но бабушки страшно боятся этого третьего этажа, из последних сил себя обслуживают, лишь бы не попасть туда. Ну ладно, раз на нее никто не жалуется, пусть пока здесь побудет.

Из палаты слепых слышны причитания:

— Ой, мои баночки, баночки майонезовые! Кто ж украл мои баночки, что за супостат это сделал? — Старуха раскачивалась на кровати, ее тумбочка была раскрыта настежь. — Что за гадюка вонючая пробралась ко мне, а я и не заметила?! — Она услышала Ленины шаги, но решила, что пришла санитарка. — Санитарочка! Не видела ли моих баночек? Чистенькие, сухие, я их каждый день тряпочкой вытирала... Тряпочка-то вон — цела, — она даже захихикала от радости, — я ее под подушкой прячу, чтоб не стащили, а вот баночки-то, баночки... не уберегла!

В восьмой палате к Лене кидается навстречу одна из самых старых обитательниц Дома, ей за девяносто. Из ее бестолковой, но грозной речи Лена с трудом понимает, что та требует перевода в другую палату.

— Почему, бабушка? Мы ведь вас недавно переводили!

— Шило на мыло! Как я! Человек! С восьмью высшими образованиями, могу ужиться на восьми метрах с этой люмпеншей?! Я не считаю штукатуршу, она хоть не лезет, когда ее не просят, но эта мерзавка, она же мне жизнь отравила!

Столь сильные чувства — редкость для Дома, здесь почти не жалуются, но эта бабушка — из вонтельниц, с бурным революционным прошлым. Насчет восьми образований — не врет, половину дипломов, среди них столь редкостный, как Института красной профессуры, Лена видела своими глазами. Тогда едва поступившая старуха пришла к ней в кабинет с такими словами: «У вас в отделении безобразно поставлена идеологическая борьба! Нет лекций! Семинаров! Нет своего пропагандиста!» И что-то в этом роде. В результате она предложила сама прочитать серию лекций. Лена запомнила две темы: «Бог. Что это такое?» и «Мужчина и женщина. Взаимоотношения полов в социалистическом обществе». Тогда-то и были явлены дипломы в количестве пяти, что ли, штук. Остальные были утеряны в вихре великих событий...

Лена предложила ей пойти к партийному секретарю в ходячий корпус и разрешила уйти с этажа. Долгое время старуха ее не тревожила, лишь недели спустя выяснилось, что «эта оппортунистская сволочь» заявила: вы из партии вычищены, и никто вас обратно не восстанавливал, поэтому не суйте нос не в свое дело! — «мне осталось только плюнуть ей в глаза».

Пришлось довольствоваться совсем скромной аудиторией — соседки по палате, да изредка две-три слушательницы, дремлющие в холле. Она была шумная, нетерпимая, стучала об пол палкой, называла санитарок «рейгановками» и другими загадочными словами... Теперь она требовала перевода в другую палату или отселения новой врагини. Лена хотела их примирить, подошла к постели «этой люмпенши», но взгляд у старухи был таким бессмысленно-тяжелым, что стало понятно: все бесполезно.

Мимо остальных комнат она пробегает, задержавшись лишь возле бывшего педиатра, Ирины Васильевны (болезнь Паркинсона). В комнате чисто, тихо и хорошо пахнет. Ирина Васильевна, чистенькая, беленькая, лежит недвижно, лишь ритмично подрагивают ее нежные розовые веки да тонкие пальцы с ухоженными ногтями. Вокруг хлопочет ее соседка, Фира Давыдовна, обтирает, обихаживает какими-то тряпочками. Ирина Васильевна почти не говорит. За нее обстоятельно отвечает Фира Давыдовна. Она даст любую справку о состоянии соседки: что съела и как спала и какое лекарство приняла. Да и как ей этого не знать, если она сама выносит за Ириной Васильевной судно, кормит ее из маленькой домашней ложечки, промокает полотенцем рот после каждого глотка. Бельишко стирает, будто у самой инфаркта не было. А когда все дела сделаны, то сидит Фира Давыдовна на стульчике подле кровати, держит в руке дрожащую ручку, смотрит черными глазами в глаза голубые. Лена как-то спросила, сколько лет они дружат, и удивилась, узнав, что только здесь, в Доме престарелых, и познакомились; казалось, вместе всю жизнь.

— Ирина Васильевна — прекрасный человек, детский врач,— так начинала Фира Давыдовна любую просьбу для подруги.

Лена возвращается в кабинет, сует кипятильник в чашку. До обеда еще полчаса, почитать, что ли, тот дневник? Она достала из стола общую тетрадку, исписанную старческим почерком.

История дневника была такая. Полгода назад ее позвала бабушка из шестой палаты. Лена давно замечала на себе ее взгляд, мрачный, полный некоего мучительного вопроса. Среди запинаний, извинений и повторов Лена смогла разобрать примерно вот что:

— Вы кажетесь мне порядочным человеком. У вас интеллигентное лицо. Извините за сцену из романа. Я не собираюсь оставлять вам наследство и не прошу приходить на могилу. Я скоро умру, и это очень хорошо. Плохо, что не сегодня. Но у меня остались кое-какие записи. Здесь их растащат, сами знаете на что. Почему я хочу сохранить? Не знаю, наверное, потому, что от меня уж совсем ничего не остается. Прочитайте их когда-нибудь, а не захотите — пусть так лежат, веса-то в них немного, а в утиль не сдавайте. Может, дети ваши прочтут в своем светлом будущем. В общем, возьмите, унесите только отсюда, а там как знаете...

И она замолчала, выдохшись. На протяжении этой речи Лена участливо кивала, возражала, поддакивала, но старуха не прерывалась, а произносила давно заготовленный монолог и, пока не окончила, не обращала на слушательницу никакого внимания. Потом она вынула из-под подушки сверток в целлофановом пакете, сунула Лене в руки почти неприязненно, и, повернувшись на спину, уставилась в потолок. Докторша помаялась немного и ушла со свертком в кабинет.

Почерк был никудышный, читать одно мучение. Лена принималась несколько раз, но быстро бросала. Потом старушка умерла — смирно и тихонько, никто даже дежурную сестру не успел позвать, и Лену стало покалывать что-то в области солнечного сплетения, совесть не совесть... ну, в самом деле, человек умер, а ты вроде душеприказчицы... В общем, надо читать.

Теперь в свободное время она доставала тетрадку и со вздохом открывала наугад, где откроется. Она с детства так читала любую книгу — выхватит строчку, выхватит другую, как цукаты с торта. Если вкусно, выест кусочек из серединки, а потом, может, и с начала прочитает. А тут тем более удобно — дневник, можно с любого дня. Пролистала, зацепила слово «хлеб».

«Я давно не пробовала свежего хлеба. Хлеб, который нам здесь дают, всегда черств, даже удивительно, как это им удается. Думаю, вряд ли здесь чей-то дурной умысел, вряд ли кто-то, кто у них там заведует хлебом, специально высушивает его для нас. Видно, получается так: когда-то давно мы не съели положенной нормы хлеба, а они пожалели остатки выкинуть и не давали свежего, пока не съедим этот. А мы все не доедаем и не доедаем, уж очень трудно его жевать,

тем временем свежий тоже высыхает, и получается такой простейший замкнутый круг.

Поем ли я мягонького хлебушка до смертушки своей?

...Когда я была здесь еще не долго и сохраняла еще некоторые признаки личности, то однажды иронично спросила у санитарки:

— А что, теперь хлеб сразу черствым пекут? — Так она даже и не ответила мне, даже не посмотрела...»

Лена оторвалась от чтения и задумалась, представляя эту картину. Старуха долго собирается с силами — ведь санитарка-то — начальство высокое, невиданной властью облеченное, в ее руках — ох как много! Так вот, заходит в палату эта царица, несет под мышкой тазик алюминиевый с хлебушком, спешит раскидать его по тумбочкам — дел-то у нее невпроворот. А тут одна из старух вдруг заколыхалась и давно лишенным всех интонаций голосом выбулькивает свою «ироническую фразу». Старуха пишет: «она и не ответила...». Так санитарка просто внимания никакого не обратила — что там бабушка бормочет, мало ли чего они бормочут. Да как она и вообще-то смеет заговаривать сама, беседу заводить. Если какая просьба неотложная, так нужно подойти, обратить на себя внимание и излагать. И не в горячее время, когда пора за обедом ехать, а улучив подходящую минутку. А то что же это будет, если все обеспечиваемые станут с персоналом тары-бары разводить?!

— Ладно, хватит пока,— Лена захлопнула дневник,— обедать, наверное, время.

Женька поставила посуду на каталку, высунулась в коридор:

— Венер! Ехать пора!

Та не отозвалась. «Жди ее!» — мгновенно вскипела Женька и крикнула уже по-непечатному. Ждать Женька не выносила. Она любила чуть даже пораньше на кухню приехать.

Показалась, наконец, Венера, переодевается на ходу из лилового халата в белый, кричит издалека: «Я пока лифт вызываю, выезжай!». Женька, шуганув зазевавшуюся в коридоре бабушку, тронулась в путь. Оказавшиеся на дороге торопливо вжимаются в стены. Как же! Сама Женька шествует! Много горластых работников в Доме, но у Женьки все-таки соперников нет. Уж гаркнет, так гаркнет — и голосом возьмет и содержанием. Санитарка, в сущности, по зарплате и не ниже, а Женьку навроде начальства держит. Не Венера, конечно, а Таня, Ася. Даже медсестры к ней с почтением, что уж бабушкам остается!

В столовой около раздаточной кучкуется со своими тележками младший персонал изо всех корпусов и отделений. Анекдоты травят, подкалывают друг друга. Смех, мат. Велик Дом, иной раз за всю смену подругу не встретишь.

Самые молодые поодаль присели, за крайний столик.

— Вчера в «Метле» были...— воспоминания так прекрасны, что рассказчица в истоме откинула голову, рука висит вдоль спинки стула, слова медленно выползают из неподвижных губ,— балдеж...

Все остальные, обделенные такими роскошными новостями, торопятся с вопросами.

— А там ансамбль или дискотека?

— А курить можно или в туалет гонят?

— А ты с Витькой гуляешь еще?

— С Витькой,— небрежно отвечает та, что ходила в «Метлу»,— я не хожу больше. У меня москвич теперь...

Это известие вызывает всеобщий внутренний вздох. Кто он, как выглядит, сколько зарабатывает — им, поголовно лимитчицам, неважно. Москвич есть москвич, он вне конкуренции и вне обсуждения.

Счастливица оживляется:

— Иду я, а у стекляшки Витька стоит. Но. Говорит: «Ну, ты чего?» Я говорю: «А я на свидание иду!» Он: «Да-а?»,— а я: «Да-а!» А он мне: «А я с тобой!»

Девушки в романтическом ужасе:

— И чего ты?

— А я ему: «Я только что Руслана твоего видела, он перевод из дома получил, тебя искал!» Витька грит: «Где-е?» А я: «Да вон в угловой пошел...» Витька: «Ты обожди здесь, я сейчас!» Я ему: «Давай, давай», а сама — ноги к метро.

Все покатываются, но тут из кухни раздается крик:

— Девки, кастрюли давайте! — хотя кастрюли давно выстроились в ряд у окна раздачи. Девки вскакивают, толкаются, двигают свои кастрюли поближе. Из-за окна их хватают и возвращают назад уже тяжеленными, дымящимися.

— Сонь, мне на тридцать два!

— Как Верка работает, так на тридцать, а как ты, так на тридцать два! По три порции, что ли, лопаешь?

Но все это добродушно, положат, сколько попросишь... Потом все нехотя растекаются по этажам, толкая потяжелевшие тележки. Из кастрюль нет-нет, да плеснет желтый жир супа, особенно, когда в лифт заезжаешь, там две дурацких ступеньки, их ну никак не одолеешь без подпрыга колес. А на этаже уже толпятся у лифта бабушки, выглядывают друг из-за друга, тихонечко вопрошают:

— Что там сегодня, Женечка?

— Что на обед, Евгения Борисовна?

— Котлетки или, может, рыбка?

В глазах любопытство слезящееся, глаза чуда ждут. Ведь завтрак да обед — наиглавнейшие события в бабушкиных жизнях.

— Чего лезете? Щас раздам и узнаете. Давайте, давайте отсюдова! — орет Женька, скрываясь в буфетной. Там она снимает с полки железные миски, ложки алюминиевые, укладывает все поудобнее на каталке и начинает Раздачу. Санитарка бежит впереди с чайником компота и наливает так, чтобы ровно на два пальца не долить, а то всем не хватит. (Стаканы бабушки держат у себя, сами моют.) Женька медленно продвигается следом: льет суп, ловко шлепает второе. Некоторые бабушки жадно хватают свои миски, утаскивают в норки, другие даже не оборачиваются на шум, сопровождающий действо раздачи. Минут через двадцать Женька начинает движение обратно. Грязные миски громоздятся на каталке, одни вылизанные до блеска, другие — с нетронутыми порциями. Может, уснули на здоровом ухе и даже не заметили раздачи... Женьку все это не волнует — хозяин-барин. Теперь назад, назад, пора и самой обедать.

Женька брезглива. Для себя и своих она держит особую посуду, моет ее отдельной губкой. Чай заваривает в хорошеньком домашнем чайничке с олимпийским мишкой. Ни яблоко, ни конфетку никогда от бабушек не возьмет, а коли возьмет, то отдаст Шапире. Шапиру она уважает. Быть может, это осталось после собственной отсидки за недостачу в ларьке — почтение перед начальницей.

Кроме Женьки, обедают врачиха, санитарка и кастелянша. Елена Анатольевна вполне бы обошлась чаем в кабинете, но деньги из зарплаты все равно вычитают, приходится есть. Женька, гулко вздыхая, наливает ей тарелку щей.

— Ты же знаешь, я не ем первого...— раздраженно отодвигает тарелку докторша.

— А вы попробуйте, попробуйте, сегодня съедобные. Я вон Шапире плеснула немножко, так она знаете, что выдала? — Женька заливается басом: «Дай мне этих щей! Я жажду их, как ворон жаждет крови!»

— Жень, а почему у бабушек хлеб такой черствый?

— Да какой дают, такой и режу. Я вон его даже мокрым полотенцем прикрываю, чтоб не сох.

— Но мы-то вроде свежий сами едим?

— Ну, а какой еще? Как машина придет, ко мне сразу Сонька или Томка забегут: приходи, пока теплый. Я набираю буханки три на целый день... Ну и вот,— повернулась она к санитарке,— слышь, Венер, кого я вчера в кадрах встретила? Помнишь Машку со второго, наша Танька все к ней бегала? Опять пришла к нам санитаркой проситься.

— Машка-монашка? Ну и что? Взяли ее?

— Сейчас! Лидия при мне на нее орала: «Езжай в свой За...иск, а мне и без тебя неприятностей хватает!»

— И кому она мешала? — вздохнула Елена Анатольевна.— Тихая, послушная. Ведь работать некому. Вон Ася Самойлова в декрет уйдет, трех уже будет не хватать на этаже.

Даже Венера сочувственно вставила:

— Еще бы пару лет и комнату, может, получила бы...

— А с нами всегда так,— угрюмо заметила кастелянша,— москвич хоть что хочешь делай, хоть в кого хочешь верь. Для лимитчика закон другой: чуть что — и валяй откудова приехал!

И все неприязненно посмотрели на счастливую Елену Анатольевну.

«Когда-то у меня имелись фамилия, имя, да и отчество тоже имелось. Вполне благозвучные. Не раз и не два теряла я в жизни имущество, лишалась крыши над головой, однажды утратила родителей, а в конце концов и собственную семью. Но и м я... Мне казалось, что уж с ним-то я не расстанусь до гробовой доски. И вот: новый сюрприз судьбы! У меня нет больше имени! Нет фамилии, я уж не говорю об отчестве.

Я зовусь теперь «бабушка». Бабушка...

Но слово «бабушка» стоит рядом со словом «внуки».

У меня нет внуков. Моя дочь не успела подарить мне внуков. Дочь моя отправилась на фронт «смывать кровью позор отца», а потом выяснилось, что смывать было нечего. Но она не успела об этом узнать, так же как не успела родить мне внуков.

И вот я — бабушка.

Когда меня сюда принимали-оформляли, пока шли еще первые недели житья здесь, я все думала: человек я новый, фамилия не самая легкая, поживу, пообвыкнусь — запомнят, как меня зовут. Но время шло, и никто даже не справлялся, как зовут эту новенькую?

— Бабушка, вздохните поглубже.

— Бабушка, освободите коридор.

— Куда вы пошли, бабушка?! Туда нельзя!

«Туда нельзя» слышится то и дело. Нельзя зайти в буфет, где царствует Евгения Борисовна, нельзя в кабинет врача. Если тебе до зарезу понадобилось что-то, то этикет предписывает приоткрыть дверь чуть-чуть, чтобы тело оставалось за дверью, а в помещении поместилась одна голова. Предполагается, что мы, бабушки, просто кишмя кишим всякой нечистотой и надо опасаться, что эту нечистоту мы можем занести в продукты или стерильные медицинские карты. (Ничего другого в кабинете врача нет.)

Очень странное это ощущение, когда видишь, что тобою, т о б о ю брезгуют. Заденут невзначай — и отпрянут, прикоснутся — и бегом мыть руки. Никак к этому не привыкнуть.

Нельзя уйти с этажа без конкретного дела, а таких дел у нас нет.

— Бабушка, вернитесь!

Почему «вернитесь»? Может, мне просто хочется поразмять ноги, посмотреть, как на других этажах живут? Ходят слухи, что на втором, например, есть несколько мужчин-инвалидов, которых не стали переводить, когда наш дом сделали полностью женским, и один из них — бывший научный работник, помещенный сюда родными детьми после травмы. Я ведь тоже бывший научный... младший научный... нам, должно быть, было бы о чем поговорить. Может, и ему там, на втором, скучно без общения?..

— Бабушка! Уходить с этажа запрещено!

...А недавно я, кажется, поняла, почему к нам так бездушны. Бездушны порой даже неплохие люди. Просто молодые а б с о л ю т н о с е р ь е з н о не считают нас себе подобными.

Людьми нас не считают. Прислушайтесь! У н и х даже тон голоса меняется, когда они с нами говорят. у добрых — становится сюсюкающим, у злых — глум-

ливым, у людей долга — покровительственным. Во всех стариках априорно предполагается слабоумие и другие душевные немощи. Их отношение к нам сродни отношению к животным. Жестоких еще больше распаляет безответиость животных. Люди хорошие — ухаживают, кормят, но и не забывают о воспитании братьев меньших: прикрикнут, накажут — для их же пользы...

Мы — какого-то третьего рода — бабушки!

Пожив здесь еще немного, я поняла: чтобы получить свое имя обратно, нужно как-то необыкновенно отличиться, выкинуть что-нибудь из ряда вон... лишиться, например, зрения или заболеть эдакой редкой болезнью. Но и тогда вместо имени ты можешь получить кличку. На нашем этаже есть, к примеру, «киста», есть «коляска» — это парализованная женщина, передвигающаяся на коляске, есть две слепых, «новая слепая» и «старая» — одна поступила раньше, другая позже. Имеется «переводчица» — к ней ходила кастелянша переводить письма женихафранцуза, где он теперь, тот француз?.. Давно ни привета, ни ответа... А уж если национальность не такая, как у большинства, можно не сомневаться, какая будет кличка. Насколько я поняла, сами бабушки друг другу кличек не дают — это сфера творчества персонала»...

В кабинет все яснее просачивался шум скандала. Елена Анатольевна поморщилась, выглянула за дверь и отправилась искать источник... Гром раздавался из палаты Фиры Давыдовны. Посреди комнаты, уперев руки в боки, стояли Женька и Венера. Они бушевали, перекрикивая друг друга:

— Спрятала одеяло!

— Думала, ..., не найдем?!

— И как только совести у людей хватает!

Оказывается, Фира Давыдовна спрятала лишнее одеяло под матрас. Выдавая белье, Стелла сказала:

— На вашем этаже — два лишних одеяла.

Венера с Женькой пошли с обыском по палатам и вот нашли. Фира Давыдовна вынимала его на ночь из-под матраса, а утром прятала. Наверное, тщедушное тельце подруги совсем не удерживало тепло.

Фира Давыдовна задыхалась, бормотала бессвязное, в отчаянии прижимая к груди злополучное одеяло. Женька с Венерой упивались событием. Они давно подозревали Фиру Давыдовну в чем-нибудь порочном и вот изобличили!

— Вот, оказывается, кто у нас ворует!

— Надо у них здесь все обыскать!

Ирина Васильевна мелкими рывками силилась подняться, защитить подругу. Хотела что-то крикнуть... но лишь сильней задрожали губы. Она рухнула на подушку, только трепещущие ручки то поднимались, то опускались на простыне, да полные ужаса глаза точились слезами.

Женька ухватилась за конец одеяла, дернула... Фира Давыдовна покачнулась, выпустила одеяло из рук, по-библейски воздела их горе. Буфетчица и санитарка пустили последнюю порцию мата и удалились, победоносно неся добычу.

Елена Анатольевна стояла за приоткрытой дверью, утомленно опираясь о косяк. Наскочив на нее, Венера сказала:

— Пора нашу «паркинсонную» на третий переводить — совсем лежачая. Комиссия спросит: «Почему у вас лежачие здеся находятся?»

Елена Анатольевна и сама понимала, что пора, но все откладывала, а вообще-то надо, надо...

Еще пару страниц, и хватит на сегодня.

«Сегодня я наконец постриглась... Последнее, что меня еще как-то отличало от остальных — это длинные волосы. Я зашпиливала их в жиденький пучочек на макушке, все-таки — женщина! А в последние дни как-то задумалась: зачем? Ну, в самом деле! Я ведь вовсе не женщина, а «бабушка», представитель безликой массы, не имеющая ничего, даже собственного имени. Меня, можно сказать, уже нет, а я все цепляюсь за признаки женственности!

А сегодня к нам как раз пришел парикмахер. Он такой же старый, как и мы, и знает всего одну прическу, если можно это назвать прической: просто стрижет своей тупой древней машинкой из такого расчета, чтобы в следующий раз пришлось стричь как можно позже, а лучше бы и вообще не пришлось.

Когда я уселась у раковин перед единственным в нашем отделении зеркалом и старичина стал примериваться к моей косице, я вдруг подумала: а ведь это, пожалуй, моя последняя парикмахерская... Любила, признаться, я, грешница, сходить в парикмахерскую! Много их на своем веку перевидала. Надеть, бывало, поесть нечего, а в парикмахерскую все равно пойду. Маленькая, но важная женская радость: зеркала, зеркала, сладкие парфюмерные запахи, таинственный полушепот мастериц... неужели никогда...»

Лена яростно захлопнула дневник. Хватит! На-до-е-ло!!! Надоели старухи, живые и мертвые. Тут скоро сама станешь старухой и не заметишь! Они-то свои жизни прожили, а я и не начинала. И вспомнить-то будет нечего.

Она засунула тетрадь как можно глубже в ящик, сложила медкарточки, рассовала по местам инструменты. По коридору уже отгромыхала каталка с ужином, пора было и домой...

Собираясь, она неотвязно думала о словах старухи, что, мол, они, бабушки,— какого-то третьего рода, что молодые не считают их людьми. Это имело определенный смысл. Если они не нужны никому, даже своим родственникам, как к ним прикажете относиться чужим людям? А то, что мы зовем их «бабушками»,— вполне разумная унификация. Кто их может всех запомнить? А главное зачем? Понимают ведь, к кому обращаешься...

Накинув пальто с посивевшим песцом, Лена вышла из кабинета. У дверей маялась Фира Давыдовна. Встрепанная, зареванная, она лепетала что-то горячо и невразумительно. Лена вяло вникала в ее причитания и разобрала, наконец, что она хочет на т р е т и й этаж. Узнала о переводе Ирины Васильевны и теперь просилась вместе с ней. Подобную просьбу докторша слышала впервые — третий был для бабушек куда страшнее могилы.

— Да не беспокойтесь вы за нее,— бормотала Лена, возясь с ключом,— там и белье меняют чаще и санитарок больше.

— Это прекрасный человек! Вы ведь знаете, детский врач! Кто ее там помоет?

Даже возле лифта были слышны восклицания:

— Прекрасный человек! Она не выносит грязи!

Лифта почему-то долго не было, наконец он подошел и тотчас вывалил на Лену странную компанию: медсестру Веру, санитарку со второго и бабушку из пятой палаты, все что-то кричали.

— Опять ЧП,— обреченно подумала докторша,— так и домой не уйдешь.

Работницы радостно на нее налетели:

— Вот! Любуйтесь! Поймали!

— Что, что такое?

— В морге! И свет не включила, чтобы из коридора не видно. Я вон даже со светом туда боюсь, когда покойник.

Моргом в Доме называли неотапливаемую кладовку на первом этаже. Там хранили какие-то инструменты, в углу были навалены мешки, а когда кто-то умирал, его отправляли туда, прежде чем он покидал Дом навсегда.

— В морге? Что же вы там делали, бабушка?

— Скажи, скажи Елене Анатольевне, что ты там делала!

Бабушка сжалась, опустила голову в черном сатиновом платочке, прошептала что-то, вроде: «и-и-де-есть-ны-ны».

— Громче! Не слышно!

— Дние лет наших, в нихже седмьдесят лет, аще же в силах, осмьдесят лет, и множае их труд и болезнь...— вдруг отчетливо и заунывно запела старуха.

— Ку-ку! — санитарка постучала ногтем по лбу.— Теперь пусть врач разбирается. Пошли!

Лена с сомнением посмотрела на нарушительницу: вроде не опасная, до утра потерпит. Домой бы...

— Так что же вы делали в морге, бабушка? — как можно мягче спросила она.

— Кротости одной у Всевышнего прошу,— пробормотала старуха,— прииде кротость на ны...— Она помолчала и вдруг осмысленно произнесла: «Мария Федоровна нынче умерла».

— Так вы покойницу знали, бабушка?

— Знала — не знала... Нельзя людей как собак зарывать. Нужно, чтобы по-человечески.

Лена вздохнула:

— С живыми-то работать некому, а вы про мертвых... И что же, молились вы там, что ли?

— Псалтирь читала. По новопреставленной рабе Божией Марии. Древний это обычай. Душа ее скорбит сейчас, мытарствует — помочь нужно. ...Я как узнаю, что умер кто, так тихонько проберусь вниз и всю ночь читаю.

— А где же книга?

— Нету книги. Так читаю. А забуду, так мне напомнят.

— Ну ладно, бабушка. Идите в свою палату. И больше без спросу с этажа не уходите.

Старуха что-то бубнила, удаляясь, а Лене все слышалось: кротость, кротость, ...ость.

Закусив губы, шла докторша темными переходами и коридорами — домой, стареть у телевизора. Шла мимо холлов с пальмами в кадках, мимо открытых палат, где хрипели и стонали спящие и молчали бодрствующие, мимо расписной огромной вазы, приобретенной руководством для оживления интерьера, мимо живописных полотен революционной тематики, мимо «Распорядка» и «Правил...», мимо вахтера, углубившегося в роман «У последней черты», мимо голых кустиков и горбатой клумбы, мимо серебряной масти девицы с птицей, олицетворяющей, по замыслу скульптора, счастливую юность.

«К нам в комнату влетают птицы.

Воздух здесь спертый, проветривать никто не хочет, боятся холода окостеневающие тела. Лишь иногда я доковыляю до окна, схвачусь за веревки и рухну, повисну на них всей своей небольшой тяжестью... Фрамуга грохнет, со всех кроватей зашипят, забормочут:

— Не надо...

— Не надо открывать...

— Холодно... и так холодно...

Но я уже в постели, а закрыть окно своими силами у нас не сумеет никто. Вот и набирается зачуток воздуха в наш склеп.

А тут эти птицы.

Забыла, как они называются, такие серые... Залетит в щелку и мечется по всей палате, провожаемая пятью парами белесых глаз.

— Птица...— шепчут иссохшие губы,— опять эта птица...

Потом вваливается санитарка и начинает, ругаясь, гонять птицу чьим-нибудь полотенцем. Выгонит глупую, захлопнет окно и снова тихо».

Марк Горчаков

ТЕПЛО ЗЕМЛИ

Навстречу дождю из скважин растут кучи пара, и небесная влага мешается с земной. Подлинно — Мутновка: летом туманы, морось и дождь, зимой туманы и метели, снегу к весне — до четырех-пяти метров, и от начала времен парит земля, а с вулкана Горелого сыплются сажа и пепел, и наползает газовый смрад.

Основной участок глубокой разведки — он называется «Дачный», когда-то здесь было цветов, как в раю,— на высоте 830 метров над уровнем океана. Тут почти все буровые установки Камчатской экспедиции, тут и дизельная, и мехпарк... В двухэтажном общежитии барачного типа (сборно-щитовое) все окна распахнуты и даже многие рамы выставлены, хотя на воле пронзительно холодно. Но от скважин идет перегретый пар. Он свистит и щелкает в трубах, и в комнатах несусветно жарко.

Помимо «Дачного», экспедиция продвинулась и на «Вулканный» участок, он в четырех километрах. Ночами оттуда буровая светит, как елка в новогодний праздник. Там, однако, не праздник, нет. Рукой подать — кратер Горелого, и к скважинам затекает сернистый газ, хоть в противогазах работай.

На Мутновке будет электростанция нового типа — так называемая ГеоТЭС, сиречь — геотермальная. К ее турбинам пойдет пар из скважин — природный. Выработанный в подземной «котельной».

Мощность первой очереди ГеоТЭС будет 50 тысяч киловатт, или, как принято теперь говорить и писать,— 50 мегаватт. Под эту первоначальную мощность энергетики должны получить от геологической службы разведанное и подготовленное к эксплуатации геотермальное месторождение — глубинную горячую зону, из которой на поверхность стабильно поступает сто двадцать килограммов перегретого пара в секунду.

По меркам Камчатки электростанция будет крупная. При ней, конечно,— поселок. Линия электропередачи свяжет ее с Петропавловском и Елизовом, это город-спутник областного центра. Но раньше всего нужна асфальтированная дорога. Пока к Мутновке — трасса, «пролаз», а ходят по этой трассе лишь сильные вездеходы. И расстояние-то невеликое: напрямую семьдесят—восемьдесят километров, по трассе немногим больше. Но это предельно трудные километры. Зимой в буранную непогодь и весной в половодье «Уралы» их одолевают, бывает, только за двое и трое суток.

...Мутновская ГеоТЭС должна стать фундаментальным звеном собственной энергетической базы Камчатского региона. Кроме того, она будет в стране первой сравнительно мощной электростанцией этого типа.

То и другое — важно.

На Камчатку везут ежегодно около двух миллионов тонн нефтепродуктов и угля. Между тем тут свои «котлы», хорошо устроенные природой, исправно действующие десятками тысяч лет. Вода согревается и кипит под давлением в порах земли, в кавернах и трещинах, оперяющих глубинные разломы возле

действующих и уснувших вулканов. Из-под глин, базальтов и туфов горячие — геотермальные — воды выбиваются на дневную поверхность пульсирующими фонтанами гейзеров, теплыми ручьями, паровыми струями и т. п.— смотри видовые фильмы, читай восторженные описания путешественников и проспекты туристских маршрутов.

У нас в стране Камчатка в этом отношении единственна. Здесь природа буквально навязывает людям тепло Земли: возьмите, сумейте...

Дело за малым: суметь.

Технически, впрочем, проблему решили давно. Преобразованием тепловой энергии земных глубин в электрическую заняты производственники, строящие и эксплуатирующие ГеоТЭС в разных странах. Интерес к геотермальной энергетике не просто «растет» во всем мире, а стал, пожалуй, нетерпеливым и даже жгучим — особенно в районах, где нет запасов нефти, газа и угля, а горячие воды есть на доступных глубинах.

Важно, конечно, и дорого, что подземное тепло — как и лучи Солнца, ветер, приливы-отливы морской воды — это неисчерпаемый источник энергии. Эта энергия «сама» возобновляется. Кроме того, использование этого вида энергии, этих ее источников нисколько не ухудшает среду обитания людей. Разумеется, если люди работают аккуратно — не вспахивая, например, гусеницами тягачей всю окрестность участков бурения.

В общем мировом производстве и потреблении электричества роль геотермальной энергетики пока ничтожна — доли процента, а в энергобалансе нашего хозяйства и вовсе... Но мало кто знает, что, например, уже к началу шестидесятых годов в Новой Зеландии ГеоТЭС района Вайракей мощностью около двухсот мегаватт обеспечивали основные нужды населения и промышленности этой развивающейся страны, а в Тоскане (Италия) близ городка Лардерелло электростанции на тепле глубинных горячих вод действуют с начала нашего века, и их мощность достигает почти четырехсот мегаватт. Чаще всего вспоминают Исландию. Но это пример как раз нехарактерный, поскольку горячие воды глубин там используют в основном не на ГеоТЭС (станции такие есть, но сравнительно маломощные), а впрямую для обогрева всего и вся. Исландцы, говорят, в своих близких к Полярному Кругу теплицах выращивают не только томаты да огурцы, но запросто и бананы.

Но все эти «новости» — старые. Есть информация поновее.

На недавнем XXVII Международном геологическом конгрессе в Москве американская делегатка П. К. Грю с энтузиазмом доложила ученым коллегам, что в штате Калифорния, США, геотермальные электростанции производят десятую часть всего электричества. Десять процентов, да. В Калифорнии восемнадцать ГеоТЭС, их совокупная мощность — миллион двести тридцать семь тысяч киловатт (1237 мегаватт) — достаточна для энергоснабжения, к примеру, городов Сан-Франциско и Окленда вместе. А в целом в США к 1990 году общая мощность геотермальных станций будет около двух миллионов киловатт.

Геотермальная энергетика быстро набирает мощности и в Центральной, и в Южной Америке, также и в Азии, Африке — в двадцати одной или двадцати двух странах. ГеоТЭС дают электрический ток и в Сальвадоре, и в Кении... Даже и в середине Европы — вдали от вулканов и гейзеров.

В Лаборатории геотермии Геологического института (ГИНа) Академии наук СССР мне показали цветные фотографии невиданных установок, которые эффективно и с коммерческой прибылью преобразуют в киловатт-часы электричества теплоту «низкопотенциальных», то есть умеренно разогретых, глубинных природных вод. Эти снимки зав. лабораторией Владимир Иванович Кононов вывез из Франции и демонстрировал, рассказывая о командировке. На изумрудной лужайке красуются голубые и розовые полусферы, отделанные пластиком и стеклом. Будто присели «летающие тарелки». В них автоматизированные устройства, где реализован принцип так называемого теплового насоса. И, кстати, местный мэр, поддержавший проект использования тепла Земли в интересах населения своего департамента (и — науки!), благодаря этому запросто победил в избирательной кампании всех противников (очевидно, недооценивших принципы «теплового насоса»). Да вот он в кадре и сам, в середине группы приезжих ученых — на фоне разноцветных полусфер. Позирует с удовольствием, улыбается, подчеркивая, по-видимому, успех предприятия. Как говорится, имеет право: это его личный успех. А полезная работа геотермальных установок — залог его дальнейшего мэрства.

Глядя на фотографии, я, конечно, подумал — и каждый подумал бы,— что очень невредно и нам завести таких мэров. Хотя б на Камчатке: таких честолюбцев, оценивших возможности геотермальной энергетики и ставших ее ревнителями. Они бы нашли варианты, способы и решения, создали бы условия наибольшего благоприятствования... А жители бы с восторгом фотографировали их на фоне красивых ГеоТЭС и выбирали б, само собой, на новые и новые сроки.

Помимо других — многочисленных — материалов и сведений в Лаборатории геотермии ГИНа мне выдали простенький чертеж. Это был график, все линии, кроме одной, на этом графике очень резко взмывали. Как говорят составители таких чертежей, линии выкручивались (становились круче), стремясь к вертикали. Таким образом были вполне наглядно представлены — по годам и мощностям ГеоТЭС — современные темпы развития геотермальной энергетики в десятке ведущих в этом отношении стран.

Передавая мне график, линию Филиппин поправили, поскольку получили свежую информацию: потенциал ГеоТЭС там превысил уже 900 мегаватт! Сотни мегаватт за последние несколько лет прирастила у себя и Мексика. Мощная мексиканская станция Сьера Прета эксплуатирует геотермальное месторождение у самой границы Мексики с Соединенными Штатами. Своих потребителей энергии близко к ГеоТЭС нет, а у соседа — энергоемкие производства. И вот мексиканцы вроде бы начали продавать электричество в Калифорнию, США, это им выгодно... Скачкообразно выросли — также в последние десять — пятнадцать лет — мощности ГеоТЭС в Индонезии, в Японии, все это видно на графике.

Невозмутима, я повторю, одна только линия, которую не сразу и различишь, поскольку она прильнула к горизонтальной оси (времен) и сама на всем протяжении почти горизонтальна. Читатель, верно, уже угадал. Да, это, увы, наша линия. Это «кривая», отображающая прирост мощностей наших геотермальных станций.

По сути, ей и не место на этом графике, она «не в масштабе» тут. А нарисована для сравнений и пояснения. Ведь могло быть не так, этот же график свидетельствует: лет двадцать, а если строже — лет двадцать пять назад мы с ними почти со всеми были еще на равных. Стартовали, во всяком случае, одинаково, с нуля (Италия, Новая Зеландия — исключения). А теперь вот, как видим, на Западе, Юге, Востоке — сотни разнокалиберных ГеоТЭС, и рентабельность их такая, что, скажем, японские фирмы стали уже скрывать информацию о доходах... у нас же действует первая и единственная Паужетская ГеоТЭС на Камчатке. Ее ввели в строй в 1966 году, лет через десять ее номинальную мощность увеличили, и теперь она в принципе может выдать одиннадцать мегаватт (к этому еще возвращусь), а дает в часы пик четыре — четыре с половиной мегаватта.

Так что же выходит: мы «хуже людей»?

Ну, нет. Когда Паужетская станция стала работать — еще в опытном режиме,— главный организатор и идеолог всех этих дел, один из ведущих сотрудников Института вулканологии, Валерий Викторович Аверьев, подготовил убе-

дительнейшие «Соображения о создании геотермальной энергобазы на Камчатке». То был научный доклад, оснащенный, как полагается, ссылками, цифирью, с приложением карт и таблиц... но темпераментный, как прокламация. В. В. Аверьев утверждал и доказывал, что для Камчатки строительство ГеоТЭС — архивыгодно, что киловатт-часы геотермальной энергии в конечном счете — а это счет будущего — обойдутся здесь нашему обществу неизмеримо дешевле, чем киловатт-часы, выработанные электростанциями любых других типов и видов.

За В. В. Аверьевым шла целая группа энтузиастов геотермальной энергетики, в основном молодых ученых, но были и производственники. То, что сделано этой группой, вошло в основание всех современных свершений и планов.

А ведь когда-то выкладки В. В. Аверьева кому-то казались фантазией. Судите сами: едва довели до ума на юге Камчатки первую экспериментальную (опытно-промышленную, официально) маломощную Паужетскую станцию — на нее ушли годы и годы каторжного труда,— а уж Аверьев твердил, что на Камчатке надо немедленно-срочно и вне всякой очереди проектировать ГеоТЭС на нескольких геотермальных месторождениях в труднодоступных районах. Всего на мощность 350—400 мегаватт, и связать их в кольцо, и это-де предпочтительнее всех вариантов развития местной энергетической базы.

Однако с гораздо большей серьезностью тогда и в Москве, и на месте обсуждали другие — альтернативные — предложения. Опирались на идеи, исходившие в основном из учреждений и от сотрудников Минэнерго. Идеи были простые. Построить, например, гидроэлектростанцию мощностью 160 мегаватт в середине Кроноцкого заповедника или быстренько «привязать» и в хорошем темпе «отгрохать» типовую АЭС непосредственно у Петропавловска. Вроде Билибинской-атомной. Останавливало лишь то, что район — высокой сейсмичности, а то бы, пожалуй: сказано-сделано.

Теперь забыты и та, и другая альтернативы. Специалисты согласились, что к началу следующего тысячелетия Камчатка может располагать и вдвое большими, чем называл Аверьев, мощностями ГеоТЭС, и это единственная реальная возможность с а м о о б е с п е ч е н и я региона энергией.

Но до следующего тысячелетия — рукой подать, меньше пятнадцати лет, тогда как после осторожного — теперь это выяснилось — прогноза В. В. Аверьева и его умеренных рекомендаций минуло уже двадцать лет. Но как-то этих годов не заметили, во всяком случае, ничего не успели, по-прежнему Камчатка живет на привозном мазуте и угле, и что с того, что просчитан и даже признан (в бумагах, словесно) е д и н с т в е н н ы м, повторю, разумным путем развития энергетики области этот вот вариант: строить геотермальные станции, соединить их в кольцо, создать на их основе надежную энергосистему... Из бумаг ничего не построишь.

Хотя бумаги были серьезнейшие.

Первое правительственное постановление о необходимости форсировать развитие геотермальной энергетики принято в апреле 1963 года, после него были резко ускорены все работы на юге Камчатки, и вошла в строй Паужетская ГеоТЭС... Потом еще документы и указания, полный их список, с цитатами, есть в Совете по геотермии, в Москве... И вот сравнительно недавно, весной 1981 года (ах, как время летит!), один из пунктов капитального распоряжения вменил Министерству энергетики и электрификации в обязанность и поручил «...осуществить в 1981—1985 годах строительство... геотермальной электростанции мощностью 150—250 тысяч киловатт в Камчатской области с вводом в действие в 1985 году первой очереди мощностью 50 тысяч киловатт...»

Речь шла о будущей Мутновской ГеоТЭС.

В других пунктах были еще задания — восьми министерствам, госкомитетам и Академии наук. Прекрасный в общем-то документ. Оттенивший государственную важность дела. Однако все пошло в несоответствии с ним. Например, сроки завершения разведочных работ, подсчетов запасов теплоносителя в Мутновском месторождении и пуск первой очереди этой станции отодвинуты. Притом не на год или два, а на пять лет сразу — из одиннадцатой в двенадцатую пятилетку.

Валерий Викторович Аверьев весной 1968 года погиб в авиакатастрофе над Сибирью. Но его помнят, труды — цитируют. Осталась научная школа — аверьевцы. Кроме того, легенды о сильном, красивом человеке. Есть и такие товарищи, что не упускают момента ввернуть «мы с Валеркой», хотя при жизни Валерия Викторовича могли его видеть лишь издали... И жаль, конечно, что, несмотря на настойчивые и однозначные резолюции собраний, несмотря на личные и групповые ходатайства, письма и телеграммы ученых и энергетиков, Камчатский облисполком так-таки не присвоил Паужетской геотермальной электростанции имя В. В. Аверьева, но, повторю, суть не в том. Суть в том, что наука продолжила начатое, и даже зарубежные поездки не смогли насовсем отвлечь геотермиков и вулканологов от исследований земного тепла на Камчатке. Между прочим, за границу ученые ездят в силу необходимости — за опытом изучения и освоения геотермальных месторождений разного типа. Не случайно в своей речи на Международном геологическом конгрессе американская делегатка несколько раз повторила, что в геотермии фундаментальная наука теснейше связана с практикой, тут наука и практика неразделимы...

В конце тридцатых годов XVIII столетия участник Второй Камчатской экспедиции, в ту пору студент, Степан Крашенинников наблюдал «в Камчатке» шесть групп «горячих ключей».

Через двести лет крупнейший наш вулканолог, организатор исследований Камчатки Борис Иванович Пийп — его именем назван Институт вулканологии Дальневосточного центра АН СССР — в своей книге (издана в 1937 году) подробнейше охарактеризовал шестьдесят четыре камчатские группы источников пара и горячей воды.

Ныне, согласно последней сводке геологов, тут выявлено и обследовано около ста шестидесяти групповых выходов пара и воды: термальные поля, горячие точки...

Однако непосредственно от наземных источников калории не возьмешь. Тепло Земли вообще не дается задаром. Необходимы геологическая и гидрогеологическая детальные съемки местности — и геофизические исследования, и бурение поисковых скважин, затем приходится вести глубокие разведочные и возле них эксплуатационные скважины, примерно, как на нефть и газ. Все стоит денег и требует времени, тем более на Камчатке, где основные геотермальные «объекты» — в местах, куда и туристам добраться непросто.

Дорого, трудно, долго.

Зато — стократ окупается, если делать все своевременно и толково.

К началу нынешней пятилетки по запросу обкома КПСС объединение «Камчатгеология» подготовило «Справку...»: разведаны и частично освоены шесть из двадцати восьми первоочередных, пригодных к эксплуатации геотермальных месторождений; а эти первоочередные 28 выбраны из полусотни «весьма перспективных»; а эти пятьдесят — наиболее интересны из всех ста шестидесяти, нанесенных на карты и описанных в каталогах.

«Справка...» утверждает, что, используя к 2005 году только первоочередные 28 месторождений, можно:

а) соорудить ГеоТЭС общей мощностью 700 мегаватт,

б) обогревать не менее пятидесяти гектаров теплиц-парников,

в) дать горячую воду в теплосети городов, поселков, курортов...,

...в общей сложности заменив теплом Земли два с половиной миллиона тонн в год условного топлива.

Судите сами.

...На ГеоТЭС себестоимость киловатт-часа в среднем такая же, как на других — обычных — теплоэлектростанциях Камчатки (около четырех копеек). Геотермальная энергия должна бы, конечно, быть подешевле в производстве, но станция — об этом сказано — работает не на полную мощность, а накладные ее расходы весьма велики. Рентабельность ГеоТЭС можно поднять и вдвое и втрое, если снизить себестоимость киловатт-часа. Это реально. «Котел»-то трудится под землей независимо ни от чего и всегда на полную мощность. Скважины-то исправно подают «теплоноситель». Но на турбины идет всего двадцать — тридцать процентов пара. Остальные «проценты» с ревом фугуют в воздух. Станция всегда в пару, как в дыму, столбы лохматого пара видно за километры от Паужетки.

Если дать этот пар на турбины и запустить по ЛЭП всю возможную мощность, то каждый киловатт станет много дешевле. А в Озерновском можно поставить электрокотлы и к ним привязать всю систему теплоснабжения. Энергетики, естественно, не против, наоборот,— они рады бы продавать больше электричества. Хоть за полцены, хоть за четверть. Им это выгодно. Чем больше киловатт-часов возьмет завод, тем лучше для ГеоТЭС и ее баланса.

Но — нельзя!.. Потребитель не готов. Он жжет уголь.

Бывают проблемы и вопросы нерешаемые. А тут все знают, что надо сделать, чтобы проблемы не стало. В «Камчатрыбпроме» знают, в районном энергетическом управлении (РЭУ) «Камчатэнерго» знают, в обкоме партии знают и в облисполкоме знают наверняка, что следует изменить тариф: ходатайствовать, чтобы, учитывая местные обстоятельства и особые условия работы геотермальной электростанции, сделали исключение для юга Камчатки... В данном случае речь о небольшой административной акции. Было — всем невыгодно, станет — всем выгодно. И — точка.

Но, повторю, дело — ни с места. Котельная жжет и жжет сахалинский уголь.

Неужто опять «нужна личность», опять ничто не сдвинется с мест без энтузиастов? Энтузиасты-то редки и надобны для другого. Их поберечь бы, пусть даже тут, на Камчатке, на душу населения приходится больше энтузиастов, чем в иных каких регионах.

К примеру, в РЭУ «Камчатэнерго» лабораторией геотермии заведует Вячеслав Яковлевич Вороновицкий, и его в Москве и Петропавловске аттестуют именно так, что, мол, Слава Вороновицкий — энтузиаст и даже фанатик геотермальной энергетики.

Говорят, всё и все были против, когда он создавал и благоустраивал свою лабораторию, единственную такую производственную лабораторию в стране. В недрах «Камчатэнерго» и — шире — всей своей отрасли он воевал за это едва ли не в одиночку. Добивался, чтобы коллеги-энергетики приняли и оценили новый способ производства киловатт-часов. Чтобы поняли: этому производству нужны собственные, еще небывалые, технологии, собственное материально-техническое обеспечение, да и свои хорошо выученные кадры, а не с бору по сосенке.

Древняя уралмашевская турбина не случайно заехала на Камчатку. Отраслевые чиновники привычно планируют для ГеоТЭС поставки оборудования, списанного на других станциях. Лишь бы — проще, дешевле. Несколько лет назад заговорили о том, чтобы и для будущей Мутновской ГеоТЭС заранее подыскать-подобрать «подходящие» турбины старого выпуска...

Вороновицкого ныне заботит устройство спецполигона, создаваемого при Петропавловской ТЭЦ. Там надо будет всяко опробовать оборудование для будущей Мутновской ГеоТЭС. Есть и другие дела... Разумеется, сведения о проблемах Паужетки у Вороновицкого совершенно исчерпывающие. Паужетку он знает, как дом родной. Прошлой зимой, обмолвился Вороновицкий, работники

ГеоТЭС, рискуя многим, уже отпускали Озерновскому киловатт-часы по «неправильным» ценам — для школы и детского сада, не сидеть же детям в пальто.

...Вороновицкий не горячился, он говорил негромко и монотонно: давал и давал информацию. Я же не мог не вспомнить услышанное о нем самом от местных геологов: «Бедный Слава! Сколько же он натерпелся, покуда устроил в «Камчатэнерго» свою лабораторию. Его гнали в дверь, а он лез в окно и все возникал и долбил: технология, оборудование, полигон... Теперь-то специалистов такого класса по оснащению ГеоТЭС в стране, пожалуй, и нет. Теперь — человек! Закалился в борьбе, уже не тушуется ни в Госплане, ни в Совете Министров. Не разбирая чинов, идет в любой кабинет со своими вопросами».

Вороновицкий убежден, что самое разумное — немедля пустить ГеоТЭС на полную мощность, а потреблять эту мощность будут электрокотлы в Озерновском. То есть всю энергию Паужетки дать на берег по проводам... Но есть и другой вариант, вернее, есть и другие резервы...

Пар идет в воздух, да. А кипяток Паужетки? Кипяток сливают со скважин в реку с момента, как стала работать на самоизлив (это было в 1958 году) первая продуктивная скважина. То есть сперва-то лили поменьше, но вот уже двадцать лет — по двести литров в секунду воды с температурой 104—105 градусов Цельсия. В сутки выходит больше семнадцати тысяч кубов — вторая река. Так не пустить ли ее к заводу, колхозу, протянув трубы по трассе длиной километров тридцать? Пусть вода теряет в пути двадцать ли, тридцать ли градусов, но зимой и под снегом дойдет горячая, так что трубы не тронешь рукой. Это не фантазии, а давно просчитали проектанты. Можно горячую воду дать и теплицам на огородах приморских жителей. Плохо ли!..

Получили бы с Паужетки горячую воду, так сберегали бы в год по меньшей мере полтора миллиона рублей. Ну и — могли бы очистить поселок от угольной грязи и, например, соорудить тут плавательный бассейн (Охотское море — не для купаний).

Но вот вопрос чистой практики: кто же обязан строить теплопровод?.. Косятся на «рыбаков». Рыбной отрасли принадлежат и завод, и поселок, «рыбаки» оплачивают сахалинский уголь, вот пусть они, мол, и строят. А «рыбаки» говорят: мы бедные. Конечно, у них есть деньги, но — на другое. Платить, например, за уголь. За двадцать лет рыбное ведомство израсходовало в Озерновском на угольное отопление тридцать, сорок или пятьдесят миллионов рублей... Тратят по два или три миллиона в год — и ладно. А давно приступили бы к стройке, вели помалу трубу с востока на запад — уже, глядишь, довели бы ее до котельной и окупили затраты.

Но коль такие уж бедные, не обязательно им, «рыбакам», все расходы брать на себя. Можно найти партнеров. Один из потенциальных дольщиков стройки трудится на Паужетке почти четверть века и ныне, похоже, вкладывает свои миллионы рублей — то есть наши, бюджетные,— уже совсем мимо дела.

Речь о бывшем Камчатском управлении по использованию глубинного тепла Земли, сокращенно — КУ по ИГТЗ (ныне «Камчатбургеотермия»). В Петропавловске, где оно держит флаг, это управление называют «Тепло Земли». Звучит?.. Пока я писал-переписывал эту сагу, название переменили, чтобы приблизить к реальной жизни. Но я оставляю КУ по ИГТЗ, поскольку этот титул — очень уж к теме.

Принадлежит управление Мингазпрому СССР.

Несведущие спросят: при чем Министерство газовой промышленности? Мало ему своих забот?.. Отвечаю. В начале шестидесятых годов молодой тогда газовой отрасли — еще не министерству, в госкомитету — своих забот было мало. То есть госкомитету недоставало «объемов», чтобы скорее сделаться министерством. Так, во всяком случае, объясняют тот факт, что отрасль сама попросила и с охотой взяла себе в некоторых районах страны глубокую разведку геотермальных месторождений. А также эксплуатационное бурение на горячие воды и пар. В планах газовиков появились соответствующие цифры, появились

Эта «Справка...» — документ для планирования, и в ней информация для размышлений.

Но информацию, собранную в этой «Справке...», начисто забивает другая: тут, на Камчатке, не могут пока реализовать и ту «готовую к употреблению» энергию, что с великим трудом уже вывели на поверхность. Большую часть поднятого из недр тепла тут теряют.

Это досадно. Законсервировав, например, нефтеносную скважину или разведанный пласт антрацита, мы сберегаем добро, произведенное природой за миллиарды лет, и потомки, глядишь, нам скажут спасибо. Природный пар и горячие воды — иное. Выведя их и запустив к турбинам и в теплотрассы, мы не истощаем ресурсы. Можем, конечно, «испортить» глубинные горячие зоны, то есть затруднить поступление «теплоносителя», если неграмотно будем вести бурение; но то тепло, которое поднимаем из недр, мы обязаны использовать. Иначе его приходится сбрасывать, обесценивая свой труд. Это не по-хозяйски.

Яснее представить картину помогает история Паужетки.

Сама Паужетка — река, приток Озерной. Юг Камчатки, все близко: истоки, притоки, устья. Все расстояния измеряются десятками километров. Водоразделом высится Камбальный хребет. С его обдутых ветрами вершин при ясной погоде видны Охотское море на западе и Тихий-Великий океан на востоке. Но километры тут — трудные, и ясной погоды бывает немного.

Группу источников пара и кипятка в долине Паужетки хорошо обследовал еще С. П. Крашенинников. «Ключи бьют во многих местах, как фонтаны, по большей части с великим шумом в вышину на один и на полтора фута,— писал он.— Некоторые стоят, как озера в великих ямах, а из них тенут маленькие ручейки, которые, соединяясь друг с другом, всю помянутую площадь как бы на острова разделяют и нарочитыми речками впадают в означенную Пауджу».

С середины пятидесятых годов геологи пробурили тут десятки скважин. От ГеоТЭС к Охотскому берегу идет тридцатикилометровая линия передачи электричества. Там возле устья реки Озерной много лет существует крупный рыбоконсервный завод. При нем изрядный поселок, за речкой — рыболовецкий колхоз. Завод называется Озерновским, так же и поселок. Связь с Петропавловском — теплоход, появляющийся примерно раз в две недели. И — по погоде — малые самолеты местной авиалинии.

После начала работы ГеоТЭС была долго «опытной», хотя уже и промышленной. Несколько лет ее отлаживали и регулировали. Геологи между тем доразведывали месторождение, выводили из недр новые и новые притоки «теплоносителя» — то есть в данном случае перегретую, под большим давлением, смесь воды с паром. На скважинах пар отделяют, малую часть его направляют в машинный зал станции, а избыток стравливают в атмосферу. Воду-кипяток сливают в основном «на рельеф», и она течет в речку.

Кое-что тут за двадцать лет изменилось. Мощность станции — номинальная — выросла, повторяю, до одиннадцати мегаватт. А можно уже обеспечить и семнадцать. «Теплоносителя» хватит. Реконструируют ЛЭП, повышая ее пропускную способность. И прочее...

Но почему-то, кого ни спросишь о Паужетке, все в голос твердят, что ничего там нового нет, а все то же. Как это так?.. А вот так. Раньше цвели надежды. Раньше тут гордились собой и делом своих рук. А потом устали и постарели. Кто-то уехал, кто-то расслабился. Кое-кому надоело. И многие рассердились. Потому что те же проблемы и вопросы. За двадцать-то лет не сумели даже отладить водозабор из реки — для охлаждения установок ГеоТЭС. Как забивало его льдом и мусором, так и забивает. Мощность-то довели до одиннадцати мегаватт, а станция как давала в линию два — два с половиной мегаватта, так и дает. В моменты пиковых напряжений, когда лососевая путина, к примеру, Паужетка посылает заводу четыре мегаватта. Или четыре с половиной. А больше вроде не требуется. Так чего было огород городить? Зачем приращивать запасы и мощности?

С директором ГеоТЭС Масловым я познакомился в Петропавловске в августе 1986 года.

Юрий Васильевич приехал на Паужетку пять лет назад и прежде всего обнаружил, что основное оборудование станции предельно изношено. Термальные воды не безобидны. Они химически очень активны и энергично воздействуют на металл. Требовались не ремонты и «подновления» установок, надо было уже реконструировать станцию. Тем более появилась третья турбина...

Две основные турбинки — каждая на два с половиной мегаватта — для Паужетки когда-то сделал Калужский завод. В общем, они хорошо работали. Но в семидесятые годы вырос потенциал ГеоТЭС, и вот появилась третья турбина. А это вещь фантастическая.

Маслов точно не знает, где ее нашли. Видимо, на задворках какой-то электростанции и, скорее всего,— среди оборудования, списанного по старости. Судя по маркировке, построил эту турбину Уралмашзавод, а было это в 1940 году. Таким образом, сроки амортизации вышли, вещь, по-видимому, давно окупила себя и Паужетке досталась «задаром». Зато мощность турбины — точно шесть тысяч киловатт (шесть мегаватт).

...На Паужетке ее приводили в чувство более четырех лет. Быстрее не получилось: запчасти искали по всей стране, чуть ли не по музеям старинной техники. Что отыскивали — везли на Камчатку. Мало-помалу истратили ровно сто тысяч рублей. И в прошлом (теперь уже — позапрошлом) году подключили. Фактически это другая машина. Теперь, сказал Маслов, она одна и работает, а основные турбинки выведены в резерв. Нет потребителя мощности.

Насчет шестимегаваттной турбины мне говорили, что, мол, она похожа на каракатицу. Но Маслов о ней рассказывал с явной симпатией — никаких «каракатиц»! — сроднился, верно, за годы. Зато утверждение, что на юге Камчатки в принципе «нет потребителя мощности», Юрий Васильевич полагает абсурдом.

И он пояснил, как эта глупость могла возникнуть.

Мы с вами, население, за электричество, как известно, платим из расчета киловатт-час — четыре копейки. Промышленное предприятие платит за киловатт-час — девять копеек,.. если использует киловатт-часы непосредственно для производства. Но если то самое предприятие вздумает тратить энергию на отопление, например, заводских помещений или поселка и клуба, то, извините, тогда киловатт-час будет предприятию стоить тридцать копеек.

Если рыбоконсервный завод решит электричеством Паужетки греть воду для отопления жилых домов, школы, больницы и детского сада, то заводской бюджет пошатнется, эти киловатты кусаются, «завод без штанов останется», сказали мне в объединении «Камчатрыбпром»...

И вот тепло в Озерновский идет из котельной, сжигающей уголь, добытый на Сахалине. Уголь доставляют морем. А бухта тут, кстати (некстати!), открытая, у берега мелководье, и углевозы приходится обрабатывать на рейде, там переваливать уголек на плашкоуты.

Врать не стану, я этих операций не видел, а только пытаюсь вообразить. Но видел поселок: зимой и летом он в угольной крошке и пыли. Котельная адски дымит.

И все же тепла не хватает, в школе и детском саду ребятишки неделями не снимают пальто. Хотя на угольное отопление в Озерновском расходуют миллионы рублей.

Вот взятые в техотделе «Камчатрыбпрома» данные за 1985 год. В том году Озерновский получил 22 тысячи тонн угля, платя примерно по 70 рублей за тонну. Прибавив затраты на перевоз, перегрузку, обслуживание котельной и «прочие», итожим: тепло обошлось рыбзаводу («Камчатрыбпрому», Министерству рыбного хозяйства СССР) и поселку в два миллиона триста тридцать с хвостиком тысяч рублей...

Можно ли сэкономить, пользуясь электричеством?

и ассигнования, и штаты, и лимиты, и фонды материального обеспечения, и главк — тоже «Тепло Земли» — и управления по ИГТЗ в нескольких регионах, в частности в Петропавловске. Минтазпромовцы вышли с глубоким бурением на Паужетку, а в семидесятые годы работали не только на юге, но и в других районах Камчатки.

О том, чем КУ по ИГТЗ занялось позже, в восьмидесятые, речь еще будет. Пока лишь скажу, что на Паужетке оно взялось реализовать природоохранный проект. Этот проект такой, что в результате его исполнения тут будут горячую воду... закачивать в недра, откуда ее и взяли. Обоснование: некоторые ихтиологи полагают, что минерализованный кипяток, сливаемый «на рельеф», может испортить на юге Камчатки среду обитания и размножения нерки. А это ценная красная рыба, лосось.

Ныне общество остро и даже порывисто реагирует на сигналы опасности для природы. Надо среду охранять, кто спорит... А уж если природоохранные меры выводят на денежные — за счет госбюджета — и очень, как говорится, непыльные объекты, то тут мало-мальски опытный хозяйственный руководитель своего не упустит. Среду и природу он защитит, где надо и где не надо, и наберет показателей в план и сверх плана.

КУ по ИГТЗ взялось исполнить проект «на-раз»; ведь на территории множество старых скважин, которые можно использовать. Вообще всегда лучше трудиться на обустроенной территории, где знакома каждая кочка.

Не возвращаясь к многообразию всех проблем Паужетки и к разным возможностям-вариантам решить их, ограничусь констатацией общепризнанного на Камчатке факта, что повести теплопровод от Паужетки к Охотскому морю — работа, по сути, несложная, если сумеют договориться друг с другом ведомства, если кто-то (господь?!) надоумит и вразумит эти ведомства сложить силы-средства, в результате чего одно ведомство сократит перевозки угля, другое откажется от идеи закачивать тепло в Землю. Взялись бы — и сделали... А вдвоем не управятся, в долю позвали бы Агропром, например. Нужно Агропрому выращивать овощи? Да или нет? Ведь сейчас с Паужетки из частных тепличек люди возят в Озерновский и огурцы, и редиску, и лук и продают по цене, которую страшно назвать...

Так кто бы взял на юге Камчатки за руки всех «хозяев» (приходится заключить это слово в кавычки!) и свел бы их в хоровод, чтоб они пошли в одном ритме под общую музыку. Кто вообще тут закажет всю музыку, и — когда это будет?

Может быть, не хватает путевого «мэра», или, говоря по-нашему, надо активизировать и стимулировать председателей исполкомов и их замов, чтобы реализовали они наконец свои организаторские таланты, если есть такие таланты. Или хотя бы способности. Кто-то тут обязательно возразит: какие у них, мол, права — у райсоветов, сельсоветов, горсоветов, исполкомов, председателей...

Но давно уже сказано и не требует объяснений — у них все права, какие возьмут. Это ж Советская власть, наша с вами, а вовсе не фишки-фигуры на бумажных полях, где разыгрываются ведомственные турниры...

Еще в шестидесятые годы, когда прояснилось, что геотермальная энергетика — самостоятельное и перспективное направление и что развивать ее надо комплексно, заговорили о том, что этому направлению нужен единый хозяин. В масштабе страны. Иначе, мол, дела не двинем.

И вот весной 1981 года Мингазпрому было поручено создать всесоюзное НПО по использованию земного тепла.

Организовали его мгновенно, и этому научно-производственному объединению сразу же переподчинили все территориальные управления: закавказские, северокавказские, камчатское... В его состав ввели институты — исследовательский и проектный. Явился, короче, долгожданный Хозяин. Место ему, всесоюзному, определили в Махачкале. Почему там? На это были свои резоны, о них дает понятие опубликованная «Правдой» в июле 1981 года статья тогдашнего председателя Госплана Дагестанской АССР. Товарищ А. Гаджиев писал, что Дагестану принадлежит ведущее в нашей стране место по запасам глубинного тепла Земли, что здесь получены «значительные практические результаты» в использовании энергии горячих подземных вод, что в Махачкале работает первое в стране промысловое управление по использованию глубинного тепла, что республика Дагестан добилась «крупных успехов» в развитии геотермальной энергетики «в промышленных масштабах», а далее будут новые успехи, поскольку есть, к примеру, расчет геотермальной электростанции «в районе Тарумовки» на 400 тысяч киловатт (!). И все такое.

Впрочем, что пересказывать? Это было произведение в жанре псевдонаучной фантастики. Или же барабанный бой в чистом поле.

Камчатское управление, как и другие, вошло в НПО, но дела на Камчатке от этого лучше не стали. Напротив, ухудшились. Вместо концентрации, специализации и интенсификации трудовых усилий получилась концентрация-специализация штатных расписаний и должностных окладов с неизбежной при этом интенсификацией бюрократического процесса. НПО раздувалось. Оно дулось-дулось и... нет, не лопнуло, ликвидировать такие учреждения мы еще не умеем. Оно, скажем так, сильно съежилось, как только выяснилось, что не полезно, а вредно. А выяснилось это очень скоро. Первым взбунтовалось и отвалило Грузинское управление. Потом отпал другой близкий к Махачкале регион — Чечено-Ингушетия. И пошло-поехало. Дольше всех во власти махачкалинских «хозяев» геотермальной энергетики держалась Камчатка. Одно время работал воздушный мост: руководители НПО летали по направлению вращения Земли с каспийского побережья, а руководство КУ по ИГТЗ летало за солнцем с Тихого океана... Пока и Камчатское управление не переподчинили, вернув «Союзбургазу», находящемуся в Москве.

Геологическая разведка сродни искусству. А в срединной и южной Камчатке выявлено столько геотермальных месторождений, что можно обосновать бурение глубоких разведочных скважин на горячую воду чуть не в любом районе. И не обязательно после скрупулезной подготовки всех материалов. Можно действовать проще, грубее. Особенно если решение зависит не от специалистов, а от чиновников-распорядителей средств. Тут можно и схалтурить.

И вот в работе КУ по ИГТЗ обозначился новый стиль. Управление стало брать объекты только в удобных для себя местностях. Обосновали и взялись вести, например, глубокие скважины близ Сероглазки (а это район Петропавловска) на самом берегу Авачинского залива. Толку — ничуть, результат нулевой, но смета — на миллионы. С тем же эффектом упрямо ищут горячую воду у поселка Озерновского, на побережье Охотского моря,— нет чтобы повести туда кипяток с Паужетки... На Паужетке зато уже скоро и в самом деле начнут закачивать горячую воду в недра.

В КУ по ИГТЗ провозгласили, презрев многолетний опыт и всю теорию: «Где нужна горячая вода, там она и будет!» И повело управление в глубины планеты скважину в нескольких сотнях метров от своего порога, почти что в центре города Петропавловска. Наблюдать, скажем, спуск инструмента, подъем инструмента, смену долота, спуск обсадной колонны и прочие операции можно было из окон управления. Очень удобно, очень.

Зайдя под вывеску КУ по ИГТЗ (тогда ее еще не сменили), я застал начальника М. Г. Редькина в его кабинете, но он собирался в облисполком. Я спросил о скважине. Михаил Григорьевич сказал, что проектная глубина ее два с половиной километра, а сейчас забой на тысяче двухстах пятидесяти метрах. Половину, словом, прошли. Температура?.. Плюс двадцать восемь.

Я проглотил реплику. Едва не сорвалось, что на такой глубине такую температуру можно было достать и в Москве, засадив скважину, допустим, во дворе Мингазпрома СССР. Но М. Г. Редькин возразил на не высказанную мной мысль, что у КУ по ИГТЗ есть надежда попасть «в разлом», показанный на тектонических картах.

Мне показалась тут какая-то несообразность, я попросил пояснить производственный план управления: источники финансирования, доходы, расходы, убытки, проценты и перечень объектов. Но Михаил Григорьевич спешил в исполком — дать материалы к ближайшей сессии. А никому другому заняться с журналистом он поручить не мог. В управлении, сказал, все люди — новые, не знают они, что к чему, а главный геолог в отпуске. Так лучше бы встретиться в более удобное время.

Но времени в Петропавловске у меня не нашлось, а уже после выяснилось, что и сам М. Г. Редькин руководит своей конторой недавно.

Положим, соображал я, дело везения, попадет «в разлом» буровая бригада, или промажет. А если и попадут!.. Не обязательно же на проектных глубинах с предполагаемым разломом (геофизики говорят, он в самом деле где-нибудь здесь) связано месторождение горячих вод. Нет, вовсе не значит... И скважина возле управления — просто «дикая кошка» в классическом варианте. Так называли в Техасе дырки, наудачу просверливаемые в прериях азартными, но невежественными искателями нефти. Но те рисковали — надеясь, что вдарит фонтан! — своими долларами и центами. Сами же и разорялись. Камчатские «кладоискатели» не рискуют на свои. Они берут из «бюджета», то есть — по сути — рискуют на наши с вами средства, дорогие читатели. Миллион — полтора миллиона рублей стоит такая скважина на Камчатке. Брали бы из городского бюджета (вода нужна прежде всего Петропавловску), так хоть городские власти вгляделись бы в «обоснование». Но это бюджет Мингазпрома, у которого в обороте всегда находятся сотни и сотни миллионов рублей, и как ему не найти «под план» Камчатского управления двух-трех миллионов. Сама-то скважина относительно недорогая, поскольку не надо к ней строить дорогу или «пролаз» пробивать, не надо слать вахты на вертолетах да и проект типовой. Метры проходки в сроки в даже досрочно ложатся в отчетные графы сводок КУ по ИГТЗ, перекочевывают в показатели всесоюзного объединения, а далее и верховного главка. Городские власти не только не против, а вроде бы совершенно загипнотизированы надеждой (увы, в данном случае детски-наивной) получить — а вдруг! — посреди Петропавловска без хлопот и расходов «большую» горячую воду.

О, если бы эту самую скважину (лучше — в другой точке города или в его окрестностях) спроектировали бы и забурили не как разведочную, а как исследовательскую (опорную, параметрическую...)! Тогда — иной разговор. Тогда оправданы все расходы, хотя их, кстати, было бы больше.

Задачи такого, исследовательского, бурения в Петропавловске и поблизости от него давно сформулированы. Они, как водится, многообразны. Одну из них в полном объеме представил еще В. В. Аверьев в докладе о перспективах развития геотермальной энергетики на Камчатке. Вместе с Аверьевым и после него многие ученые подробнейше обсуждали идею, обсасывали и обкатывали и довели, между прочим, до основательных предпроектных разработок.

Чуть ли не в газетах сообщено было, а уж в научно-популярных журналах — точно, что под Авачинской, например, сопкой на глубине три—пять километров выявлено местонахождение так называемой промежуточной камеры вулкана — с очагом огненно-жидкой магмы. Температура расплава — около восьмисот. И если с поверхности к этой магме закачивать через скважину воду, а в устье другой хорошо рассчитанной и направленной в ту же «точку» скважины принимать вылетающий с глубины перегретый пар, то, стало быть, мы используем этот самый магматический очаг как подземную топку с подземным котлом.

В схеме, как видим, все проще простого.

Другое дело — реализация. Начинать реализацию идеи нужно с бурения тщательно спроектированных исследовательских скважин. Потребуется специальное оборудование, сверхжаростойкий бурильный инструмент, сверххолодные

промывочные растворы и жидкости — скажем, жидкий азот, давно уже применяемый в США на глубокой разведке геотермальных месторождений,— и ощупью, шаг за шагом придется отрабатывать всю технологию проходки скважин в зонах сверхвысоких температур и аномальных перепадов давлений.

Но пока еще и на Мутновской разведке геологи и буровики плохо справляются с шарадами и ребусами, возникающими чуть не на каждом метре глубинных горячих зон. Там даже нечем мерять температуру в скважинах — стандартные приборы не выдерживают более 180 градусов, выходят из строя кабели и т. п., как только скважины углубляются в продуктивные геотермальные горизонты, и нет на Мутновке безаварийных глубоких скважин. Тем более трудно придется, когда буровые пойдут к магматическому очагу под Авачу.

Вместе с тем можно полагать, что такое бурение ныне вполне нам под силу. Новая техника позволяет надеяться на успех. Ведем же опорную скважину сквозь кристаллический щит на Кольском полуострове и — пусть работы там продолжаются более десяти лет, пусть расходы огромны,— углубили же ее за отметку десять километров, получили бесценный материал. Стало быть — в силах. И надо иметь в виду, что на Камчатке бурение к магматическим очагам преследует совершенно конкретную цель и в случае успеха сравнительно скоро окупится, сколько бы на него ни затратили. Геотермальная станция на «сухом тепле» магматического очага — мощностью миллион киловатт, это рассчитано — сможет действовать в принципе бесконечно. Ну, во всяком случае, несколько сотен лет, писал в свое время В. В. Аверьев,— это устраивает? Останавливать ее придется лишь для ремонтов и смены оборудования.

Стоит для этого потрудиться сейчас? Чтоб хоть приблизить решение, хотя бы точнее определить, возможно ли...

Оставив фантастику и мечтания, я поинтересовался — уже приехав в Москву, в Мингазпроме,— получены ли результаты на петропавловской скважине КУ по ИГТЗ. Чем черт не шутит, может, попали «в разлом» и ударил из недр кипяток. Ну, нет, ответили мне, эта скважина побывала в аварии, а потом ее ликвидировали не то по техническим причинам, не то как «выполнившую назначение», то есть доведенную до проектной отметки. И еще я узнал, что Камчатское управление не опустило рук, не падает духом и собирается бурить в городе следующую глубокую разведочную скважину с тем же самым обоснованием.

Главк против этого не возражал и даже поддерживал, в объединении все как один загадочно усмехались, а вот в Госплане СССР эксперт геологического отдела, курирующий вопросы использования земного тепла, озаботился. Его явно встревожила очередная «задумка» Камчатского управления. Он даже спросил меня, мол, не может ли выступить пресса — остановить производственную экспансию М. Г. Редькина, то есть осуществление новых проектов бурения в Петропавловске.

Но бог с ним, с Камчатским управлением, бывшим КУ по ИГТЗ. Ясно, оно работает себе «на план», проценты плана — вот его результат, а прочее все не важно. Были б иные цели и стимулы, могло бы работать и по-иному.

Стимулы — вот что существенно. Кому и зачем «оно надо». В данном случае не мешает уточнить, кому нужны малые и большие калории тепла и зачем...

Вроде бы нужно «всем»: и городу и селу, и промышленности и «соцкультбыту». Но это — расплывчато, хорошо бы — конкретнее.

Невдалеке от Елизова, в долине реки Паратунки, там, где к началу семидесятых годов геологи вывели на поверхность и подготовили к эксплуатации сравнительно крупные запасы глубинных горячих вод, уже несколько лет успешно действует теплично-парниковый комбинат, выращивая огурцы, помидоры и всякую зелень. Совхоз называется «Термальный». Расположенный рядом по-

селок геологов с обустроенной производственной базой Паратунской экспедиции — здесь теперь и Камчатская экспедиция «Сахалингеологии», которой передали разведку Мутновского месторождения,— тоже называется Термальный, но его пишут, не заключая в кавычки. Он в зелени мощных деревьев, тут, разумеется, горячее водоснабжение, есть и бассейн, перестроенный из пожарного (виноват — противопожарного) огромного водоема, а при нем застекленный холл с зимним садом, и баня, и раздевалки. Пользование — бесплатное... Зимой, когда кругом снег, или осенью, когда сыплет холодный дождь, плавая в этом бассейне (глубина изрядная), всем организмом воспринимаешь и дополнительно постигаешь прелесть и силу геотермального водоснабжения.

...С главным гидрогеологом Паратунской экспедиции Юрием Федоровичем Манухиным я познакомился годы назад в связи с общими литературными делами. Когда-то ему, еще молодому специалисту, тему научной работы подсказал В. В. Аверьев. Вот уж лет десять, как Ю. Ф. Манухин защитил кандидатскую диссертацию, а года три как стал членом Союза писателей. То и другое не просто, но и не такая уж редкость в среде геологов. Ведь со студенчества анализируют, обобщают и — пишут. Таланты и выявляются.

Теперь в Термальном именно Юрий Федорович ввел меня в курс разных дел и, в частности, предложил проехать на новую геотермальную скважину «тут, по соседству». Идею одобрил и Вячеслав Борисович Звягинцев — начальник Паратунской экспедиции.

Действительно, было о чем говорить и на что посмотреть. Экспедиция начала бурение на этом участке — Кеткинском — по рекомендации геофизиков, не ожидая, пока «верхи» одобрят проект и спустят ассигнования. Пошли на риск, взяв средства с другого объекта, с другой сметы... Быстро наметили (отбили) первую точку, пригнали самоходную установку и нанесли «укол», пробурив — незаконно! — первую поисковую скважину.

И получили горячую воду.

Да, все сделалось чудо как быстро. Молниеносно. В мае забурились, в начале июня ударила вода с температурой под шестьдесят градусов с глубины 340 метров. Дебит приличный. Тотчас же начали рядом вторую скважину — почти на километр, до мезозойской толщи.

...Вот она, первая. На поверхности арматура, перехватившая устье. Труба смотрит в новенькую емкость, сваренную из оцинкованного железа, вроде глубокого корыта. Звягинцев открутил вентиль, ударила горячая вода, запахло серой. На ощупь вода была шелковистая. И люди уже проторили тропу. Едут и едут машины, из них вылезают граждане, желающие исцелиться. Для этих людей экспедиция поставила тут сварное корыто — не сидеть же им в луже! — и окунают они в шелковистую воду свои ревматизмы, артриты, артрозы, радикулиты...

Здесь, на этом самом Кеткинском участке, экспедиция рассчитывает вывести на поверхность примерно двести пятьдесят литров горячей воды в секунду, что и требуется будущим теплицам соседнего совхоза «Заречный».

Директор «Заречного» Валентин Никитович Ролдугин заезжает на скважины чуть ли не каждый день. Смотрит, как дело идет. Нетерпеливый он человек: ему надо — быстрее. Ему это истинно *надо*, лично и срочно.

И, хочешь не хочешь, если уж заскочил ты на Паратунку, в Термальный, мимо Ролдугина не проедешь.

Валентин Никитович любит словцо «аплодировать». Я аплодирую, ты аплодируешь, он, она, они, вы, мы...— все аплодируют новостям из «Заречного». Аплодируют и областное начальство и всесоюзная пресса. А почему бы и нет?! На всем на Дальнем Востоке с Приморским краем, Чукоткой, Биробиджаном и Сахалином таких хозяйств вроде нету,— такого размаха и такой рентабельности.

«Заречный» — это 1125 гектаров картофеля, четыре с половиной тысячи гектаров кормовых трав, полтораста гектаров овощей; это две тысячи двести коров, и каждая в среднем дает три тысячи семьсот литров молока в год. Больше трех тысяч голов крупного скота. Триста лошадей. И даже, впервые на Камчатке, отара овец. Об этом любят писать газеты. Сотню овец монгольской (или алтайской?) породы Ролдугин вывез сюда из Читы. Опираясь на опыты ВИЖа — института животноводства,— намеревается повязать эту центральноазиатскую овечку с камчатским снежным бараном, вписанным в Красную книгу. Полагает, не «козлотуры» получатся, а что-то, может быть, дельное.

Ролдугин сам — липецкий. Он на Камчатке остался после армейской службы, и это было уже более четверти века назад. Тут, где угодья «Заречного», были лесные деляны, корчевки. Корчуют лес и сегодня, но — по-иному. Раньше осваивали целину, сегодня — приращивают сельскохозяйственные площади. Ролдугин несколько лет назад попросил мелиораторов-корчевателей уйти с совхозной земли вообще. Ему не подходит их стиль. Им ведь подай массивы, лучше всего — большие болота. Туда они запускают могучую технику: тягачи, бульдозеры, экскаваторы,— и наступают по фронту, и выполняют «объемы» на миллионы рублей. А позади их — трава не расти... Ролдугин эту организацию не без удовольствия вытолкал из совхоза, как только сумел раздобыть несколько корчевателей и экскаватор. Теперь год за годом совхозная бригада приводит в порядок десятки гектаров.

Я попросил Ролдугина прояснить его личное отношение к проблемам использования земного тепла. Он прояснил. Его отношение самое простое: он аплодирует. Но не только. Он считает, что «Заречному» немедленно-срочно нужна горячая вода, нужны и трубы, которые поведут эту воду в теплицы. Вот такое его отношение, а все прочее — разговоры.

О том, что геологи получили в Кеткине горячую воду, Валентин Никитович узнал сразу, хотя в то время был в отпуске на материке за двенадцать, что ли, тысяч километров отсюда. Раз такие дела, заехал в Москву, пошел на прием к знакомому заму председателя нового всесоюзного Агропрома. Так, мол, и так — термальная вода. Надо быстро проектировать теплицы. Деньги есть. Тот зампред адресовал Ролдугина к другому зампреду, который ведает всесоюзным тепличным хозяйством. Есть скважина, повторил тут Ролдугин, уже дает воду, и пока геологи наладят разведку и опытные выпуски, пока подсчитают запасы, надо спроектировать теплицы площадью девять гектаров. Основание — справка Паратунской экспедиции о предварительных запасах. Экспедиции он, Ролдугин, вполне доверяет. Берется ввести теплицы через год с небольшим, а осенью 1988 года уже дать с них в торговую сеть первые урожаи овощей.

Не упустил Ролдугин сказать еще, что в перспективе он видит участки под пленкой и капитальные парники совхоза «Заречный» на площади 18—20 гектаров. И не в далеком будущем, а к исходу нынешней пятилетки.

Ну что ж, хозяин авторитетный, совхоз дает миллионные прибыли. И — убедил. Обошлось без комиссий-«консилиумов», не понадобилось на сей раз сочинять, писать-переписывать бумаги и чтоб они месяцами переползали из одного кабинета в другой. Ролдугин получил в Агропроме «добро» и тут же, в Москве, заключил договор на проектирование теплиц. До сих пор Ролдугин удивлен, окрылен. Все без волынки. Сразу же на Камчатку прилетел толковый специалист, и вот-вот будет проект... А теплицы Ролдугин построит, по-видимому, хозяйственным способом, как строят в совхозе всё. Если так дальше пойдет, то есть толково и делово, то в последнем году пятилетки совхоз реализует продукции на тридцать один миллион рублей. Вместо нынешних одиннадцати миллионов.

Втрое, значит, предполагает он увеличить свое производство. Как? А вот так: используя тепло Земли. На этой основе будет улучшена структура хозяйства. В частности, совхоз решительно *вытолкнет* малорентабельные направления и отрасли. Заменит доходными. Тогда будут громкие аплодисменты.

А то, что в разных районах Камчатки не используют и не стремятся ис-

пользовать геотермальные месторождения, подготовленные к эксплуатации, и некоторые из этих объектов даже «вывели за баланс» (мол, пока подождут) — это не по-хозяйски, мягко говоря. А можно сказать и жестче. Фактов хватает. Вывели за баланс давно разведанное Больше-Банное месторождение, не используют Нижне-Кошелевские источники горячей воды и Верхне-Паратунское месторождение, пропадает большая часть энергии на Паужетке. Уходит тепло, пока ждем, как распорядятся всесоюзные ведомства, Совет Министров, Госплан... Самим, на месте, надо соображать и действовать. Надо, в частности, поискать и найти свои средства на парники и теплицы. Зеленая продукция окупит все затраты. Если хозяйствовать, конечно, а не, прошу прощения, сопли размазывать.

Редис, укроп, помидоры, огурцы, сельдерей — да этим добром можно завалить Камчатку, подавая его в торговую сеть чуть не с мая. Все это люди давно выращивают на своих огородиках возле Елизова. В «Заречном» при бедности теплом на мизерных источниках энергии в этом году — для опыта и из принципа! — вырастили немного зелени точно к 1 Мая. Это же красота. За это людям — аплодисменты.

Мы все толкуем, чего это, почему так буксует важное дело — развитие геотермальной энергетики на Камчатке. Десять лет буксовало, пятнадцать, теперь уже — двадцать. Не потому же мы в самом-то деле отстаем от зарубежных регионов Тихоокеанского пояса, что, как нравится думать иным товарищам, один ВНИИ не дает Мутновской глубокой разведке приборов для измерения сверхвысокой температуры в скважинах, вскрывающих паропродуктивные зоны, а другой НИИ или московский головной институт не способны разработать методику опробования этих скважин, хотя все договоры подписаны и оплачены, ученые днюют и ночуют на Камчатке... Причина неуспеха и не в том, что тяжелые станки «нефтяного ряда» пришли на разведку геотермальных месторождений с большим запозданием и Министерство геологии РСФСР — неправомерно, кто спорит! — вдруг отобрало «объект» у одной экспедиции и передало другой (это была имитация очень решительных мер). Но — и потому, и потому. Провалов, недоработок, ошибок за двадцать лет...

За двадцать-то лет ответственность так растеклась, что теперь уже не поймешь, какие решения шли из какого штаба. Кажется, инициатива во всех делах геотермальной энергетики напирала «снизу», от ученых и производственников. А «верхние» этажи-эшелоны держали оборону, и там возникло обыкновение рассматривать суету камчатских энтузиастов — да и хлопоты Всесоюзного совета по геотермии в Москве, это орган консультативный,— как бы в перевернутые, то есть уменьшающие, бинокли.

Хотя, мы знаем, центральное руководство народным хозяйством возложило ответственность за эти дела на самые мощные ведомства и учреждения, располагающие миллиардными средствами и неисчерпаемыми материальными возможностями.

И даже, например, в Мингазпроме СССР есть специальный главк, а в его распоряжении сильное производственное объединение и на Камчатке особое управление «Тепло Земли», то бишь нынешняя «Камчатбургеотермия». Но, оглядывая мингазпромовскую цепочку соподчинений, мы видим, что результаты работы Камчатского управления тревожат лишь саму Камчатку, а отраслевые командиры в данном случае озабочены только тем, чтобы сотрудники бывшего КУ по ИГТЗ не особенно зарывались, исправно давали бы план бурения скважин — в метрах. И без остатка расходовали бюджетные рубли, приличным образом обосновывая эти расходы. О том, чтоб прибавить Камчатке калории и киловатты, газовая отрасль не может тревожиться; это ее, как теперь говорят, ничуть не колышет. Потому что главный показатель Мингазпрома — миллиарды

кубов природного газа. Если вдруг отнять у этого ведомства довесок забот о «тепле Земли», оно, пожалуй, и не заметит, только вздохнет посвободнее...

А Минэнерго СССР так уж нужны и желанны 50 мегаватт первой очереди Мутновской ГеоТЭС? Или — 150 мегаватт? Да — тьфу! Минэнерго в год прибавляет стране по шесть—восемь тысяч мегаватт, тут и там оно вводит в строй единичные агрегаты по 800 мегаватт. Невыполнение чего-то на Камчатке Министерство энергетики и электрификации вдесятеро перекроет, досрочно пустив какой-нибудь энергоблок в другом месте...

То же — министерства геологии СССР и РСФСР (теперь уже бывшее). Выполнили геологи план прироста запасов нефти в Западной Сибири — они на коне, перевыполнили — «аплодисменты»! А дать на Камчатке новые запасы пара и ПВС (пароводяной смеси) и горячей воды — это интересует, по сути, опять же только Камчатку. Лишь ей нужны ГеоТЭС, ее поселкам — горячие трубы водоснабжения и парниковые овощи.

Так или иначе, отраслевые штабы в успехах геотермальной энергетики на Камчатке заинтересованы мало. Или, скажем, средне, даже учитывая, что ход выполнения решений партии и правительства контролируют теперь значительно строже, чем было.

Но как же не вообще, а в данном конкретном случае сочетать централизованное планирование и управление с планированием и управлением на местах? Где на Камчатке грани и переходы между централизованным руководством и самостоятельностью, что здесь такое «опора на свои ресурсы и силы»?.. Во всем этом много неясного. Очевидно, не может быть «своей» экономической политики на Камчатке ни у какого всесоюзного ведомства. С другой стороны, немыслимо и развитие «для себя» хозяйства Камчатки, которая, в частности, дает стране чуть ли не десять процентов всей рыбы, а другие ее резервы еще не освоены. Тут ясна необходимость работать вместе и комплексно.

Это еще одно из набивших оскомину слов, но все по крайней мере вкладывают в него одинаковое содержание.

Сейчас агитировать кого бы то ни было за комплексное использование тепла Земли (на Камчатке и всюду) вроде бы неприлично. Кто против... Согласны и лица, и организации. Но, говорят, не хватает средств: денег, техники. Нету сегодня, а завтра — посмотрим, поищем. Но ведь не хватит и завтра. У всесоюзных отраслей будут и завтра масштабные всесоюзные дела.

Два года назад, в двадцатых числах июля 1986 года, сессия Камчатского областного Совета народных депутатов рассматривала основные направления развития области на двенадцатую пятилетку. Цитирую газетный отчет о докладе предисполкома Н. А. Синетова: «На развитие электроэнергетики направляется 194 млн. рублей государственных капитальных вложений, или в 1,6 раза больше, чем в предыдущей пятилетке. За счет этих средств намечено ввести второй энергоблок мощностью 80 МВт на Камчатской ТЭЦ-2 и начать строительство ее второй очереди, осуществить реконструкцию ТЭЦ-1 с приростом мощности 55 Г-кал., расширить Усть-Большерецкую и Корфскую ДЭС...». Далее Николай Алексеевич говорил и о том, что «уделяется большое внимание переориентации энергетики на местные виды топлива» и в связи с этим, в частности, «предусматривается ускорить геологоразведку месторождений термальной воды и парогидротерм, обеспечить защиту запасов природного теплоносителя для строительства Мутновской ГеоТЭС».

Стало быть, в пятилетку Камчатской области строительство первой очереди этой станции не вошло? То есть, ее не будет и в 1990 году — к новому сроку? Зато в силу необходимости (нужна энергия) десятки и десятки миллионов рублей пойдут на развитие и реконструкцию обычных теплоэлектростанций, дизельных станций, котельных... и ввоз нефтепродуктов и угля пропорционально вырастет.

...Однако через полторы недели после той сессии областного Совета первый секретарь Камчатского обкома КПСС П. И. Резников вот что сказал, вы-

ступая с докладом на пленуме обкома (цитирую по той же «Камчатской правде»): «Перед дальневосточниками поставлена задача полностью обеспечить свои потребности в топливно-энергетических ресурсах за счет их добычи и производства на месте. Геотермальные ресурсы области оцениваются как значительные. А вот разведка и защита запасов, к примеру, для строительства первой очереди Мутновской геотермальной электростанции неоправданно затянулась. Примером бесхозяйственного отношения к природным ресурсам может служить Паужетское месторождение. Здесь только 20 процентов пароводяной смеси идет на выработку электроэнергии. Каждый час сбрасывается в реку 700 тонн воды с температурой выше 100 градусов. В то же время в поселок Озерновский, являющийся ближайшим соседом Паужетки, завозится до 30 тысяч тонн угля. В 1981 году защищены запасы термальных вод на Верхне-Паратунском месторождении для расширения совхоза «Термальный», а заказчики и промысловики никак не могут решить вопрос, кому из них строить водоводы...».

Как видим, ударения были расставлены иначе. Что же, не совпадали позиции облисполкома и обкома партии, или мнение Николая Алексеевича существенно отличалось от мнения Петра Ивановича? Ни то, ни другое, а вот что. В последних числах июля и первых августа, в период между сессией Камчатского облисполкома и пленумом обкома партии, на Дальнем Востоке побывал М. С. Горбачев. Встречался с людьми, знакомился с их работой и жизнью, выступал перед активом во Владивостоке, Хабаровске... Прозвучало требование партии полнее использовать в этом регионе уже выявленные собственные ресурсы. Сказано было, что эти ресурсы используют пока в недостаточной мере.

В середине того же августа руководителей областной партийной организации и советских органов, а также «Камчатэнерго», «Камчатгеологии», «Камчатрыбпрома» и других втянула в работу прибывшая из Москвы полномочная группа госплановцев и отраслевых командиров: два заместителя министров, начальники отделов министерств геологии, энергетики, газовой промышленности и Госплана СССР, а во главе — первый заместитель Председателя Госплана. Решались вопросы развития геотермальной энергетики.

Совещания и заседания перемежались выездами на места. Летали и в Озерную, оттуда — на Паужетку. Были на Паратунке в поселке Термальном, по трассе ездили на Мутновскую разведочную площадь... Результаты работы свели в протокол, подтвердивший прежде всего, что для развития энергетики с опорой на местные возможности на Камчатке должны быть использованы именно геотермальные месторождения.

Протокол содержал и перечень согласованных всеми мер и мероприятий. Вплоть до того, что указано было позаботиться на Мутновской разведке «об использовании зарубежного опыта» и даже — впервые в практике,— не ожидая завершения разведочных работ, ставить на действующие скважины паротурбинные агрегаты и «сократить за счет этого мощности двигателей, работающих на дизельном топливе». И «форсировать работы на Кеткинском участке близ Елизова»...

Судя по документу, Госплан СССР привлек всех к работе и рассудил все, как надо. Все было решено и подписано. И нескладуха уходила в анналы хотя и новейшей, но все же истории, а начинались государственно организованные правильные дела и события.

О, если бы так! Если бы строчки решений и протоколов сразу же становились делами! Если бы все, кого эти слова и решения обязали исполнить, ускорить и обеспечить, если бы все они тотчас же ощутили бремя надлежащей ответственности.

Но люди работали так, как привыкли.

Месяца через полтора после подписания госплановского протокола приехали делегаты «Камчатгеологии» в Москву за деньгами. То есть они явились

в свое министерство, к своему заместителю министра, тому, который подписывал. Теперь, мол, пора уже и материально обеспечить согласованные мероприятия и «объемы». И тут «Камчатгеологии» пояснили, что планы-де превосходные, их не зря утвердили, но вот, смотрите, какой расклад: этому даем, этому даем, на это ассигнуем, вам — тоже, столько-то, как и наметили ранее, когда распределяли капвложения на пятилетку и год. А более денег нет, кошелек пустой, не обессудьте.

Еще и еще приезжали люди с Камчатки в Москву, еще и еще они атаковали кабинеты начальства...

Побывавший по этим делам в Москве нынешней весной Ю. Ф. Манухин рассказал о новой напасти. Угроза исходит опять из Минэнерго СССР — ведомство неутомимо в поиске «объемов» и денежных «объектов», и вот очередной вариант: построить крупную ГЭС на Жупановой. Напомню, идею гидроэлектростанции в заповеднике, на Кроноцком озере, удалось лет двадцать назад похоронить. А это хотя и не в заповеднике, но вблизи, на крупнейшей нерестовой реке.

Самую общую ситуацию достаточно полно охарактеризовала в апреле этого года «Правда», поместив статью Ивана Михайловича Дворова, одного из давних энтузиастов развития геотермальной энергетики. Цитирую: «Ныне в странах мира действуют несколько геотермальных электростанций общей мощностью более пяти миллионов киловатт. Они несложны в монтаже и просты в эксплуатации... Ну, а как у нас? Десять лет тянется разведка Мутновского геотермального месторождения. 20 лет не может выйти из стадии опытно-промышленной эксплуатации Паужетская геотермальная станция... способная генерировать, стыдно сказать, лишь 11 тысяч киловатт. Даже эта мощность используется сейчас только на 35—40 процентов. А в это же время Минэнерго СССР пытается построить на Камчатке, исключительно богатой геотермальными ресурсами, Жупановскую гидроэлектростанцию на реке, в которой нерестится «золотой» тихоокеанский лосось».

Далее, правда, И. Дворов высказывает мысль о необходимости отдать геотермальные ресурсы страны «единому хозяину», с чем я никак не согласен, поскольку неясно, чем практически этот всесоюзный «хозяин» будет ведать и заниматься. Но это другая проблема, о ней говорено выше.

...Вспоминая Камчатку и Петропавловск, бубню, как «режьте билеты» (смотрите рассказ Марка Твена), совершенно уже затрепанную цитату из «Описания земли Камчатки».

«Кажется, что оная страна больше к обитанию зверей, нежели людей способна,..— писал Степан Крашенинников более двухсот лет назад.— Но ежели например того взять в рассуждение, что там здоровой воздух и воды, что нет неспокойства от летнего жару и зимнего холоду, нет никаких опасных болезней, как например, моровой язвы, горячки, лихорадки, воспы и им подобных; нет страху от грома и молнии, и нет опасности от ядовитых животных, то должно признаться, что она к житию человеческому не меньше удобна, как и страны, всем изобильные...»

Вот бы людям на самом нашем Востоке дать хотя б не избыток, а норму комфорта. Да там бы рай земной был. На свете немного таких мест и местностей, на каждом шагу удивляющих красотой...

Но никто ничего не даст. Достаток, комфорт, возможность реализовать себя в разных работах и искусствах — это надо взять самим. Все — сами: и рыбу ловить, и руды металлов добывать из-под сопок, и ананасы, не то что картошку, выращивать в оранжереях, и, наведя достодолжный порядок в делах охраны природы, превратить всю Камчатку в крупнейший национальный парк СССР.

Все это нужно и можно сделать. Энергии — хватит.

В. Лакшин

НЕ ВПАСТЬ В БЕСПАМЯТСТВО

(ИЗ ХРОНИКИ «НОВОГО МИРА» ВРЕМЕН ТВАРДОВСКОГО)

«...слова о гонении на А. Твардовского, на «Новый мир» не более чем плод пристрастного воображения. Вообще, работая в литературной критике более тридцати лет, я что-то не припомню, чтобы когда-то критиковался Твардовский писателями... Так что нет, в обиду Твардовского никогда не давали — и как поэта, и как главного редактора «Нового мира».

Михаил Лобанов. Послесловие. «Наш современник», 1988, № 4.

«Чтобы быть в состоянии произносить искренние и справедливые суждения, нужно изгнать из своего ума всякое предубеждение, всякую предвзятость и не требовать, чтобы авторы, о которых мы беремся судить, рабски подчинялись мыслям, которые властвуют над нами, а в противном случае не смотреть на них как на настоящих врагов, с которыми мы призваны вести открытую войну».

М. В. Ломоносов. Рассуждение об обязанностях журналистов... 1754.

Известно, что память — основа культуры. Беспамятство — ее разрушение. Есть что-то в наших исторических обыкновениях, что заставило великого поэта говорить о лености и нелюбопытстве как исконных наших чертах. Беспамятство тоже нас не красит. Как любим спорить мы с помощью абстракций пристрастного рассудка и как малопамятливы на то, что так сильно болело еще недавно. Как пренебрежительны к фактам, подробностям и как самоуверенны в суждениях о том, что когда-то полузнали, потом полузабыли, да еще — сознательно или невольно — исказили по дороге.

Последнее время много пишут о журнале «Новый мир» в пору, когда им руководил Твардовский. Возможно, об этом еще появятся книги, исследования. Я хотел представить прерывистую канву, конспект событий, свидетелем и участником которых был сам.

В июне 1970 года Твардовский скромно отметил свое 60-летие. Звание Героя Социалистического Труда, которое ему все заранее прочили (а наиболее расторопные успели уже и поздравить), ему не присвоили. Наградили орденом Трудового Красного Знамени, что сам юбиляр, усмехаясь, комментировал так: «Трудись, мол, больше, трудись...» От торжественного вечера в Центральном доме литераторов Твардовский отказался, а устроил обед для десяти человек — сотрудников журнала в ресторане «Прага». Был на обеде еще один его приятель-фотограф, но без фотоаппарата, и Владимир Фоменко, случайно приехавший в те дни из Ростова. Как это мало напоминало шумный, веселый, многолюдный праздник — пятидесятилетний юбилей, отмечавшийся в тех же стенах за длинными столами десятью годами прежде!

Когда все добрые слова, на какие мы были способны, прозвучали и пришло время говорить юбиляру, Твардовский сказал:

— Я верую и исповедую одну теорию: все, что «недополучил» здесь, на этом свете, всякое признание и уважение, получишь после смерти с лихвой, и, наоборот, если перебрал при жизни наград и успеха — тебе грозит забвение...

И вспоминал всю долгую историю своего редакторства в оба, как он выражался, «захода», с 1950-го по 1954-й и потом, после перерыва, с 1958-го.

В 1950 году заехали за ним домой неожиданно А. А. Фадеев и К. М. Симонов, посадили в машину, таинственно отмалчиваясь, куда и зачем везут. Симонов пошутил: «За назначением едем. Меня хотят назначить секретарем райкома, а тебя председателем райисполкома...» Приехали между тем на Старую площадь, прошли в кабинет к Г. М. Маленкову. Тут и выяснилось, что Симонов переходит из «Нового мира» редактировать «Литературную газету», а Твардовскому предлагают возглавить «Новый мир».

Александр Трифонович признавался, что имел тогда очень смутное представление о роли редактора толстого журнала. Помнил только что-то о Пушкине, как издателе «Современника», о Некрасове-редакторе, сочетавшем эти свои труды с собственно поэтическими, и это ему импонировало. Перед Маленковым лежала голубая книжка «Нового мира», раскрытая на популярном тогда романе Добровольского «Трое в серых шинелях». Он спросил:

— Вы знаете, чем толстый журнал отличается от тонкого?

Твардовский подумал-подумал и недоуменно пожал плечами.

— Толстый журнал,— наставительно сказал Маленков, выдержав долгую паузу,— печатает вещи *с продолжением*.

Потом он спросил, не станет ли Твардовский как поэт притеснять в своем журнале прозаиков? Тот ответил, сославшись на Некрасова: мол, он тоже был поэт, но печатал и Тургенева, и Толстого. Тут Фадеев оборвал его репликой: «Ну, ты пока что не Некрасов...»

Так почти безотчетно принял Твардовский назначение, перевернувшее впоследствии всю его судьбу. О периоде работы в «Новом мире» 1950—1954 годов он говорил, впрочем, как о чем-то «доисторическом», полубессознательном. И, однако, еще в 1952 году, при жизни Сталина, журналу удалось опубликовать «Районные будни» Валентина Овечкина, предвещавшие новую литературу, а затем, годом-двумя позже, повести В. Тендрякова, «Записки агронома» Г. Троепольского. После марта 1953-го стала размораживаться, оживать и журнальная критика. Статьи В. Померанцева «Об искренности в литературе», Федора Абрамова о фальшивой «колхозной» беллетристике, памфлет Михаила Лифшица, критика Марка Щеглова читались всеми, но это и послужило поводом к увольнению Твардовского летом 1954 года с его поста. Второй и не менее важной причиной его ухода из журнала была поэма «Теркин на том свете». Первый ее вариант был в апреле 1954 года прочитан Твардовским в редакции в присутствии Николая Асеева, Михаила Светлова, Веры Инбер и др. Поэму набрали, сверстали, но она стала предметом доноса по начальству и рассматривалась как антисоветская выходка, едва ли не с призывом к бунту. Так была истолкована невинная поэтическая строфа, где Теркин мечтает взять «полчок солдат», чтобы разнести канцелярскую мертвечину. Кому-то удалось тогда убедить в злонамеренности автора даже Н. С. Хрущева, вообще-то Твардовскому симпатизировавшего.

На четыре года журнал снова перешел в руки Симонова и лишь летом 1958 года, после беседы с Хрущевым, его снова принял Твардовский. Хорошо помню тот день, один из первых дней работы новой редакции, когда я по приглашению Твардовского пришел в его кабинет на улице Чехова. Он сидел за столом в белой рубашке с открытым воротом, с закатанными рукавами, на лоб спадала светлая прядка еще густых волос. Он что-то читал или правил, а во всех комнатах двери были распахнуты настежь и роился веселый, какой-то праздничный литературный люд — помню лица Тендрякова, Ваншенкина, Виктора Некрасова...

И все же в день своего юбилея Твардовский говорил, что примерно до 1960 года работа в журнале не сознавалась им как важнейшая в его судьбе. Откровенно говоря, его думы были больше заняты собственным творчеством, поездками на Дальний Восток, работой над поэмой «За далью — даль», и лишь потом все постепенно переменилось.

Замечено: чем чаще дитя болеет и чем больше приносит огорчений, тем милее оно родителям. Так и журнал: чем труднее давался его выпуск, чем больше бранили его в печати, тем дороже он становился Твардовскому.

Нападки на «Новый мир» уже в начале 60-х годов сопровождали едва ли не каждую заметную публикацию. Перелистайте газеты тех лет — рецензии на романы и повести В. Пановой, В. Тендрякова, мемуары И. Эренбурга выходили под такими заголовками: «Кого обвиняет писатель?», «Неправедный суд», «Литературный брак», «Не тот прицел, не та тенденция», «Факты и пристрастия», «Неудавшееся воскрешение», «Теория терпимости» нетерпима» и т. п. Но это было скромное начало. Бурю вызвала публикация повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказов А. Солженицына. Большой шум сопровождал появление «Вологодской свадьбы» А. Яшина, путевых очерков В. Некрасова («Турист с тросточкой» — отозвались «Известия»). С 1962 года «Новый мир» был под постоянным прицелом недружественных критических перьев.

Передо мной «Литературная газета» от 2 апреля 1963 года. Здесь напечатано выступление одного из старшин «ростовской роты» писателей, как назвал своих земляков Шолохов,— Михаила Соколова на литературном пленуме. «Товарищ Твардовский — большой поэт, но и у Твардовского как у редактора есть ошибки. Давайте ему скажем об этом и пожелаем, чтобы он дальше их не делал. И вот что бросается в глаза: когда критикуешь тов. Твардовского как редактора, он молчит. А почему бы ему не выступить и не ответить на критику?»

Помню этот пленум. «Новый мир» бранил на нем не один оратор. Твардовский сидел в президиуме, «светил глазами», по обычному его ироническому выражению. И когда Соколов с грозным видом произнес свою филиппику, требуя Твардовского к ответу, тот неожиданно рассмеялся, да так заразительно, что за ним стала смеяться часть зала, только что, казалось, наэлектризованного угрюмой враждебностью. В кулуарах к Твардовскому подошел смоленский поэт Николай Рыленков: «Ты не можешь представить,— сказал он,— как ты расположил всех тем, что не нахмурился, не выразил негодования, а рассмеялся...»

Но в начале 60-х годов положение Твардовского как редактора было еще достаточно прочно. Его редко решались открыто критиковать, считались с его положением: до 1966 года он входил в состав ЦК партии, был депутатом Верховного Совета, его выступления на съездах партии, писательских съездах и пленумах выслушивались с огромным вниманием.

Первый серьезный кризис журнал пережил весной 1963 года: критика в выступлениях тогдашних руководителей Н. С. Хрущева и Л. Ф. Ильичева, проводивших «исторические встречи» с деятелями культуры, беспрестанные нападки на журнал в печати привели к тому, что Твардовский стал подумывать об отставке. Ее готовы были принять и уже подыскивали ему преемников: вели закулисные переговоры с Симоновым, приглашали готовиться к новому назначению В. В. Ермилова... Журнал спасла тогда растущая международная известность, с ней отчасти считались. Твардовский по просьбе Министерства иностранных дел дал интервью журналисту Шапиро, обычно интервьюировавшему Хрущева, и, по настоянию Твардовского, это интервью было напечатано одновременно не только в «Нью-Йорк таймс», но и в «Правде». «Последние месяцы мы имели временную прописку,— объяснял Твардовский тем, кто тревожился о судьбе журнала,— а теперь, кажется, снова получили постоянную... Надолго ли?»

Летом 1963 года в Ленинграде состоялась сессия Европейского сообщества писателей, вице-президентом которого был избран Твардовский. Это тоже имело значение для судеб журнала. После окончания конференции ее руководство, в которое входили нобелевский лауреат Унгаретти, Жан-Поль Сартр и другие, были приглашены в Пицунду на встречу с Н. С. Хрущевым. Доставленные специальным самолетом, они оказались в роскошной курортной резиденции, где их ждал обед. Помощник Хрущева Владимир Семенович Лебедев заранее шепнул Твардовскому, чтобы тот захватил с собой обновленную рукопись своей «отреченной» поэмы «Теркин на том свете». После первых тостов Хрущев неожиданно для присутствующих предложил: «Кажется, Александр Трифонович приготовил нам что-то почитать...» Твардовский, не чинясь, стал читать поэму, а Хрущев очень живо реагировал на чтение — то хмурился, то громко, по-деревенски хохотал в голос. На обратном пути Твардовский спросил из любезности Сартра — не скучно ли ему было, когда он читал, ведь без перевода. Сартр ответил: «Что вы, это был замечательный спектакль! Я следил за переменами лица Хрущева и как менялись одновременно лица ваших писателей» (там присутствовало несколько руководителей писательского Союза).

Сразу после чтения, когда Хрущев поздравил Твардовского и поднял бокал в его честь, А. И. Аджубей попросил поэму для «Известий». Почти одновременно с газетой вышел и «Новый мир», в который мы срочно заверстали реабилитированную поэму.

В начале 1965 года «Новому миру» должно было исполниться 40 лет. Для юбилейного номера Твардовским была написана статья «По случаю юбилея» — статья спокойная, твердая и неуступчивая. Верстка была задержана. Твардовский пригрозил отставкой, попросил встречи у М. А. Суслова. После беседы с «первым идеологом» и внесенных по его настоянию в текст поправок статья была напечатана. «Мы приветствуем споры,— писал Твардовский,— дискуссии, как бы остры они ни были, принимаем самую суровую и придирчивую в пределах литературных понятий критику. Мы считаем это нормальной жизнью в литературе. И сами не намерены уклоняться от постановки острых вопросов и прямоты в своих суждениях и оценках. На том стоим» (1965, № 1).

Девиз Лютера пришелся как нельзя кстати в этой статье, по существу, отвергавшей нападки и на прозу, и на критику «Нового мира». И немедленно в «Известиях» появился обширный ответ «Внесем ясность», подписанный известным скульптором Евгением Вучетичем. Это был первый серьезный случай прямого спора в печати с Твардовским как редактором, знак, что и он лично не вне критики. Автор «Известий» еще расшаркивался перед Твардовским, слишком велика была его народная слава, но уже позволял себе опасные намеки: «Между прочим, лично для меня не столь важно «на чем стоять», сколь важно «за что стоять». Это, я думаю, и должно быть основой спора. Именно, что мы хотим защитить, что хотим отстоять. В этом суть. Эту статью я и написал во имя утверждения истины, нашей партийной истины, которая для всех нас превыше всего» (14 апреля 1965 г.).

Статья Е. Вучетича появилась через полгода после смещения Хрущева, который, как считалось, покровительствовал Твардовскому, и открывала новую полосу в жизни журнала, когда он стал много беззащитнее перед печатью и цензурой, с особой придирчивостью рассматривавшей теперь каждый лист корректуры, подписываемой в печать. Журнал начинало лихорадить, из месяца в месяц он стал опаздывать к подписчикам.

Весь 1965 и 1966 год критика «Нового мира» нарастала. На XXIII съезде партии, куда Твардовский уже не был послан делегатом, журнал критиковали И. Бодюл, Н. Егорычев и другие ораторы. Еще резче говорили о «Новом мире» на Всесоюзном идеологическом совещании, состоявшемся после съезда. В печати же особенно резкой критике подверглись военные повести В. Быкова, «Семеро в одном доме» В. Семина, «На Иртыше» С. Залыгина, «Из жизни Федора Кузькина» Б. Можаева, в также мои статьи и статья В. Кардина «Легенды и факты». Обо всем этом можно было бы написать куда подробнее, но мне хочется лишь прочертить канву событий, каждое из которых непосредственно касалось Твардовского, волновало его, мучило и старило до срока. В печати стали появляться и выходки против Твардовского-поэта: актер Борис Чирков мимоходом задел поэму «Теркин на том свете» в

«Правде». Великолепный спектакль В. Н. Плучека в Театре сатиры по этой поэме, которым Твардовский гордился, был снят после нескольких представлений. Не говорю уже о сугубо прицельной критике из «Октября» Кочетова: там не пропускали ни единого номера, чтобы не разнести что-либо из напечатанных в «Новом мире» вещей. Дмитрий Стариков опубликовал язвительную статью о поэме Твардовского с характерным названием: «Теркин против Теркина». Он тщился доказать, что признанный «Василий Теркин» несравним с «очернительской» поэмой «Теркин на том свете». Твардовского возмущала фальшь таких сравнений. Он неизменно повторял: «Без Теркина на том свете» «большой «Теркин» — сирота».

В декабре 1966 года внезапно было объявлено созревшее в «кабинетах» решение: убрать из редколлегии заместителя главного редактора А. Г. Дементьева и ответственного секретаря Б. Г. Закса. Помимо того, что оба они были старейшими и опытнейшими работниками журнала, их соединяла с Твардовским давняя личная дружба. Первым порывом Александра Трифоновича было немедленно уйти. Он попытался встретиться с Сусловым, но тот не принял его, а по телефону призывал покориться в порядке партийной дисциплины, стращал и улещивал одновременно. Поостыв, Твардовский стал искать пути выхода из кризиса и нашел их в том, чтобы ввести в редколлегию Чингиза Айтматова, Ефима Дороша, а молодого журналиста «Известий», моего друга Михаила Хитрова, сделать ответственным секретарем. Мне Твардовский предложил исполнять обязанности Дементьева, даже если я не буду утвержден по всей форме (Секретариатом Союза писателей). (Замечу в скобках, что так оно и случилось, и до самого конца нашей редакции я оставался и. о. заместителя главного редактора.)

27 января 1967 года появились два грозных подвала в «Правде»: «Когда отстают от времени». Еще прежде на разного рода совещаниях говорилось, что «Новый мир» и «Октябрь» — это две зловредные крайности. «Новый мир» пытается сделать далеко идущие выводы из критики «культа личности», «очерняет» действительность, замахивается на «легенды», а «Октябрь» хочет отменить ее вовсе, восстановив в правах фигуру Сталина и его идеологию. На принципе равновесия ударов — «направо» и «налево», принципе, отработанном в самые суровые годы борьбы с оппозициями, была основана теперь и критика двух журналов. «Христа тоже распинали вместе с разбойником»,— невесело шутил по этому поводу Александр Трифонович.

Между тем трудности с цензурой все возрастали, и подписание каждого номера в печать становилось мукой. Был остановлен уже наполовину отпечатанный роман А. Бека «Новое назначение», и типография понесла убытки, пустив готовые листы «под нож». Не прошла цензуру верстка «Дневников» 1941 года Константина Симонова. Каждую следующую книжку журнала мы составляли как последнюю.

Так прошел 1967 год и наступил год 1968-й. «Пражская весна» сказалась на нашем положении самым прискорбным образом. Литературы стали бояться еще больше, всюду искали «неконтролируемый подтекст». Из апрельской книжки «Нового мира» сняли главы «Деревенского дневника» Ефима Дороша, ни один из материалов не остался без вымарок. Из майского номера сняли повесть Василя Быкова, требовали уничтожить (и уничтожили) уже отпечатанные листы с разоблачительной биографией Гитлера — «Преступник № 1». (Немного позднее эта книга Л. Черной и Д. Мельникова благополучно вышла в издательстве АПН.) В редакцию одна за другой стали наведываться комиссии райкома и горкома партии. Одну из них возглавлял главный редактор журнала «Городское хозяйство Москвы», который с трудом переключался к литературе от проблем водопровода и канализации. «Новый мир» снова был на краю, и Твардовский решился просить встречи у Л. И. Брежнева. Я был в его кабинете, когда раздался долгожданный телефонный звонок. Брежнев был благодушен, расположен, обещал встретиться после переговоров с арабским лидером Насером и ряда других неотложных государственных дел. Свидание откладывалось с недели на неделю и было перечеркнуто молча и окончательно 20 августа 1968 года, когда советские танки вошли в Прагу.

В сентябре 1968-го Твардовский почти не бывал в редакции, как бы постепенно приучая себя отстать от любимого дела. Он отказывался подписывать «воронковские бумаги», коллективные заявления, которые ему привозили на дачу из Союза писателей. Отговаривался болезнью. А в это время складывались такие стихи:

В чем хочешь человечество вини
И самого себя, слуга народа,
Но ни при чем природа и погода:
Полны добра перед итогом года,
Как яблоки антоновские, дни.
Безветренны, теплы — почти что жарки,

Один другого краше, дни-подарки
Звенят чуть слышно золотом листвы
В самой Москве, в окрестностях Москвы
И где-нибудь, наверно, в пражском парке.

Перед какой безвестною зимой
Каких еще тревог и потрясений
Так свеж и ясен этот мир осенний,
Так сладок каждый вдох и выдох мой?

Это в поэзии. А в жизни он с обычным своим великодушием и участливостью писал мне 15 октября 1968 года в Ялту, куда я с трудом выкарабкался наконец в отпуск:

«Рад, что Вы устроились и довольны как будто. Отдохнуть-таки Вам надо,— последние месяцы главная тяжесть журнала была на Вашем горбу,— я это очень хорошо понимаю. Конечно, и другие наши люди молодцы и терпеливцы, худого слова не скажу ни о ком... О себе скажу, что со времени «событий» силы стали окончательно покидать меня, я начал приучать себя к мысли, что ничего уже не поделать,— так оно, должно быть, и есть. Во всяком случае, потеряв возможность с кем-нибудь «на этажах» «советоваться», искать защиты или хотя бы сочувствия, видя свое полное одиночество в этом смысле, я почти что сознательно избегал «тыркаться» в какие-либо двери и, может быть, как я уже говорил, это было отчасти к лучшему для журнала,— не навлекало на него добавочной дозы раздражения «этажей». ...Так я и в отпуск свой ушел, чтобы хоть не числиться это время, надеясь, что, может быть, развиднеет, но надежда эта все более меркнет».

Осенью 1968 года редакция стала получать недоуменные и возмущенные письма подписчиков, далеких от литературных дел. Спрашивали: что случилось с журналом, почему он так опаздывает? Читатели интересовались, будет ли подписка или журнал уже закрыт? В некоторых областях усилиями местных руководителей подписка на «Новый мир» была запрещена. Так, не разрешили подписку на новый 1969 год на родине Л. И. Брежнева в Днепропетровской области.

Наглядным свидетельством трудностей, какие переживал журнал, было и то, что № 5 за 1968 год вышел «тощим» — он потерял почти треть своего объема — 208 страниц вместо обычных 288. Зато шестой номер по настоянию редакции, желавшей возместить ущерб подписчикам, оказался «толстяком» — 368 страниц как бы восполняли недобор предыдущей книжки. За полвека существования журнала такого, кажется, не бывало.

Июньская книжка опоздала на три месяца, декабрьский номер 1968 года подписчики получили лишь в феврале следующего, 1969-го. Ясно было, что журнал приговорен к смерти и казнь его только отсрочена. Добиваясь публикации окончания повести Н. Воронова «Юность в Железнодольске», против первой части которой в печати были организованы письма, долженствующие показать недовольство уральских металлургов «очернительством» автора, Твардовский говорил в те дни своим коллегам в Секретариате СП: «Если вы хотите смерти журнала, то вы на правильном пути».

Так наступил 1969 год. Твардовский внутренне уже готовился покинуть журнал. Как-то с горечью сказал молодому ответственному секретарю М. Н. Хитрово: «Вы с нами недавно, может быть, это дело не так чувствуете, но когда столько лет прожито с журналом, трудно его оставлять». Из февральской книжки журнала были сняты очерки Ефима Дороша, члена редколлегии, и стихи самого Твардовского, вошедшие позднее в поэму «По праву памяти». Там были строки:

> Уже тот век не безответен,
> Он так ли, сяк ли распочат.
> Он приоткрыт отцам и детям
> И настежь будет для внучат.

Твардовский открыто, мужественно призывал к ответу сталинизм. Кто-то из пришедших в редакцию рассказал нам в те дни, что на одном из совещаний в Узбекистане Ш. Рашидов откровенно говорил, что к 1971 году «мы полностью реабилитируем Сталина». «Да, очень хотят обелить эту эпоху, а все же после XX съезда прореха такая, что ни зашить, ни заштопать»,— отозвался на это Александр Трифонович.

В марте 1969 года в «Правде» появилась статья о повести Н. Воронова, прямо адресовавшаяся редакции:

«...Редакция «Нового мира» и ранее,— говорилось в статье,— неоднократно подвергалась критике за публикацию ряда произведений, содержащих идейные ошибки, очерняющих нашу действительность». Таким образом подчеркивалось, что журнал упорствует в своих заблуждениях и новые «организационные выводы» неизбежны: заблуждающегося можно простить, но самый тяжкий грех — нераскаянность.

Ссылаясь на свежие решения об усилении ответственности редакторов журналов, К. В. Воронков пригласил в марте 1969 года Твардовского и без нажима, в тоне дружеского увещевания предлагал несколько «освежить» состав редколлегии: ввести в нее, скажем, писателя В. Чивилихина, критиков Лидию Фоменко, Льва Якименко. «Да я никого из них не знаю, ни по литературе, ни лично,— отвечал Твардовский.— Не буду же я жениться на девице, которую не знаю и не люблю». Дело затормозилось, но все мы понимали, что первый звонок к уходу прозвенел.

Твардовский почти физически страдал, когда ему приходилось в те месяцы ходить объясняться в какие-то «инстанции». После одного из таких визитов сказал: «Там двухтумбовый стол, как правило. И когда они с тобой разговаривают, то выражение такое, будто в правом ящике у них марксизм, в левом — ленинизм, а в среднем еще что-то поважнее — может быть, последние указания? У Маркса, кажется, я прочел недавно об ужасном состоянии общества, где все делятся на воспитателей и воспитуемых. Как же у нас любят «воспитывать»! И на всех уровнях есть воспитатели, а над каждым воспитателем еще свой воспитатель... О, как я их всех знаю!»

Между тем к концу апреля у Твардовского окончательно сложилась поэма «По праву памяти», и на одном из наших дружеских собраний он читал нам ее. Мы могли оценить ее ясную определенность

и поэтическую силу: никакой уступки неправде.

> Какой, в порядок не внесенный,
> Решил за нас особый съезд
> На этой памяти бессонной,
> На ней как раз поставить крест.

Горечь и мужественная энергия были в его голосе, когда он читал о попытках вернуть все к прежнему:

> Тогда молчальники правы,
> Тогда все прах — стихи и проза,
> Все только так — из головы.

С этого момента для Твардовского и для всех нас судьба его последней поэмы сплелась с загоняемым в глухой угол «Новым миром».

В мае 1969 года К. В. Воронков предложил Твардовскому — хотя и без всякой категоричности — подать заявление об уходе. Первым порывом Твардовского было мгновенно уйти, хлопнув дверью. Но мы уговаривали его смирить порыв гордости. Не для того столько всего было пережито, чтобы теперь согласиться с уходом «по собственному желанию». Через две-три недели выяснилось, что никто категорически на уходе не настаивает и вопрос снова повис в воздухе.

Однако давление со всех сторон возрастало. Приехал доцент из Ярославля, рассказал: уничтожен уже отпечатанный выпуск «Ученых записок» со статьей о «порочной» поэме «Теркин на том свете». Из издательства «Художественная литература» звонок: разобран набор 5-го тома Собрания сочинений Твардовского, так как автор не соглашается на предложенные ему поправки. В редакции стали появляться странные люди. Один из них, попросив меня принять его наедине, шептал на ухо: «Предупредите Александра Трифоновича. Пусть осторожнее переходит улицу, возможен случайный наезд...»

Впереди было последнее «горячее лето». В начале июня поэма была сдана нами в набор и задержана — без вызова автора, без объяснения причин. Видимо, верстка ее гуляла по кабинетам.

21 июля Твардовский, оступившись, упал с крутой лестницы на даче, разбил голову, немного повредил шейный позвонок. В ту пору, когда он, выздоравливая, лежал в Кунцевской больнице, и началась массированная атака печати на «Новый мир».

Тон задал журнал «Огонек» со статьей «Против чего выступает «Новый мир»?», подписанной одиннадцатью литераторами. Начав с критики статьи А. Дементьева, авторы грозного письма отказывали журналу в советском патриотизме, народности и т. п. В поддержку «Огонька» мгновенно высказались «Советская Россия» и «Литературная Россия», областная газета «Ленинское знамя». «Социалистическая индустрия» 31 июля 1969 г. напечатала «Открытое письмо токаря М. Захарова Главному редактору журнала «Новый мир» тов. Твардовскому А. Т.» — он требовал ответа от Твардовского от имени рабочего класса: «...руководители литературных изданий, видимо, должны держать ответ не только перед Союзом писателей, но и перед читателями. А то стоит рабочему высказаться по поводу литературы, как некоторые критики пишут: вы занимайтесь своим делом — сталь варите да хлеб сейте (это рабочий-то сеет хлеб?! — В. Л.), а уж литературу оставьте нам». М. Захаров извещал, что в прошлом уважал в Твардовском большого поэта, но как редактора его не одобряет и решительно солидарен с «Огоньком».

«Советская Россия» подошла к проблеме с другого бока, известив, что на сторону «Нового мира» встала газета «Нью-Йорк таймс». «Неужели главный редактор журнала А. Т. Твардовский, коммунисты редакции и на этот раз не задумаются над тем, почему их позиция в литературе и общественной жизни вызывает столько радости в стане антисоветчиков, почему ни один другой печатный орган не пользуется таким «кредитом» у буржуазных идеологов, как «Новый мир»?» — писал Дм. Иванов (3 августа 1969 г.).

«Мы пережили страстную неделю — что ни день, то служба»,— пошутил Твардовский, когда я навестил его в больнице. А если говорить серьезно, то и тогда было ясно, что вся эта кампания — результат сознательного сговора с участием группы литераторов, «обиженных» «Новым миром», видевших в его существовании прямую угрозу своим интересам.

Мне было больно наблюдать, как сдал, постарел за последние месяцы Твардовский. Нервы его были на пределе, он начал страдать бессонницей, иногда поддавался вспышкам ярости, которые прежде легко гасил в себе обычной сдержанностью и юмором. Добиваясь по телефону Воронкова, он услышал от его секретарши: «Константин Васильевич не может подойти, он заседает на комиссии по юбилею Туманяна». Глаза Твардовского побелели, и он сказал резко: «Нет уж, извольте позвать Воронкова. Туманян умер, а Твардовский пока еще жив». «Держишься на людях, не подаешь вида,— смущенно прокомментировал свою вспышку Александр Трифонович,— но все это ох как несладко... Да что мне вам объяснять».

Врачи уговаривали его не читать газет, предлагали погрузить в длительный сон-отдых на 24 часа. Твардовский только смеялся: «Кажется, кончится тем, что из хирургического меня переведут в психиатрическое отделение».

Уже в восемь-девять часов утра он обычно звонил мне из больницы — узнать, какие новости. Волновался по поводу нашего ответа «Огоньку». Набросанный мной текст он основательно вы-

правил и дополнил. «Заметка и так хороша, но надо, чтобы была литая,— сказал он.— Если не дадут напечатать, будем друг другу вслух читать, как стихи... для самоуслаждения». И он рассмеялся, сидя на больничной постели.

Ответ «Огоньку» «От редакции» мы все же напечатали, хоть и с немалым трудом. В те дни утешением и поддержкой для Твардовского и всех нас были письма, которые известные писатели написали в нашу защиту, хоть и тщетно пытались их опубликовать. «Литературная газета» не захотела напечатать письма Г. Бакланова и Ю. Трифонова, «Литературная Россия» отказала в публикации письма Расулу Гамзатову, бывшему членом редколлегии этого издания. Прислал большое письмо Твардовскому К. Симонов. В нем, в частности, говорилось:

«Не имея возможности увидеть тебя, хочу, чтобы ты знал мое мнение о статье одиннадцати литераторов в «Огоньке». Прежде всего должен сказать, что их нападки на якобы «антипатриотические» позиции журнала «Новый мир» облыжны от начала до конца и мне лично кажутся свидетельством их превратных взглядов на патриотизм вообще и на советский патриотизм в частности...

Журнал «Новый мир», во главе которого стоит лучший, на мой взгляд, из ныне здравствующих поэтов России, больше чем какой-либо другой журнал показывал на своих страницах народные истоки нашей жизни...

Мне остается сказать, что я лично отношу себя к числу тех литераторов, которые не приемлют ни позиции одиннадцати (...), ни их аргументации, ни того метода систематических передержек, по которому написано их письмо. И я готов изложить свое мнение везде, где меня пожелают выслушать, и опубликовать его везде, где его согласятся напечатать» (28 июля 1969 г.).

Разумеется, никто не пожелал его выслушать, и напечатать свое мнение К. Симонов не сумел нигде. Редакции же «Нового мира» удалось напечатать свой ответ, пожалуй, лишь потому, что мы заручились следующим отзывом К. А. Федина, совмещавшего должность Председателя Союза писателей с членством — по давней традиции — в редколлегии «Нового мира». Осторожный Федин написал, ознакомившись с версткой, которую мы ему привезли:

«Прочитав эту статью, сравнив со статьей, подписанной одиннадцатью писателями, за подписями которых появилась статья—«обвинительный акт» журнала «Огонек», нахожу ответ редакции справедливым и заслуживающим напечатания в «Новом мире» (31 июля 1969 г.).

Таким образом концентрированная атака на «Новый мир» летом 1969 года захлебнулась, но для нас это была, пожалуй, пиррова победа.

Осень для Твардовского ознаменовалась тем, что из его однотомника в издательстве «Художественная литература», выходившего в серии «Всемирная литература», выбросили поэму «Теркин на том свете». О поэме «По праву памяти» никто не вспоминал, но появились слухи, что текст поэмы неведомым путем оказался за границей и там его печатают без ведома автора. Все это сильно волновало Твардовского. Продолжались и нападки на журнал. «Огонек» выступил с очень резкой критикой партизанской повести Василя Быкова «Круглянский мост».

Будучи в отпуске, я получил письмо от Твардовского из Пахры:

«Дорогой Владимир Яковлевич! Если писать все, что набегает — все впечатления и размышления этой осени (первая у меня такая — бесповоротно грустная и странно спокойная), то не уписать и в тома. Но если краткость почесть главнейшим достоинством эпистолярного жанра, то скажу только, что на этот раз Ваше отсутствие особенно заметно. Может быть, когда соберемся все «до кучи», будет веселей малость, а так — скудно бытие наше беспеременное». (20 октября 1969 г.).

Но когда мы все собрались в редакции, ничего доброго нас не ждало. Неожиданно приехавшим к нам на редколлегию Г. М. Маркову и К. В. Воронкову Твардовский сказал: «Мы не только не чувствуем себя обиженными, но как бы не впасть в гордыню». Мы действительно жили с ощущением своей правоты, чистой совести и ожидали неизбежного поворота событий со спокойствием.

Запомнилось, что в те дни «Новому миру» прислал приветствие Бертран Рассел, из разных уголков нашей страны мы получали письма поддержки, иногда трогательные знаки читательского внимания в виде посылок с архангельскими пряниками, дальневосточными лесными орехами или краснодарскими яблоками. Посетивший редакцию в те дни английский литератор сказал: «Я вам завидую, у вас в России идут такие литературные бои, какие у нас были возможны только в XVIII веке!»

Но об этом хорошо читать потом в книжке с картинками. Прожить это труднее. Накануне нового 1970 года Твардовский сказал: «Как я постарел за этот год, страшно постарел внутренне. И все время думаю: как понять то, что произошло, происходит с нами. Мне все хочется утоптать, как сено на возу, увязать в одно, чтобы не сыпалось». Он никак не мог смириться с тем, что неправда берет верх, что ничего нельзя доказать, ни к кому нельзя достучаться.

С ноября циркулировали слухи, что где-то «в кабинетах» вызрел план убрать из редакции А. И. Кондратовича, И. И. Виноградова, И. А. Саца и меня— тогда, мол, Твардовский сам уйдет. Имея это в виду, Твардовский говорил Соколову-Микитову: «Корабль получает страшную пробоину. Вероятно, придется открыть кингстоны». В декабрьском номере должна была идти моя статья «Мудрецы» Островского — в истории и на сцене». Я сильно за нее опасался. Последние годы ни одна из моих работ не проходила, не ободрав бока. И вдруг статью подписали без замечаний, по указанию важного лица, заметившего вскользь: «На прощанье. Все равно он уходит».

Так мы встретили новый 1970-й. Както сидели в кабинете Твардовского. Зашел Троепольский, потом Гранин. Разговоры не вязались, неведомо почему повисали долгие паузы. Твардовский сказал: «Вам не кажется, что мы говорим так, будто в доме покойник? Собрались, как это принято, посидеть вокруг него и переговариваемся тихо».

Последний подписанный нами номер, № 1 за 1970 год вышел в свет подозрительно быстро и беспрепятственно. Твардовский, не получивший ответа на два предыдущие обращения к Брежневу, решил писать ему третье, последнее письмо. Он хотел говорить в нем о журнале и о поэме. «Я готов отвечать в ней за каждую строчку — на Секретариате Союза писателей и, если бы это было возможно, на Политбюро». В первых числах февраля стало ясно, что какое-то решение принято. Твардовский звонил по разным телефонам, но в руководящих кабинетах все будто вымерло. «Какая-то стена. Мафия»,— вырвалось у него.

9 февраля 1970 года состоялось решение Секретариата СП, на котором в редколлегию ввели в качестве первого заместителя главного редактора Д. Г. Большова, проштрафившегося прежде на телевидении, О. П. Смирнова, В. А. Косолапова, А. Е. Рекемчука, А. И. Овчаренко. От своих обязанностей были освобождены А. И. Кондратович, И. И. Виноградов, И. А. Сац и я.

Вызывающим, беспрецедентным было не только насильственное, против воли главного редактора, освобождение многолетних его сотрудников, но и назначение людей, с которыми Твардовский заведомо не согласился бы работать. Как раз незадолго до этого А. И. Овчаренко публично клеймил «По праву памяти» как «кулацкую поэму». Твардовский заявил, что он уходит, и 24 февраля его отставка была окончательно принята.

«Новый мир» идет ко дну.
Честь и совесть на кону,—

такие строчки записал он в эти дни.

Его письмо-протест пришло к Брежневу с опозданием. Высокий адресат навел справки... и решил не отвечать. Разгон «Нового мира» был санкционирован М. А. Сусловым.

Еще 20 февраля Твардовский обошел всю редакцию, поднявшись в корректорскую и к техредам, всем жал руки, прощался, благодарил за доброе сотрудничество.

Вечером того же дня в моей квартире на Страстном бульваре мы собрались почти полным составом редколлегии. Твардовский говорил первый тост. Он сказал, что удачлив в жизни. Что работа в журнале — это вторая — после лет войны и «Теркина» — счастливая полоса в его судьбе, когда он твердо знал, что дело его нужно всем или, по меньшей мере, многим людям. Он говорил, что за эти годы в журнале он учился у всех своих товарищей, соредакторов, сотрудников, и всех благодарил. Я произнес ответный тост — за Твардовского. Потом встал за столом А. Г. Дементьев, оказавшийся в этот вечер с нами. Едва он начал говорить, как заплакал по-стариковски. Но, справившись с волнением, сказал все же очень хорошо о том, что журнал жил для страны, народа, для его будущего, а значит, несколько пышно говоря, идеи «Нового мира» победят.

Тогда же постановили: собираться ежегодно в этот день, 20 февраля, до последнего оставшегося в живых члена т о й редколлегии. Многие годы так и было, но уходили в вечную тень один за другим Дорош, Марьямов, Сац, Дементьев, Кондратович, Герасимов... А Твардовский не мог быть уже и на первой нашей годовщине. Всего через полгода после разгона «Нового мира» он упал в своей комнате на даче и больше не поднялся. Врачи диагностировали инсульт, еще через месяц — рак легкого. Через год с небольшим его не стало.

Наш костер, по его же слову, разбросали, как головешки, чтобы огонь не горел. Свет и тепло того костра не забыты и через два десятилетия. Но, конечно, не забыты лишь теми, кто умеет и хочет помнить.

Хозяева и работники

Книга Ивана Филоненко «Кто я на земле?» рассчитана на человека, которому небезразличны сельские дела.

Публицист будто бы непритязателен в своих рассуждениях, он не философствует, не углубляется в историю. Он просто ездит по нечерноземным краям, встречается с колхозными председателями и секретарями сельских райкомов, людьми, давно и близко ему знакомыми. Толкует о житье-бытье, сравнивает то, что было лет десять —пятнадцать назад, с тем, что стало, не чурается цифровых выкладок, всевозможных агрономических тонкостей, приглашая читателя к совместному раздумью.

Вот хозяйство Красносельского района Костромской области. Красноселы ведут многолетнюю борьбу за право распоряжаться своими гектарами, ни в коей мере не уменьшая производства льна, картофеля, зерна. Право это — парадокс — многократно подтверждалось в различных политических документах и вместе с тем упорно и последовательно игнорировалось на практике.

Председатель колхоза «Первомайский» Анатолий Николаевич Гуляев приводит простейший расчет: «Мы хотим занять под картошку не 158, а 80 гектаров. Лучше удобрить их, обработать, точнее посеять клубни, скорее убрать, собрав в результате вдвое больший урожай. А оставшуюся половину поля пустим под лен или кормовые травы».

Казалось бы, что можно противопоставить такой несокрушимой хозяйственной логике? Но разговор ведется совсем в иной плоскости.

— Если посадки картошки уменьшаются, пусть другое хозяйство досеет за вас эти гектары..

— Но ведь клубней-то меньше не станет.

— А картофельных гектаров станет меньше.

— Так что нужно? Клубни или гектары?

— И то, и другое.

Публицист поднимается по иерархической лестнице — район, область,— пытаясь выяснить, кто же отвечает за противозаконный «гектарный» подход к делу. Встречается с заместителем председателя облисполкома Алексеем Ивановичем Кузнецовым, который отвечает за все сельское хозяйство Костромской области. Кто же побуждал его, Алексея Ивановича, так действовать?

— Никто не побуждал,— стойко отвечает Кузнецов.— Но никто и не понял бы нас, если бы мы, не справляясь с заданием по производству основных видов продукции, представили план, в котором заложен не рост посевных площадей и поголовья скота, а снижение...

Такая вот логика. Совсем иная, чем у того, кто непосредственно делает дело,— у председателя колхоза. И в ней надо разобраться, здесь крайне важный для понимания механизма власти психологический узел. Конечно, Москва не диктует колхозу «Первомайский», сколько гектаров отвести под картошку. Но если не роста, то уж по крайней мере стабилизации посевных площадей по культурам в масштабах области она требует. Мотивы те же, что и у Кузнецова: не принимать решений, за которые могут упрекнуть.

«Первомайский» утверждает, что даст больше картошки с меньшей площади. А если все-таки не даст? Засуха, дожди, да мало ли что может случиться на селе? Если колхоз даст больше картошки, это будет его заслуга. А если меньше?.. Кто разрешил сокращать посевные площади? Рискует колхоз. Рискует район. Рискует область. Но колхоз, рискуя, может хоть как-то влиять на ход событий. Он непосредственный работник, производитель благ. А управленческая надстройка? Ждет конечного результата. Нет уж, пусть добиваются роста урожайности на тех же площадях, пусть поднимают надои при том же стаде. Ну и что же, что кормов не хватает. Работайте, ищите. Говорите: руки связаны, маневра нет? Ничего, действуйте!.. Такова логика административно-командного стиля, логика людей, которые никогда не чувствовали себя хозяевами, а лишь управленческим механизмом, передаточным звеном — от Москвы к Костроме, от Костромы к Красному селу. Так было десятилетиями.

Иван Филоненко. Кто я на земле? Очерки. М., Современник, 1987.

Публицист с надеждой и тревогой, мукой и радостью ищет настоящего хозяина. Не наемного работника, не рупор руководящих указаний — Хозяина.

Руководитель безнарядного звена из ивановского совхоза «Тейковский» Василий Семенович Исаков, не скрывая своих бед, все же признается: «Звеном, когда ты хозяин на земле, работать лучше. Потому лучше, что все время переживаешь и волнуешься. Когда пашешь, то уже и о посевной думаешь — не помешало бы что управиться вовремя. Отсеешься — ждешь всходы... Появились хорошие всходы — радуешься и тревожишься, что нынче выкинет погода и что уродится. Радуешься, волнуешься и тревожишься потому, что на этом вот поле я не случайный исполнитель чужих распоряжений и нарядов, а здесь участник всех событий. Не только от погоды, но и от меня зависит судьба урожая. От меня и моих товарищей по звену».

Искреннее рассуждение. Как тоскует душа земледельца по свободе, вольному труду, как давит на него пирамида всевозможных ограничений. И потому дивиться приходится не тому, что хозяев своего дела, таких, как Исаков, мало осталось, а что они вообще еще есть, пробивается-таки их хозяйское чувство сквозь толщу всевозможных запретов, как зеленый росток сквозь кору засохшей земли. Пробивается как бы само собой и дает подчас удивительные плоды.

Ну кто заставлял белорусского колхозного председателя Владимира Антоновича Ралько и чувашского — Аркадия Павловича Айдака исключить из агротехники ядохимикаты? Казалось бы, чего проще — распылил гербициды на поле, и никаких сорняков, считай, прополол с помощью химии. А что загрязнил воздух и воду, что леса начнут сохнуть и исчезать полезные насекомые, а яды накапливаются в почве, растениях, человеческом организме — так все так делают, есть повсеместный опыт, есть, наконец, наука, она освящает своим авторитетом подобную практику. Да и как по-другому?

Можно по-другому, отвечают Ралько и Айдак. Нужна оптимальная структура полей: пар, трава, хлеб — в разумном чередовании. По-другому — значит, строго соблюдать агротехнику, вовремя перепахивать, бороновать, подкармливать поле. По-другому — значит, всеми силами восстанавливать нарушенное экологическое равновесие — заботиться о пчеле и жаворонке, о лесополосе и полезном разнотравье. Лишь настоящий хозяин может так вести земледелие, ибо его волнует не только урожай, но польза, которую этот урожай принесет человеку. И хозяин он не только своего поля, но и жизни, ответчик за нее в самом широком смысле слова.

Один из таких ответчиков за жизнь — Терентий Семенович Мальцев — бросает в зал зонального агрономического совещания горькие слова: «Пестициды снимают с агронома всякую заботу о поле». И падают те слова в пустоту: зал равнодушно молчит, думает о чем-то своем, спит, читает газеты.

Равнодушие людей, по роду своей работы ответственных за землю,— расплата за все трагические перипетии нашей аграрной истории.

В финале публицист выражает надежду на то, что земледелец наконец-то будет избавлен от некомпетентного вмешательства и откроется простор экономическим методам хозяйствования, исчезнут регламентации и всякие другие проявления несвободы.

Летом 1987 года я разъезжал по тем же нечерноземным краям, что и Филоненко,— костромским, ярославским, рязанским селам. И видел все то же: административные скрепы стягивали хозяйственный организм колхозов и совхозов, тот же счет шел на «хвосты» и гектары, те же страхи витали над районами и областями—дай свободу, упадет производство — кто в ответе?..

Сельское хозяйство наше представляется сегодня в образе человека, стоящего на берегу бурной и холодной реки. Плыть страшно, но и не плыть нельзя, назад пути нет. Можно наводить мостки через реку — осваивать подрядные методы, призванные пробуждать в работнике личность, семейный, коллективный, арендный подряд. Но и эти мостки наводят старыми методами. Где-то в районах уже дают разнарядку в колхозы: «Отчитываетесь за два семейных звена, а на вашу долю три приходится». Где-то рапортуют «о полном охвате арендным подрядом». Не готовы хозяйствовать по-новому не только «наверху».

Один известный председатель — прогрессист, новатор—рассказал о том, как пытались внедрять в колхозе арендный подряд — высшую и самую прогрессивную по нынешним временам форму хозрасчетных отношений. Собрали колхозников и начали им растолковывать: отдадим бригадам землю, технику, будете покупать у колхоза семена, удобрения, работать самостоятельно. Продали осенью в колхоз урожай, рассчитались за аренду, все, что осталось,— себе! Задумалось собрание. Потом кто-то спросил: «А зарплата?» — «Какая зарплата? Я ж сказал — получили доход, разделили его. Ну, аванс можете брать в течение года. Как сработали, так и заработали» — «Нет, без зарплаты мы не согласны».

— Понимаете? — говорил председатель.— Это крестьяне так рассуждают. А как же раньше единоличник жил? Что собрал, то и получил.

Но ведь нельзя, думал я, многие десятилетия отучать людей от самостоятельности, снимая ответственность за конечный результат, а потом враз дать им права, и пожалуйста—действуйте! Отвыкли! И привыкать заново не так просто. А главное, ведь не очень-то верят, что это всерьез и надолго. Ну, может, именно своему председателю и верят, а если придет другой?

И к тому же так ли все легко: на тебе технику, семена — работай. Понадобилось что-то необходимое, хоть запчасти, к примеру,— у колхоза их нет в достатке. Оптовая торговля только начинается. Кто компенсирует упущенную выгоду? Тут все завязано в один узел — и политика, и экономика, и история, наконец.

И все же надо наводить мостки, чтобы в конце концов на вопрос, вынесенный в название книги Ивана Филоненко «Кто я на земле?», ответить: хозяин и работник.

М. Зараев

Притча о сыне

Это произведение не мог создать человек со спокойной душой. Любая книга имеет свой адрес. Повесть Юрия Нагибина «Встань и иди» обращается к совести людей. Нет смысла соотносить судьбу главного героя Сергея с биографией самого писателя, хотя пережитое чувствуется в каждой строке. Эта выстраданность захватывает читателя прежде всего.

Действие повести начинается в конце 20-х годов в период ликвидации нэпа. У Сергея арестовывают отца, который долгие годы скитается по тюрьмам, лагерям и ссылкам. Жена и сын не бросают его в беде. Иркутск, Саратов, Егорьевск, Рохма... Долгие и мучительные поездки не испугали Сергея, не породили в нем отчаяния и равнодушия. Возвратившись с фронта, Сергей становится литератором, добивается успеха. Он продолжает заботиться об отце, но с течением времени странная усталость сковывает его. Однако он продолжает борьбу, спасает отца от голода и болезни, и постепенно отец и сын как бы меняются ролями.

Трагичен финал. Когда самое страшное позади, сын предал отца: не поехал к нему на последнее свидание, и вымолить теперь прощение невозможно: «миленький боженька», к которому обращался когда-то мальчик, увы, не поможет, сколько ни проси.

Страницы, посвященные детству, пронизаны домашней узнаваемой теплотой и солнечным светом, но главное в них — острое ощущение минувшей эпохи, достоверность не книжная. Отец, который катит арбуз по проселку... Дедушкина комната в огромной коммунальной квартире по пути в ванную, где на мраморной крышке ночного столика лежит тусклая монетка взамен о р а н ж е в о г о рубля... Детали живо выхвачены из кипящего, шумного потока. Вот рассказ о всесибирских велогонках, их чемпионе Тенненбауме, история увлечения мальчика бабочками. Вот мимолетное упоминание о Робинзоне Крузо, но и оно источает аромат свежести, а ведь о герое Даниэля Дефо мы знаем так много...

Лагерный быт, нравы людей, попавших в тяжелейшие условия заключения, воссоздаются писателем — порою сурово, но всегда с достоинством. Полагаю, что некоторый налет натурализма, присущий тем страницам прозы, где речь идет о голодных мучениях и болезни отца, не искажает общую тональность уважительного отношения к родителям, свойственную русской литературной традиции. Сын видел то, чего нельзя было не увидеть. Иное видение воспринималось бы как близорукость.

В чем же провинились отец Сергея и люди, подобные ему? А главное — перед кем? За что они так страдали? Есть лишь приблизительный ответ на вопрос, почему на долю их выпали не получившие еще юридической квалификации злоключения. Разве наша промышленность и сельское хозяйство нуждались в рабском или полурабском труде несправедливо осужденных? Разве не существовало иного пути? Разве экономическая система, создаваемая Сталиным взамен нэпа на глазах миллионов, на глазах ответственных руководителей партии и правительства, не предполагала трудную ситуацию начала 30-х годов?

Со всей остротой Юрий Нагибин ставит проблему: гарантирована ли з а в т р а свобода человеку, занимающемуся с е г о д н я, с е й ч а с законной, разрешенной деятельностью, если Закон подвергнется каким-либо изменениям? Об этом нельзя не задуматься, ибо именно тут кроются причины многих общественных столкновений и конфликтов.

В рецензиях как-то не принято касаться фактов собственной жизни. Автор обычно стремится занять позицию объективного критика, но мне бы хотелось отойти от этой традиции, тем более что повесть Юрия Нагибина дает к тому серьезный повод.

Между мной и героем повести Сергеем разница двенадцать лет — целая эпоха, но мне созвучны его чувства. Знаю, что значит выйти во двор с клеймом сына «врага народа».

Но если Сергей мечтал каждому поведать о случившемся, то я дрожал от одной мысли, что кто-нибудь узнает об аресте отца: нас уже научили лгать.

Процесс моего отца состоялся 11 апреля 1939 года в Сталинском областном суде. Отец работал начальником планового отдела треста «Сергоуголь» с 1934 года до дня ареста в сентябре 1937 года. Я отчетливо помню серенькую осеннюю ночь, срочный вызов по телефону в шахтоуправление, возглас матери: «Пожар?!», стук в дверь на рассвете и двоих — коренастого и горбуна — в кожаных регланах. Во время обыска бабушка моя, Софья Матвеевна, бывшая курсистка, демонстративно читала французскую книгу, игнорируя возмутительные и нелепые действия пришедших. Отца обвинили в том, что он член контрреволюционной правотроцкистской организации и по ее заданию занимался в Донбассе вредительством. Мой отец! Молчаливый, вежливый человек, спортсмен, по праздникам шагающий в голове колонны с плещущимся флагом и чем-то напоминавший актера Столярова из фильма «Цирк»...

Весной 1939 года его «дело» — папку под номером 591/8905 — сдали на вечное хранение в архив. Но отца приговорили по другой статье. Допросы с применением недозволенных методов следствия его не сломили, он вышел из тюрьмы и летом 1941 года начал свой боевой путь добровольцем, возвратился с фронта коммунистом и с наградами — скромными, но полученными честно. Он погиб позднее от разрыва сердца в здании ЦК КП Украины за месяц до смерти Сталина при обстоятельствах, о которых я упоминал в повести «Поездка в степь».

Отца испытания не поставили на колени, во мне же на мучительно долгие годы, как и в сверстниках с похожей судьбой, укоренилось ощущение, которое с большой выразительностью проявилось в повести «Встань и иди». В нашей семье, конечно, происходило все иначе, и действующие лица драмы были иными, и к бирже мы не имели ни малейшего отношения, но в моем понимании в переживаниях Сергея, героя повести Юрия Нагибина, есть ничем не заменимая правда.

Писатель Юрий Нагибин не нуждается в комплиментах. Но еще совсем недавно он навлекал на себя упреки в беллетристичности. То, в чем виделся беллетризм, являлось лишь, по моему мнению, более или менее удачной попыткой в сложные для литературы периоды привлечь внимание к и н ы м сторонам жизни, расширить представления о ней. Юрию Нагибину претят ложный пафос, псевдогражданственность, жестокость. У писателя добрый взгляд, и сострадание никогда не было чуждо ему. Повесть «Встань и иди» поражает своей правдивостью.

Есть неприятная и постыдная самообнаженность в том, что поведал нам Сергей, но есть в его исповеди и высокое самоочищение. Предательство Сергея — признак дряхлости души. Но за всеми этими несчастьями — потому что предательство Сергея не преступление, а несчастье — стоят усталость и разочарование, утомление души от несправедливости и унижений. Долг раздавил его своей чугунной тяжестью. В отступничестве главного героя от отца есть черты общественной катастрофы, симптомы утомления самого прочного материала, из которого создана человеческая душа.

Облагораживающее действие повести, верю, будет длительным.

Нынешние дни перестройки, как никогда, направлены на преображение человека, и повесть «Встань и иди» — один из ярких симптомов нашего общественного оздоровления.

Юрий Щеглов

Юрий Нагибин. Встань и иди. Юность, № 10, 1987.

«Сердцебиенью в такт»

Не знаю, хорошо это или плохо, что в нынешних поэтических сборниках не выставляют дат. С точки зрения вечности-то, очевидно, это и не важно, но, увы, нам в обиходе пока еще трудно глядеть на реальность из такого привычного издателям далека. Сейчас год написания тем более много говорит, что он сразу подчеркивает контекст времени и авторское к нему отношение. Я тут разумею не публицистическую открытость, не политические адреса стихотворений — там и так все видно, а спокойно сосредоточенную лирику, которая редко, но, по счастью, еще встречается и в наши задорные дни. Вчерашняя дата тут, может быть, обнаруживала бы желание сохранить достоинство в годы недомолвок или ложного энтузиазма, а сегодняшнее число уже свидетельствовало бы о трезвой и несуетной глубине.

Время шумит о насущном, о нуждах дня, а поэт знает, что человек живет с лицом, обращенным в две стороны — к заботам повседневности и к тем горним высям, где ему современны Платон и Соловьев, Данте и Лосев, Пушкин и Твардовский. И вот эта вторая сторона влечет нас в поэзии более всего. И именно она настойчиво и нервно звучит в книге украинского поэта П. Мовчана.

Он назвал ее «Календарь» и поделил

Павло Мовчан. Календарь. М., Советский писатель, 1987.

на циклы Время, Пространство, Слово. Как видите, гордость и несуетность задачи обозначены сразу. Календарь человеческой жизни не из одних праздников состоит и даже не сплошь из значимых дней. «Календарь» Мовчана тут вполне сроднен жизни. В нем хватает проходных дней, поспешных записей и той чуть картинной рефлексии, которой мы иногда обманываем себя, чтобы скрыть обидную незначительность томящего нас чувства. Человек же, привыкший всякое чувство подвергать анализу, обманывает себя чаще других — мысль любит завершенность и провоцирует к окончательности формулы даже там, где материала на вершок.

Но и за этим смотреть интересно, потому что при следовании авторской мысли узнаешь свои привычки и уловки, ухищрения самонадеянного разума, не умеющего уступать менее вооруженному чувству. Поэт и тут последователен — вся книга пронизана тоской по единству, по желанной, не то утраченной, не то не достигнутой еще цельности, слитности с ясной полнотой мира.

Мовчан не часто оглядывается на детство, и обычной умилительности в его оглядке нет, потому что детство было военное и полное горя. Естественный в начале жизни, самим детством и рождаемый свет сродности со всем живущим замутился, но все же — как все-таки велика сила природы! — теплится в глубине и окликает поэта:

Сквозь гул, громыхающий грозно и сухо,
придет тишина с ее солнечным блеском.
И ты осторожно прощупаешь слухом:
а что в существе том скрывается детском?

И оттого, что света и помогающего человеку «незнания ответственности» в том детском существе было мало и душа не успела достаточно укрепиться для самозащиты перед взрослой разделяющей реальностью, чувство вины и «неизбежное отчаянье» настигают героя с особенной остротой. Где, когда и как «прервалась связь времен»? («...какие скобы это, скрепы, если ткани разорвались — их не свести теперь?»). Тут нащупывается сам момент обрыва, и поэт слушает как бы обе стороны сразу — себя и мир, догадываясь, что, может быть, и сам влекущий тайной равновесия космос стучится навстречу и окликает человека, словно тоже ощущает неполноту:

Ты ли прирос или это к тебе прирастает
мир ледяными ветрами...

...то ль пространство сгустилось,
то ли сетью поймали летящий мой зов?

...Темнота задувает костер.
Кто кого здесь столетия месит?

Томительное двоение, когда кажется, что «кто-то другой за тебя в тебе дышит» и «не сливается с миром»... Такое несливание известно каждому человеку, каждый хоть раз испытывал внезапную потерянность, утрату привычных опор, словно дом твой остался без стен и без крыши и острый холод вселенной разом выдул уютную успокоенность, заставляя тебя снова задать тысячу раз до тебя заданные вопросы:

Неужто кроме бытия
есть высший смысл на свете?

Ужели впрямь исчадью праха
лишь прах и светит впереди?

...зачем душа очнулась в теле
и для чего трепещет плоть?

В поэте самосознающее начало острее других, его душа все время вслушивается «Кто я? Откуда имя это?», как будто кто-то незримый все время окликает, но нельзя разобрать — тебя ли. Поиск гармонии с миром равен подлинному обретению имени, и тогда, как в ветхие времена, человек поворачивается на зов, как поворачивался навстречу испытаниям страдающий Иов, и говорит: «Вот я, господи!», и оказывается готов к уже спокойным дальнейшим деяниям в мире.

Вот почему сопричастность космическому ритму так занимает поэтов во все времена и роднит их, несмотря на разность выражения и глубину проникновения. Можно вспомнить Тютчева:

Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе,—
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.

Здесь еще не страдание, а только предвестие. Вопросы к миру и счет к нему будут расти и ужесточаться по мере увеличения «призрачной свободы» и углубления разлада «с созвучьем природы».

Не оттого ли драматизм вопросов Мовчана («музыка тления») и не отягощает душу, а, напротив, как будто с каждым вопросом приближает догадку об ответах. Он на наших глазах осваивает «науку немоты», и когда говорит внешне неврaзумительное «кровь что-то вспомнила вне разума и слов», мы, пройдя путем его тревоги, сами слышим свое «воспоминание крови» и готовы понять речь «вне разума». «Человек,— если вспомнить Гессе,— не есть нечто застывшее и неизменное.., а есть скорее некая попытка, некий переход, есть не что иное, как узкий опасный мостик между природой и духом».

Мне кажется очень существенным начало книги: «Книгу жизни открой, Ибо травы пробились сквозь строки». Это тоже старинное желание — чтобы текст внезапно открывался в небеса, и человек, закрывая последнюю страницу, держал бы не книгу, а поле и ветер. Слово стремится стать плотью, вернуться к сво-

ей первоприроде, как бы устраниться, предоставив миру высказываться самому.

И кроткая печаль заката
прошила шелком синеву,
дым опустился виновато,
лег на траву...
И молчаливо, сиротливо
тянулись веточки к реке,
и лето тихо и счастливо
звенело в каждом стебельке.
И тень твоя легко ступала,
сгибалась, таяла вдали,
где крупная роса сверкала
на серых перышках земли.
Все звуки, слившись, замолчали,
и эхо таяло, как снег,
и чаша счастья и печали
делилась поровну на всех.

Такие мгновения редки у Мовчана, как они вообще редки в поэзии, потому что приходят в вознаграждение за совершенную открытость, за безбоязненное «умаление» себя до понимания равенства созревшего яблока и спелой мысли, в вознаграждение за сродность «с людскими заботами, буднями, вечным укладом», за однажды настигающую внезапную мысль, что все вопросы о цели «страданья и смерти» есть только подсказка, подталкивание к догадке, что смерти — нет!

Все живы! Живы все, кто умер, кто утрачен,
загублен или сам, томясь, себя сгубил!

Воистину прав наставляющий мысль и лирику П. Мовчана скиталец и философ Г. Сковорода: «Телом мы ничто, но душою чтось-нечтось, да еще и великое», хотя величие не всегда узнается нами, да и не всегда открывается. Но если уж душа коснулась Целого, она не позабудет касания и будет прозревать его всюду.

Мое хожденье — собиранье зренья,
продленье, зажимание в горсти
всего, что ждет распада и кончины,
чему неповторимость не сберечь.
Небытие, не ты первопричина!
Не зазывай, не вкрадывайся в речь.

Он «зажимает в горсти» не только то, что «ждет распада и кончины», он окликает для помощи в восстановлении единого мира и всю равноправно живую культуру: имена блаженного Прохора и Григория Сковороды, Данте и Пабло Неруды, Эдварда Мунка и Ван-Гога, и безымянные, но почти одушевленные в нашем сознании фрески в Софийском соборе или золотой гребень из Чертомлыцкого кургана — все это — мы, в нас, все — календарь нашего развития, необходимая тропа к спокойной гармонии осмысленного и ответственного существования.

Не умножая цитат, надеюсь, что и по приведенным отчетливо виден упругий ритм мысли и поэтики Мовчана. По устройству дара и кругу вопросов, разрешаемых и только еще ставимых поэтом, видно, как глубока и серьезна его душа, как верно он слышит «подпочвенные» токи нестареющих человеческих проблем, которые зависят не от одних общественных движений, но растут и развиваются в человеческой душе более потаенным органическим образом, как растет все живое.

В конце книги, прожитой перед нами с искренностью и достоинством, поэт не разумом, а всем воссоединенным духом понял ободряющий принцип жизни —

...сердцебиенью в такт
жизнь, разрушаясь, строится...

«Разрушаясь, *строится*»,— может быть, сейчас, в пору общей перепроверки нравственных принципов, это услышать дороже всего, и книга, занятая дальним, оказывается насущно современна.

Валентин Курбатов

г. Псков

«Групповой портрет в интерьере с решетками...»

Не без внутреннего протеста взялся писать об этом сборнике повестей: дефицит времени у всех ныне такой, что порой приходится Маканина или Битова откладывать на две-три недели ради Гроссмана и Пастернака, не говоря уж о творческих перспективах, открывающихся перед критиком: анализируй колоссальную эпопею «Жизнь и судьба», осмысляй «даль свободного романа» Пастернака, вдумывайся в прозу Платонова или Замятина.

Но вот именно сейчас, когда приходится решать, что прочесть во вторую очередь из равнодоступного «Доктора Живаго», «Мы» и «Дара» (подумать только!) — довелось мне увидеть в одной столичной библиотеке зачитанный до дыр экземпляр «Схватки». И тогда понял, что писать и размышлять надо и об этой книге — раз нашлись люди, способные предпочесть ее нынешнему литературному пиршеству. Тем более что таких людей

«Схватка». Повести о чекистах. Лениздат, 1987.

немало — тираж сборника двести тысяч экземпляров, и в магазинах его давно нет.

Причины популярности этой книги становятся еще менее понятными, когда убеждаешься в том, что перед нами вовсе не детективы. В четырех из пяти повестей сборника нас сначала знакомят с представителями преступного мира, которые подробно рассказывают о своих хитрых замыслах, а затем работники госбезопасности медленно или быстро (по желанию автора) эти хитросплетения разгадывают. Чекисты, таким образом, находятся в худшем по сравнению с читателем положении, зато им дана привилегия: они все ходы преступников безошибочно прогнозируют, а те ни одной их ловушки предусмотреть не в силах. Уж самому недогадливому читателю сразу ясно, что если рядом со злоумышленниками примостился у стойки бара «поднабравшийся паренек», если в гости к кому-нибудь из них является незнакомый человек «с короткой стрижкой «ежиком» и сурово заявляет: «От Туза привет!», если кто-то храпит на соседней скамье в электричке, «натянув на голову ворот штормовки» — все это «наши люди». Но затуманенный преступными замыслами мозг отрицательных персонажей оказывается менее проницательным, и они громко обсуждают эти замыслы в присутствии «нашего человека». Когда же начинают кого-то подозревать — к примеру, явно внедренную в их компанию псевдостудентку Дорис (Ю. Принцев, «Свадьба отменяется») — и без околичностей спрашивают, не из органов ли она, то достаточно ответа: «До фени мне эти ваши органы», чтобы доверие тут же было восстановлено.

Для чего же написаны эти повести? Все они основаны, как следует из послесловия, на документальном материале. Но ведь не пересказать же следственные дела в беллетризованном виде пытались наши авторы? Тогда и называть свой труд следовало по-иному, а коль перед нами повести — жанр художественной литературы, то мы вправе ждать художественного анализа характеров тех людей, которые решились на столь тяжкое преступление, как предательство Родины, понять причины, толкнувшие их на это. Увы, такая задача для авторов оказалась непосильной, а может быть, и не очень их занимала. Зачем — когда ответ на задачу заранее известен и с удивительным однообразием повторяется из повести в повесть: причина предательства — непризнанность и уязвленное тщеславие. А раз так, то весь «психологический анализ» можно уложить в несколько строк. Летчик Спицын («Свадьба отменяется»), несправедливо, как ему кажется, уволенный в запас, безуспешно жалуется «в самые высокие инстанции». «Спицын писал снова и снова, ожесточился окончательно и, озлобленный своими неудачами, винил в них уже не какого-то отдельного чиновника или ведомство, а Советскую власть вообще! Тогда-то и встретил Спицын человека, который не только разделял его убеждения, но и знал, как следует поступать. И Спицын решился на то, о чем раньше не мог бы и подумать!». Другой персонаж той же повести, юрист Гартман, долгое время пребывая «под каблуком» у жены, возмечтал о власти, добытой с помощью денег. «Здесь же эту власть не купишь ни за какие деньги (ой ли? — **К. С.**). Значит, мое место там!». Увы, восклицательные знаки никак не возмещают анализ.

Когда же супругу одного из героев пытаются соблазнить на отъезд за границу цветными слайдами — «апельсиновые рощи; шумные улицы городов, заполненные автомашинами всех марок; регулировщик в белом тропическом шлеме; магазины с улыбающимися манекенами за стеклами витрин» — и известием о том, что «апельсины там дешевле картошки», она резонно отвечает: «Апельсинов я ихних не видела!»

Столь же примитивно показаны и профессиональные западные разведчики. Каковы побудительные причины их действий? Если уж автор выводит их в числе основных действующих лиц в произведении, то ждем хотя бы попытки ответа и на этот вопрос. Увы, глубины анализа не прибавляется и здесь. Кадровый сотрудник иностранных спецслужб, в прошлом гражданин нашей страны Александр Векслер (повесть Ю. Слепухина «Частный случай») в начале своего появления перед читателем оговаривается: «старается» он не ради денег или карьеры, а ради своих бывших соотечественников, «простых, рядовых людей» нашей страны, тех самых, «что там в Шереметьеве грузили багаж». Простим Векслеру и автору не очень ловкий оборот, из коего можно заключить, что «старается» Александр ради шереметьевских носильщиков; в принципе мысль интересная, но никакого дальнейшего развития в повести она не получает. А об американской славистке Рашель Гарси (повесть П. Кренева «Гостья из-за океана») просто сказано, что для нее «связь с антисоветским центром (в США. — **К. С.**) — лишь средство для реализации своих низменных наклонностей».

Но с их противниками — советскими сотрудниками госбезопасности — совсем уж худо обходятся наши авторы. Перед нами словно картонные двухмерные фигурки, абсолютно неотличимые одна от другой. Колебания и сомнения им не свойственны вовсе (максимум — кратковременная заминка перед принятием единственно верного решения); личной жизни, судя по всему, ни у кого нет, ни бытовые, ни философские проблемы их не волнуют, какие-либо индивидуальные черты, которые помогли бы отличить офицеров Курнашова и Савельева («Свадьба отменяется») от офицеров Иванова и Сергеева («Гостья из-за океана»), полностью отсутствуют. Для «колорита», правда, некоторые наделены «живинкой», мелкими слабостями: один постоянно протирает стекла очков, другой почему-то беспрерывно повторяет «Подведем итоги!» (когда анализ еще только начинается), третий в минуты волнения хватает со шкафа чугунную фигурку Дон Кихота.

Порой авторы, сами, конечно, того не желая, доходят до прямой пародии. Некая зарубежная фирма (повесть «Частный случай») присылает в качестве своих представителей в нашу страну трех специалистов: причем в Москву и Ленинград приезжает человек, знающий русский язык, в Киев — украинский, в Тбилиси — грузинский. Это вызывает у наших контрразведчиков подозрение, начинается расследование, результатом которого оказывается нейтрализация деятельности Векслера. А догадалась бы фирма послать в Тбилиси человека, говорящего по-украински, а в Ленинград — по-грузински, Векслер продолжал бы творить свои черные дела.

Эта повесть особо привлекла мое внимание потому, что речь в ней идет в некотором смысле о коллеге — молодом литераторе Вадиме Кротове. Его «охмуряет» Саша Векслер с целью раздобыть несколько рассказов, не напечатанных пока еще в Союзе, прочесть по «голосу оттуда», сделав Вадима диссидентом, — что в конечном итоге должно оттолкнуть от нас страны «третьего мира». Для этого Саша-диверсант ведет с Вадимом интеллектуальные беседы: «На Западе... что-то особенного цветения в литературе не наблюдается. Секс этот осточертевший, он уже даром никому не нужен, для одних импотентов пишется... А возьми французский «новый роман» — это же убожество, такая мура беспросветная, просто литературное рукоблудие какое-то». Наш молодой писатель не пытается вступиться за честь Натали Саррот и Мишеля Бютора, он только робко спрашивает: «Саша, ну а эмигранты наши — у них как?» На что получает четкий ответ: «Пишут, вообще-то много... Альманахи всякие выходят, сборники, а читать в сущности нечего... чувствуется, понимаешь, какая-то ущербность. Действительно, что ли, сказывается отрыв от корней?»

Такой интеллектуальный прессинг приносит постепенно плоды, провокация почти удается, уже хитроумная славистка Карен, подосланная Векслером, сумела выманить у Вадима три рассказа, уже один из них прочитан по «голосу оттуда»... Но бдительный сотрудник госбезопасности капитан Ермолаев, вовремя выйдя на Вадима, перешибает их умные беседы и посулы своими, объясняя, что на Западе «читателя... настоящего нет, вот что, наверное, главное». Попутно он предлагает Вадиму звонить и советоваться в случае затруднений. Вадим тронут и обещает сообщать все подозрительное о Векслере. «Нежданное-негаданное приобщение к миру разведки» пробуждает в молодом писателе «смутное... предчувствие чего-то хорошего», он надеется, что в результате «такое из-под пера выйдет, что сам Юлиан Семенов посинеет от зависти». Услышав свой рассказ по «голосу», Вадим воспылал благородным негодованием: «провокаторы паразитские, вот уж истинно: отравители эфира, микрофонные гангстеры...» После очередной беседы с Ермолаевым, который уверяет Вадима, что литература — «дело куда более сложное, чем может показаться на первый взгляд», что каждое произведение публикуется в нужный срок (вот, скажем, роман «Мастер и Маргарита» не ко времени был написан, и справедливо напечатан он позже), и советует ему отказаться от пассивной жизненной позиции, рисовать жизнь «без дымки нюансов», — Вадим ощущает большой прилив творческих сил. Вспоминая происшедшее с ним, он решает написать «аналогичную историю» — «тут уж не Бунин, не «нюансы»... На этом мажорном размышлении молодого литератора повесть заканчивается. Патетическая интонация не изменяет автору ни на минуту.

Писатели, художники (чье свободомыслие доходит до того, что они не желают вступать в Союз художников, но при этом рассуждают о модернизме в духе печально памятных времен. «Как можно, например, рисовать геометрические фигуры и считать это искусством?»), коллекционеры, разного рода слависткн, под прикрытием интереса к русской культуре размещающие передатчики возле военных баз, резидентки-наводчицы, зашифрованные под специалистов по русскому акмеизму, составляют мир отрицательных персонажей и в других повестях. Не случайно работник госбезопасности, для того чтобы выйти на связь с матерой разведчицей, славистской (конечно же!) Рашель Гарси, тоже притворяется «молодым литератором, вроде бы толковым, будто бы перспективным, но уже с неким надломом, потому как не хватает признания». Для того чтобы соответствовать этому типу «молодого литератора», он постоянно принимает от Гарси «западные тряпки и погремушки». Поселяет же Гарси на своей квартире некий Елкин, тоже писатель, хотя и печатающийся, но сильно переоценивающий себя. Поневоле будешь остерегаться теперь всех этих «творцов» и разделишь негодование оперработника Берестова (А. Белинский «Овальный портрет»): «Надоели эти картины, коллекционеры, спекулянты! Пора уже написать их групповой портрет в интерьере с решетками...» Капитан, находившийся, видимо, под обаянием фильма Висконти, говорит в данном случае о подследственных, но подозрения авторов «Схватки» (судя по преобладанию в их повестях людей, причастных к миру искусства и литературы, среди преступников и потенциальных предателей Родины) распространяются, видимо, гораздо шире.

Вернемся теперь к вопросу — зачем все это написано? Чтобы рассказать о нелегкой работе органов госбезопасности? Но как раз работа эта выглядит здесь, повторяю, предельно легкой и беспроб-

лемной. Да и невозможно показать какую-либо деятельность людей, если всю индивидуальность героев свести к протирке очков или хватанию статуэтки. Призвать наших граждан к бдительности, научив их внимательней присматриваться ко всяким зарубежным славистам, местным коллекционерам и непризнанным гениям? Не хочется верить, что люди, пишущие повести, могут ставить перед собой такие цели, да и не ко времени вроде бы...

Помочь людям развлечься, дать им остросюжетное чтение? Тоже не похоже — ведь детективной интриги ни в одной из повестей нет (кроме «Магнитофонной записи» С. Родионова) и читать их попросту скучно.

— Однако читают! — скажут мне.— Вон как читают, весь тираж зачитали.

Да, читают. И тут пора сказать о самом печальном. Во все времена были любители массовой беллетристики, но в годы «застоя» она захватила непомерные, не полагающиеся ей ни по каким законам территории. Утрата доверия к серьезной литературе, не компенсируемая одиночными усилиями таких писателей, как В. Распутин, Ч. Айтматов, В. Быков, Ю. Трифонов, имела гораздо более разрушительные последствия, чем мы думаем, создала инерцию, которую будет трудно остановить. В результате пока что книги, подобные «Схватке», отнимают читателей у Пастернака и Платонова. Вовсе не призываю к административным мерам, каждый волен читать то, что ему хочется, да и нет гарантий в том, что, отними у человека «Схватку», он возьмется за «Чевенгур». Поэтому обращаюсь к пишущим в популярном жанре: помните, у кого вы сегодня отнимаете читателя, помните и постарайтесь компенсировать эти утраты хоть какой-то пищей для ума и души. Иначе вы лишаетесь нравственного оправдания своих действий, одновременно лишая такого оправдания «уловленных» вами читателей.

Карен Степанян

Время, память и факт

Десять лет назад предисловие к книге избранных стихов Виталия Коротича «Прозрачный ливень» (Художественная литература, 1979) я начал с размышления на тему известного выражения Баратынского о «лица необщем выраженьи» в литературе. Говоря тогда об узнаваемом голосе поэзии Коротича, отмечал свойственное ей стремление выявить истоки жизнедеятельности человека, пробудить в нем духовные силы.

Роман «Лицо ненависти» и повести, вошедшие в книгу «Метроном», в известной степени явились результатом многочисленных поездок писателя, журналиста и публициста, общественного деятеля за рубежи Родины, в частности в Соединенные Штаты Америки. Напомню, роман создан им в 1982 году, когда в США развернулась особенно откровенная яростная антисоветская кампания, обнажившая истоки этих настроений. Их-то, эти корни, и исследует писатель, стараясь понять, осмысливая, почему даже дети в этой стране считают порой синонимом слова «враг» слова «советский» и «русский».

А это вопрос нелегкий. Никогда не забуду, как однажды на Кубе подсели случайно к нашему столику в кафе два пареиька, как потом выяснилось — американцы. Узнав, что я советский писатель, один из них вдруг в ярости закричал, что пошел в морскую пехоту только для того, чтобы... убивать русских: «Ненавижу вашу страну, всех вас, коммунистов, ненавижу все у вас там!..» Немного поостыв, спросил, как я отношусь к его родине. Я ответил, что у меня много друзей в Америке, мною написана книга об американской литературе и я не понимаю, как вообще можно н е н а в и д е т ь какой-то н а р о д. «Вот из-за таких, как ты, парень,— сказал я ему, не сдержавшись, в сердцах,— и начинаются фашизм и война».

В. Коротич умеет говорить с читателем доверительно, увлекая сюжетом повествования, убеждая глубиной мысли, точно выверенными фактами.

Мне скажут, что есть и «другая» Америка, народ которой со все большей симпатией относится сегодня к нашей стране, ее людям. Конечно, есть, и вся панорама жизни современной Америки — фон романа В. Коротича, но, повторю, писатель крупным планом рассматривает именно феномен ненависти, именно лицо ненависти, а точнее, исследует почву, которая вскармливает эту ненависть.

Прозе В. Коротича присуща исповедальность, и читатель принимает предложенный тон, вместе с автором возвращается «по собственному следу»: вглядываясь в жизнь лирического героя, уже не может не обратиться мыслью в собственное прошлое, не осмыслить свои воспоминания.

Точно увиденная деталь, яркая характеристика человека, явления, да и юмор, а порою и острый сарказм, свойственные писательской манере В. Коротича, отличают и новую его книгу.

Виталий Коротич. Метроном. Роман в письмах, повести. Перевод с украинского автора. М., Советский писатель, 1988.

Отнюдь не случайны совпадения сюжетов некоторых, ранее написанных стихотворений и более поздних прозаических вещей. Это сознательное возвращение к теме, ее новое осмысление. «Той дорогой вернись, по которой пришел не туда...» Жаль, что это стихотворение, в общем добротно переведенное на русский язык Юнной Мориц, все же при переводе потеряло первую строку, которая в оригинале звучит по-украински так: «Возвращайся по следу...» Точным парафразом утерянной строки позднее явилась повесть «Не бывает прошедшего времени». Она вроде бы путевая: о поездке лирического героя в Париж, о свидании с другом детства, уехавшим с родителями в годы войны из оккупированного Киева. И еще в ней описана встреча с немцем Отто, работником радиостанции «Немецкая волна» в Кельне.

Однако запоминается повесть не только и не столько яркими зарисовками, скажем, Парижа (писали о Париже и до В. Коротича, слава богу, столькие и столько!..). Нет, больше всего в этой повести привлекают читателя размышления, рассуждения героя, его духовный мир. Тут и щемящая любовь к родному Киеву, оживающая память о друге детства, о траве у крыльца старого дома, лучше которого нет и не будет никогда и нигде в мире. Описания проникновенны и поэтичны, а диалоги повести жизненно достоверны и убедительны. Нежелание Виктора вспоминать детство и войну так же, как и нежелание Отто, пока он не напился «вусмерть», говорить о прошлом, резко контрастируют с потребностью героя повести Владимира постоянно возвращаться в этому прошлому, сопоставлять прошлое с настоящим и все, что он видит з д е с ь, с тем, что оставил д о м а: родной город — с чуждыми и чужими ему городами и странами.

Небольшие повести «Метроном» и «Память, хлеб, любовь» возвращают читателя книги В. Коротича к проблемам жизни у сéбя дома — проблемам выбора настоящего пути, верности, любви; одиночества... Повести эти могут кому-то показаться и сентиментальными, но нет, они лиричны, искренни, человечны. В наш век компьютеров, скоростей, мелькания многих дел человек с его простыми земными чувствами, заботами, радостями и невзгодами порой ощущает и одиночество и тоску, ему недостает участия и понимания. Как сделать жизнь современников полной, насыщенной?..

Одна из «болевых» проблем, решаемых В. Коротичем,— это и проблема писательского призвания. Понятен сарказм, с которым в повести «Метроном» описан студент-заочник Литературного института Петя; он «творит» нечто о деревне, предпочитая жить в городской квартире, работать в городе дворником. Или вот другой, сформировавшийся, может быть, из такого же Пети писатель, почти «классик» Колос («Память, хлеб, любовь»),— высокомерный, уверенный в собственной непогрешимости, творящий для «вечности»... «Не казаться, а быть!» — вот в чем суть, утверждает писатель.

«Время взыскательно,— как говорил недавно главный редактор одного из самых популярных сегодня наших журналов «Огонек» Виталий Коротич в своей заметке «Весенняя ясность»,— оно совершенствует нас, напоминает о том, что в условиях гласности надо жить в открытую, четко предъявлять и отстаивать свои взгляды».

Юрий Покальчук

г. Киев

Самый долгий декабрист

Лунин издан. С трудом удерживаю руку, чтобы не поставить тут восклицательного знака, вероятно, неуместного. Наконец-то полно и по-академически добросовестно изданы сочинения того, о ком написаны и научные монографии, и популярные биографии, и беллетристические опусы. Том лунинских сочинений в «Литературных памятниках», да еще стотысячным тиражом — событие долгожданное и все равно неожиданное. Почему-то важно, что на титуле стоит тот же год, что и на вышедших в «Современнике» сочинениях Петра Чаадаева. Год, когда широкому читателю стала доступной целая плеяда серебряного века отечественной словесности, украшен и возвращением Чаадаева, и открытием Лунина.

Попытаюсь сформулировать самые первые впечатления от Лунина в полный рост, от Лунина, написанного им самим. Тем более что книги о Лунине — и С. Б. Окуня, и Н. Я. Эйдельмана, и Владимира Гусева вкупе с десятками мимолетных портретов декабриста на страницах самых разных авторов — вылепили образ давно и горячо любимый. Герой легенды и просто герой, острослов, заговорщик и кандидат в русские Бруты, дуэлянт, аналитик и даже мистик.

Как это соединялось в единой человеческой натуре?

Читаешь о Лунине: то одно, то другое,

М. С. Лунин. Письма из Сибири. Издание подготовили И. А. Желвакова, Н. Я. Эйдельман. М., Наука, 1987.

зачастую прямо противоположные качества выступают как доминанта характера, затмевают и поглощают друг друга. Легенда оборачивается фарсом, байка — утаенной драмой, смех — желчью. А нечто единое все ускользает, и цитата опровергает цитату, словно этот герой для того и явился, чтобы смущать окружающих — равно как и потомков! — игрой в бретерство, гусарскими замашками да интеллектуальными проделками. Сирано XIX столетия? Копьев, только не с павловской косицей, а с александровскими эполетами? Жаркий безумец или трезвый воин свободы?

Было бы жаль расстаться со всеми этими парадоксами. Но, кажется, придется, потому что нам дано теперь то, чего не знали даже близкие: корпус сочинений, сведенный и откомментированный. И пусть дошло не все. Сохранившегося хватает, чтобы оценить и мир автора, и мир, в котором он жил. Оценить, глядя его собственными глазами, исходя из его собственной логики.

Прежде всего поражает духовная цельность лунинской личности. Будто этот человек и не меняется вовсе, опровергая пушкинское наблюдение, согласно которому не изменяется только дурак.

Мы не видим взросления Лунина, не видим ошибок его души, полемики разума и чувства. Создается впечатление, что каждое высказывание и каждое движение сердца у этого писателя бесконечно продуманы, математически исчислены и подчинены некоему единому закону. Меняться могли обстоятельства и, как следствие — способ реализации в них. Но каждый раз это реализация полная, каждый раз результат мысли, поступка и жеста отточен до формулы. Нет ли общего между лунинскими бытовыми выходками, лунинским гвардейским остроумием и лунинской прозой? Если есть, то это как раз кинжальная острота самого действия, на что бы оно ни было направлено. Вызвать на поединок царского брата? Броситься ради дамы — точней, ради мимолетного словца дамы — с балкона? Проскакать по Невскому нагишом? «Дерзко» предложить еще в 1816 году «решительные меры» цареубийства? Завести для нужд Союза литографический станок и отстать от движения в 1822-м? Заработать на царском следствии не по чину высокий второй разряд, а еще через два десятилетия «выслужить» сочинениями «загадочную смерть» после вторичного ареста?

За всеми этими, такими, на взгляд со стороны, разнородными поступками — как их и сравнивать-то? — единый стержень особого лунинского мировоззрения, лунинского понимания свободы и нравственности. Этот стержень менее всего виден вблизи, и, скажем, Якушкин может жить рядом с Луниным, но совершенно его не понимать. Зато изнутри лунинской прозы даже анекдоты о Лунине воспринимаются в поляризованном свете его жизненной линии.

Мы лишены возможности проследить, как формировался этот исторический и писательский характер: Лунин взялся за перо столь же неожиданно, как в молодости ему случалось выхватывать шпагу. И для целого государственного устройства это перо оказалось куда страшней обоюдоострого булата. Другое дело, что единая линия и тут не прерывается. Без Лунина, прослывшего повесой и почти бретером, никогда не было бы ни Лунина-декабриста, ни Лунина-писателя.

Может быть, особую незаурядность этого человека первым оценил Пушкин. Они расстались еще в двадцатом, но спустя пятнадцать лет поэт признается сестре декабриста, что хранит прядь лунинских волос. И вряд ли это метафора ради приятности. Известен пушкинский профиль Лунина с кинжалом над головой. В рабочей тетради поэта,— в собрании Пушкинского Дома она значится за номером 838,— в 1828 году возникает после стихотворной строки «Сокрыла ночь...» еще одно изображение декабриста. Самое удивительное, что Лунин нарисован таким, каким его увидели в тот год в Сибири. (Выходит, Пушкин знал?..) Коротко постриженные волосы и очень длинные, почти запорожские усы. Характер не изменился, но человек возмужал за годы разлуки, мысли и тюрьмы.

Пройдет год, и Лунин вновь возникнет на пушкинской странице. Только на сей раз портрет будет словесным: «Друг Марса, Вакха и Венеры//Им резко Лун/ин/ предлагал//Свои решительные меры//И вдохновенно бормотал...»

Мы привыкли к этим стихам и не замечаем парадоксальности характеристики. Уже в первом стихе словно три разных, очень разных образа: легко ли одновременно быть другом Венеры и Марса да к тому же и Вакха? Пожалуй, Пушкин первым заметил эту лунинскую особенность — совмещение несовместимого. Впрочем, здесь выражена глубоко национальная черта русского характера. Вспомним поговорку: «Пить, так пить, а воевать, так воевать!» Парадоксальны и три последующие строки Пушкина. (Читатель легко в этом убедится!) Значит, то, что открываешь, проглотив том сочинений декабриста, было понято его современником и задолго до появления «Писем из Сибири». По Пушкину, вдохновенное бормотание нисколько не противоположно резкости решительных мер. Лунинский характер так понятен и близок поэту, что и себя он вводит в X главу сразу после Лунина! Недаром даже кажется, что стих «И вдохновенно бормотал» тут один на двоих. Грамматически это про декабриста, ассоциативно — про поэта.

Михаил Лунин стихов не писал, но, видимо, мы не ошибемся, если назовем его романтиком, имея в виду пушкинское понимание этого слова. Романтик... то есть реалист.

Чем озабочен Лунин, берясь за перо?

Реальностью противоестественного социально-политического уклада российской жизни. В тридцатые годы он с пророческим вдохновением обосновывает исторический приговор самодержавию. Предсказывает кризис системы Николая I. Анализирует причины общественной апатии.

Его работы предельно лаконичны, но каждая концентрирует в себе тома духовного опыта. По насыщенности мыслью, по нагрузке на единое речение лунинская проза стремится даже не к стиху — к афоризму. Процитируем:

«Запрещение излагать свои мнения свидетельствует о важности их и о той робости, которую вообще люди ощущают при первом взгляде на истину, пока не узнают и не полюбят ее».

«Ум требует мысли, как тело пищи».

«Всякий нерешенный вопрос — отклонен ли, рассечен ли он — возникает снова с заботами неожиданными и затруднениями, каких не имел вначале».

«После роли лекаря поневоле самая смешная: политик поневоле».

«...народ мыслит, несмотря на его глубокое молчание».

Я выписал только с самых первых страниц «Писем из Сибири».

Такая проза генетически восходит к ораторскому жанру. Это тем более неожиданно в стране, где светское ораторское искусство поднималось лишь в эпохи народных бедствий. Чаще — военных. Кроме того, Лунин — первый (если не считать Пушкина) историк декабризма, автор классических произведений, где не только уничтожается официозная ложь о 14 декабря, но и дается практически исчерпывающий (в пределах жанра) очерк истории декабристского десятилетия. Лунин-историк и Лунин-трибун сразу на двух языках — русском и французском — говорит вещи неслыханные. Это менее всего фехтование словом, это смертельные удары в самое сердце системы, которая тут — со всей ее армией, III отделением, стукачами и чиновниками-казнокрадами — абсолютно нема перед свободной речью, если речь звучит в полный голос.

Вот лунинское обоснование Тайного Союза: «Слишком в 100 лет правительство не могло удовлетворить существенной потребности народа. Подвластные по необходимости должны были прибегнуть к собственным средствам».

Двумя ударами обрушена правительственная версия «западного влияния», заморской заразы либерализма, якобы занесенной на Русь кучкой заговорщиков.

Согласно официальной версии, декабристское движение — род заговора. Лунин парирует: «Надлежит сознаться, что Тайный союз не отдельное явление и не новое для России. Он связуется с политическими сообществами, которые, одно за другим, в продолжении более века, возникали с тем, чтобы изменить формы самодержавия; он отличается от своих предшественников только большим развитием конституционных начал».

В «Розыске историческом» декабрист на нескольких страничках показывает кристаллизацию идеи русского самовластия. Материал — вся тысячелетняя история российского государства. Вывод — необходимость утверждения «законов конституционных и народной свободы». И этому выводу вынуждены подчиниться даже сами узурпаторы власти, то есть российские самодержцы. Так и случится, только Михаил Лунин шестнадцати лет не доживет до первой реформы эпохи эмансипации.

Не дело и не место в журнальной рецензии даже в общих чертах излагать строй и проблематику лунинских сочинений. Заметим лишь, для своего времени они были слишком впереди, чтобы оказаться услышанными. В конце 30-х зачитывались Чаадаевым. И хотя историко-политические исследования Лунина появляются, видимо, и как ответ Чаадаеву, они станут современны и своевременны только в герценовской печати. Не случай, но закономерность, что «Письма из Сибири» не разошлись по России в списках сразу по написании. Тогда, в начале 40-х, лишь несколько сибирских товарищей писателя да еще само самодержавие сумели оценить труд Лунина. Те — сочувствием и тайным переписыванием. Эти — заключением политического писателя в одну из самых страшных сибирских тюрем. Здесь, в остроге, он и погибнет.

Лунин предвидел и это: «Проходя сквозь толпу, я сказал, что нужно было знать моим соотечественникам. Оставляю письмена мои законным наследникам мысли, как пророк оставил свой плащ ученику, заменившему его на берегах Иордана».

Он вырос из своей эпохи, потому что остался верен ее принципам. Один из зачинателей декабризма, он уже в ссылке практически в одиночку продолжает борьбу с реакцией. Длится борьба Лунина с самодержавием долгие-долгие десятилетия. Сдав при аресте шпагу, он выбрал оружием перо. А перо — не шпага, над головой не сломаешь.

Его подвиг сродни подвигу Александра Радищева. Тот пошел в Сибирь за книгу, этот написал свою книгу уже в Сибири. Как не смогли переломить лунинского пера, так не смогли сломать и упорство самого д о л г о г о декабриста. Что ж, в чем-то ему было легче, ведь он шел по стопам своего предшественника, учитывая и опыт его ошибок.

Лунин издан! И наконец-то «Письма из Сибири» встанут на полку рядом с «Путешествием из Петербурга в Москву». Эти классические книги русской свободы достойны друг друга, на книжной полке они аукаются даже названиями.

Андрей Чернов

Из почты «Знамени»

В связи с тем, что близится 45-летие нашей Победы в Великой Отечественной войне, предлагаю возобновить обсуждение конкурсных работ по памятнику Победы. Как человек, которому небезразлично прошлое нашей страны и дело увековечения нашей Победы над фашистской Германией, предлагаю на обсуждение свой проект этого памятника, и пусть он при первом прочтении не покажется бессмысленным и невыполнимым.

Суть проекта в следующем. Соорудить на Поклонной горе земляной холм, но не с помощью бульдозерно-скреперной техники, а при самом непосредственном участии миллионов советских людей. Для этого пусть каждый, кто захочет вложить свой скромный труд в это дело, возьмет с могил своих дедов, отцов, братьев, погибших в эту войну, по горсти земли и принесет ее на Поклонную гору. Пусть ветераны войны возьмут с наиболее дорогих им мест, где они воевали и где погибли их боевые товарищи, по горсти земли и принесут эту землю в Москву. Пусть пионеры и комсомольцы возьмут с братских могил по горсти земли за каждого бойца, похороненного в них, и вложат в этот холм. Пусть дети и внуки тех, кто ковал нашу Победу в тылу, но не дожил до наших дней, сделают то же самое. Если это осуществится, то в холме будет земля с могил всех, кто отстоял нашу Родину в самую суровую годину испытаний. Здесь будет земля и с полей самых больших сражений, и с полей, где, как говорилось раньше, шли «бои местного значения». Здесь окажется земля с могил советских воинов, павших за свободу народов Германии, Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Югославии. Здесь будет земля с могил наших воинов, победивших врага, но не доживших до этого дня, и тех, кто своим самоотверженным трудом в тылу выковал оружие Победы. Вершину этого холма должен увенчать «Вечный огонь». Пламя этого огня должно быть торжественно зажжено факелами от пламени «Вечного огня» у могилы Неизвестного солдата в Москве и аналогичных мест в городах-героях нашей страны. Такие же факелы должны быть принесены на Поклонную гору и из тех стран, где горит «Вечный огонь» на могилах наших воинов. Огонь этот должен быть зажжен в День Победы.

Вот, собственно, и вся суть моего проекта. Мне кажется, он найдет отклик в душе советских людей, у тех, кому дорога наша Победа и дорога память о ней. Всенародное сооружение этого памятника может стать в нашей сегодняшней «груде дел, суматохе явлений» тем самым духовным стержнем, который сейчас так необходим нам в нашей трудовой жизни.

Если воздвигнем этот холм, то все советские люди скажут нам за это «спасибо». Через десятки лет наши внуки и правнуки, глядя на памятник Победы, будут говорить друг другу: «В этом холме есть земля с могил и моих предков...» И каждый гражданин любой другой страны будет говорить: «Да, советские люди сильны духом и единством не только в ратном деле, но и в памяти перед своими предками!»

Михаил Коротков,
инженер

г. Москва.

Какой нам нужен суд?

Перед советским уголовным судопроизводством стоят две задачи. Первая — обеспечить изобличение виновных в совершении преступлений и их справедливое наказание. Вторая — сделать это таким образом, чтобы не были привлечены к уголовной ответственности и осуждены невиновные. Для того чтобы разрешение дела в суде — решающей стадии уголовного процесса — было максимально объективным и максимально справедливым, судебной властью наделяются, кроме профессионалов, и народные представители — заседатели. В нашем суде заседатели имеют равные права с судьей, образуют с ним единую коллегию и все вопросы решают совместно. В таком суде решающее слово, естественно, принадлежит профессионалу. Народные заседатели вольно или невольно низводятся до положения статистов, недаром в народе их метко прозвали «кивалами».

Возможен и другой вариант. Народные представители — присяжные — отделены от судьи-профессионала и самостоятельно решают вопрос о виновности подсудимого. Они независимы от прокурора, судьи, защитника, их взгляд не притупился рассмотрением одинаковых дел, восприятие носит свежий, непосредственный характер. Им нет нужды прикрываться инструкцией, на них не давят указания «свыше», их не беспокоят ведомственные отчетные показатели. Суды присяжных были образованы в России вскоре после отмены крепостного права в результате судебной реформы 1864 года и снискали высокую оценку у передовых людей страны. После Октябрьской революции декретом о суде № 1 от 22 ноября 1917 года старый суд как часть подлежащего слому государственного аппарата был упразднен. По мысли Ленина, при капитализме большинство управленческих функций так упростилось, что стало доступно всем грамотным людям и могло выполняться населением по очереди. Поэтому функции специальных институтов государства — армии, полиции и суда предполагалось возложить на все население. На первых процессах из публики избирались обвинители и защитники, а решения принимались большинством голосов этих судоа-собраний.

Однако в дальнейшем от проекта создания государства без постоянной армии и специализированных органов охраны порядка пришлось отказаться. Были созданы армия, милиция, а в марте 1918 года в судопроизводстве восстановлено действие Судебных уставов 1864 года, «поскольку,— как было сказано в Декрете о суде,— таковые не отменены декретами ЦИК и СНК и не противоречат правосознанию трудящихся классов». Было установлено, что приговор в окружных судах двенадцать народных заседателей выносят самостоятельно, а председательствующий лишь дает заключение о мерах наказания, предусмотренных законом. В то время казалось, что победа коммунизма не за горами, и право, хотя и просуществует известное время, серьезной роли играть не будет. Процессуальные формы Судебных уставов 1864 года стали ненужной «роскошью», и спустя полгода после ликвидации окружных судов положение об ограничении прав председательствующего было отменено. Народные заседатели лишились права избирать председательствующего и отзывать его на любой стадии процесса. Поначалу ликвидация суда присяжных не повлекла отрицательных последствий. Профессиональные судьи еще не консолидировались в самостоятельный слой, их правосознание не отличалось от правосознания рабочих и крестьян, из среды которых они вышли. То, что среди народных судей 63 процента были членами РКП(б), все председатели губсудов были партийцами, причем почти половина их с дореволюционным партстажем, лишь укрепляло независимость суда. К достоинствам судов В. И. Ленин относил их независимость от центральной власти. В работе «О «двойном» подчинении и законности», написанной в 1922 году, он указывал, что местные суды в отличие от централизованной прокуратуры, даже если закон был нарушен, могут не только смягчить наказание, но и «признать таких-то лиц по суду оправданными», что, надо сказать, подтвердилось на деле: до 1925 года включительно треть поступавших в советские суды уголовных дел заканчивалась оправданием подсудимых.

После лишения народных заседателей самостоятельности суд уже не был защищен от вмешательства центральной власти. Основанием для вмешательства стало положение о примате политики над правом, хотя это верно исключительно для революционных периодов. В 1921 году Ленин указывал, что «чем больше мы входим в условия, которые являются условиями прочной и твердой власти.., тем настоятельнее необходимо выдвинуть твердый лозунг осуществления большей революционной законности». Однако то, что было ясно Ленину, осознавали не все его соратники. Н. В. Крыленко и через 10 лет после революции рассматривал право и государство как орудия господства и насилия, как средства обуздания классовых врагов, считая необходимым «унифицировать судебную репрессию, чтобы дать в руки партии и центральной государственной власти реальную возможность управлять судами как органами репрессии, что нельзя было сделать при полной свободе «судейской совести». Исходя из этой концепции принцип состязательности отрицался, участие защиты ограничивалось, прения сторон исключались как «ненужный балласт», мотивировка приговора не требовалась, а сам приговор, не составляя его отдельно, можно было выносить в виде резолюции в протоколе, даже не удаляясь для его вынесения в совещательную комнату. В 1927 году Крыленко, обосновывая свои взгляды на суд присяжных, писал что, имея такой суд, «мы рисковали бы у нас в крестьянской стране получать решения, в корне противоречащие задачам той судебной политики, которую проводит регулирующий авангард пролетариата». Крыленко, трагическая судьба которого известна, обоснованно считал, что два народных заседателя, соединенные в одну коллегию с постоянным судьей, не помешают проведению нужной политики. Такой суд органичен для административно-командной системы, он исправно ей служит, что и выразилось практически, когда суды участвовали в различных кампаниях. В 1927 году, например, с помощью суда безуспешно пытались разрешить хлебозаготовительный кризис, когда крестьян, отказавшихся продавать произведенное ими зерно, привлекали к суду за спекуляцию. Заготовки зерна все равно упали, и с 1929 года в городах страны ввели нормированное — по карточкам — снабжение хлебом... Указы от 4 июня 1947 года резко усилили ответственность за хищения. В течение нескольких лет от судов требовали максимально жесткой репрессии. Однако, когда в конце 50-х годов к расследованию хищений и должностных преступлений подключили аппарат КГБ, выяснилось, что Указы 1947 года и суровая практика их применения не помешали совершению миллионных хищений. А вот другой факт. В 1966 году аналогичным образом — с помощью суда — боролись в стране с хулиганством. Но через три года, когда прошла эйфория от некоторого снижения числа насильственных преступлений, а из мест лишения свободы стали возвращаться бывшие осужденные, новый рост тяжких преступлений против личности с лихвой перекрыл их прежнее небольшое снижение, в очередной раз убедив всех нас, что ни одна кампания, в которой участвовал суд, не достигла положительных целей, а следовательно, создание управляемого из центра суда было лишено смысла. Судьи ориентировались не столько на закон, сколько на указания центра, в широких пределах трактующего закон применительно к нуждам очередной кампании.

С середины 60-х годов в связи с очевидным кризисом административно-командной системы, вмешательство в правоохранительную, в том числе судебную, деятельность усиливается и со стороны местных властей. Организационно-правовым основанием для такого вмешательства первоначально служили своеобразно истолкованные решения июльского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС об усилении партийного контроля над работой государственного аппарата. В таких условиях с помощью суда проводилась уже не государственная, а местническая политика. Суд стал управляться не только из центра, но и местными властями, которые в ряде случаев использовали его для расправы с неугодными местным властям людьми, держали в повиновении жалобщиков, избавлялись от назойливых новаторов и других «возмутителей спокойствия». В Каракалпакии, например, был осужден редактор газеты, сигнализировавший о приписках хлопка, в Башкирии — партийный работник, указавший на неправильный подбор кадров, в Азербайджане — офицер милиции, разоблачавший взяточников...

Говоря о действии внешних внесудебных факторов, нельзя не сказать и о том, что в самой судебной системе усиливались внутренние помехи и сбои. Результаты судебной деятельности превратились в отчетные показатели, по которым оценивается эффективность деятельности суда. По иронии истории один из таких пагубных оценочных показателей системы уголовной юстиции — процент оправдательных приговоров — был задан этой системе под лозунгом борьбы с бюрократизмом. Еще на XV съезде ВКП(б) Орджоникидзе в отчете съезду о работе ЦКК — РКИ обратил внимание на высокий процент прекращенных дел и дел с оправдательным приговором — в 1926 году четверть приговоров были оправдательными. С того времени этот показатель стал стремительно «улучшаться» и к началу 80-х годов составил менее одного процента. Регулировались и другие отчетные показатели — жесткость репрессии, стабильность приговоров, количество выездных сессий, что в конечном счете стало существенно влиять на правосудие. Профессиональное правосознание судей усвоило именно такой подход.

Как же исправить дело? Можно ли добиться того, чтобы суд стал нечувствителен к внешним воздействиям, противостоял односторонности обвинительной власти? Как сделать, чтобы его решения не расходились с правосознанием большинства населения? Наивно полагать, что замена плохих судей хорошими что-либо изменит. «Я вообще не думаю,— писал К. Маркс,— что личности должны служить гарантиями против законов; я, наоборот, думаю, что законы должны служить гарантиями против личностей».

Есть только один путь, позволяющий организационно отделить суд от других органов юстиции, поставить его над ними и сделать действительно независимым. Народные заседатели должны быть отделены от постоянного, профессионального судьи в самостоятельную коллегию и получить право самостоятельного решения вопроса о виновности подсудимого. Путь этот проверен и существованием суда присяжных за рубежом, и полувековым опытом его функционирования в России. Не следует опасаться, что суд будут творить непрофессионалы. Писаное право предполагает, что оно будет применяться в постоянном взаимодействии с восполняющим его правосознанием. Что такое особая жестокость, исключительный цинизм, существенный вред? На такого рода вопросы уголовный закон не может дать однозначного ответа, и здесь неизбежно подключается правосознание. Принципиальный вопрос — чье? В какой мере голос народа слышен?

«На суде присяжных вы в мундире и перед чужими,— бытовало среди юристов прошлого,— на суде без присяжных вы в халате и дома...» Зато и профессионализм профессионалов в суде присяжных должен быть высочайшей пробы. Поддерживая обвинение, уже нельзя рассчитывать, что «коллега поймет и простит». Защитнику не придется успокаивать себя тем, что «все равно осудят». А приговор соединит в себе авторитет и государства, и общества.

В. Коган,
доктор юридических наук
О. Сокольский,
кандидат юридических наук

Уважаемая редакция!

В № 5 журнала «Наш современник» за 1988 год опубликован диалог писателя Анатолия Иванова с критиком Валентином Свининниковым. Можно по-разному относиться к оценкам, которые дает А. Иванов тем или иным художественным произведениям последнего времени, но есть область, вступая в которую любой автор обязан становиться на почву ф а к т о в, а не своих о щ у щ е н и й. Эта область — библиография. Разумеется, когда А. Иванов хвалит автора романа «Перелом» и называет его — Н. Нескромный (на самом деле писателя зовут Н. Скромный), трудно подозревать тут какой-то умысел — «просто» ошибка, хотя и странная. Но вот читаем у А. Иванова: «Разве устарел, к примеру, роман В. Кочетова «Журбины» о рабочей династии корабелов? Матвей Журбин с его прочным, честным и мужественным восприятием жизни — он и сейчас словно сто-

ит перед глазами... Но В. Кочетова и вспоминают-то теперь, чтобы лишний раз «лягнуть», как мертвого льва. О переиздании книг и речи не заходит (разрядка моя.— **А. В.**)». Удивления достойные слова! Ведь в 1986 году издательство «Советский писатель» выпустило специальный сборник «Воспоминания о Всеволоде Кочетове», все несколько десятков участников которого дают Кочетову положительную оценку. Что касается переиздания книг, то в 1986 году издательство «Известия» выпустило роман «Журбины» (тираж 265 тыс. экз.), а «Советская Россия» — роман «Угол падения» (тираж 100 тыс. экз.). Наконец, в 1987 году издательство «Художественная литература» начало выпуск... шеститомного собрания сочинений Кочетова (тираж каждого тома 100 тыс. экз.), первые два тома которого вышли заведомо до того, как беседа с А. Ивановым готовилась к печати в журнале «Наш современник»! Одновременно с публикацией беседы в «Нашем современнике» появилось еще одно переиздание «Журбиных» (М., Профиздат, 1988, тираж 100 тыс. экз.), которое при желании можно было учесть, ведь о нем было объявлено заранее — см. Тематический план «Профиздата» на 1988 год, позиция 90. Вот как на самом деле обстоит дело с изданием книг «мертвого льва», о чьей горестной посмертной судьбе скорбит А. Иванов. Почему же ни автор, ни редакция не потрудились навести элементарную справку? Может быть, потому, что тогда обнажилась бы беспочвенность их «сожалений» и, напротив, невольно возник бы вопрос: не слишком ли щедро тратится дефицитная бумага (о чем не устают повторять представители Госкомиздата) на многократные массовые переиздания книг, художественная ценность которых в свете современной литературной ситуации, мягко говоря, проблематична.

Андрей Василевский,
библиограф

г. Москва

Уважаемый автор статьи «Противостояние» (май 1988 г.) Вл. Новиков!

В старом словаре В. Даля есть, на мой взгляд, очень точное, работающее определение: «Интеллигенция — часть народа, которая мыслит самостоятельно». Думаю, что под «мыслит» имеется в виду не только умственная работа, интеллектуальный процесс, но и самостоятельность в нравственных оценках, мораль, идущая «изнутри», а не обусловленная призывами и постановлениями. Конструктивность подхода, предложенного В. Далем, еще и в том, что поскольку «интеллигенция — это часть народа», то понятие «народная интеллигенция» превращается в трюизм, поскольку интеллигенция народна уже по определению. Из этого же определения следует, что интеллигентом человек является не в зависимости от рода занятий или социальной принадлежности, а по способности «мыслить самостоятельно». (Интересно заметить, что в русском языке слово «умный» одного корня с глаголом «уметь», а не глаголом «знать».)

Строя доказательство «от противного», можно дать определение бюрократии, как части народа, которая самостоятельно не мыслит. Думаю, что В. Даль в своем определении дал ключ к пониманию того «Противостояния», которое рассматривается в Вашей статье. Весь механизм «отбора», по которому шли сталинские репрессии и решения застойного периода, работал по признаку способности или неспособности человека самостоятельно мыслить. Это привело, в частности, к тому, что представители таких традиционно интеллигентных профессий, как врачи и учителя, просто перестали попадать под определение интеллигенции по Далю. Каждое действие врача расписано инструкциями райздравотдела, а за каждым шагом учителя следит инспектор роно.

Как известно, само слово «интеллигенция» возникло в России и отсюда уже вошло в языки других стран. Боюсь, что одной из причин этого является то, что люди, мыслящие самостоятельно, в условиях бюрократического государства превращаются в своего рода «интеллектуальных партизан».

Происходящие в настоящее время перемены, курс на хозяйственную самостоятельность, гласность и открытые дискуссии на прежде закрытые темы, если идти от определения В. Даля, являются курсом на повышение интеллигентности общества.

В заключение позволю себе, перефразируя К. Маркса, предложить лозунг: «Интеллигенция — могильщик бюрократии». Хотя до сих пор было наоборот.

В. С. Баранов

г. Москва

Уважаемая редакция!

Прочитал в майском номере вашего журнала стихи Владимира Лифшица, посвященные похоронам А. Т. Твардовского, и могу подтвердить: все, что там описано, было на самом деле. Я, как и многие москвичи и приезжие, не смог тогда пробиться к Дому литераторов, где лежал народный поэт,— на пути стоял невозмутимый милицейский кордон.

Помню, пришло проститься с Александром Трифоновичем много простого люда, очень скромно одетого. На улице было зябко, ветрено, неуютно. Люди не понимали, почему нельзя пройти всего несколько шагов до писательского дома и отдать последний долг покойному. Нас держали несколько часов на углу Герцена и Садовой, и милиционеры не особенно терпеливо объясняли, что это, дескать, «нельзя».

Одна старушка долго умоляла молоденького милиционера пропустить ее, тем более что она жила где-то в районе этой самой улицы Герцена. И краснощекий желторотик, блюститель порядка, с усмешкой ей объяснял: «Тебе-то, бабуля, зачем на похороны? Ведь скоро встретитесь там, на том свете. И наговоритесь!»

Даже сейчас, спустя столько лет, я четко вижу, как из Дома литераторов буквально под руки композиторы Ян Френкель и кто-то второй, сейчас уже не помню кто, выводили — мы все это очень хорошо видели — плачущего Расула Гамзатова. Он рыдал. Рыдал, как ребенок. И то, что дагестанский поэт был в таком виде, никого не удивляло. В нашей толпе тоже плакали люди, и тоже не скрывали слез.

...Потом вышел из Дома литераторов в полузастегнутом пальто и без шарфа со свинцовым, почерневшим лицом Виктор Некрасов. Еще кто-то прошел мимо нас. А мы так и стояли. Толпой.

Похороны — это, конечно, дело невеселое. Чего там говорить. Но дело-то это обязательное. От него никуда не скроешься. Не убежишь. Коль пришел, надо поклониться покойному. Поклониться по старинному обычаю. Так ведь принято на нашей земле...

Помню также, как на углу Васильевской улицы и Садового кольца в маленькой забегаловке, которой сейчас и в помине-то нет, с совершенно незнакомыми людьми мы помянули по-русскому обычаю российского поэта. И мне сейчас об этом не стыдно писать. Не стыдно писать о том, как стакан водки я выпил за Твардовского. Вместе с народом.

И еще одно короткое воспоминание, без которого первое, думается, будет не совсем полным.

Помню я еще одни похороны. Похороны А. Н. Косыгина. Ведь наш премьер умер тогда, когда власти уже не имел. И похороны-то его были, разумеется, уже, так сказать, по второму разряду.

Гроб с телом Алексея Николаевича стоял в Центральном Доме Армии. Милицейский же кордон начинался чуть не от станции метро «Новослободская».

С моим товарищем по работе, Сашей Галкиным, фотокорреспондентом, с 10 часов утра в день похорон мы искали хоть какую-нибудь возможность проникнуть в Краснознаменный зал. Все дороги к залу были перекрыты напрочь. Будто бы власти боялись встречи народа с покойником. Кордоны же открывались только для проезда автобусов с делегациями. Тех же, кто пришел проститься с Алексеем Николаевичем по собственной воле, так сказать, от чистоты душевной, а таких желающих было огромное количество, милиционеры отгоняли, как мух.

Многого сейчас я уже не помню. Но кое-что все-таки сохранилось. Например, один инвалид, которому передвигаться было очень трудно, долго, терпеливо рассказывал полковнику милиции о том, как он работал в Ленинграде в период блокады вместе с Косыгиным. Они делали тогда общее дело. Инвалид и на похороны-то из Ленинграда приехал... У милицейского же начальника было такое выражение лица, будто только его профиль, схожий, допустим, с профилем самого Нерона, есть самая подходящая модель для выбивания монет высокогосударственного значения. Ни один мускул на лице его не дрогнул!..

Мы прошли мимо гроба А. Н. Косыгина, как сейчас помню, без двадцати семь вечера. В семь часов доступ к телу покойного был уже прекращен. Колонну, с которой мы прошли, сформировали где-то в районе уголка Дурова.

А вообще-то мы могли и не попасть в Краснознаменный зал. Нам просто повезло. Пожалуй, молодые ноги в большей степени помогли.

И снова повторюсь. Похороны — дело невеселое. Но если умирает уважаемый человек, любимый народом, неужели нужно мобилизовывать на похороны только делегации от фабрик и заводов? Пусть придут проститься все те, кто посчитает это нужным, для кого это имя было дорогим. Уверен, люди сами разберутся, кто и каких похорон достоин: или эти похороны будут народные, или только вместе с делегациями...

Вот какие воспоминания вызвали у меня стихи Владимира Лифшица.

Юрий Федянин,
сценарист

Советуем прочитать

Память. Письма о войне и блокаде. Выпуск 2. Составители А. Варсобин, И. Лисичкин, Ю. Гальперин. Л., 1987.

В предисловии к «Истории Государства Российского» Н. М. Карамзин писал о значении для новой, начинающейся «только с Петра Великого» истории России, словесных преданий: «...Мы слыхали от своих отцов и дедов о нем, о Екатерине I, Петре II, Анне, Елизавете многое, чего нет в книгах».

И доныне неофициальные свидетельства участников исторических событий остаются бесценным источником летописи человечества. Вот уже много лет в Ленинградский Дом прессы на Фонтанке, 59, идут со всей страны воспоминания о пережитом. Возник уникальный рукописный памятник эпохи, представление о котором дают два выпуска сборника «Память» (первый вышел в 1985 году к сорокалетию Победы).

«Каждый ветеран имеет право рассказывать о войне так, как посчитает необходимым,— подчеркнуто в предисловии.— Составители стремились к тому, чтобы антология отразила рукописный фонд во всем его многообразии, передала то типичное — и по форме и по существу,— что сохраняется в памяти людей».

Сергей Аверинцев. Попытки объясниться. Библиотека «Огонек», № 13, 1988.

В статьях, интервью, собранных в книге, речь идет о роли культуры и филологической науки в развитии и воспитании человека. Автор, специалист по византийской литературе, пишет о том, как «вечные» вопросы сами собой переходят в злобу дня». Он убежден, что истинный интеллигент-гуманитарий — это «человек, добровольно взявший на себя некие интеллектуально-нравственные обязательства и ради возможности исполнять эти обязательства, а не ради своих прихотей и амбиций, нуждающийся в том, чтобы его окружал воздух доверия и свободы». Другой же «работник умственного труда» — «функционер особого рода», он лишь исполнитель инструкций, ни в чем ни нуждающийся, кроме этих инструкций, да чинов, да благ земных, да неусыпного надзора».

Чтобы предотвратить «разрушение воли к культуре и самой способности этой воли», чтобы преодолеть нежелание постичь все богатство культурной традиции, необходимо сохранение и развитие исторической памяти, считает С. Аверинцев. Только тогда будет искоренена та «анонимность общественного поведения» — «плод от корня трусости», когда «говорятся любые слова и делаются любые дела без того, чтобы хоть одна душа сделала выбор и взяла на себя за свой выбор ответственность».

Ив. Кремнев. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. Архитектура и строительство Москвы, №№ 1—5, 1988.

Трагически сложилась судьба Александра Васильевича Чаянова (псевдоним Ив. Кремнев), выдающегося ученого-экономиста, искусствоведа, писателя, исследователя Москвы. В 1930 году он по ложному доносу был арестован, объявлен врагом социализма, а девять лет спустя расстрелян.

А. В. Чаянов занимался градостроительными проблемами Москвы, историей столицы, и у нас были изданы пять романтико-фантастических повестей, среди них «Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина», «Юлия, или Встречи под Новодевичьем...» — остросюжетные произведения, многие страницы которых посвящены Москве. Их хорошо знал Михаил Булгаков, и вполне возможно, что они оказали влияние на замысел «Мастера и Маргариты».

Москва будущего 1984 года встает со страниц повести «Путешествие моего брата Алексея...». Автор описал свое представление о путях реконструкции города, и нынче не может не поражать проницательность некоторых предвидений писателя. Предваряя публикацию в журнале, Вл. Муравьев отмечает, что известный москвовед А. Ф. Родин, работавший с Чаяновым в Госплане, говорил, что «Путешествие...» было издано по личному указанию В. И. Ленина...

В 1987 году Верховный суд СССР отменил несправедливый приговор Чаянову. Имя его сегодня возвращается в литературу и москвоведение, в современных публикациях нередко можно встретить высказывания о научной ценности его идей для сегодняшнего дня. В нескольких издательствах страны подготовлены для переиздания экономические и литературные произведения А. В Чаянова.

Дача на Петергофской дороге. Проза русских писательниц первой половины XIX века. Составление, вступительная статья и примечания В. В. Учеиовой. М., Современник, 1987.

Открыта еще одна забытая страница отечественной словесности: вышла книга, где представлены повести и отрывки из романов русских писательниц, чьи имена были хорошо известны их современникам.

Среди авторов сборника — «царица муз и красоты» Зинаида Волконская, кавалерист-девица Надежда Дурова, Е. Ган, М. Жукова, А. Панаева, Н. Соханская. Примечания знакомят с биографиями писательниц, вступительная статья, названная «Забвенью вопреки»,— с их творчеством, социальным мироощущением. Авторов книги объединяет нежелание мириться с рабским, униженным положением женщины в самодержавной крепостнической России.

Юрий Кривоносов. Осторожно: История. Советское фото, № 4, 1988.

«Вначале было удивление: на экране телевизора — незнакомый портрет Михаила Булгакова. А я-то самонадеянно полагал, что знаю их все до одного... Правда, портрет этот был «не в фокусе» — он висел на стене за спиной главного режиссера Московского ТЮЗа Генриетты Яновской, рассказывавшей о спектакле «Собачье сердце». Но в этом незнакомом портрете было что-то страшно знакомое — к концу интервью я, кажется, понял, в чем дело,— это был один из лучших портретов писателя... Только тут он оказался «перевернутым». Сделал его в 1926 году Роман Кармен, тогда фотокорреспондент «Огонька». Лет тридцать спустя он приносил мне, в ту пору огоньковскому фотолаборанту, печатать фотографии для своих книг...»

Надо заметить, говорит автор, что фотографии нынче кадрируют все, кому не лень (и не только булгаковские!), порой с полной потерей чувства ответственности за историческую точность и художественную ценность оригинала, широко используя и способ «улучшения» — «переворачивают» и публикуют «зеркально», самодеятельно ретушируют, убирая по своей прихоти драгоценные детали, считая фотографию «документом второго сорта».

Готовя публикацию в СФ, Ю. Кривоносов работал в архивах и библиотеках пять с лишним лет, встречался с людьми, помнящими многих и многое, разыскивал интереснейшие материалы и с горечью обнаруживал, как безжалостно относимся мы порой к своей истории. Речь не только о булгаковских снимках, о фотографиях вообще: сколько их, неопознанных, неаннотированных, разбросано по хранилищам, и они ждут внимательных исследователей.

Осип Мандельштам. Четвертая проза. Радуга, Таллин, № 3, 1988.

«Четвертую прозу» Мандельштама высоко оценила в свое время Анна Ахматова. «Во всем XX веке не было такой прозы»,— писала она.

Мандельштам берет частный случай — свой конфликт с переводчиком А. Горнфельдом в связи с выходом перевода «Тиля Уленшпигеля», и на этом примере показывает опасность бездумного отрицания чужого мнения, иного образа жизни и мысли. В этюде-эссе Мандельштам страстно отстаивает право художника на свободу творчества.

В предисловии полностью публикуется эпиграмма Мандельштама на Сталина, послужившая поводом для первого ареста поэта в 1934 году (по этому «делу» он был реабилитирован лишь совсем недавно — в октябре 1987-го).

Джемал Карчхадзе. Мой дядя Иона. Повесть. Перевод А. Златкина. Литературная Грузия, № 3, 1988.

В «прекрасном, утопающем в садах городе» Санаклио, «где санаклийцы живут счастливо в свое удовольствие, не ведая забот: мирно и безмятежно дремлют днем и столь же мирно спят ночью», вот-вот должен появиться на свет стотысячный житель. Создана юбилейная комиссия для подготовки к торжественному празднику, а «санаклийцы празднуют все, причем празднуют с большим размахом». Секретарем комиссии избирают Иону Камкамидзе, известного в городе чудака-философа. Вскоре выясняется, что женщина, подарившая городу стотысячного гражданина,— мать-одиночка. Здесь-то и начинают развиваться трагикомические события. «Дядя Иона почувствовал, что лазурный небосвод родного Санаклио заволакивает серыми тучами»,— отцы города не могут допустить такого позора. «Если вовремя не принять мер, мы можем оказаться в безвыходном тупике... На свете ничего настоящего нет... и, когда необходимо внести соответствующие коррективы, мы обязаны их внести» — провозглашает Кация Гогия, который вершит судьбы в Санаклио. Он старается подкупить Иямзе Бурдзглу, чтобы та продала свое почетное право стать матерью «стотысячника» другой женщине «из хорошей семьи».

Джемал Карчхадзе высмеивает нелепость происходящего, безделье, бюрократизм, вседозволенность, бездушие — и смех его горек.

Мар Байджиев. В субботу вечером... М., Искусство, 1987.

Творческая деятельность Мара Байджиева началась в переломное для киргизской культуры время. Прозаик, киносценарист, драматург, он был участником этого перелома, выпустил несколько сборников рассказов (первый выходит в 1961 году; первая пьеса «Дуэль» появляется на русском языке в 1968 году), поставил в театре и опубликовал около десяти пьес, восемь из которых представлены в книге.

Оригинальность творчеству М. Байджиева придают сложный сплав уходящих в старину художественных национальных традиций и свободного переосмысленного опыта новейшей советской и мировой современной драматургии. Любимые жанры М. Байджиева — притча, фарс, водевиль («В субботу вечером», «Жених и невеста», «Древняя сказка»); они предполагают открытую наивность приема и сопричастность театра идеям автора.

Его пьесы лиричны, обращены к чувствам, сердцу человека. Главная тема — формирование личности в сложных, подчас противоречивых, запутанных житейских обстоятельствах («Наследники», «Дуэль», «Праздник в каждом доме»).

Николай Иванович Вавилов. Очерки, воспоминания, материалы. М., Наука, 1987.

«Жизнь коротка...» — говаривал Николай Иванович Вавилов. Летом к восходу солнца он был уже в поле, осматривал посевы, зимой — спозаранок — в лаборатории или за письменным столом. Кончался рабочий «день» неизменно за полночь. Отпусков академик не признавал. «Жизнь коротка»,— повторял он, как будто предчувствуя безвременный, трагический исход своей жизни.

«Менделеевым в растениеводстве» назвали Н. И. Вавилова его старшие коллеги, а затем эти слова повторяли сотрудники и ученики: агрономы и агрохимики, цитологи и генетики, геоботаники, селекционеры...

В сборнике участвуют около восьмидесяти авторов, в их числе иностранные ученые. Все они знали Николая Ивановича лично. Здесь и «штрихи к портрету», и разборы фундаментальных открытий, и рассказы о формировании школы Н. И. Вавилова в естествознании, особенностях его работы в поле и во главе крупных учреждений и центров науки. Видим Н. И. Вавилова дома, в семье, и в директорских кабинетах Всесоюзного института растениеводства, Института генетики, в Географическом обществе и на маршрутах многодневных и многомесячных исследовательских экспедиций по нашей стране, Центральной Азии, Востоку, Африке, обеим Америкам... Жизнь коротка! Но сколько доброго, необходимого людям успел сделать Николай Иванович Вавилов в сроки, отпущенные ему судьбой так нещедро.

Иннокентий Анненский. Избранное. Составление, вступительная статья и комментарии И. Подольской. М., Правда, 1987.

«Я говорю о нашей душе, о больной и чуткой душе наших дней»,— так писал о своем творчестве русский поэт, критик и переводчик И. Ф. Анненский (1856—1909). Взаимоотношения человека и мира, стремление к гармонии с окружающим и недостижимость ее — ведущий мотив его лирики:

Этот мартовский колющий воздух
С зябкой ночью на талом снегу
В еле тронутых зеленью звездах
Я сливаю и слить не могу...
(«Месяц»)

Реальность и мечта, бесконечно далекая, сознанье, что «надо жить во что бы то ни стало», преодолевая мучительные приступы тоски, отчаяния, страдания,— эти чувства поэта были близки его современникам. Недаром А. Блок писал после выхода посмертного сборника И. Анненского «Кипарисовый ларец» о «...невероятной близости переживаний, объясняющей еще многое о самом себе». В «Избранное» вошли лучшие стихи «Кипарисового ларца», а также произведения из «Тихих песен», критические эссе из «Книги отражений», посвященные Гоголю, Достоевскому, Тургеневу, Бальмонту, Лермонтову, Гейне, Шекспиру, русским драматургам. Читатель познакомится и с образцами эпистолярного жанра в наследии поэта — письмами, адресованными А. Ф. Кони, А. В. Бородиной, Е. М. Мухиной, А. А. Блоку, М. А. Волошину, С. К. Маковскому.

Русская литературная утопия. Составление, общая редакция, вступительная статья и комментарии В. П. Шестакова. Издательство Московского университета, 1986.

Сегодня трудно себе представить общую панораму истории без утопических произведений. Как говорил Оскар Уайльд, «на карту земли, на которой не обозначена утопия, не стоит смотреть, так как эта карта игнорирует страну, к которой неустанно стремится человечество. Прогресс — это реализация утопий».

В России утопия появляется в XVIII веке. К сожалению, у нас образцы этого жанра известны немногим. Некоторые из произведений, включенные в книгу, такие, как «Сон «Счастливое общество»» А. П. Сумарокова, «Путешествие в страну Офирскую» М. М. Щербатова, «Сон» А. Д. Улыбышева, забыты, другие (В. К. Кюхельбекер «Европейские письма», В. Ф. Одоевский «Город без имени», Н. Д. Федоров «Вечер в 2217 году») являются библиографической редкостью.

Книга представляет собой попытку показать богатство русской литературной утопии, начиная с ее истоков.

В конце 1988 и в 1989 г. редакция журнала «Знамя» предполагает опубликовать

Романы и повести:

Александр АВДЕЕНКО — **«Наказание без преступления»**, Анатолий АЗОЛЬСКИЙ — **«Легенда о Травкине»**, Давид ГАЙ — **«Десятый круг»**, Илья ДУБИНСКИЙ — **«Особый счет»**, Камил ИКРАМОВ — **«Повесть об отце»**, Фазиль ИСКАНДЕР — **«Сандро из Чегема»**, **«В воздухе и на земле»**, Владимир КАРПОВ — **«Маршал Жуков»**, книга 1-я, Анатолий КИМ — **«Отец-лес»**, Вячеслав КОНДРАТЬЕВ — **«Что было — то было»**, Виль ЛИПАТОВ — **«Лев на лужайке»**, Анатолий ПРИСТАВКИН — **«Рязанка»**, Криста ВОЛЬФ (ГДР) — **«Образы детства»**

А также произведения:

Алеся АДАМОВИЧА, Артема АНФИНОГЕНОВА, Андрея БИТОВА, Владимира БОГОМОЛОВА, Даниила ГРАНИНА, Иона ДРУЦЭ, Николая ЕВДОКИМОВА, Бориса ЕКИМОВА, Сергея ЕСИНА, Максуда ИБРАГИМБЕКОВА, Юрия КУАНОВА, Леонида ЛИХОДЕЕВА, Владимира МАКАНИНА, Булата ОКУДЖАВЫ, Елены РЖЕВСКОЙ, Тамаза ЧИЛАДЗЕ, Николая ШМЕЛЕВА

Из литературного наследия:

Борис ПИЛЬНЯК — роман **«Соляной амбар»**, Василий ГРОССМАН — **«Добро вам» («Армянские записки»)** и рассказы, Варлам ШАЛАМОВ — рассказы, Владимир НАБОКОВ — рассказы, Владимир ТЕНДРЯКОВ — рассказ **«Охота»**, Н. ЗАБОЛОЦКИЙ — **«Сто писем»**

Мемуары, записки, свидетельства:

А. М. ЛАРИНА (БУХАРИНА) — **«Незабываемое»**, Рой МЕДВЕДЕВ — **«Сталин и сталинизм»**, Федор РАСКОЛЬНИКОВ — **«Мои записки о подполье»**, **«Кремль»**, А. Т. ТВАРДОВСКИЙ — дневники

А также:

И. А. АРШАВСКИЙ — из воспоминаний об А. А. Ухтомском, Б. А. ВИКТОРОВ — **«Записки военного прокурора»**, В. М. ВИНОГРАДОВ — **«Египет: смутная пора»**, Ц. И. КИН — **«Бенито Муссолини»**, В. КОЧНЕВА (ГАМАРНИК) — **«Воспоминания»**, Н. Г. ПАВЛЕНКО — **«Армия перед войной»**, В. УБОРЕВИЧ — **«Письма к Елене Сергеевне Булгаковой»**, Л. А. ЩЕРБАКОВ — **«Первые дни войны на Западном фронте»**

Стихотворения:

Геннадия АЙГИ, Маргариты АЛИГЕР, Беллы АХМАДУЛИНОЙ, Татьяны БЕК, Юрия БЕЛАША, Константина ВАНШЕНКИНА, Евгения ВИНОКУРОВА, Андрея ВОЗНЕСЕНСКОГО, Расула ГАМЗАТОВА, Глеба ГОРБОВСКОГО, Михаила ДУДИНА, Евгения ЕВТУШЕНКО, Анатолия ЖИГУЛИНА, Сильвы КАПУТИКЯН, Виталия КОРОТИЧА, Владимира КОРНИЛОВА, Юлия КИМА, Юрия КУЗНЕЦОВА, Александра КУШНЕРА,

Юрия ЛЕВИТАНСКОГО, Владимира ЛЕОНОВИЧА, Семена ЛИПКИНА, Инны ЛИСНЯНСКОЙ, Маро МАРКАРЯН, Новеллы МАТВЕЕВОЙ, Михаила МАТУСОВСКОГО, Булата ОКУДЖАВЫ, Григория ПОЖЕНЯНА, Давида САМОЙЛОВА, Владимира СОКОЛОВА, Дмитрия СУХАРЕВА, Николая ТРЯПКИНА, Ольги ФОКИНОЙ, Олега ЧУХОНЦЕВА, Игоря ШКЛЯРЕВСКОГО

А также материалы из наследия поэтов:

ДОНА-АМИНАДО, Кайсына КУЛИЕВА, Леонида МАРТЫНОВА, Арсения НЕСМЕЛОВА, Бориса СЛУЦКОГО

Очерки и публицистические статьи:

Тимура ГАЙДАРА, Ярослава ГОЛОВАНОВА, Леонида ИВАНОВА, Юрия КАЛЕЩУКА, Отто ЛАЦИСА, Александра ЛЕВИКОВА, Геннадия ЛИСИЧКИНА, Гавриила ПОПОВА, Ю. И. РУБИНСКОГО, Василия СЕЛЮНИНА, Анатолия СТРЕЛЯНОГО, Юрия ЧЕРНИЧЕНКО, В. П. ЭФРОИМСОНА

Критические статьи, обзоры, рецензии:

Л. АННИНСКОГО, Л. БАХНОВА, Ю. БУРТИНА, И. ВИНОГРАДОВА, В. ВОРОНОВА, А. ГОСТЮШИНА, И. ДЕДКОВА, И. ЗОЛОТУССКОГО, Н. ИВАНОВОЙ, Ю. КАРЯКИНА, К. КЕДРОВА, В. КУРБАТОВА, А. ЛАТЫНИНОЙ, А. ЛЕБЕДЕВА, В. МАЛУХИНА, А. МАРЧЕНКО, С. МУРАТОВА, В. НОВИКОВА, В. ОГНЕВА, В. ПОРУДОМИНСКОГО, Ст. РАССАДИНА, Л. САРАСКИНОЙ, С. СЕМЕНОВОЙ, Е. СЕРГЕЕВА, В. СОКОЛОВА, И. СОЛОВЬЕВОЙ, Е. СТАРИКОВОЙ, В. ТУРБИНА, А. ТУРКОВА, И. ФОНЯКОВА, А. ЧЕРНОВА, С. ЧУПРИНИНА, Л. ШАПОШНИКОВОЙ, М. ШВЫДКОГО

Главный редактор **Г. Я. БАКЛАНОВ.**

Редколлегия: **Ю. С. АПЕНЧЕНКО, Д. А. ВОЛКОГОНОВ, В. П. ГЕРБАЧЕВСКИЙ** (зам. гл. редактора), **Ю. В. ДРУНИНА, С. Н. ЕСИН, Г. А. ЖУКОВ, В. Я. ЛАКШИН** (первый зам. гл. редактора), **В. С. МАКАНИН, В. Д. ОСКОЦКИЙ, Р. В. СВЯТОГОР, В. Ф. ТУРБИНА, Я. А. ХЕЛЕМСКИЙ, Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО.**

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 923-75-82, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 03.06.88. Подписано к печати 30.06.88. А 05392. Формат 70 × 108[1]/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Учетно-изд. л. 23,27.
Тираж 514 000 экз. Заказ № 2583.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.